

ТОМАС МАНН



ВОЛШЕБНАЯ
ТОМ I ГОРА

Annotation

Швейцарские горы Давоса. Международный санаторий «Берггоф» для туберкулезных больных, почти отрезанный от остального мира. Годы перед Первой мировой войной. Вынужденные обитатели «Берггофа» – немцы и русские, итальянцы, голландцы и англичане – создают здесь свой медлительный, полусонный ритм жизни, ничего общего не имеющий с суетой внизу. Прогулки в горах и чревоугодие, любовные интриги и бесконечные разговоры на философские, научные и прочие «отвлеченные» темы, – все ведет их к потере чувства времени, блаженному созерцанию окружающей природы и dolce far niente – сладостному безделью. Что это? Неизбежные последствия болезни или попытка уйти от действительности в пассивное наслаждение жизнью?..

- [Томас Манн](#)
 - [Вступление](#)
 - [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
 - [Приезд](#)
 - [Номер 34](#)
 - [В ресторане](#)
 - [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
 - [О крестильной купели и о дедушке в двойном образе](#)
 - [Жизнь у Тинапелей и душевное состояние Ганса Касторпа](#)
 - [ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)
 - [Достойная омраченность](#)
 - [Завтрак](#)
 - [Шалости. Последнее причастие. Прерванное веселье](#)
 - [Сатана](#)
 - [Острота мысли](#)
 - [Лишнее слово](#)
 - [Ну конечно, женщина](#)
 - [Господин Альбин](#)
 - [Сатана делает оскорбительное для чести предложение](#)
 - [ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [Необходимая покупка](#)
 - [Эккурс в область понятия времени](#)
 - [Он пытается говорить по-французски](#)

- [Политически неблагонадежна](#)
 - [Хиппе](#)
 - [Психоанализ](#)
 - [Сомнения и рассуждения](#)
 - [Разговоры за столом](#)
 - [Появляется страх. Два деда и поездка в сумерках на челноке](#)
 - [Градусник](#)
- [ГЛАВА ПЯТАЯ](#)
 - [Суп вечности и внезапное прояснение](#)
 - [Боже мой, я вижу!](#)
 - [Свобода](#)
 - [Капризы Меркурия](#)
 - [Энциклопедия](#)
 - [Humaniora](#)
 - [Изыскания](#)
 - [Хоровод мертвецов](#)
 - [Вальпургиева ночь](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)

- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)

- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)

- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)

- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)

- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)

- [217](#)
 - [218](#)
 - [219](#)
 - [220](#)
 - [221](#)
 - [222](#)
 - [223](#)
 - [224](#)
 - [225](#)
 - [226](#)
 - [227](#)
 - [228](#)
 - [229](#)
 - [230](#)
 - [231](#)
 - [232](#)
 - [233](#)
 - [234](#)
-

Томас Манн
ВОЛШЕБНАЯ ГОРА
Часть I

Вступление

История Ганса Касторпа, которую мы хотим здесь рассказать, – отнюдь не ради него (поскольку читатель в его лице познакомится лишь с самым обыкновенным, хотя и приятным молодым человеком), – излагается ради самой этой истории, ибо она кажется нам в высокой степени достойной описания (причем, к чести Ганса Касторпа, следует отметить, что это именно его история, а ведь не с любым и каждым человеком может случиться история). Так вот: эта история произошла много времени назад, она, так сказать, уже покрылась благородной ржавчиной старины, и повествование о ней должно, разумеется, вестись в формах давно прошедшего.

Для истории это не такой уж большой недостаток, скорее даже преимущество, ибо любая история должна быть прошлым, и чем более она – прошлое, тем лучше и для ее особенностей как истории и для рассказчика, который бормочет свои заклинания над прошедшими временами; однако приходится признать, что она, так же как в нашу эпоху и сами люди, особенно же рассказчики историй, гораздо старше своих лет, ее возраст измеряется не протекшими днями, и бремя ее годов – не числом обращений земли вокруг солнца; словом, она обязана степени своей давности не самому времени; отметим, что в этих словах мы даем мимоходом намек и указание на сомнительность и своеобразную двойственность той загадочной стихии, которая зовется временем.

Однако, не желая искусственно затемнять вопрос, по существу совершенно ясный, скажем следующее: особая давность нашей истории зависит еще и от того, что она происходит на некоем рубеже и перед поворотом, глубоко расщепившим нашу жизнь и сознание... Она происходит, или, чтобы избежать всяких форм настоящего, скажем, происходила, произошла некогда, когда-то, в стародавние времена, в дни перед великой войной, с началом которой началось столь многое, что потом оно уже и не переставало начинаться. Итак, она происходит перед тем поворотом, правда незадолго до него; но разве характер давности какой-нибудь истории не становится тем глубже, совершеннее и сказочнее, чем ближе она к этому «перед тем»? Кроме того, наша история, быть может, и по своей внутренней природе не лишена некоторой связи со сказкой.

Мы будем описывать ее во всех подробностях, точно и обстоятельно, – ибо когда же время при изложении какой-нибудь истории летело или

тянулось по подсказке пространства и времени, которые нужны для ее развертывания? Не опасаясь упрека в педантизме, мы скорее склонны утверждать, что лишь основательность может быть занимательной.

Следовательно, одним махом рассказчик с историей Ганса не справится. Семи дней недели на нее не хватит, не хватит и семи месяцев. Самое лучшее – и не стараться уяснить себе заранее, сколько именно пройдет земного времени, пока она будет держать его в своих тенетах. Семи лет, даст бог, все же не понадобится.

Итак, мы начинаем.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Приезд

В самый разгар лета один ничем не примечательный молодой человек отправился из Гамбурга, своего родного города, в Давос, в кантоне Граубюнден. Он ехал туда на три недели – погостить.

Из Гамбурга в Давос – путь не близкий, и даже очень не близкий, если едешь на столь короткий срок. Путь этот ведет через несколько самостоятельных земель, то вверх, то вниз. С южногерманского плоскогорья нужно спуститься на берег Швабского моря^[1], потом плыть пароходом по его вздымающимся волнам, над безднами, которые долго считались неисследимыми.

Однако затем путешествие, которое началось с большим размахом и шло по прямым линиям, становится прерывистым, с частыми остановками и всякими сложностями: в местечке Роршах, уже на швейцарской территории, снова садишься в поезд, но доезжаешь только до Ландкварта, маленькой альпийской станции, где опять надо пересаживаться. После довольно продолжительного ожидания в малопривлекательной ветреной местности вам наконец подадут вагоны узкоколейки, и только с той минуты, когда трогается маленький, но, видимо, чрезвычайно мощный паровозик, начинается захватывающая часть поездки, упорный и крутой подъем, которому словно конца нет, ибо станция Ландкварт находится на сравнительно небольшой высоте, но за ней подъем идет по рвущейся ввысь, дикой, скалистой дороге в суровые высокогорные области.

Ганс Касторп, – так зовут молодого человека, – с его ручным чемоданчиком из крокодиловой кожи, подарком дяди и воспитателя – консула Тинапеля, которого мы сразу же и назовем, – Ганс Касторп, с его портпледом и зимним пальто, мотающимся на крючке, был один в маленьком, обитом серым сукном купе; он сидел у окна, и так как воздух становился к вечеру все свежее, а молодой человек был баловнем семьи и неженкой, он поднял воротник широкого модного пальто из шелковистой ткани. Рядом с ним на диване лежала книжка в бумажной обложке – «Ocean steamships»^[2], которую он в начале путешествия время от времени изучал; но теперь она лежала забытая, а паровоз, чье тяжелое хриплое дыхание врывалось в окно, осыпал его пальто угольной пылью.

Два дня пути уже успели отдалить этого человека, к тому же молодого, – а молодой еще некрепко сидит корнями в жизни, – от привычного мира, от всего, что он считал своими обязанностями,

интересами, заботами, надеждами, – отдалить его гораздо больше, чем он, вероятно, мог себе представить, когда ехал в наемном экипаже на вокзал. Пространство, которое переваливалось с боку на бок между ним и родным домом, кружилось и убегало, таило в себе силы, обычно приписываемые времени; с каждым часом оно вызывало все новые внутренние изменения, чрезвычайно сходные с теми, что создает время, но в некотором роде более значительные. Подобно времени, пространство рождает забвение; оно достигает этого, освобождая человека от привычных связей с повседневностью, перенося его в некое первоначальное, вольное состояние, и даже педанта и обывателя способно вдруг превратить в бродягу. Говорят, что время – Лета; но и воздух дали – такой же напиток забвения, и пусть он действует менее основательно, зато – быстрее.

Нечто подобное испытывал и Ганс Касторп. Он вовсе не собирался придавать своей поездке особое значение, внутренне ожидать от нее чего-то. Напротив, он считал, что надо поскорее от нее отделаться, раз уж иначе нельзя, и, вернувшись совершенно таким же, каким уехал, продолжать обычную жизнь с того места, на котором он на мгновение прервал ее. Еще вчера он был поглощен привычным кругом мыслей – о только что отошедших в прошлое экзаменах, о предстоящем в ближайшем будущем поступлении практикантом к «Тундеру и Вильмсу» (судостроительные верфи, машиностроительный завод, котельные мастерские) и желал одного – чтобы эти три недели прошли как можно скорее, – желал со всем нетерпением, на какое, при своей уравновешенной натуре, был способен. Но теперь ему начинало казаться, что обстоятельства требуют его полного внимания и что, пожалуй, не следует относиться к ним так уж легко. Это возношение в области, воздухом которых он еще никогда не дышал и где, как ему было известно, условия для жизни необычайно суровы и скудны, начинало его волновать, вызывая даже некоторый страх. Родина и привычный строй жизни остались не только далеко позади, главное – они лежали где-то глубоко внизу под ним, а он продолжал возноситься. И вот, паря между ними и неведомым, он спрашивал себя, что ждет его там, наверху. Может быть, это неразумно и даже повредит ему, если он, рожденный и привыкший дышать на высоте всего лишь нескольких метров над уровнем моря, сразу же поднимется в совершенно чуждые ему области, не пожив предварительно хоть несколько дней где-нибудь не так высоко? Ему уже хотелось поскорее добраться до места: ведь когда очутишься там, то начнешь жить, как живешь везде, и это карабканье вверх не будет каждую минуту напоминать тебе, в сколь необычные сферы ты затесался. Он выглянул в окно: поезд полз, извиваясь по узкой расселине; были видны

передние вагоны и паровоз, который, усиленно трудясь, то и дело выбрасывал клубы зеленого, бурого и черного дыма, и они потом таяли в воздухе. Справа, внизу, шумели воды; слева темные пихты, росшие между глыбами скал, тянулись к каменно-серому небу. Временами попадались черные туннели, и когда поезд опять выскакивал на свет, внизу распахивались огромные пропасти, в глубине которых лежали селения. Потом они снова скрывались, опять следовали теснины с остатками снега в складках и щелях. Поезд останавливался перед убогими вокзальчиками и на конечных станциях, от которых отходил затем в противоположном направлении; тогда все путалось, и трудно было понять, в какую же сторону ты едешь и где какая страна света. Развертывались величественные высокогорные пейзажи с их священной фантаσμαгорией громоздящихся друг на друга вершин, и тебя несло к ним, между ними, они то открывались почтительному взору, то снова исчезали за поворотом. Ганс Касторп вспомнил, что область лиственных лесов уже осталась позади, а с нею, вероятно, и зона певчих птиц, и от мысли об этом замирании и оскудении жизни у него вдруг закружилась голова и ему стало не по себе; он даже прикрыл глаза рукой. Но дурнота тут же прошла. Он увидел, что подъем окончен, – перевал был преодолен. И тем спокойнее поезд побежал по горной долине.

Было около восьми часов вечера, и сумерки еще не наступили. Вдали открылось озеро, его воды казались стальными, черные пихтовые леса поднимались по окружавшим его горным склонам; чем выше, тем заметнее леса редели, потом исчезали совсем; и глаз встречал только нагие, мгlistые скалы.

Поезд остановился у маленькой станции. – это была Давос-деревня, – Ганс Касторп услышал, как на платформе выкрикнули название: он был почти у цели. И вдруг совсем рядом раздался голос его двоюродного брата Иоахима Цимсена, и этот неторопливый гамбургский голос проговорил:

– Ну здравствуй! Что же ты не выходишь? – И когда Ганс высунулся в окно, под окном, на перроне, оказался сам Иоахим, в коричневом демисезонном пальто, без шляпы, и вид у него был просто цветущий. Иоахим рассмеялся и повторил: – Вылезай, не стесняйся!

– Я же еще не доехал, – растерянно проговорил Ганс Касторп, не вставая.

– Нет, доехал. Это деревня. До санатория отсюда ближе. У меня тут экипаж. Давай-ка свои вещи.

Тогда, взволнованный приездом и свиданием, Ганс Касторп смущенно засмеялся и передал ему в окно чемодан, зимнее пальто, портплед с зонтом

и тростью и даже книгу «Ocean steamships». Затем пробежал по узкому коридору и спрыгнул на платформу, чтобы, так сказать, самолично приветствовать двоюродного брата, причем поздоровались они без особой чувствительности, как и полагается людям сдержанным и благовоспитанным. Почему-то они всегда избегали называть друг друга по имени, боясь больше всего на свете выказать излишнее душевное тепло. Однако называть друг друга по фамилии было бы нелепо, и они ограничивались простым «ты». Это давно вошло у них в привычку.

Неподалеку стоял человек в ливрее и фуражке с галунами, наблюдая за тем, как они торопливо и несколько смущенно пожимают друг другу руку, причем молодой Цимсен держался совсем по-военному; затем человек этот подошел к ним и попросил у Ганса Касторпа его багажную квитанцию, – это был портье из интернационального санатория «Берггоф»; он сказал, что получит большой чемодан приезжего на станции «Курорт», а экипаж доставит господ прямо в санаторий, они как раз поспеют к ужину. Портье сильно хромотал, и первый вопрос, с каким Ганс Касторп обратился к двоюродному брату, был:

– Он что – ветеран войны? Почему он так хромотает?

– Ну да! Ветеран войны! – с некоторой горечью отозвался Иоахим. – Это болезнь сидит у него в коленке, или, верней, сидела, ему потом вынули коленную чашку.

Ганс Касторп понял свою оплошность.

– Ах, так! – поспешно сказал он, не останавливаясь, поднял голову и бросил вокруг себя беглый взгляд. – Ты же не станешь уверять меня, что у тебя еще не все прошло? Выглядишь ты, будто уже получил офицерский темляк и только что вернулся с маневров. – И он искоса посмотрел на двоюродного брата.

Иоахим был выше и шире в плечах, чем Ганс Касторп, и казался воплощением юношеской силы, прямо созданным для военного мундира. Молодой Цимсен принадлежал к тому типу темных шатенов, которые встречаются нередко на его белокурой родине, а и без того смуглое лицо стало от загара почти бронзовым. У него были большие черные глаза, темные усики оттеняли полные, красиво очерченные губы, и он мог бы считаться красавцем, если бы не торчащие уши. До известного момента его жизни эти уши были его единственным горем и заботой. Теперь у него было достаточно других забот. Ганс Касторп продолжал:

– Ты ведь потом вместе со мной вернешься вниз? Не вижу, почему бы тебе не вернуться...

– Вместе с тобой? – удивился Иоахим и обратил к нему свои большие

глаза, в которых и раньше была какая-то особая мягкость, а теперь, за минувшие пять месяцев, появилась усталость и даже печаль. – Когда это – вместе с тобой?

– Ну, через три недели?

– Ах так, ты мысленно уже возвращаешься домой, – заметил Иоахим. – Но ведь ты еще только приехал. Правда, три недели для нас здесь наверху – это почти ничто. Но ты-то явился в гости и пробудешь всего-навсего три недели, для тебя это очень большой срок! Попробуй тут акклиматизироваться, что совсем не так легко, должен тебе заметить. И потом – дело не только в климате: тебя ждет здесь немало нового, имей в виду. Что касается меня, то дело обстоит вовсе не так весело, как тебе кажется, и насчет того, чтобы «через три недели вернуться домой», это, знаешь ли, одна из ваших фантазий там, внизу. Я, правда, загорел, но загар мой главным образом снежный, и обольщаться им не приходится, как нам постоянно твердит Беренс; а когда было последнее общее обследование, то он заявил, что еще полгодика мне уж наверняка здесь придется просидеть.

– Полгода? Ты в своем уме? – воскликнул Ганс Касторп. Они вышли из здания станции, вернее – просто сарая, и уселись в желтый кабриолет, ожидавший их на каменистой площадке; когда гневные тронули, Ганс Касторп возмущенно задвигался на жестких подушках сиденья. – Полгода? Ты и так здесь уже почти полгода! Разве можно терять столько времени!..

– Да, время, – задумчиво проговорил Иоахим; он несколько раз кивнул, глядя перед собой и словно не замечая искреннего возмущения двоюродного брата. – До чего тут бесцеремонно обращаются с человеческим временем – просто диву даешься. Три недели для них – все равно что один день. Да ты сам увидишь. Ты все это еще сам узнаешь... – И добавил: – Поэтому на многое начинаешь смотреть совсем иначе.

Ганс Касторп незаметно продолжал наблюдать за ним.

– Но ведь ты все-таки замечательно поправился, – возразил он, качнув головой.

– Разве? Впрочем, я ведь тоже так считаю, – согласился Иоахим и, выпрямившись, откинулся на спинку сиденья; однако опять сполз и сел боком. – Конечно, мне лучше, – продолжал он, – но окончательно я еще не выздоровел. В верхней части левого легкого, где раньше были хрипы, теперь только жесткое дыхание, это не так уж плохо, но внизу дыхание еще очень жесткое, есть сухие хрипы и во втором межреберном пространстве.

– Какой ты стал ученый, – заметил Ганс Касторп.

– Нечего сказать, приятная ученость! Как мне хотелось бы вместо санатория очутиться в армии и вытряхнуть всю эту ученость из головы, –

ответил Иоахим. – А потом у меня все еще появляется мокрота, – он небрежно и раздраженно передернул плечами – новый для него жест, который ему не шел, – затем из бокового кармана вытащил до половины некий предмет, показал кузену и тут же спрятал; это была плоская, слегка изогнутая фляжка синего стекла с металлической крышкой. – Такие штуки носит с собой большинство из нас здесь наверху, – пояснил он. – И прозвище ей дали весьма остроумное. А на пейзаж ты обратил внимание?

Ганс Касторп и так смотрел во все глаза.

– Замечательно, – сказал он.

– В самом деле? – спросил Иоахим.

Оставив за собой неравномерно застроенную длинную улицу, которая тянулась вдоль узкоколейки, они свернули влево, переехали через полотно железной дороги, через мост над потоком, и экипаж стал подниматься в гору по отлогому шоссе, навстречу лесистым склонам. Там, на поросшей травой площадке, немного выше курорта, стояло длинное здание, обращенное фасадом на юго-запад, с увенчанной куполом башенкой и множеством балкончиков, благодаря чему оно издали напоминало пористую губку со множеством ячеек; в этом здании уже вспыхивали вечерние огни. Быстро надвигались сумерки. Легкое сияние зари, ненадолго оживившее затянутое тучами небо, уже угасло, и природа погрузилась в то переходное состояние – тусклое, мертвенное и печальное, – которое предшествует окончательному наступлению ночи. Длинная, слегка изгибающаяся между гор долина с ее селениями теперь тоже повсюду осветилась, и не только она: местами загорелись огни и на обоих ее склонах – на правом, крутом, где террасами поднимались строения, и на левом, покрытом лугами, по которому разбегались тропинки, терявшиеся в плотной черноте хвойных лесов. Далекие кулисы гор там, где долина сужалась, были окрашены в синевато-серый цвет. Поднялся ветер, вечерний холодок давал себя знать.

– Нет, говоря по правде, я не нахожу все это уж таким потрясающим, – заметил Ганс Касторп. – А где же у вас тут глетчеры, фирны, мощные горные гиганты? Эти вершинки вон там, по-моему, не бог весть как высоки.

– Нет, они высокие, – возразил Иоахим. – Видишь, где проходит граница лесов? Она почти всюду очень отчетлива, там кончаются ели, а с ними кончается все и уже ничего нет, только скалы, как ты, вероятно, заметил. Видишь, справа от Шварцхорна – высокий зубец? Там есть даже глетчер! Вон то, синее... Он не велик, но это настоящий глетчер, все как полагается, глетчер Скалетта. А там – Пиц Мишель и Тинценхорн, отсюда

их не видно, они всегда покрыты снегом, круглый год.

– Вечным снегом, – проговорил Ганс Касторп.

– Да, если хочешь, вечным. Все эти горы, конечно, очень высоки. Но ты подумай, ведь мы сами находимся отчаянно высоко. Тысяча шестьсот метров над уровнем моря. Поэтому мы их высоты и не замечаем.

– Да, ну и лезли же мы сегодня вверх! Признаюсь, меня прямо жуть брала! Тысяча шестьсот метров! Это приблизительно пять тысяч футов, если не ошибаюсь. В жизни своей не был на такой высоте. – И Ганс Касторп с любопытством глубоко вдохнул в себя чуждый ему воздух. Он был свеж – и только. В нем не хватало ароматов, содержания, влаги, он легко входил в легкие и ничего не говорил душе.

– Превосходно! – заметил он из вежливости.

– Да, воздух тут знаменитый. Впрочем, местность показывает себя сегодня вечером не с лучшей стороны. Иногда все видно гораздо яснее, особенно при снеге. Но в конце концов эти пейзажи быстро надоедают. Нам всем здесь наверху они ужасно надоели, можешь мне поверить, – закончил Иоахим, и его губы скривились гримасой отвращения. У Ганса Касторпа невольно возникло чувство, что Цимсен преувеличивает, не владеет своим раздражением, – что было опять-таки на него непохоже.

– Как странно ты говоришь, – заметил Ганс Касторп.

– Разве я говорю странно? – спросил Иоахим с некоторой тревогой и повернулся к двоюродному брату...

– Нет, нет, прости, это только так, минутное впечатление! – поспешил заверить его Ганс Касторп. Он имел в виду выражение Иоахима «нам здесь наверху», ибо тот употребил его уже два или три раза, оно-то и казалось Гансу Касторпу странным, чем-то пугало и вместе с тем манило.

– Как видишь, наш санаторий расположен выше курорта, – продолжал Иоахим. – На пятьдесят метров. В проспекте сказано сто, но на самом деле всего на пятьдесят. Выше всех стоит санаторий «Шацальп», – в той стороне, отсюда не видно. Зимой им приходится спускать свои трупы на бобслеях^[3], так как дороги становятся непроходимыми.

– Свои трупы? Ах, да! Но послушай, – воскликнул было Ганс Касторп. И вдруг им овладел смех, бурный, неудержимый смех; этот смех так потряс его грудную клетку, что несколько одеревеневшее от резкого ветра лицо молодого человека даже скривилось болезненной гримасой. – На бобслеях! И ты об этом рассказываешь совершенно спокойно? Ну, знаешь, за эти пять месяцев ты стал прямо циником!

– И вовсе не циником, – возразил Иоахим, пожав плечами. – Почему? Ведь трупам все равно... Впрочем, может быть, здесь у нас и становятся

циниками. Сам Беренс – настоящий старый циник, а кроме того, чудесный малый, бывший корпорант и, как видно, блестящий хирург. Потом есть еще Кроковский – ассистент Беренса, ничего не скажешь, толковая голова. В проспекте особенно подчеркивается его деятельность. Дело в том, что он занимается с пациентами расчленением души.

– Чем он занимается? Расчленением души? Вот гадость! – воскликнул Ганс Касторп, и тут его веселье перешло все границы: он уже не мог владеть собой. После всего, что ему пришлось услышать, это «расчленение души» переполнило чашу, и он так начал хохотать, что слезы потекли у него из-под руки, которой он, наклонившись вперед, прикрыл глаза. Иоахим тоже искренне рассмеялся – смех, казалось, его успокоил, – и когда лошади шагом доставили их по крутой и извилистой подъездной аллее к главному входу интернационального санатория «Берггоф», молодые люди вышли из экипажа в самом веселом расположении духа.

Номер 34

Справа, между воротами и крытым подъездом, находилась будка портье; оттуда вышел служащий, по внешности француз, – он перед тем сидел у телефона и читал газету; француз был в такой же серой ливрее, как и хромой на вокзале, и он повел их куда-то через ярко освещенный вестибюль, по левую сторону которого находились гостиные. Ганс Касторп мимоходом заглянул в них – они были пусты.

– А где же пациенты? – спросил он.

Иоахим ответил:

– Лежат на воздухе. Сегодня мне дали отпуск, так как я должен был встречать тебя. А обычно я после ужина тоже лежу.

Еще немного, и Ганс Касторп опять расхохотался бы.

– Что? Вы лежите на балконе даже ночью, в туман? – спросил он дрогнувшим голосом...

– Да, таково предписание врачей, с восьми до десяти. А теперь пойдем, посмотри свою комнату и вымой руки.

Они вошли в лифт, который обслуживал француз. Пока они поднимались, Ганс Касторп вытер глаза.

– Фу, даже устал от смеха... Совсем обессилел, – сказал он, дыша ртом. – Ты мне нарасказал таких чудес... А уж насчет расчленения души – это переполнило чашу, всему есть предел! Потом я, вероятно, все-таки немного устал от путешествия, У тебя тоже зябнут ноги? А лицо почему-то горит... Даже неприятно. Наверное, сейчас будет ужин? Я, кажется, проголодался. Как у вас тут наверху – кормят прилично?

Они шли по коридору, и дорожка из кокосовых волокон совершенно заглушала их шаги. Сквозь молочные колокольчики абажуров с потолка лился бледный свет. Стены, выкрашенные масляной краской и словно отлакированные, поблескивали жесткой белизной. Откуда-то появилась медицинская сестра в белом чепце и в пенсне, шнурок она заложила за ухо; вероятно, протестантка, – видно, что в ней нет настоящей преданности своей профессии, ее снедает любопытство и угнетает скука. В двух местах коридора перед белыми лакированными дверями стояли какие-то баллоны – пузатые, с короткими горлами, но спросить, для чего они, Ганс Касторп забыл.

– Вот и твоя комната, – сказал Иоахим, – номер тридцать четвертый. Справа – я, слева – русская супружеская чета, – правда, они несколько

распущенны и шумливы, но иначе нельзя было устроить. Ну как?

Двери были двойные, между ними вешалка для платья. Иоахим включил верхний свет, и в его трепетной ясности комната показалась Гансу Касторпу уютной и мирной: белая практичная мебель, белые плотные обои – их можно было мыть, – чистенький линолеум на полу и холщовые занавески, на которых согласно современным вкусам был выткан несложный веселенький узорчик. В открытую настежь балконную дверь видны были огни в долине и доносилась далекая танцевальная музыка. К приезду кузена добряк Иоахим поставил в вазу на комодке букетик цветов, все, что удалось собрать после покоса, – пучок кашки и несколько колокольчиков, сорванных им собственноручно на горных склонах.

– Очень мило с твоей стороны, – сказал Ганс Касторп. – А какая симпатичная комната! Тут можно спокойно и приятно прожить две-три недели!

– Два дня тому назад здесь умерла одна американка, – вдруг сказал Иоахим. – Беренс сразу предупредил, что она не дотянет до твоего приезда и можно будет отдать эту комнату тебе. При ней был ее жених, английский морской офицер, но не скажу, чтобы он владел собой. То и дело выбегал в коридор и плакал, точно мальчишка. А потом начинал втирать в кожу кольдкрем – он побрился и от слез жгло щеки. Вечером у американки кровь хлынула горлом, два кровотечения – и конец. Но ее унесли вчера утром, и потом тут, конечно, все выпарили формалином, он, знаешь ли, считается в таких случаях отличным средством.

Ганс Касторп слушал кузена с какой-то взволнованной рассеянностью. Засучив рукава и став перед объемистым умывальником, никелированные краны которого поблескивали в электрическом свете, он неприметно скользнул взглядом по опрятно застеленной кровати из белого металла.

– Все выпарили... Это здорово, – с довольно неуместной развязностью заметил он, тщательно вымыв и вытерев руки. – Да, метилальдегида не выдерживает самая живучая бактерия, – H_2CO , но от него щиплет в носу, верно? У вас тут первым условием является бес-спорно строжайшая чистота... – Он произнес «бес-спорно» как два отдельных слова, хотя двоюродный брат, став студентом, отучился от этого довольно распространенного произношения и говорил «бесспорно»; затем продолжал с большой словоохотливостью: – Что я еще хотел сказать... Ах, да, вероятно, морской офицер брился безопасной бритвой, но, по-моему, такой бритвой, если ее хорошенько наточить, скорее можно порезаться, чем опасной, таков по крайней мере мой личный опыт, ведь я пользуюсь и той и другой... Ну, а когда соленая вода попадает на раздраженную кожу, конечно

больно, и он, наверно, привык на службе мазаться кольдкремом, тут ничего особенного нет... – Ганс Касторп продолжал болтать; он сообщил, что у него в чемодане припасено двести штук «Марии Манчини» – это его любимые сигары, на таможне осматривали спустя рукава... Потом передал приветы от разных лиц на родине. – Разве здесь не топят? – вдруг прервал он себя и, подбежав к трубам, пощупал их рукой.

– Нет, нас приучают к холодку, – ответил Иоахим. – Но в августе, когда начинает работать центральное отопление, будет гораздо теплее.

– В августе, в августе! – повторил Ганс Касторп. – А мне сейчас холодно! Мне ужасно холодно, и зябнет именно тело, а лицу почему-то очень жарко – вот, тронь, видишь, как у меня щеки горят!

Предложение тронуть его лицо весьма мало соответствовало характеру Ганса Касторпа и неприятно подействовало на него самого.

– Это от воздуха и не имеет никакого значения. У самого Беренса целый день синие щеки. Некоторые люди так и не привыкают. Ну, go on^[4], а то нам уже не дадут поесть, – сказал Иоахим.

В коридоре опять показалась сестра, она с любопытством следила за ними близорукими глазами. Но на первом этаже Ганс Касторп вдруг остановился, словно пригвожденный к месту: из-за поворота донеслось какое-то совершенно отвратительное клокотанье, негромкое, но до того мерзкое, что молодой человек сделал гримасу и изумленно посмотрел на кузена. Это был кашель, и, очевидно, кашлял человек. Однако такого кашля Ганс Касторп никогда и ни при каких обстоятельствах не слышал, в сравнении с ним любой кашель показался бы мощным выражением здоровья и жизненных сил, – а тут человек кашлял без всякого вкуса и удовольствия, не отчетливыми и равномерными толчками, а, казалось, он бессильно барахтается в гуще каких-то выделений своего организма.

– Да, – сказал Иоахим, – его дело плохо, настоящий австрийский барин, понимаешь ли, изысканный, прямо-таки созданный быть аристократическим наездником. А теперь вот в таком состоянии. Но он еще ходит.

Они двинулись дальше, и Ганс Касторп снова заговорил о кашле австрийца.

– Не забудь, – сказал он, – что я ничего подобного никогда не слышал, все это для меня в новинку, и, конечно, производит впечатление. Ведь есть так много разных кашлей, – сухой и влажный, влажный менее опасен, как все утверждают, и уж конечно лучше, чем такой вот лай. Когда у меня в юности (он так и сказал: «в юности») бывала ангина, я лаял, как волк, и все радовались, если лай становился влажным, до сих пор помню. Но я даже не

подозревал, что можно так кашлять, – это даже не кашель живого человека, он не сухой, но и влажным его не назовешь, это совсем не то слово; когда так кашляют, кажется, будто видишь человеческое нутро – а там только липкое месиво да слизь...

– Ну, – отозвался Иоахим, – мне-то приходится слышать его каждый день. Так что можешь не расписывать.

Но Ганс Касторп не успокаивался и повторял все вновь и вновь, что при таком кашле видишь нутро человека. Когда они наконец вошли в ресторан, его усталые с дороги глаза возбужденно блестели.

В ресторане

Ресторан был элегантен, уютен, ярко освещен. В него попадали из холла, первые двери направо, и, как сообщил Иоахим, рестораном пользовались главным образом вновь прибывшие больные, обитатели санатория, почему-либо опоздавшие к обеду или ужину, и те, у кого были гости. Здесь праздновались дни рождений, отъезды, благоприятные результаты общих обследований.

– Иной раз тут даже устраиваются пиры, – продолжал рассказывать Иоахим, – подают шампанское.

Сейчас в ресторане сидела только одна дама лет тридцати; она читала книгу, что-то напевая и слегка постукивая по столу средним пальцем левой руки. Когда молодые люди заняли столик, она переменила место, чтобы сидеть к ним спиной.

– Нелюдимка... – вполголоса пояснил Иоахим, – всегда является в ресторан с книгой. Она попала в санаторий совсем молоденькой девушкой и с тех пор так тут и живет.

– Ну, тогда ты, в сравнении с ней, еще новичок, с твоими пятью месяцами, и будешь им, если проторчишь здесь даже целый год, – сказал Ганс Касторп; в ответ Иоахим передернул плечами, – опять этот жест, ему раньше не свойственный, – и взялся за меню.

Они расположились у окна, на возвышении, это было самое лучшее место в зале. И вот они сидели друг против друга на фоне кремовой шторы, и на их лица падал свет настольных ламп, смягченный красными абажурами. Ганс Касторп сложил перед собой только что вымытые руки, затем неторопливо и с удовольствием потер их, как делал обычно, когда садился за стол, – может быть потому, что его предки имели обыкновение молиться перед супом. Их столик обслуживала приветливая, расторопная девушка в черном платье и белом переднике, с широким, румяным и безусловно здоровым лицом; Ганс Касторп очень смеялся, узнав, что кельнерш здесь зовут «столовые девы». Кузены заказали бутылку Грюо Лароз, причем, когда «дева» подала его, Ганс Касторп отправил вино обратно, чтобы его лучше подогрели. Ужин был отличный: суп из спаржи, фаршированные помидоры, жаркое с самым разнообразным гарниром, особенно вкусное сладкое, сыр и фрукты. Он усердно ел, хотя его аппетит оказался меньше, чем он предполагал. Но у него была привычка усердно есть, даже когда не хотелось, он ел много просто из

самоуважения.

Иоахим не слишком оказывал честь вкусным кушаньям: ему уже надоела эта стряпня, заявил он, всем им тут наверху она приелась, и у них принято бранить здешний стол. Ведь когда проживешь в этом месте тридцать лет и три года... но пил с большим удовольствием и даже самозабвенно; тщательно избегая всяких слишком чувствительных выражений, он вторично высказал свою радость по поводу того, что наконец-то есть человек, с которым можно перекинуться разумным словом.

– Нет, это чудесно, что ты приехал, – заявил он, и в его обычно спокойном голосе прозвучало тайное волнение. – Откровенно говоря, твой приезд для меня – целое событие. Хоть какое-то разнообразие, я хочу сказать – хоть какая-то перемена, что-то новое в этом вечном, невыносимом однообразии...

– Но ведь время у вас тут, наверно, просто летит, – заметил Ганс Касторп.

– И летит и тянется, как посмотреть, – ответил Иоахим. – В сущности, оно стоит на месте, это жене время и это не жизнь – какая там жизнь, – продолжал он, покачав головой, и снова налил себе вина.

Выпил и Ганс Касторп, хотя его лицо уже пылало. Однако ему все еще было холодно, и он ощущал во всем теле какое-то неведомое, радостное и вместе с тем томительное беспокойство. Он так и сыпал словами, оговаривался, но, пренебрежительно махнув рукой, не прерывал себя, чтобы поправиться. Впрочем, оживлен был и Иоахим, а когда напевающая дама вдруг встала и удалилась, их беседа потекла еще веселей и непринужденнее. Они жестикулировали вилками, с набитым ртом строили многозначительные мины, пожимали плечами, смеялись, кивали и, едва проглотив кусок, снова подхватывали нить разговора. Иоахим расспрашивал о Гамбурге, коснулся предполагаемого углубления русла Эльбы^[5].

– Теперь начнется новая эра! – заявил Ганс Касторп. – Новая эра развития нашего судоходства, – этого переоценить нельзя. Пятьдесят миллионов мы вкладываем в виде единовременного бюджетного расхода. А мы знаем, что делаем, можешь не сомневаться.

Впрочем, несмотря на всю важность, которую Ганс Касторп придавал вопросу об Эльбе, он тотчас перескочил на другое и потребовал, чтобы Иоахим рассказал ему подробнее относительно жизни «здесь наверху», а также о пациентах санатория, за что тот принялся с охотой, ибо рад был возможности выговориться и поделиться впечатлениями. Ему пришлось повторить свой рассказ о трупах, которые спускают вниз на бобслеях, и

еще раз подтвердить, что это суцая правда. А так как Гансом Касторпом снова овладел неудержимый смех, расхохотался и он и, видимо, смеялся с удовольствием, от души; потом сообщил еще много смешного, чтобы поддержать веселое настроение. Например, за его столом сидит некая дама, фрау Штер, – она довольно серьезно больна, – и вот эта дама – хотя она супруга музыканта из Каннштата, но таких невежд он еще не видывал, – она говорит «дезинфисцировать», и притом – вполне серьезно. А ассистента Кроковского она называет «Фомулюс»^[6]. Вот и слушай ее без смеху и виду не подавай. Кроме того, она сплетница, как, впрочем, почти все здесь наверху... а про другую даму, некую фрау Ильтис, она говорит, что та носит при себе «стерилет». Она называет стилет «стерилетом» – восхитительно, правда? – И, откинувшись на спинки стульев, полулежа, они так расхохотались, что у обоих задергалось все тело и почти одновременно началась икота.

Но лицо Иоахима вдруг потемнело, он вспомнил о собственной участи.

– Да, вот мы сидим и смеемся, – начал он со страдальческим выражением лица – от сотрясений диафрагмы его речь то и дело прерывалась, – а даже сказать трудно, когда я отсюда выберусь; если Беренс говорит – еще полгода, он обычно называет наименьший срок, и нужно быть готовым к гораздо большему. Но ведь это жестоко, посуди сам, и для меня очень плохо. Ведь я уже кончал училище и мог бы в следующем месяце сдать экзамен на офицера. Вместо этого я тут торчу без дела, с градусником во рту, считаю курьезы невежественной фрау Штер, а драгоценное время уходит. В нашем возрасте год – это немало, там внизу жизнь приносит за год столько перемен, таких можно добиться успехов... А я тут должен протухать, как застоявшаяся вода в яме... бездельничать, как ленивый болван, – нет, это вовсе не грубое сравнение...

Ганс Касторп почему-то спросил в ответ, можно ли тут достать портеру, и когда двоюродный брат с некоторым удивлением взглянул на него, то увидел, что тот сейчас заснет, – собственно говоря, уже заснул.

– Да ты спишь! – сказал Иоахим. – Пойдем, время лечь обоим.

– Никакого времени нет, – пробормотал Ганс Касторп, едва ворочая языком. Все же он последовал за Иоахимом деревянной походкой и слегка сутулясь, точно человек, который буквально падает от усталости; но вдруг решительно взял себя в руки, когда Иоахим, проходя через холл, который был теперь лишь слабо освещен, сказал:

– Вон Кроковский. По-моему, следует скоренько тебя представить.

Доктор Кроковский сидел в одной из гостиных перед камином, на

свету, рядом с открытой выдвижной дверью и читал газету. Он встал, когда молодые люди подошли к нему, и Иоахим, вытянувшись по-военному, заявил:

– Разрешите, доктор, представить вам моего двоюродного брата Ганса Касторпа из Гамбурга. Только что приехал.

Доктор Кроковский приветствовал вновь прибывшего с веселой солидностью и ободряющей сердечностью, словно хотел показать, что с глазу на глаз с ним – всякое смущение излишне, а уместно лишь радостное доверие. Был он лет тридцати пяти, широкоплечий, плотный, гораздо ниже ростом стоявших перед ним молодых людей, так что ему приходилось склонять голову набок, чтобы заглянуть им в лицо, – и необычайно бледный какой-то прозрачной, почти флуоресцирующей бледностью, которую еще подчеркивали темные жаркие глаза, чернота бровей и довольно длинная, разделенная надвое борода, уже чуть серебрившаяся сединой. На нем был черный слегка потертый костюм с двубортным пиджаком, черные же полуботинки с верхом, как у сандалий, серые шерстяные носки и мягкий отложной воротник – такой воротник Ганс Касторп видел до сих пор только на фотографии в Данциге и нашел, что он придает Кроковскому что-то артистическое. Ласково улыбаясь, так что в чаще бороды блеснули его желтые зубы, и тряхнув молодому человеку руку, он сказал баритоном и с несколько тягучим иностранным акцентом:

– Добро пожаловать, господин Касторп! Надеюсь, вы скоро привыкнете и будете чувствовать себя хорошо у нас. Осмелюсь спросить, вы к нам приехали как пациент?

Ганс Касторп делал просто трогательные усилия держаться как подобает воспитанному юноше и побороть сонливость. Его злило, что он в такой плохой форме, и, с самолюбивой обидчивостью молодости, он уже воображал, что улавливает в улыбке и ободряющем тоне ассистента скрытую насмешку. Отвечая Кроковскому, он упомянул о трех неделях, а также о сданных экзаменах и добавил, что, слава богу, вполне здоров.

– Вот как? – удивился доктор Кроковский и, словно поддразнивая его, склонил голову на плечо, улыбнувшись еще шире... – Ну, тогда вы – феномен, достойный всестороннего изучения! Мне еще ни разу не приходилось встречать вполне здорового человека. Какие же экзамены вы сдали, осмелюсь спросить?

– Я – инженер, – ответил Ганс Касторп скромно, но с достоинством.

– Ах, инженер! – Улыбка доктора Кроковского словно померкла, она стала как будто менее широкой и сердечной. – Что ж, молодец! Значит, ни вашему телу, ни вашей душе здесь не понадобится врачебная помощь?

– Нет, огромное спасибо! – Ганс Касторп в страхе чуть не попятился.

Лицо доктора Кроковского вновь просияло торжествующей улыбкой, он снова тряхнул руку молодого человека и громко возгласил:

– Ну, так спите спокойно, господин Касторп, – с полным сознанием своего безупречного здоровья! Спите спокойно и до свиданья! – Этим он как бы отпустил молодых людей и, сев в кресло, опять взялся за газету.

Лифтера уже не было, они стали подниматься по лестнице пешком, молча, несколько смущенные встречей с Кроковским. Иоахим проводил Ганса Касторпа до комнаты номер тридцать четыре, куда хромой действительно уже доставил его багаж, и кузены еще поболтали с четверть часика, пока Ганс Касторп вынимал ночное белье и принадлежности для умывания и курил толстую некрепкую сигарету. Сегодня он обошелся без сигары, и это казалось ему каким-то удивительным и необъяснимым событием.

– Лицо у него очень значительное, – начал молодой человек, выпуская клубы дыма. – И бледное... совсем восковое. Но обувь... Послушай, это же ужас! Какие-то серые шерстяные носки, сандалии... Он под конец на меня не обиделся?

– Кроковский довольно чувствителен, – согласился Иоахим. – Тебе не следовало так категорически отказываться от лечения, по крайней мере – психического. Он не любит, когда уклоняются от его помощи как врача. Ко мне он тоже не очень-то благоволит – я недостаточно ему доверяю. Но время от времени я все же рассказываю ему свои сны, должен же он хоть что-нибудь расчленять.

– Ну, тогда он наверное на меня обиделся, – с досадой заметил Ганс Касторп. Он был недоволен собой: вот задел кого-то... Кроме того, усталость охватила его с новой силой.

– Спокойной ночи, – сказал он, – я прямо с ног валюсь.

– В восемь я буду у тебя, пойдем завтракать, – сказал Иоахим и удалился.

Ганс Касторп сделал кое-как свой ночной туалет. Едва он успел потушить лампочку, стоявшую на ночном столике, как сон сморил его, но он тут же испуганно очнулся, вспомнив, что на этой самой кровати всего два дня назад кто-то умер. «И, наверно, не один здесь умирал», – сказал он себе, словно это могло послужить утешением. «Просто смертный одр, обыкновенный смертный одр». И заснул.

Но как только он погрузился в сон, начались сновидения, и они не прекращались почти до утра. Главным образом ему снился Иоахим Цимсен в странной позе, словно тело его было вывихнуто; Иоахим съезжал на

бобслее по крсой дороге. Лицо его покрывала такая же бледность, как у доктора Кроковского, а впереди сидел австрийский аристократ; черты лица у него были самые неопределенные, как у человека, о котором ничего не знаешь, кроме его кашля. И он правил. «Нам же здесь наверху это совершенно безразлично», – заявил вывихнутый Иоахим, а потом оказалось, что это у него, а не у австрийца, такой ужасный клокачуший кашель. Поэтому Ганс Касторп горько заплакал и тут же решил, что ему надо бежать в аптеку и купить себе кольдкрему. Но у дороги сидела фрау Ильтис с остренькой мордочкой и держала что-то в руке, очевидно свой «стерилет», – оказалось, всего-навсего безопасную бритву; это заставило Ганса Касторпа снова рассмеяться. Так его швыряло из одних сновидений в другие, пока в полуоткрытую балконную дверь не просочилось утро, – оно и разбудило его.

ГЛАВА ВТОРАЯ

О крестильной купели и о дедушке в двойном образе

Ганс Касторп сохранил о родительском доме лишь смутные воспоминания, отца с матерью он почти не знал. Оба умерли один за другим – между его пятым и седьмым годом; сначала мать, – она совершенно неожиданно, незадолго до родов, скончалась от закупорки сосудов, последовавшей за воспалением нервов, от эмболии, как определил болезнь доктор Хейдекинд; закупорка и вызвала мгновенный паралич сердца: мать только что хохотала, сидя в постели, и казалось, она просто упала навзничь от смеха, однако это случилось с ней лишь потому, что она умерла. Не легко было примириться с этим Гансу-Герману Касторпу, его отцу, и так как он горячо любил жену, да и сам был не из крепких, то не выдержал этого удара. С того времени ум его как-то ослабел и расстроился; поглощенный тоской, он допустил в делах некоторые ошибки, так что фирма «Касторп и сын» понесла чувствительные убытки; через два года, весной, во время инспекции складов в ветреном порту, он заболел воспалением легких; его потрясенное сердце не вынесло высокой температуры, поэтому, несмотря на всю тщательность, с какой его лечил доктор Хейдекинд, он сгорел в пять дней и последовал за женой в семейный склеп, причем многие почтенные бюргеры проводили его на кладбище св. Екатерины до могилы, расположенной в живописнейшем месте, с видом на ботанический сад.

Его отец, сенатор, пережил сына, хотя и не намного; недолгое время до его смерти, последовавшей также от воспаления легких, причем старик очень мучился и упорно боролся с болезнью, ибо, в отличие от сына, Ганс-Лоренц Касторп был могучей натурой, пустившей крепкие корни в жизнь, – это недолгое время, всего каких-нибудь полтора года, осиротевший Ганс Касторп прожил в доме деда. Дом занимал узкий земельный участок на Эспланаде, он был построен в начале прошлого века, в духе северного классицизма и выкрашен в прочный, но унылый цвет; по бокам главного входа стояли два пилястра, полуподвальный этаж был поднят на пять ступеней над землей, еще два этажа высились над бельэтажем, где окна доходили до полу и были защищены чугунными литыми решетками.

Здесь находились только парадные покои и светлая, выложенная штучным деревом столовая, три окна которой с винно-красными занавесками глядели в садик за домом. И вот, в течение тех полутора лет,

что старик еще прожил, каждый день ровно в четыре часа дед и внучек обедали вдвоем в этой столовой; им прислуживал старик Фите; в ушах у него были серьги, а на фраке – серебряные пуговицы; он носил такой же батистовый галстук, как и сам хозяин дома, и совершенно так же прятал в него бритый подбородок, причем дедушка называл его на «ты» и в разговоре с ним неизменно пользовался нижненемецким наречием^[7]: не шутки ради, – дед был совершенно лишен юмористической жилки, – а самым серьезным образом, оттого что считал нужным так разговаривать с простонародьем – со складскими рабочими, почтальонами, кучерами и слугами. Гансу Касторпу это нравилось, и еще больше нравилось, когда Фите отвечал барину на том же диалекте и, стоя за ним слева, наклонялся на правую сторону, чтобы сенатору было удобнее подставлять правое ухо, ибо на левое он был глуховат. А так старик слышал все, что говорил слуга, и, кивая головой, продолжал кушать; он сидел очень прямо между спинкой стула красного дерева и столом, едва склоняясь над тарелкой, внук же, сидевший напротив, созерцал бессознательно, однако с глубоким вниманием, скупые, изысканные движения старческих рук – сухих, но красивых и белых, его выпуклые остроугольные ногти, перстень с зеленой печаткой на указательном пальце правой руки и то, как дед берет на кончик вилки немного мяса, овощей и картофеля и, сделав ей навстречу легкое движение головой, подносит ко рту. Потом Ганс Касторп опускал глаза на собственные, еще неловкие руки и чувствовал, что в них уже заложена способность со временем так же держать нож и вилку и действовать ими так же изысканно.

Другой вопрос, который мальчик задавал себе, был о том, научится ли он когда-нибудь погружать, как и дед, свой подбородок в белый странно широкий галстук – скорее шейный платок, закрывавший почти целиком низко вырезанный воротничок какого-то необычного образца, причем острые уголки воротничка царапали деду щеки. Ведь для этого надо было быть таким же старым, ибо никто на свете, кроме деда да его слуги Фите, уже не носил подобных галстуков и воротничков. А жаль, маленькому Гансу Касторпу очень нравилось, как старик опирается подбородком на этот широкий белоснежный шейный платок, и когда внук уже стал взрослым, это продолжало нравиться ему по воспоминаниям; тут было что-то, вызывавшее одобрение самой сущности его натуры.

Когда обед был кончен, салфетки свернуты и засунуты в серебряные кольца – в те времена Ганс Касторп не легко справлялся с этой задачей, ибо салфетки были очень велики, целые скатерти, – сенатор поднимался со стула, который Фите тут же отодвигал, и, шаркая ногами, следовал в

«кабинет», чтобы выкурить сигару; порою за ним шел туда и внук.

Своим существованием «кабинет» был обязан тому, что столовую в три окна сделали во всю ширину дома и места хватило не на три гостиных, как полагалось при таком типе домов, а лишь на две, причем одна из них, расположенная перпендикулярно к столовой и с одним окном на улицу, оказалась не в меру длинной. Тогда от нее отделили четвертую часть, это и был «кабинет» – узкая комната с верхним светом, сумрачная и скудно обставленная; в ней находились: этажерка, на которой стоял ящик сенатора с сигарами, ломберный стол, где хранились всякие соблазнительные вещи – карты для виста, фишки, раздвижные дощечки с мелкими зубчиками, аспидная доска, бумажные мундштуки для сигар и прочая дребедень, а также стеклянный шкаф в духе рококо из палисандрового дерева, стоявший в углу и затянутый изнутри желтыми шелковыми занавесками.

– Дедушка, – обычно говорил маленький Ганс Касторп, войдя в кабинет, и приподнимался на цыпочки, чтобы дотянуться до уха старика, – покажи мне, пожалуйста, купель!

А дед, который и так уже откинул полы своего длинного сюртука из мягкой материи и вытащил из кармана брюк связку ключей, отпирал стеклянный шкаф, откуда на мальчика веяло странно приятным и непривычным ароматом. В шкафу хранились всякие вышедшие из употребления, а потому страшно интересные предметы: пара причудливо изогнутых серебряных канделябров, украшенный деревянной резьбой поломанный барометр, альбом с дагерротипами, ликерный ящичек из кедрового дерева, маленький турок, очень жесткий под своей пестрой шелковой одеждой и снабженный часовым механизмом, который когда-то заставлял его бегать по столу, но уже давно испортился, старинная модель корабля и совсем внизу – даже мышеловка. Старик брал со средней полки сильно потемневшую серебряную чашу, стоявшую на серебряной тарелке, и показывал мальчику то и другое, причем, сняв чашу с тарелки, давал рассматривать их порознь и пускался в объяснения, которые внук уже слышал много раз.

Первоначально чаша и тарелка существовали порознь – это было бесспорно, но малышу объяснялось каждый раз заново; однако вот уже ровно сто лет, говорил дед, как была приобретена эта чаша, и они употребляются вместе. Чаша была очень красива, простой и благородной формы, созданная согласно строгим вкусам начала прошлого века. Гладкая и цельная, она покоилась на круглой подставке и была изнутри вызолочена; однако время стерло позолоту, и осталось только немного желтоватого блеска. Единственным украшением служил изящный венок из роз и

зубчатых листьев, опоясывавший верхний край. Что касается тарелки, то о ее гораздо большей древности явно говорили цифры на внутренней стороне: «1650» было там написано вычурными цифрами, причем вокруг них шел орнамент, выгравированный в тогдашней напыщенной и причудливой «модной манере» и состоявший из сплетения гербов и арабесок – не то звезд, не то цветов. А на обратной стороне были выведены пунктиром и разнообразными шрифтами имена всех тех, кто, в ходе времени, являлись владельцами этой тарелки. Их было уже семь, – возле каждого стояла дата получения ее по наследству, и старик в широком галстуке указывал пальцем с перстнем на всех по очереди. Мальчик видел здесь имя отца, деда и прадеда, а затем частица «пра» в устах старика удваивалась, утраивалась и учетверялась; мальчуган слушал, склонив голову набок, взор его становился задумчивым или бездумно-мечтательным, как бы уходил вглубь, а губы принимали какое-то благоговейно-дремлющее выражение, и это пра-пра-пра-пра – этот загадочный звук могилы и засыпанного времени, выражавший вместе с тем благочестиво сбереженную связь между настоящим, между собственной жизнью мальчика и тем, что было давно-давно, действовал на него особым образом – примерно так, как это и отражалось на его лице. Ему чудилось, будто, слыша это «пра», он вдыхает затхлый холодок, царивший обычно в церкви св. Екатерины или в склепе св. Михаила, будто чувствует на себе веяние таких мест, где идешь держа шляпу в руках, почтительно наклонившись вперед и почему-то ступая на цыпочках; ему чудилось, будто он слышит нездешнюю, умиротворенную и гулкую тишину этих мест, а глухой слог «пра» вызывал в нем ощущение духовности, смешанное с ощущением смерти и истории, – и все это действовало на мальчика благотворно; может быть, даже именно ради этого слога, только чтобы еще раз услышать его и повторить, он так часто просил деда показать купель.

Затем дед ставил чашу обратно на тарелку и давал малышу заглянуть в ее гладкое, чуть золотящееся нутро, которое вдруг вспыхивало от света, падавшего с потолка.

– Вот уже скоро восемь лет, – говорил дед, – как мы держали тебя над нею, и вода, которой тебя крестили, стекала в нее... Кистер Лассен из церкви святого Иакова лил ее в горсть нашему доброму пастору Бугенхагену, а оттуда она лилась на твой вихор и в чашу. Но мы ее перед тем подогрели, чтобы ты не испугался и не расплакался, а ты и не заплакал, наоборот – ты кричал перед тем так, что Бугенхагену нелегко было произнести свою речь, но когда на тебя полилась вода, ты вдруг затих – будем надеяться, что из уважения к святому таинству. На днях минет сорок

четыре года, как крестили твоего покойного отца и с его головы в чашу стекала вода. Это происходило здесь, в доме его родителей, наверху в зале, перед средним окном; его еще крестил старик пастор Езекиил, тот самый, кого французы, когда он был юношей, чуть не расстреляли за то, что он в своих проповедях громил их за разбой и поджоги, – он тоже давным-давно на небесах. А семьдесят пять лет тому назад меня самого крестили в этой же зале, и они держали мою голову над чашей, которая стоит вот тут на тарелке, и пастор произносил те же слова, что и над тобой и над твоим отцом, и так же стекала теплая чистая вода с моих волос (тогда их было у меня на голове немногим больше, чем сейчас) в эту золотую чашу.

Ребенок поднимал глаза и смотрел на старчески сухощавую голову деда – она ведь тоже была склонена над купелью в тот далекий час, о котором он рассказывал внуку, – и в душе мальчика возникало уже не раз изведенное им ощущение какой-то дремотной и мечтательной жути, чего-то, что проходит и все же стоит на месте, что в своих изменениях пребывает неизменным, исчезает и возвращается, оставаясь головокружительно единым. Это чувство появлялось у него и раньше, его прикосновения он ждал и жаждал; отчасти ради него мальчику и хотелось, чтобы ему все вновь и вновь показывали эту неподвижно стоящую на месте и все-таки странствующую реликвию семьи.

Когда потом, уже будучи молодым человеком, Ганс Касторп думал о себе, то ему становилось ясно, что образ деда запечатлелся в его душе гораздо глубже и отчетливее и представлялся ему более значительным, чем образ родителей; причиной этого являлась, может быть, особая симпатия к деду, чувство особого сродства с ним, ибо внук и наружностью был очень похож на него – насколько розовый юнец может походить на поблекшего и окостеневшего семидесятилетнего старца. Несомненно, эти чувства вызывал и сам дед, который бесспорно являлся в семье наиболее характерной и красочной фигурой.

С точки зрения общественного развития, время, еще задолго до кончины Ганса-Лоренца Касторпа, уже перекатилось через него и унеслось вперед. Он был глубоко верующим христианином и членом реформатской общины^[8], строго придерживался старых традиций, с трудом шел на какие-либо новшества и так упрямо отстаивал необходимость ограничить аристократией круги, способные управлять государством, как будто жил в четырнадцатом веке, когда ремесленники в упорной борьбе с исконным вольным патрициатом начали завоевывать себе места и голоса в городской думе^[9]. Его деятельность совпала с десятилетиями бурного подъема и

многообразных переворотов, с десятилетиями стремительного прогресса, шествовавшего форсированным маршем и неизменно требовавшего от общества высокой жертвенности и дерзаний. Но его, старика Касторпа, видит бог, отнюдь не радовали те прославленные и блистательные победы, которые одерживал дух новой эпохи. Обычаи отцов и старинные учреждения он ставил гораздо выше, чем все эти рискованные попытки расширить гавани или другие безбожные причуды больших городов; поэтому он тормозил и угашал все новое, где только мог, и будь его воля – в управлении страной и поныне царила бы та же допотопная идилличность, которой отличалась его собственная контора.

Таким представлялся бюргерам старик Касторп и при жизни, и после смерти; пусть маленький Ганс Касторп ничего не смыслил в государственных делах, но у него, наблюдавшего характер деда с чисто детской тихой созерцательностью, складывались в основном те же впечатления – без слов, а потому и без критики; это были скорее непосредственные живые восприятия, и когда они позднее возникали уже как осознанные воспоминания, они оставались столь же невыразимыми в словах и неподдающимися анализу, но полными прежней жизнеутверждающей силы. Как уже было сказано, здесь играло немалую роль то глубокое сродство, та симпатия и связь между дедом и внуком, которые соединяли их, минуя звено одного поколения, что случается в семьях нередко. Дети и внуки взирают на отцов и дедов, чтобы восхищаться ими, а, восхищаясь, учатся у них и развивают в себе заложенное в них отцами и дедами наследие.

Сенатор Касторп был тощ и долговяз. Годы взяли свое – его спина и шея согнулись, но, не желая выдавать этой согбенности, он упорно выпрямлял свой стан, а уголки губ, уже лежавших не на зубах, а на обнаженных деснах (старик пользовался искусственной челюстью лишь во время еды), он старался с достоинством держать опущенными; желая также скрыть, что голова у него начала трястись, он принимал гордую осанку и опирался подбородком на воротничок – привычка, особенно пленявшая маленького Ганса Касторпа.

Дед любил нюхать табак, он хранил его в продолговатой черепаховой табакерке с золотыми инкрустациями и из-за этой склонности употреблял только красные носовые платки, причем кончик обычно вывисал из заднего кармана его сюртука; хотя эта привычка и казалась несколько смешной при столь достойном внешнем облике, однако ее легко можно было извинить преклонным возрастом – либо как одну из тех вольностей, которую старость разрешает себе сознательно, из чудачества, либо как одну из тех

слабостей, которые появляются у глубоких стариков, но ими не осознаются. Во всяком случае, Ганс Касторп своим по-детски зорким взглядом подметил за дедом эту единственную слабость. И семилетнему мальчику и, позднее, взрослому человеку, когда он обращался к своим воспоминаниям, казалось, что будничны́й облик деда – это еще не его истинная, подлинная сущность. В истинной действительности он выглядит иначе, прекраснее и ближе к своему подлинному облику – как на своем портрете во весь рост, висевшем раньше в столовой родителей, а теперь перекочевавшем вместе с маленьким Гансом Касторпом в дом на Эспланаде, где его водрузили в гостиной над широким диваном, обитым красным шелком.

Художник изобразил Ганса-Лоренца Касторпа в одежде члена магистрата; это была строгая, почти ритуальная одежда прошлого столетия, – она сохранила на века дух тогдашней городской общины, важный и вместе предприимчивый, – и надевалась в самых торжественных случаях, как бы для того, чтобы церемониально претворять прошлое в настоящее и настоящее – в прошлое, тем самым подтверждая неизменную связь всех вещей и добротную надежность почтенной купеческой подписи.

Сенатор Касторп стоял во весь рост на полу из красноватых плит, фоном служили готические арки и колонны. Он стоял, опустив подбородок и углы рта, устремив вдаль задумчивый взгляд голубых глаз с отеками под ними, в черном, ниже колен, одеянии, похожем на мантию, открытом спереди и обшитом широкой меховой каймой. Из широких с буфами верхних отороченных мехом рукавов выступали более узкие нижние, из простого сукна; кружевные манжеты закрывали руки до середины пальцев. На стройных старческих ногах были черные шелковые чулки и башмаки с серебряными пряжками, шею охватывали крахмальные, широкие и пышные брыжи, спереди они были плоские, по бокам стояли вверх, а из-под них на жилет спускалось еще плоеное батистовое жабо. Под мышкой сенатор держал старомодную шляпу с полями и суживающейся кверху тульей.

Портрет, написанный известным художником, был превосходен, выдержан в манере старинных мастеров, очень подходившей к данному сюжету и будившей в зрителе воспоминания об испано-нидерландском позднем средневековье. Маленький Ганс Касторп частенько разглядывал эту картину. Он, конечно, не понимал мастерства живописца, но какое-то более общее и глубокое понимание у него возникало; и хотя он видел деда таким, как на холсте, всего один раз, в минуту его торжественного въезда в ратушу, да и то лишь мельком, все же, как мы уже отмечали, дед на картине

казался мальчику подлинным и настоящим, а дед в жизни – образом будничным и временным, вспомогательным и весьма несовершенным.

Он потому и находил что-то необычное и волшебное в будничном деде, ибо хоть и неумело, но сопоставлял эти два образа, сравнивал их и видел в будничном тайные и полустертые черты подлинного: пусть этот стоячий воротничок и белый широкий галстук старомодны, но можно ли было назвать старомодной самую восхитительную часть его одежды, а именно – испанские брыжи, по отношению к которым и галстук и воротничок явно служили только переходом? То же относилось и к старинному цилиндру, который дед носил на улице; в более высокой действительности ему соответствовала фетровая шляпа на портрете. Прообразом же длинного и широкого сюртука маленькому Гансу Касторпу представлялась отороченная мехом мантия.

Поэтому, когда его однажды позвали, чтобы проститься с мертвым дедом, он сказал себе, что вот теперь дед покоится во всей полноте и законченности своего настоящего, совершенного облика. Это было в зале, в той самой зале, где они так часто сживали друг против друга за обеденным столом. Теперь посередине стояли погребальные носилки, заваленные венками, и на них в гробу, обитом серебряным глазетом, лежал дед. Он боролся с воспалением легких долго и упорно, хотя, казалось, был лишь гостем в современной жизни и еще только примерялся к ней; и вот он уже покоился на парадном смертном ложе, и даже не скажешь: как победитель или как побежденный, во всяком случае лицо его выражало строгую умиротворенность, от борьбы с болезнью черты осунулись, нос заострился; тело было до половины накрыто одеялом, на котором зеленела пальмовая ветвь, голова была высоко поднята на подушках, так что подбородок особенно твердо упирался в брыжи; а в руки, полуприкрытые длинным кружевом манжет, – хотя пальцам искусно придали естественный вид, от них веяло неприкрытым холодом и безжизненностью, – в руки деда всунули распятие из слоновой кости, на которое сенатор, казалось, смотрел из-под опущенных век не отрываясь.

Ганс Касторп в начале последней болезни деда не раз заходил к нему в комнату, но когда дело приблизилось к развязке, уже там не бывал. Ребенка щадили и не хотели, чтобы он видел борьбу умирающего с болезнью, хотя эта борьба обострялась главным образом по ночам; поэтому он мог лишь догадываться о чем-то по удрученным лицам домочадцев, по заплаканным глазам старого Фите и постоянным приходам и уходам врачей; но событие, перед лицом которого он оказался, войдя в залу, мальчик понял так, что дед наконец торжественно освободился от своего промежуточного облика и

обрел подлинный и окончательный, а это можно было только приветствовать, хотя старик Фите и плакал, непрерывно тряся головой, да плакал и сам Ганс Касторп, так же как он плакал, глядя на свою столь недавно умершую мать, а потом на отца, который тоже лежал перед ним неподвижный и чужой.

Ибо смерть оказывала свое действие на душу и на умонастроение, особенно на умонастроение, маленького Ганса Касторпа уже в третий раз и притом – в столь юные годы. Поэтому для него не были новостью ни само зрелище смерти, ни впечатления от него, а, напротив, они были очень знакомы; и, невзирая на естественное огорчение, он, так же как и в первые два раза, и даже в большей степени, держался спокойно и рассудительно, без всякой слезливости. Еще не понимая практических последствий, которые эти события имели для его собственной жизни, и с беспечностью ребенка уверенный в том, что люди все-таки о нем позаботятся, мальчик, стоя у гроба близких, даже выказывал какое-то, тоже детское, равнодушие и озабоченную деловитость; и так как это происходило уже в третий раз и он чувствовал себя многоопытным, в нем сквозила преждевременная серьезность, хотя на этот раз он и плакал чаще от потрясения и легче заражался горем других, что было вполне естественно. Через три-четыре месяца после кончины отца он забыл о смерти; теперь он снова вспомнил о ней, и повторились тогдашние впечатления – совершенно те же и в те же минуты; но они заслоняли прошлые своим несравнимым своеобразием.

Если бы их проанализировать и заключить в слова, то эти впечатления можно было бы примерно выразить так. Со смертью для него соединялось благоговейное чувство чего-то глубокого, скорбного и прекрасного, то есть духовного, и вместе с тем ощущение чего-то совершенно противоположного, очень материального, очень плотского, о чем никак не скажешь, что оно прекрасно, глубоко, вызывает благоговение или хотя бы скорбь. Торжественно-духовное было выражено в пышном убранстве тела, в роскошных цветах, в пучках пальмовых ветвей, как известно символизирующих мир божественный, и еще яснее в распятии, лежавшем между мертвых пальцев того, кто был когда-то его дедом, в благословляющем Спасителе Торвальдсена^[10], поставленном в головах покойника, и в канделябрах, которые высились по обе стороны гроба и сейчас тоже выглядели как-то по-церковному. Более точный и утешительный смысл всех этих предметов состоял, очевидно, в том, что дед окончательно возвратился к своему подлинному и истинному облику. Но, кроме того, все они, как заметил маленький Ганс Касторп, хотя не хотел в этом признаться, – особенно груды цветов и, главное, туберозы, которых

было больше всего, – имели и другой смысл, другую, более практическую цель, а именно: приукрасить, заглушить или не допустить до сознания мысль о том другом, что таила в себе смерть и что не было ни прекрасным, ни даже скорбным, а скорее чем-то почти непристойным, низменно телесным.

Вероятно, из-за этого мертвый дед казался совсем чужим, и вовсе даже не дедом, а восковой куклой в натуральную величину, которую смерть подсунула вместо него; над ней и совершалась вся эта благоговейная и почетная церемония. Значит, тот, кто лежал перед ним, вернее то, что лежало перед ним, уже не было самым дедом, а лишь его оболочкой, и она – Ганс Касторп понимал это – состояла не из воска, а из особой материи, только из материи: отсюда – ее непристойность и почти полное отсутствие скорбности, ибо ее нет ни в чем, что связано с плотью и только с нею. И маленький Ганс Касторп рассматривал желтую, как воск, бледную и твердую материю, из которой состояла эта мертвая кукла в рост человека, рассматривал лицо и руки бывшего деда. Вот на его неподвижный лоб села муха и начала поднимать и опускать хоботок. Старый Фите осторожно согнал ее, стараясь при этом не коснуться лба, причем его лицо почтительно омрачилось, словно он не хотел, да и не должен был знать о том, что делает его рука; это выражение добродетельной строгости, видимо, относилось к тому, что дед был теперь только плотью и больше – ничем. Но муха, поднявшись в воздух и полетав, тут же снова опустилась на палец деда, неподалеку от распятия из слоновой кости. И в то время как это происходило, Гансу Касторпу почудилось, что он еще явственнее ощутил уже знакомый, легкий, но удивительно упорный запах, и этот запах пробудил в нем стыдное воспоминание об одном однокласснике, страдавшем неприятным для других недугом, почему все его сторонились; аромат поставленных совсем близко тубероз, видимо, должен был заглушить навязчивый запах, однако, несмотря на их пышность и строгость, это им не удавалось.

Мальчик несколько раз стоял у гроба: в первый раз – вдвоем со старым Фите, во второй – вместе с двоюродным дедом Тинапелем, виноторговцем, и обоими дядями – Джемсом и Петером, и потом еще в третий раз, когда у открытого гроба собралась на несколько минут группа по-праздничному одетых портовых рабочих, чтобы проститься с бывшим главою торговой фирмы «Касторп и сын». Затем состоялись похороны, зал был переполнен, и пастор Бугенхаген из церкви св. Михаила, – он же крестил Ганса Касторпа, – облачившись в испанские брыжи, произнес надгробное слово, а затем, следуя в дрожжах непосредственно за катафалком, за которым

тянулся длиннейший хвост экипажей, беседовал с маленьким Гансом Касторпом. Потом кончился и этот отрезок жизни, и мальчик тут же попал в другой дом и другую обстановку – уже во второй раз за свою молодую жизнь.

Жизнь у Тинапелей и душевное состояние Ганса Касторпа

Вреда от этого никакого не произошло: мальчика взял к себе его опекун, консул Тинапель, и Гансу Касторпу не пришлось жалеть об этом, ни в отношении себя самого – это-то уж бесспорно, – ни в отношении его интересов, хотя о них он тогда еще не думал. Консул Тинапель, дядя покойной матери мальчика, стал управлять тем, что осталось после Касторпов, продал недвижимость, взял на себя ликвидацию фирмы «Касторп и сын, импорт и экспорт» и в результате выколотил из всех этих операций около четырехсот тысяч марок, что и составило наследство Ганса Касторпа; на эти деньги консул приобрел устойчивые бумаги, причем, ничуть не оскорбляя своих родственных чувств, в начале каждого квартала регулярно оставлял себе из поступавших процентов с этих бумаг два процента комиссионных.

Дом Тинапелей стоял в глубине большого сада, у Гарвестехудской дороги, и выходил на лужайку, где не разрешалось произрастать ни одной сорной травинке, на городской питомник роз и на реку.

Каждое утро консул отправлялся в свою контору, находившуюся в старом городе; хотя у него был отличный выезд, он совершал весь путь пешком, для моциона, ибо страдал приливами крови к голове, и в пять часов пополудни возвращался, тоже пешком, домой, после чего Тинапели в высшей степени культурно обедали. У консула Тинапеля были водянисто-голубые глаза навывкате и нос, покрытый сетью багровых жилок, на котором сидели золотые очки; человек он был солидный, одевался в лучшее английское сукно, носил седую шкиперскую бороду, а на отеком мизинце левой руки перстень с крупным бриллиантом. Жена его давно умерла. У него было два сына – Петер и Джемс, один поступил во флот и редко приезжал домой, другой служил в виноторговле отца и должен был стать наследником фирмы. Хозяйство уже много лет вела некая Шаллейн, дочь золотых дел мастера из Альтоны; вокруг ее пухлых запястий неизменно белели накрахмаленные рюши, и она усердно заботилась о том, чтобы на завтрак и ужин подавалось как можно больше холодных блюд – крабов и лососины, угрей, гусиной грудинки и ростбифа с томатным соусом; она бдительно надзирала за наемными лакеями, когда у консула Тинапеля бывал званый обед без дам, и она же по мере сил старалась заменить маленькому Гансу Касторпу мать.

Ганс Касторп рос в ужасном климате, с ветрами и туманами, рос, если можно так выразиться, не снимая желтого резинового плаща, и чувствовал себя при этом очень хорошо. Правда, легкое малокровие у него наблюдалось уже с раннего детства, это говорил и доктор Хейдекинд и настаивал на том, чтобы за третьим завтраком, после школы, мальчику непременно давали добрый стакан портера – как известно, напиток весьма питательного; кроме того, доктор Хейдекинд приписывал ему кровообразующие свойства; во всяком случае, портер умирал буйных духов жизни, просыпавшихся в теле Ганса Касторпа, и успешно содействовал его склонности «клевать носом», как выражался дядя Тинапель, говоря попросту – сидеть распустив губы и грезить наяву. Но, в общем, он был здоров и ловок, хорошо играл в теннис и греб, хотя, говоря по правде, предпочитал, вместо того чтобы самому налегать на весла, сидеть на улен-хорстской пристани, потягивать хорошее вино и слушать музыку, созерцая освещенные лодки, между которыми, среди пестрых отражений, плавно скользили лебеди; и достаточно было послушать, как он чуть глуховатым, ровным голосом рассуждает обо всем спокойно и разумно с легким нижненемецким акцентом, достаточно было взглянуть на этого корректного блондина с тонко очерченным лицом, чем-то напоминавшим старинные портреты, и наследственным бессознательным высокомерием, которое сказывалось в некоторой суховатости и ленивой медлительности, – и никто не усомнился бы, что Ганс Касторп является крепким и подлинным порождением этой почвы, что он тут как нельзя более к месту; да и сам он, задай себе Ганс Касторп такой вопрос, ни на минуту в том не усомнился бы.

Ведь этой атмосферой большого приморского города, влажной, насыщенной запахами мировой торговли и сытой жизни, – этим воздухом дышали его отцы и деды, дышал им и он в полном единодушии с предками, спокойно и уверенно, считая, что иначе и быть не может. Он привык к испарениям воды, угля, смолы, к пряным ароматам разнообразнейших колониальных товаров, он видел, как в гавани огромные подъемные краны неторопливо, умно и с чудовищной мощностью, словно подражая рабочим слонам, извлекают тонны грузов – мешки, тюки и ящики, бочки и баллоны – из чрева стоящих на якоре морских судов и переносят их в товарные вагоны и на склады. Он видел коммерсантов в желтых резиновых плащах, – такой же носил и он, – спешивших в полдень на биржу, где, как он знал, началась очередная горячка, и кто-нибудь из них мог легко быть поставлен в необходимость, чтобы поддержать свои кредиты, спешно разослать приглашения на званый обед. Он наблюдал (впоследствии его интересы

были связаны именно с этой областью) суету на верфях, мамонтовые туши поставленных в доки судов, ходивших в Азию и Африку, высоких, словно башни, с обнаженными винтами и киями, подпертых гигантскими сваями; чудовищно беспомощные на суше, они были осыпаны армиями казавшихся карликами рабочих, которые стругали, забивали гвозди, красили; под навесом эллингов, окутанных клубами тумана, высились остовы будущих кораблей, а инженеры, держа в руках конструкционные чертежи и таблицы Ленца^[11], давали указания строителям. Все это были картины, знакомые Гансу Касторпу с детства, они вызывали в нем лишь ощущение чего-то привычного и родного, частью чего был он сам; причем ощущения эти достигали особенной силы, когда он с Джемсом Тинапелем или двоюродным братом Цимсеном, Иоахимом Цимсеном, посиживал воскресным утром в Альстерском павильоне, завтракая копченым мясом с булкой и стаканом старого портвейна, а затем, откинувшись на спинку стула, с упоением затягивался сигарой. Ибо его натура в том и сказывалась, что он любил хорошую жизнь и, невзирая на свою малокровную и утонченную наружность, жаждал, как ненасытный малыш груди матери, грубых и сочных радостей существования.

Легко и не без достоинства носил он бремя высокой цивилизации, которую господствующая верхушка местного демократического купечества передавала своим детям по наследству. Он был всегда опрятен, как только что вымытый младенец, и одевался лишь у того портного, который был признан молодыми людьми его круга. Небольшой, но тщательно помеченный инициалами запас белья, хранившийся в отделениях его английского шкафа, находился под неусыпным наблюдением Шаллейн; когда Ганс Касторп еще был студентом, он регулярно отправлял домой белье для стирки и починки (ибо твердо был убежден, что прилично умеют гладить только в Гамбурге), и если манжета одной из его нарядных шелковых рубашек оказывалась потертой, это могло искренне его расстроить. Руки у него были холеные, с нежной и свежей кожей, хотя по своей форме и не отличались особой аристократичностью; он носил платиновый браслет в виде цепочки и родовой дедовский перстень с печаткой; зубы у него были слабые, часто болели, и во рту кое-где поблескивали золотые пломбы.

Стоя и на ходу он слегка выставлял вперед нижнюю часть тела, почему и казался не очень стройным; но за столом держался безукоризненно. Если же он болтал с соседом (рассудительно и с легким нижненемецким акцентом), то, не сгибаясь, слегка поворачивался к нему корпусом и чуть касался локтями стола, когда разнимал птицу или особым ножом и

вилочкой искусно извлекал розовое мясо из клешни омара. Окончив трапезу, он прежде всего испытывал потребность ополоснуть пальцы в мисочке с душистой водой, затем в русской папиросе, не оплаченной пошлиной и купленной с рук в порядке безобидной контрабанды. За папиросой обычно следовала сигара весьма приятной бременской марки «Мария Манчини», о которой еще будет речь впереди и чей ядовито-пряный вкус действовал так успокоительно, смешиваясь с вкусом кофе. Желая уберечь свои запасы табачных изделий от вредного воздействия парового отопления, Ганс Касторп хранил их в погребе, куда и спускался каждое утро, чтобы положить в портсигар дневную порцию курева. И он бы с явным неудовольствием стал есть масло, поданное куском, а не в виде рифленых шариков.

Читатель видит, что мы стараемся вспомнить все, говорящее в пользу Ганса Касторпа, но в своих оценках не хватило через край и показываем его не лучше и не хуже, чем он есть на самом деле. Ганс Касторп не гений и не дурак, и если мы избегаем называть его «посредственностью», то по причине, не имеющей никакого отношения к его уму и весьма мало – к его скромной особе; мы делаем это из уважения к его судьбе, которой склонны придавать сверхличное значение. Мыслительных способностей Ганса Касторпа вполне хватало, чтобы удовлетворять требованиям реальной гимназии, притом без особых усилий, да и никакие обстоятельства, никакая предстоящая ему задача не принудили бы его к чрезмерным усилиям: не столько потому, что он боялся повредить себе, сколько оттого, что он не видел никаких причин для такого перенапряжения, вернее – бесспорных причин; и, может быть, мы потому и не назвали бы его посредственностью, что он каким-то образом ощущал отсутствие этих причин.

Человек живет не только своей личной жизнью, как отдельная индивидуальность, но – сознательно или бессознательно – также жизнью целого, жизнью современной ему эпохи; и если даже он считает общие и внеличные основы своего существования чем-то безусловно данным и незыблемым и далек от нелепой мысли критиковать их, как был далек наш Ганс Касторп, то все же вполне возможно, что он смутно ощущает их недостатки и их воздействие на его нравственное самочувствие. Перед отдельным человеком могут стоять самые разнообразные задачи, цели, надежды и перспективы, и он черпает в них импульсы для более высоких трудов и усилий; но если в том внеличном, что окружает его, если, несмотря на всю внешнюю подвижность своей эпохи, он прозревает в самом существе ее отсутствие всяких надежд и перспектив, если ему открывается ее безнадежность, безвыходность, беспомощность и если на

все – сознательно или бессознательно – поставленные вопросы о высшем, сверхличном и безусловном смысле всяких трудов и усилий эта эпоха отвечает глухим молчанием, то как раз у наиболее честных представителей человеческого рода такое молчание почти неизбежно вызывает подавленность, оно влияет не только на душевно-нравственный мир личности, но и каким-то образом на ее организм, на ее физический состав. Если эпоха не дает удовлетворительных ответов на вопросы «зачем», то для достижений, превосходящих обычные веления жизни, необходимы либо моральное одиночество и непосредственность, – а они встречаются весьма редко и по существу героичны, – либо мощная жизненная сила. Ни того, ни другого у Ганса Касторпа не было, вот почему его, вероятно, все же следовало назвать посредственностью, хотя ничуть не в обидном смысле этого слова.

Все это характерно не только для внутренней жизни данного молодого человека в его школьные годы, но и для последующих лет его жизни, когда он уже изберет свою гражданскую профессию. Что касается его успехов при прохождении гимназического курса, то следует отметить, что два раза ему даже пришлось остаться на второй год. Но, в общем, ему помогло его происхождение, городское воспитание, а также довольно значительные способности к математике, хотя и не ставшие страстью. И когда он получил свидетельство вольноопределяющегося одногодичника, то решил окончить гимназический курс, говоря по правде, главным образом потому, что так можно было продлить привычное и неопределенное состояние, в котором он находился столько лет, и оттянуть решение вопроса о том, чем же больше всего хочется стать Гансу Касторпу, ибо он этого еще не знал даже в старшем классе, и когда потом наконец решил (сказать, что решил именно он, было бы, пожалуй, преувеличением), то почувствовал, что с таким же успехом мог бы выбрать и другую профессию.

Одно было верно – корабли ему всегда ужасно нравились. Еще маленьким мальчиком покрывал он страницы своих блокнотов карандашными рисунками рыбацких катеров, лодок с овощами и пятимачто-виков, и когда в пятнадцать лет ему была дана возможность, сидя на привилегированных местах, любоваться спуском двухвинтового почтового парохода «Ганза», построенного на верфях «Блом и Фосс», он после этого нарисовал акварелью и со всеми деталями это стройное судно, причем рисунок оказался очень удачным, и консул Тинапель даже повесил его у себя в конторе; особенно искусно и любовно были изображены прозрачные морские волны цвета бутылочного стекла, и кто-то сказал консулу Тинапелю, что у Ганса Касторпа – талант, из него может выйти

хороший маринист; мнение это консул спокойно мог передать своему воспитаннику, ибо Ганс Касторп, услышав его, только добродушно рассмеялся: его ничуть не прельщали ни непрерывная работа, ни полуголодное существование, на которое обречены художники.

– Средства у тебя небольшие, – говаривал не раз дядя Тинапель, – мои деньги в основном перейдут к Джемсу и Петеру, то есть они останутся в деле, а Петер будет получать ренту. То, что принадлежит тебе, помещено прочно и приносит тебе устойчивый доход. Но существовать на проценты в наше время – дело нелегкое, если не иметь по крайней мере в пять раз больше, чем ты; а чтобы здесь, в городе, играть известную роль и жить, как ты привык, нужно еще прилично зарабатывать, запомни это, сынок.

Ганс Касторп запомнил и стал искать профессию, которая придавала бы ему вес и в собственных глазах, и в глазах людей; а когда он наконец выбрал – это случилось по инициативе старика Вильмса, компаньона фирмы «Тундер и Вильмс», который однажды, за субботним вистом, сказал консулу Тинапелю, что хорошо бы Гансу Касторпу изучить кораблестроение – это же идея – и поступить к нему, а он уж за мальчиком присмотрит; юноша тут же проникся глубоким уважением к своей профессии, решив, что хотя она чертовски тяжелая и ответственная, зато превосходная, совершенно необходимая и замечательная и уж во всяком случае больше подходит к его миролюбивой натуре, чем профессия, избранная его двоюродным братом Цимсеном, сыном сводной сестры его покойной матери, жаждавшим непременно стать военным. Притом у Иоахима Цимсена слабые легкие, вот он и стремится к деятельности, при которой много бываешь на воздухе и о серьезной, напряженной умственной работе едва ли может быть речь, и для него эта профессия – самая подходящая, с легким пренебрежением говорил себе Ганс Касторп. Ибо почтительно склонялся перед трудом, хотя сам легко уставал от работы.

Здесь мы принуждены возвратиться к уже высказанным ранее мыслям, к предположению, что воздействие эпохи на отдельного человека захватывает даже его физическую организацию. Как мог бы Ганс Касторп не уважать труд? Это было бы просто противоестественно. Весь строй окружающей жизни заставлял его относиться к труду как к чему-то заслуживающему самого неоспоримого и глубокого почитания; да, в сущности, и не было ничего, достойного большего почитания, труд служил как бы основным мерилom человека, его пригодности или непригодности для жизни, он являлся абсолютным принципом эпохи, он, так сказать, сам говорил за себя. Поэтому почитание труда было у Ганса Касторпа прямо-таки религиозным и, поскольку он отдавал себе в том отчет,

безоговорочным. Другой вопрос – любил ли он труд; а любить его он не мог, как ни уважал, и по той простой причине, что труд не шел ему впрок. Напряженная работа отзывалась на его нервах, он скоро уставал и откровенно признавался, что, говоря по правде, предпочитает досуг, ничем не отягченный, не обремененный свинцовым грузом тяжелой работы, свободное время, не ограниченное препятствиями, которые надо преодолевать с зубовным скрежетом. Это противоречие в его отношении к труду, если говорить вполне серьезно, должно было как-то разрешиться. Быть может, его тело, так же как и дух, – сначала дух, а через него и тело, – скорее согласился бы работать с большей радостью и упорством, если бы в сокровенных глубинах души – тут для него самого было много неясного – Ганс Касторп поверил бы в труд как в безусловную ценность, как в самоочевидную основу жизни и на этом успокоился бы. Здесь опять возникает вопрос о том, «посредственность» ли он, или стоит выше посредственности; однако мы предпочли бы не связывать себя определенным ответом, ибо вовсе не хотим быть панегиристами, воспевающими хвалу Гансу Касторпу, и готовы допустить, что для него труд, быть может, являлся просто некоторой помехой к ничем не омраченному наслаждению «Марией Манчини».

Военная служба его не привлекала. Ей противилась его внутренняя природа, она и удержала его от этого шага. Возможно также, что военный врач Эбердинг, бывавший в доме у Гарвестехудской дороги, в разговоре с Тинапелем был поставлен в известность о том, что, если бы молодому Касторпу пришлось взять в руки оружие, это явилось бы серьезным препятствием для его занятий наукой, начатых за пределами Гамбурга.

И вот скоро его голова, работавшая неторопливо и хладнокровно, ибо Ганс Касторп и в другом городе сохранил успокаивающую привычку пить во время завтрака портер, – скоро его голова уже была набита всякими сведениями по аналитической геометрии, дифференциальному исчислению, механике, начертательной геометрии и графостатике; он стал делать расчеты водоизмещения судна с грузом и без груза, остойчивости, дифференциального сдвига и метацентра, хотя иной раз все это давалось ему нелегко. Технические чертежи, все эти шпанты, ватерлинии и продольные разрезы получались у него не так удачно, как некогда получилось изображение «Ганзы», плывущей в открытом море; но если надо было усилить абстрактную наглядность с помощью чувственной, наложить тушью тени и раскрасить поперечные разрезы яркими, материальными красками, Ганс Касторп делал это лучше, чем большинство товарищей.

Когда он приезжал домой на каникулы, то каждому становилось ясно, что этот очень опрятный, очень хорошо одетый молодой человек с маленькими рыжеватыми усиками и несколько сонливым лицом молодого патриция, несомненно достигнет почетного положения в жизни, и люди, которые интересовались делами города и умели разбираться в семейных и личных обстоятельствах, – а таких в самоуправляющемся городе-государстве обычно бывает большинство, – эти сограждане испытующе поглядывали на него, спрашивая себя, до какой же роли в обществе дорастет со временем молодой Касторп. Ведь он унаследовал определенные традиции, принадлежность к старинному хорошему роду, и, без сомнения, настанет день, когда с его особой придется считаться как с политическим фактором. Он будет членом городской думы и депутатом, будет издавать законы, ему выпадет на долю почетное участие в государственных заботах, он войдет в какой-нибудь административный отдел, может быть в финансовую комиссию или в строительную, к его мнению будут прислушиваться и считаться с ним при голосованиях. Было также небезынтересно, к какой же партии примкнет со временем молодой Касторп! Говорят, наружность обманчива, но его внешний облик именно таков, какого не бывает у людей, на которых могли бы рассчитывать демократы; кроме того – он вылитый дед. Последует ли внук его примеру и станет тормозом прогресса, консервативным элементом? Могло быть так, а могло быть и наоборот. В конце концов он же инженер, будущий кораблестроитель, участвующий в создании международных связей, представитель техники. Поэтому не исключено и то, что Ганс Касторп примкнет к радикалам, станет бунтовщиком, невежественным разрушителем старинных зданий и пейзажных красот, как не знающий удержу еврей или лишенный пиетета американец, предпочитающий постепенному и естественному прогрессу жизненных условий резкий разрыв с почтенными традициями прошлого и готовый вовлечь государство в рискованные эксперименты; это тоже могло быть. Заложена ли в его натуре уверенность, что «их благоразумия» отцы города, перед которыми парные часовые у входа в ратушу берут на караул, знают все лучше всех, или он будет склонен поддерживать в городской думе оппозицию? В его голубых глазах под рыжеватыми бровями нельзя было прочесть ответы на эти вопросы, вызывавшие любопытство сограждан, да этих ответов не знал и сам Ганс Касторп, ибо был еще не исписанной жизнью страницей.

Когда он начал свое путешествие, во время которого мы с ним познакомились, ему шел двадцать третий год. Позади остались четыре семестра, проведенные им в Данцигском политехникуме, и еще четыре – в

механических высших школах Брауншвейга и Карлсруэ; он только что одолел основные экзамены, – правда, без особого блеска и торжественных тушей, однако вполне прилично, – и намеревался поступить к «Тундеру и Вильмсу» инженером-практикантом, дабы увенчать свои познания необходимым практическим опытом. Но тут его путь неожиданно свернул в сторону.

Перед главными экзаменами ему пришлось работать упорно и напряженно, и когда он, сдав их, вернулся домой, то казался еще более вялым и бледным, чем бывают обычно юноши его типа. Всякий раз, когда доктор Хейдекинд его видел, он сердился и требовал, чтобы Ганс Касторп переменил климат, и притом радикально. Нордернеем или Виком на Фере в этот раз не поможешь^[12], и если хотят знать его мнение, то Гансу Касторпу, перед тем как поступать на верфи, следовало бы провести недельки две-три в высокогорной местности.

Все это прекрасно, сказал консул Тинапель своему племяннику и воспитаннику, но тогда на это лето их дороги разойдутся, ибо его, консула Тинапеля, никакими силами не затащишь в горы. Горы не для него, ему нужно приличное атмосферное давление, иначе у него будут приливы. Пусть уж Ганс Касторп отправляется туда один. Пусть воспользуется случаем и навестит Иоахима Цимсена.

Предложение это возникло совершенно естественно: дело в том, что Иоахим Цимсен был болен, – не так, как Ганс Касторп, а по-настоящему, и притом настолько серьезно, что все переполошились. С детства был он предрасположен к катарам и лихорадкам, недавно в его мокроте действительно обнаружили кровь, и ему пришлось сломя голову мчаться в Давос, к его величайшему горю и досаде, ибо он стоял почти у цели своих желаний. Подчиняясь воле семьи, он два-три семестра изучал юридические науки, но затем, следуя неудержимому влечению, все же подал заявление в юнкерское училище и уже был принят. И вот он сидит шестой месяц в интернациональном санатории «Берггоф» (главный врач – гофрат доктор Беренс), где скука смертная, как он писал в открытках. И если Ганс Касторп перед поступлением к «Тундеру и Вильмсу» хочет сделать хоть что-нибудь для своего здоровья, то пусть тоже приедет сюда наверх и немного развлечет своего бедного кузена, это будет самое лучшее для обоих.

Наступила середина лета, когда Ганс Касторп наконец решился на эту поездку; уже подходил к концу июль.

Он ехал на три недели.

ГЛАВА ТРЕТЯ

Достойная омраченность

Ганс Касторп так устал накануне, что боялся проспать, и поднялся даже раньше, чем следовало, зато мог не спеша отдаться своим утренним привычкам; то были привычки высокоцивилизованного человека, в которых главную роль играли резиновый тазик, деревянная мыльница с зеленым лавандовым мылом и соломенный помазок; кроме того, предстояли не только заботы о чистоте и уходе за телом – надо было также вынуть вещи из чемодана и разложить их. Водя посеребрянной бритвой по намыленным душистой пеной щекам, он вспомнил свои сумасбродные сны и, покачивая головой, снисходительно улыбнулся с тем чувством превосходства, с каким человек, бреющийся при дневном свете разума, вспоминает ночную чепуху сновидений. Вполне отдохнувшим он себя не чувствовал, однако молодой день освежил его. Вытирая руки, он вышел с напудренными щеками, в фильдекосовых кальсонах и красных сафьяновых туфлях на балкон, который тянулся вдоль всего этажа и лишь против каждой комнаты был как бы поделен наложки не доходившими до перил стенками из матового стекла. Утро было свежее и мгlistое. На ближних вершинах неподвижно лежали длинные пласты тумана, а на более отдаленных хребтах висели пухлые громады туч – белых и серых. Местами приоткрывались полосы и прогалины голубого неба, и когда через них падал солнечный луч, дома поселка в долине ярко вспыхивали белизною на фоне покрывавших склоны темных хвойных лесов. Откуда-то доносилась утренняя музыка, вероятно из того же отеля, где вчера вечером был концерт. Смягченные расстоянием, звучали аккорды хорала, потом загредел марш, и Ганс Касторп, который очень любил музыку, ибо действовала она на него совершенно так же, как портер за завтраком – то есть глубоко успокаивала и слегка оглушала, погружая в какое-то дремотное состояние, – с удовольствием слушал, склонив голову набок, причем рот у него приоткрылся, глаза чуть покраснели.

Внизу вилась дорога, поднимавшаяся к санаторию, по ней он вчера вечером приехал. В сырой траве откоса на коротком стебле распустилась горечавка, похожая на звезду. Часть площадки была превращена в сад и обнесена оградой; он увидел усыпанные гравием дорожки, цветочные клумбы, а под высокой елью – искусственный грот. На крытой жестью галерее, выходившей на южную сторону, стояли шезлонги, а перед нею торчал красновато-коричневый шест, на котором время от времени

развевался флаг фантастической расцветки – белый с зеленым, и эмблемой медицины – змеей, обвивающей жезл.

В саду Ганс Касторп заметил женщину, уже немолодую, с угрюмым, почти трагическим лицом. Она была вся в черном, спутанные черные с проседью волосы прикрывал черный прозрачный шарф; женщина быстрым и равномерным шагом ходила взад и вперед по дорожкам, сгибая колени, деревянно опустив руки, глядя из-под насупленного лба в поперечных морщинах прямо перед собой черными, как угли, глазами, под которыми обозначились мешки. Ее уже стареющее, по-южному бледное лицо с большим, горестно кривившимся ртом напоминало Гансу Касторпу портрет знаменитой трагической актрисы^[13], который он однажды видел, и ему стало жутко оттого, как эта черная, бледная женщина, видимо сама того не замечая, старается шагать в такт гремевшей снизу маршевой музыке.

С задумчивым участием смотрел на нее Ганс Касторп, и ему казалось, что от этой скорбной фигуры потускнел свет утреннего солнца. Одновременно он воспринимал и многое другое – какие-то звуки в комнате слева, где, по словам Иоахима, жила русская супружеская чета; эти звуки также не соответствовали веселому свежему утру и словно пачкали его чем-то липким. Ганс Касторп вспомнил, что уже вчера вечером слышал нечто подобное, но из-за крайней усталости не обратил на это особого внимания. Теперь он явственно различал какую-то возню, хихиканье, пыхтенье, и вскоре непристойный характер этой возни стал молодому человеку совершенно очевиден, хотя вначале он из добродушия и старался все объяснить самым безобидным образом. Впрочем, добродушие это можно было истолковать различно: более пресно – как чистоту души, более возвышенно – как суровую стыдливость, более уничижительно – как лицемерие и боязнь правды и даже как благочестивый и мистический страх перед грехом; впрочем, в чувствах Ганса Касторпа было всего этого понемножку. Его лицо достойно омрачилось, он как бы желал подчеркнуть, что не хочет, да и не должен знать ничего о подобных вещах: выражение добродетельной скромности, хотя и не слишком оригинальное, появлялось у него в совершенно определенных случаях.

С той же добродетельной миной он ушел с балкона, не желая больше подслушивать, ибо происходившее за стеной считал событием очень серьезным, почти потрясающим, хотя здесь оно и совершалось с хихиканьем. Однако в комнате возня стала еще слышнее. Супруги, видимо, гонялись друг за другом среди мебели и вещей, вот упал стул, они схватили другой, кажется, наконец обнялись, затем он услышал шлепки и поцелуи, а в виде аккомпанемента к этой незримой сцене из долины неслись

музыкальные фразы пошлого, захватанного вальса. Ганс Касторп стоял с полотенцем в руке и, против воли, снова прислушивался. И вдруг под слоем пудры густо покраснел: то, что явно подготавливалось, началось, любовная игра, без всяких сомнений, сменилась животным актом.

«Боже мой! Ах, черт! – подумал он, отвернулся и принялся заканчивать свой туалет, стараясь производить как можно больше шума. – Что ж, в конце концов они супруги, – продолжал он свои размышления, – пусть целуются на здоровье, с этой стороны все в порядке. Но среди бела дня, когда все проснулись, это уж слишком! Мне кажется, они и вчера вечером вели себя так же. А потом – ведь они больны, раз они здесь, или по крайней мере один из них болен, и следовало бы хоть немного побережиться. Но самое скандальное в том, что стены такие тонкие и все так отчетливо слышно, это просто безобразие! Когда строили, очевидно гнались за дешевизной, за постыдной дешевизной! Неужели я потом встречу с этими людьми и меня даже представят им? Это было бы в высшей степени неприятно». Но тут Ганс Касторп удивился другому, он почувствовал, что румянец, окрасивший перед тем его только что побритые щеки, на них остался, а также ощущение обжегшей лицо горячей волны; это был тот же сухой жар лица, замеченный молодым человеком еще вчера вечером; жар во время сна исчез, а сегодня, словно воспользовавшись случаем, снова появился, что отнюдь не смягчило отношения Ганса Касторпа к соседям: выпятив губы, он презрительно пробормотал нечто весьма резкое по их адресу и снова принялся освежать лицо водой, но сделал ошибку, ибо раздражающее ощущение жара усилилось. Поэтому, когда двоюродный брат сигнализировал ему, постучав в стенку, голос Ганса Касторпа дрожал от досады, и на вошедшего Иоахима он не произвел впечатление человека, отдохнувшего за ночь и полного утренней бодрости.

Завтрак

– Здравствуй, – сказал Иоахим. – Ну как прошла твоя первая ночь здесь наверху? Ты доволен?

Иоахим был уже готов для прогулки – спортивный костюм и толстые башмаки, пальто перекинута через руку, в боковом кармане явственно обрисовывается плоская фляжка. Он и сегодня был без шляпы.

– Спасибо, – отозвался Ганс Касторп, – ничего. О дальнейшем судить не берусь. Правда, сны я видел довольно сумбурные, а потом у дома тот недостаток, что стены очень звукопроницаемы, это неприятно. А кто та черная вон там, в саду?

Иоахим тотчас понял, кого он имеет в виду.

– А, «Tous-les-deux»^[14], – сказал он, – так у нас ее все зовут, она только это и говорит. Понимаешь, она мексиканка, ни слова по-немецки, да и по-французски – только чуть-чуть. Живет в санатории уже пять месяцев, у нее тут старший сын, совершенно безнадежный случай, теперь ему уже недолго осталось жить, микробы сидят у него везде, он, можно сказать, насквозь отравлен, в последней стадии эта болезнь похожа на тиф, говорит Беренс; во всяком случае, для всех, кто имеет отношение к юноше, это ужас. А две недели тому назад сюда приехал второй сын, чтобы проститься с братом, прямо красавец парень, как и тот, оба они красавцы, огненные глаза, дамы прямо с ума посходили. Потом оказалось, что он и внизу уже покашливал, а вообще был весел и бодр. Но представь себе, как только очутился здесь – сразу температура 39,5, страшный озноб, его сейчас же, понимаешь, укладывают в постель, и если он когда-нибудь поднимется, говорит Беренс, это будет чудо, какое-то особое везенье. Его давно следовало отправить сюда наверх... Да, вот с тех пор мать и бродит по саду, если не сидит у него, и когда с ней заговоришь, она всегда отвечает одно: «Tous les deux», ибо знает только эти слова, а здесь нет сейчас никого, кто бы говорил по-испански.

– Вот оно что, – пробормотал Ганс Касторп, – интересно, скажет она мне то же самое, если я с ней познакомлюсь? Это звучало бы очень странно... то есть комично и страшно, – продолжал он и вдруг испытал те же ощущения, что и накануне: веки отяжелели и горят, как будто он долго плакал, а в глазах появился тот же блеск, который был вызван вчера поразившим его кашлем австрийца. И вообще у него возникло такое чувство, что возобновилась связь со вчерашним днем, что он опять вошел в

курс здешней жизни, которая после его пробуждения была временно как бы прервана. Впрочем, он готов, заявил Ганс Касторп, брызнул на платок лавандовой водой, несколько раз приложил его ко лбу и к скулам. – Если хочешь, мы можем *tous les deux* идти завтракать, – пошутил он с какой-то вызывающей игривостью, а Иоахим вместо ответа мягко взглянул на него и загадочно улыбнулся; улыбка была меланхолической и слегка насмешливой, но почему – он, видимо, решил оставить про себя. Удостоверившись, что сигары при нем, Ганс Касторп взял трость, пальто, надел шляпу – из упрямства, ибо слишком крепко был убежден в том, что знает, как должен выглядеть цивилизованный человек, и не мог так легко на какие-то три недели отменить свои взгляды и перенять новые, чуждые ему обычаи, – и двоюродные братья отправились завтракать; они спустились по лестнице и пошли коридорами, причем Иоахим время от времени указывал на дверь той или иной комнаты и называл фамилии обитателей – немецкие и другие, чуждо звучащие иностранные, сопровождая это короткими пояснениями относительно характера данного лица и серьезности его заболевания.

Иные уже возвращались после завтрака, и когда Иоахим здоровался с кем-нибудь, Ганс Касторп вежливо приподнимал шляпу. Он был смущен и нервничал, как обычно нервничают молодые люди, когда должны предстать перед большим обществом совершенно чужих им людей, к тому же его мучило сознание, что у него мутные глаза и красное лицо, хотя это было верно только отчасти. Он был скорее бледен.

– Да, чтобы не забыть! – вдруг проговорил он с какой-то непонятной горячностью. – Ты вполне можешь представить меня той даме в саду, если только это удобно, я ничего не имею против. Пусть говорит мне свое «*tous les deux*», ничего, я же подготовлен, я понимаю и отнесусь к этим словам как надо. А с русской парой я не желаю знакомиться, слышишь? Категорически не желаю. Это невоспитанные люди, и если уж я вынужден прожить три недели рядом с ними и нельзя устроить иначе, то я знать их не хочу и имею на это полное право, заявляю тебе со всей решительностью.

– Хорошо, – ответил Иоахим. – Разве они тебе так мешали? Да, они до известной степени варвары – словом, нецивилизованны, я же тебя предупреждал. Он всегда приходит к столу в кожаной куртке, до того заношенной, что я просто удивляюсь, почему Беренс не сделает ему замечания. Она тоже не вполне прилична, хотя носит шляпу с перьями... Впрочем, можешь не беспокоиться, они сидят далеко от нас – за «плохим» русским столом, ибо есть еще «хороший» русский стол, где сидят только русские аристократы, – и едва ли тебе придется с этой парой встретиться,

даже если бы ты и захотел. Тут вообще нелегко заводят знакомства, хотя бы по одному тому, что среди нас очень много иностранцев; у меня у самого мало знакомых, несмотря на то, что я здесь давно.

– Кто же из них двух болен? – спросил Ганс Касторп. – Он или она?

– Кажется, он, да, конечно, только он, – ответил Иоахим с явной рассеянностью, в то время как они снимали верхнее платье в гардеробе столовой. Затем они вошли в просторный светлый зал с невысоким сводчатым потолком; зал был полон жужжаньем голосов и звоном посуды, «столовые девы» бегали туда и сюда с кофейниками, над которыми вился пар. В зале стояло семь столов в продольном направлении и только два – поперек. Каждый стол предназначался для десяти человек, но, судя по числу приборов, не все места были заняты. Ганс Касторп сделал несколько шагов в сторону и оказался перед своим местом: ему накрыли на короткой стороне среднего стола, стоявшего между двумя поперечными. Взявшись за спинку стула, молодой человек церемонно и приветливо поклонился своим сотрапезникам, с которыми Иоахим его тут же торжественно познакомил, но едва ли разглядел их лица, и тем менее дошли до его сознания их фамилии. Только фамилия и внешний облик фрау Штер запомнились ему, запомнилось красное лицо и жирные пепельно-белокурые волосы. В невежественность суждений фрау Штер поверить было нетрудно, ибо выражение ее лица говорило о явной глупости и ограниченности. Молодой человек сел за стол, с удовольствием отметив, что и первый завтрак здесь считается такой же серьезной трапезой, как обед или ужин.

На столе стояли горшочки с мармеладом и медом, мисочки с рисовой и овсяной кашей, тарелки с омлетом и холодным мясом; особенно щедро было подано масло, и кто-то уже снял стеклянный колпак, прикрывавший швейцарский сыр «со слезкой», чтобы отрезать себе кусок, а посреди стола высилась ваза с сушеными и свежими фруктами. «Столовая дева» в черном и белом осведомилась у Ганса Касторпа, что ему угодно: какао, кофе или чай. Она была совсем маленькая, словно девочка, со старообразным длинным личиком, – да это же карлица, решил он с испугом. Он взглянул на двоюродного брата, но тот лишь вздернул плечи и брови, словно хотел сказать: «Ну и что же?» Поэтому Ганс Касторп склонился перед силой фактов и с подчеркнутой вежливостью, именно потому, что перед ним была карлица, попросил чаю и принялся за рисовую кашу с сахаром и корицей, причем его взгляд скользил и по другим кушаньям, которых ему хотелось испробовать, а также по сидевшим за семью столами пациентам; они ведь были коллегами Иоахима, его товарищами по несчастью, и все носили в себе ту же болезнь; сейчас они оживленно болтали, поглощая завтрак.

Зал был обставлен в стиле модерн, вносящем в самую деловитую простоту штрихи некоторой фантастики. Он был довольно длинный, но не очень широкий, вокруг шло подобие крытой галереи, где стояли серванты; широкие арки этой галереи были обращены внутрь, к столам. Столбы, поддерживающие арки, были до половины обшиты деревом, обработанным под сандаловое, и выше – побелены, так же как верхняя часть стен и потолок, и украшены шаблонами в виде веселых пестрых полос, повторявшихся и на широких подпружных выгибах свода. Над столами поблескивало несколько люстр из яркой латуни; каждая – в виде трех лежащих друг над другом кругов, связанных между собой изящным металлическим плетением; на нижнем, словно маленькие луны, висели матовые тюльпаны электрических ламп. В зале было четыре стеклянных двери – две на дальнем конце, они вели на веранду, третья слева – прямо в холл и, наконец, четвертая – в вестибюль, через нее вошел Ганс Касторп, ибо Иоахим провел его по другой лестнице, чем вчера вечером.

Справа от Ганса Касторпа сидело тщедушное создание в черном, с лиловатым цветом лица и тускло горевшими щеками; оно пило кофе и намазывало масло на булку; он решил, что это швея или домашняя портниха, оттого что искони этот образ связывался для него с кофе и намазанной маслом булкой. Слева его соседкой была барышня англичанка, тоже не первой молодости, очень некрасивая, с иссохшими, словно озябшими пальцами; она читала написанные круглым почерком письма с родины и прихлебывала кроваво-красный чай. За ней сидел Иоахим, потом фрау Штер, облаченная в клетчатую шерстяную блузу. Опершись на локоть, она держала сжатую в кулак левую руку подле своей щеки, что не мешало ей кушать, и, видимо, старалась придать себе во время разговора высокообразованный вид, вздергивала верхнюю губу, открывая узкие и длинные заячьи зубы. Вскоре подле нее уселся молодой человек с жидкими усиками и таким выражением лица, словно у него во рту было что-то очень невкусное, и принялся за еду в глубоком молчании. Он вошел, когда Ганс Касторп уже сидел, затем, ни на кого не глядя, опустил подбородок на грудь, приветствуя соседей по столу, и занял свое место, показывая решительное нежелание знакомиться с новым обитателем санатория. Может быть, он был слишком болен, чтобы еще придавать значение таким условностям или вообще интересоваться окружающими. На несколько мгновений против него присела на стул молодая девушка, очень светлая блондинка. Она вылила в тарелку бутылку простокваши, быстро съела ее, загребая ложкой, и тут же снова удалилась.

Разговор за столом отнюдь не был оживленным. Иоахим болтал из

вежливости с фрау Штер, он осведомился о том, как она себя чувствует, и выразил корректное сожаление по поводу ее ответа, что можно было бы желать лучшего. Она жаловалась на «вялость». «Я такая вялая», – говорила она, растягивая слова, и при этом кривлялась, как самая некультурная женщина. Когда она встала, у нее уже было 37,3, что же будет к вечеру! Домашняя портниха сообщила, что у нее тоже такая температура, но она, наоборот, чувствует какое-то возбуждение, какую-то тревогу, непрерывное беспокойство, как будто ей предстоит что-то необыкновенное и решающее, хотя ничего подобного нет, это чисто физическое волнение, без каких-либо причин. Она, видимо, все же не была домашней портнихой, ибо выражалась очень правильно, пользуясь почти научным языком. Однако Ганс Касторп нашел эту возбужденность или хотя бы разговор о ней чем-то неуместным, почти неприличным для столь ничтожной и невзрачной особы. Он спросил у портнихи, а потом у фрау Штер, давно ли они здесь наверху (оказалось, что первая – пять месяцев, вторая – семь), призвал на помощь все свои скудные познания в английском языке и осведомился у соседки справа, что за чай она пьет (это был настой шиповника) и приятен ли он на вкус, на что она даже с жаром заверила его, что очень вкусен, а потом стал смотреть в зал, где одни входили, другие выходили: на первый завтрак не обязательно было являться всем одновременно.

Вначале Ганс Касторп опасался каких-либо тягостных впечатлений, но вынужден был разочароваться: здесь, в столовой, все протекало очень спокойно и не было чувства, что находишься в обители горя. Загорелые молодые люди обоего пола появлялись в столовой, напевая, разговаривали с «девами» и набрасывались на завтрак, обнаруживая при этом могучий аппетит. Были здесь и более зрелые люди, супружеские пары, целое семейство с детьми, говорившее по-русски, были подростки. Почти на всех женщинах он видел обтягивающие фигуру вязанные кофточки из шерсти или шелка – так называемые свитеры, белые и цветные, с отложным воротником и боковыми карманами, и когда женщины стояли, засунув руки в эти карманы, и болтали, они казались очень изящными. За иными столами среди завтракающих по рукам ходили фотографии, недавние, бесспорно сделанные самими пациентами; за другими обменивались почтовыми марками. Больные говорили о погоде, о том, как они спали, какая у кого оказалась температура, когда они держали во рту градусник. Большинство были веселы, – вероятно, без особой причины, а лишь потому, что их не тревожили непосредственные заботы и они находились в обществе многих людей. Правда, кое-кто сидел, подперев голову руками, глядя перед собой невидящим взором. Но им не мешали глядеть перед

собой и не обращали на них внимания.

Вдруг Ганс Касторп вздрогнул от обиды и негодования. Грохнула одна из дверей, та, которая находилась слева и вела прямо в холл: кто-то дал ей самой захлопнуться или даже пустил ее с размаху, притом с таким шумом, который Ганс Касторп не терпел, ненавидел с детства. Может быть, ненависть была вызвана его воспитанием, может быть это была врожденная идиосинкразия, но он не выносил хлопанья дверями и способен был, кажется, прибить всякого, кто провинился бы в этом у него на глазах. Кроме того, верхняя часть двери состояла из небольших стекол, поэтому хлопанье дверью сопровождалось еще звоном и дребезгом. «Черт возьми, – подумал Ганс Касторп в бешенстве, – что за треклятая небрежность!» Но тут с ним заговорила портниха, и ему так и не удалось установить, кто именно совершил столь возмутительное деяние. И когда он ответил портнихе на ее вопрос, морщины, залегшие между его белокурыми бровями, не разгладились и с лица не сошло страдальческое выражение.

Иоахим осведомился относительно врачей; да, они уже были здесь, отозвался кто-то, и ушли в ту минуту, когда появились двоюродные братья. Тогда и ждать незачем, сказал Иоахим. В течение дня он, конечно, найдет случай представить им Ганса Касторпа. Однако в дверях они почти столкнулись с гофратом Беренсом, который в сопровождении доктора Кроковского стремительно входил в столовую.

– Гопля, осторожнее, господа! – сказал Беренс. – Дело могло кончиться очень плохо для мозолей обеих сторон. – Он говорил с резко выраженным нижнесаксонским акцентом, тянул слова и мямлил.

– Ну вот и вы, – обратился он к Гансу Касторпу, которого Иоахим, сдвинув каблуки, ему представил. – Что ж, очень рад. – И подал молодому человеку широченную, словно лопата, руку. Это был костлявый человек, головы на три выше Кроковского, уже совсем поседевший, с крутым затылком, крупными, навывкате, чуть слезящимися синими глазами, вздернутым носом и коротко подстриженными усиками, которые казались перекошенными из-за шрама, белевшего в уголке верхней губы. Иоахим сказал правду о его щеках – они были синими; таким образом, голова его казалась особенно красочной и еще оттенялась белым хирургическим халатом, вернее белым кителем с хлястиком; китель был ниже колен и открывал полосатые брюки и громадные ножищи в желтых, уже поношенных высоких ботинках со шнурками. В профессиональной одежде был и доктор Кроковский, с той разницей, что халат с резиновыми нарукавниками у него был люстриновый, черный, сшитый наподобие длинной блузы и особенно подчеркивал бледность его лица. Он держался

только как ассистент и ни в какой мере не участвовал в знакомстве с вновь прибывшим, хотя едва уловимая усмешка на его губах показывала, что его подчиненное положение кажется ему более чем странным.

– Двоюродные братья? – спросил гофрат, показав рукой сначала на одного из молодых людей, потом на другого и глядя на них как-то снизу своими налитыми кровью синими глазами... – Он что – тоже мечтает натянуть военный мундир? – обратился Беренс к Иоахиму и мотнул головой в сторону Ганса Касторпа... – Боже упаси, да? – И продолжал, обращаясь уже непосредственно к Гансу Касторпу: – Я сразу заметил – в вас есть что-то такое гражданское, комфортабельное, а не бряцающее оружием, как у этого вот ротного командира. Держу пари, вы были бы лучшим пациентом, чем он. Я сразу, по человеку вижу, толковый из него выйдет пациент или нет, чтобы быть пациентом – для этого тоже нужен талант, талант для всего нужен, а у этого мирмидонца^[15] таланта нет ни на грош. Насчет маршировок – не знаю, а к тому, чтобы быть больным – никакого. Поверите ли – все время стремится уехать, терзает и мучит меня и ждет не дождется, когда его там внизу заберут в казарму. Усердие неслыханное, описать невозможно! Даже полгода не хочет нам подарить. И притом ведь у нас же тут совсем неплохо, сознайтесь, Цимсен, ведь неплохо! Да, ваш кузен сумеет лучше оценить нас, чем вы, уж он найдет чем развлечься. И в дамах у нас тут нет недостатка – есть даже прелестные особы. По крайней мере наружность у многих весьма живописная. Но слушайте, вы должны себе нагулять цвет лица получше, не то успеха у дам не будет. Правда, «древо жизни зеленеет»^[16], но для лица зеленое не совсем подходящий цвет. Конечно, общее малокровие, – продолжал он, бесцеремонно подошел к Гансу Касторпу вплотную и оттянул ему веко указательным и средним пальцем. – Разумеется, общее малокровие, так я и думал. Знаете что? Вы сделали очень умно, что на некоторое время предоставили ваш Гамбург самому себе. Мы должны быть ему весьма благодарны: он поставляет нам немалый контингент больных со своей бодро-сырой метеорологией. Но если я смею дать вам в этом случае совет – нет, отнюдь не предписание, а совсем *sine resupia*^[17], знаете ли, – пока вы здесь, проделывайте-ка все то, что и ваш брат. В вашем случае нет ничего разумнее, как пожить некоторое время так, будто у вас легкий *tuberculosis pulmonum*^[18], и прибавить немножко белка. У нас тут происходит любопытная штука с этим белковым обменом... Хотя общее сторание в организме усиливается, все же белок прибавляется... А вы, Цимсен, как спали? Хорошо? Отлично, да? Ну, продолжайте вашу увеселительную

прогулку. Но не больше получаса. А потом суйте в рот ртутную сигару. И каждый раз аккуратно записывайте, Цимсен! Как на службе! Добросовестно! А в субботу я посмотрю кривую. Пусть ваш двоюродный брат тоже с вами мерит. Это не повредит. До свиданья, господа! Желаю приятно провести время. Доброе утро... Доброе утро... – И, сопровождаемый доктором Кроковским, он помчался дальше, загребая руками с вывернутыми назад ладонями и бросая направо и налево вопросы о том, хорошо ли его больные спали, на что все отвечали утвердительно.

Шалости. Последнее причастие. Прерванное веселье

– Милейший человек, – сказал Ганс Касторп, когда они, обменявшись поклонами с портье, который сидел за своей конторкой и разбирал письма, вышли через главный подъезд санатория. Подъезд находился на юго-восточной стороне белого оштукатуренного здания, средняя часть дома была на этаж выше, чем флигеля, и ее венчала небольшая башенка с часами, крытая выкрашенным под шифер листовым железом. Выйдя с этой стороны, они сразу же, минуя сад, очутились за пределами санаторской территории и увидели прямо перед собою горные луга на склонах, растущие вокруг одинокие мощные пихты и скрюченные карликовые сосны. Дорога, по которой зашагали двоюродные братья, – в сущности, никакой другой и не было, кроме шоссе, спускавшегося в долину, – дорога, слегка поднимаясь в гору, вела влево, мимо задней стены санатория, кухонь и хозяйственных построек, где у решеток подвальных лестниц стояли железные бочки для отбросов, тянулась еще некоторое время в том же направлении, затем под острым углом сворачивала вправо и, становясь все круче, взбегала на склон, поросший редким леском. Она была каменистая, красноватая и еще слегка сырая от росы, по краям местами лежали обломки скал. Оказалось, что кузены не одни решили прогуляться. Те, кто кончил завтракать позднее, поднимались за ними по пятам, и целые группы уже спускались им навстречу, упираясь в землю ногами, как это делают обычно при спуске с горы.

– Милейший человек! – повторил Ганс Касторп. – И такой остроумный, разговор с ним доставил мне истинное удовольствие. Назвать градусник «ртутной сигарой» – это же прелесть, и сразу понятно, о чем речь... Но теперь я все-таки закурю настоящую, – добавил он, приостанавливаясь, – больше не могу терпеть! Со вчерашнего полдня ничего приличного не курил... Извини, пожалуйста!.. – И он извлек из своего кожаного портсигара с серебряной монограммой экземпляр «Марии Манчини», отличный экземпляр высшего качества, плоский с одного конца, – такие он особенно любил, – и отрезал кончик специальным острым ножичком, который носил на цепочке часов; потом чиркнул зажигалкой, раскурил довольно длинную сигару с тупого конца и сделал несколько глубоких затяжек, выпуская кольца дыма.

– Так! – сказал он. – А теперь мы можем, если хочешь, продолжать

нашу увеселительную прогулку. Ты, конечно, не куришь ввиду чрезмерно усердного лечения.

– Я же вообще не курю, – отозвался Иоахим. – С какой стати я бы начал курить здесь?

– Не понимаю! – возразил Ганс Касторп. – Не понимаю, как это можно! Ты лишаешь себя, так сказать, одного из лучших благ существования и уж во всяком случае огромного удовольствия! Когда я просыпаюсь, то заранее радуюсь, что вот в течение дня буду курить, и когда ем, тоже радуюсь; по правде говоря, я и ем-то лишь ради того, чтобы затем покурить... Ну, это я, конечно, преувеличиваю. Но день без табака мне казался бы невыносимо пустым, это был бы совершенно безрадостный, унылый день; и если бы завтра пришлось сказать себе: сегодня курить будет нечего, – кажется, у меня не хватило бы мужества подняться с постели, уверяю тебя, я бы так и остался лежать. Видишь ли, когда у человека есть хорошая сигара – конечно, если она хорошо тянется и сбоку не проходит воздух, это очень раздражает, – если есть такая сигара, то уже ничего не страшно, тебе в буквальном смысле слова ничто не может угрожать. Все равно как на берегу моря, лежишь себе и лежишь, и все тут, верно? И ничего тебе не нужно, ни работы, ни развлечений... Люди, слава богу, курят на всем земном шаре, и нет, насколько мне известно, ни одного уголка земли, – куда бы тебя ни забросило, – где бы курение было неизвестно. Даже полярные исследователи запасают как можно больше курева, чтобы легче переносить лишения, и когда я читал об этом, они вызывали во мне особую симпатию. Ведь человек всегда может очутиться в тяжелом положении... Ну допустим, пошатнулись бы мои дела... но пока у меня есть сигара – я все выдержу, уверен... она поможет мне справиться.

– И все-таки в том, что ты так зависишь от куренья, есть какая-то распушенность, – сказал Иоахим. – Беренс совершенно прав: ты человек сугубо штатский, – хотя он сказал это скорее в похвалу тебе, – но дело в том, что твоя штатскость неисправима. А вообще – ты же здоров и можешь делать все, что тебе угодно, – продолжал он, и в его взгляде появилась усталость.

– Да, так здоров, что дошел до анемии, – отозвался Ганс Касторп. – Он же мне в лицо заявил, что я презеленый, – кажется, достаточно. Впрочем, я и сам вижу, насколько я в сравнении с вами действительно какой-то зеленый, дома я этого не замечал. Но потом он мне тут же надавал советов, и притом *sine resipia*, как он выразился. Тоже очень мило с его стороны. Я охотно буду выполнять эти советы и во всем подражать тебе... Да и что еще, собственно говоря, делать здесь у вас наверху? И мне несколько не

повредит, если я, во имя божье, прибавлю белка, хотя, согласись, это звучит даже как-то противно.

На ходу Иоахим раза два слегка покашливал – подъем все же, видимо, утомлял его. Когда он закашлялся в третий раз, он нахмурился и остановился.

– Иди, я догоню тебя, – сказал он. Ганс Касторп торопливо устремился дальше, не оглядываясь. Потом начал все больше замедлять шаг, он уже почти не двигался с места, ибо ему казалось, что он ушел слишком далеко вперед. Но и тут он не оглянулся.

Ему навстречу шла группа больных – мужчин и женщин, он видел их перед тем на ровной дороге, тянувшейся поперек склона; теперь они спускались, упираясь ногами в землю, и он слышал их разноголосый говор. Их было человек шесть-семь, самых разных возрастов, одни – еще совсем юнцы, другие – уже в более зрелых летах. Он смотрел на них, склонив голову набок, а сам думал об Иоахиме. Все они были загорелые, без шляп, дамы в ярких свитерах, мужчины без пальто и даже без тростей, как люди, которые, засунув руки в карманы, просто вышли на минутку пройтись перед домом. Дорога вела под гору, а спуск не требует особого напряжения, нужно лишь слегка тормозить и упираться ногами, чтобы не побежать вниз и не начать спотыкаться; поэтому их походка была скорее отдачей себя плавному падению, и в ней чувствовалась какая-то окрыленность, какое-то легкомыслие, оно передавалось их лицам, всему их внешнему облику, и невольно возникало желание к ним присоединиться.

Вот они поравнялись с ним – Ганс Касторп видел каждого совершенно отчетливо. Оказывается – не все загорели, две дамы выделялись своей бледностью: одна – тощая, как жердь, с лицом цвета слоновой кости, другая – маленькая и жирная, в некрасивых родимых пятнах. Все они смотрели на него с одинаковой дерзкой усмешкой. Долговязая молодая девица, неряшливо завитая, в зеленом свитере, прошла с полузакрытыми глазами так близко от Ганса Касторпа, что едва не задела его локтем. И притом она еще посвистывала... Тут было отчего сойти с ума! Она освистывала его, но не ртом, губы ее не были вытянуты вперед, а наоборот, крепко сжаты. Что-то свистело у нее внутри, а она поглядывала на него с глупым видом, полузакрыв глаза; это был удивительно неприятный свист, хриплый, режущий и все же глухой, протяжный и в конце переходящий в другой тон; он напоминал тот особый жалобный свист, который издают надутые воздухом ярмарочные свинки, когда они выпускают из себя воздух и съеживаются, но звук этот каким-то непонятным образом вырывался из груди девушки. Наконец компания прошла, а с нею и свистунья.

Ганс Касторп стоял неподвижно и растерянно глядел перед собой. Затем торопливо обернулся, он понял одно: отвратительный свист был, как видно, шуткой, заранее подготовленной каверзой, ибо плечи удалявшихся тряслись от смеха, а какой-то коренастый толстогубый подросток, который, засунув руки в карманы брюк, пренебрежительно задирает куртку, обернулся, без стеснения посмотрел на него и захохотал.

В это время подошел Иоахим. Приветствуя гуляющих, он по военной привычке вытянулся и, сдвинув каблуки, поклонился; затем устремил свой мягкий взгляд на двоюродного брата и шагнул к нему.

– Что с тобой? – спросил Иоахим.

– Она свистела, – ответил Ганс Касторп, – она свистела животом, когда проходила мимо меня. Ты можешь мне объяснить, что это такое?

– Ах, вот что, – ответил Иоахим и пренебрежительно усмехнулся. – Да не животом вовсе, вздор какой! Это Клеефельд, Гермина Клеефельд, она свистит пневмотораксом.

– Чем? – спросил Ганс Касторп. Он был ужасно взбудоражен, хотя сам хорошенько не понимал отчего. И, не то плача, не то смеясь, заявил: – Ты не можешь от меня требовать, чтобы я разбирался во всей вашей абракадабре!

– Идем же, – сказал Иоахим. – Я ведь могу объяснить тебе и по пути. А ты точно к земле прирос. Это из области хирургии, как ты сам понимаешь, некая операция, которую делают здесь наверху очень часто. Беренс здорово наловчился... Когда одно легкое слишком поражено, понимаешь ли, а другое – здорово или сравнительно здорово, то больное на некоторое время освобождают от работы, чтобы поберечь его... А происходит это так: где-то тут, сбоку, делают разрез – я точно не знаю, в каком месте. Но Беренс – мастер на такие штуки; а затем в человека накачивают газ, азот, понимаешь ли, и таким образом выключают пораженное легкое. Конечно, газ держится недолго, через две недели нужно опять накачивать; газ как бы сдавливает легкое, представляешь себе? А если продолжать в течение года или дольше и все идет как следует, то в легком благодаря покою может произойти заживление. Не всегда, разумеется, и вообще это рискованное предприятие. Но говорят, что с помощью пневмоторакса уже достигают блестящих результатов. Он у всех, кого ты сейчас встретил. У фрау Ильтис, – знаешь, та, с родимыми пятнами, и у фрейлейн Леви, – помнишь, худая, она долго лежала в постели. Они все подружились, ведь такая вещь, как пневмоторакс, естественно, сближает людей, вот эти даже основали «Союз однолегочных» и известны под этим названием. Но гордость их союза – это Гермина

Клеефельд, потому что она умеет свистеть пневмотораксом, – у нее просто талант, он дан не всякому. Как уж она это делает, тоже не скажу тебе, да она и сама вряд ли объяснит. Но после быстрой ходьбы она может свистеть изнутри и, конечно, этим пользуется, чтобы людей пугать, особенно новичков. Все же, мне кажется, при этом расходуется слишком много азота. Ей делают вдувание каждую неделю.

Ганс Касторп рассмеялся; его волнение после слов Иоахима разрешилось веселостью, он прикрыл глаза рукой, слегка наклонился вперед, и плечи его затряслись от неудержимого, судорожного хихиканья.

– И что же, их союз зарегистрирован? – спросил он, с трудом выговаривая слова; от усилий сдержать смех он произнес их каким-то жалобным, почти плачущим тоном. – И у них есть свой устав? Жаль, что ты не состоишь в нем, именно ты, тогда они могли бы принять и меня как почетного гостя или как... корпоранта... Ты бы попросил Беренса, чтобы он и тебя частично «выключил», может быть и ты научился бы свистеть, ведь этому можно в конце концов научиться... Нет, ничего смешнее в жизни своей не слышал, – закончил он, глубоко вздохнув. – Ты прости, что я так говорю об этом, но сами-то они, видимо, пребывают в отличном настроении, твои пневматические друзья! Как они шествовали... Подумать только, что это был «Союз однолегочных». Тьююю – выводит она, проходя мимо меня... прямо сумасшедшая какая-то! Но ведь это же отчаянное озорство! Почему они такие отчаянные, можешь ты мне объяснить?

Иоахим искал слов для ответа.

– Господи! – ответил он наконец, – но ведь они же совершенно свободны! Я хочу сказать, все они молоды, время не имеет для них никакого значения, и потом они же могут умереть. Зачем же им тогда напускать на себя серьезность? Я иногда думаю: болезнь и смерть – это дело несерьезное, своего рода тунеядство, серьезна, собственно говоря, только жизнь там внизу. Я думаю, ты поймешь это со временем, когда побудешь здесь подольше.

– Наверно, – ответил Ганс Касторп. – Я даже убежден. Вы все тут наверху очень заинтересовали меня, а когда чем-нибудь интересуешься, то приходит и понимание... Но что это со мной... сигара кажется мне невкусной! – И он посмотрел на свою сигару. – Я все время удивляюсь, почему мне не по себе, а, оказывается, дело в «Марии», она какая-то неприятная. Точно папье-маше во рту, и такое ощущение, будто совсем испорчен желудок. Непостижимо! Правда, я ел за завтраком больше, чем обычно, но это же не может быть причиной... Когда переешь, сигара кажется особенно вкусной. Как ты думаешь, может это быть оттого, что я

плохо спал? И расклеился? Фу, остается только выбросить ее! – заявил он, снова взяв в рот сигару. – Что ни затяжка – то огорчение, нет смысла насиловать себя. – И, поколебавшись еще мгновение, он швырнул сигару с откоса, в сырую хвою. – А знаешь, с чем, я убежден, это связано? – спросил он... – Я глубоко убежден, что это как-то связано с проклятым жаром лица, Он опять меня мучит с тех пор, как я встал. Черт его знает почему – все время такое ощущение, будто я горю от стыда... У тебя тоже так было, когда ты приехал?

– Да, – ответил Иоахим. – И я вначале чувствовал себя как-то странно. Да ты не беспокойся! Я же сказал тебе, что тут у нас не так легко привыкают. Но и у тебя все это придет в порядок. Вон, посмотри, как удачно поставлена та скамеечка. Давай посидим, а потом двинемся домой. Мне пора лежать на воздухе.

Дорога стала ровной. Она шла в сторону Давоса, примерно на трети высоты горного склона, среди тощих, искривленных ветрами сосен, и с нее был виден поселок, белевший в более ярком свете. Простая деревянная скамья, на которую они опустились, опиралась спинкой о крутую скалистую стену. Совсем рядом, по открытому деревянному желобу, с журчаньем и плеском сбегала в долину вода.

Иоахим начал было называть двоюродному брату окутанные облаками альпийские вершины, замыкавшие долину с юга, указывая на каждую горной палкой. Но Ганс Касторп едва достаивал их взгляда. Он сидел, наклонившись вперед, и концом своей отделанной серебром городской тросточки рисовал на песке; его интересовало другое.

– Что я хотел тебя спросить, – начал он. – Значит, этот случай в моей комнате произошел перед самым моим приездом. А скажи, с тех пор как ты здесь, много у вас было смертных случаев?

– Не один и не два – это уж наверное, – ответил Иоахим. – Но, понимаешь ли, это происходит незаметно, мы и не узнаем о них, разве что случайно, позднее, а так, если кто-нибудь умирает, все совершается в полной тайне, больных оберегают, особенно дам, иначе с ними легко может сделаться истерика. Поэтому когда рядом с тобой человек кончается, ты даже не знаешь этого. И гроб приносят чуть свет, когда ты еще спишь, и уносят покойника в те часы, когда никого нет, например – во время обеда.

– Гм... – пробормотал Ганс Касторп и продолжал рисовать на песке. – Значит, такого рода события происходят за кулисами...

– Да, пожалуй. Но вот недавно... постой, примерно месяца два тому назад...

– Тогда не говори недавно... – сухо и настороженно поправил его Ганс

Касторп.

– Что? Ну тогда не недавно. А ты не придирайся. Я ведь сказал просто так, наугад. Значит, некоторое время тому назад мне все-таки пришлось заглянуть за кулисы, это вышло чисто случайно, я все помню, как сейчас. К маленькой Гуйус – она была католичкой – пришли со святыми дарами, чтобы перед смертью причастить ее и соборовать. Когда я сюда приехал, она еще ходила и такая была веселая, шаловливая, как и полагается подростку. А потом ее сразу скрутило, она уже не могла подняться, – она лежала через три комнаты от меня, – и вот приехали ее родители, а потом явился и священник. Он явился под вечер, когда все сидели за чаем и в коридорах не было ни души. Я, представь, проспал, заснул во время главного лежання, не слышал гонга и опоздал на четверть часа. Поэтому в решительную минуту я оказался не там, где все, и попал за кулисы, как ты выразился; и вот иду я по коридору, а они мне навстречу, в кружевных стихарях, впереди служка с крестом, крест золотой, на нем фонари, прямо погремушка с бубенчиками, которую несут перед оркестром янычар.

– Я считаю такое сравнение неуместным, – заметил Ганс Касторп не без строгости.

– Ну, мне так показалось. Невольно напомнило. Но слушай дальше. Значит, спешат они мне навстречу, чуть не бегом, впереди служка с крестом, затем священник в очках, а потом еще мальчик с кадильницей. Священник прижимает к груди причастие, чаша была накрыта, голову он смиренно склонил набок – это же их святая святых.

– Именно потому, – сказал Ганс Касторп, – именно потому меня и удивляет, что ты сравниваешь крест с погремушкой...

– Согласен. Но подожди, если бы ты попал в мое положение, ты тоже не знал бы, как ко всему этому отнестись, только во сне такое привидится...

– Что именно?

– Да вот это. И я спрашиваю себя, как мне держаться при подобных обстоятельствах. Снять шляпу я не могу, ибо ее у меня нет...

– Вот видишь! – торопливо перебил его опять Ганс Касторп. – Вот видишь, у человека должна быть шляпа на голове! Конечно, мне сразу бросилось в глаза, что вы здесь наверху не носите шляп. Но она должна быть, на случай, если ее придется снять... когда потребуют приличия... Что же дальше?

– Я отошел к стене, – продолжал Иоахим, – остановился в почтительной позе и, когда они дошли до комнаты маленькой Гуйус, номер двадцать восьмой, слегка наклонил голову. По-моему, священник

обрадовался, что я поклонился; он очень вежливо поблагодарил меня и снял свою шапочку; потом они тут же останавливаются, мальчик с кадилом стучит в дверь, нажимает ручку и пропускает священника вперед. И вот представь себе и вообрази мой ужас и мои ощущения! В минуту, когда священник переступает порог, кто-то в комнате взвизгивает отчаянно, пронзительно – я ничего подобного не слышал – три, четыре раза подряд, а потом начинается крик, непрерывный, несмолкающий, он вырывается из широко раскрытого рта, знаешь, вот так: «Аа-ааа...» И в этом крике такая жалоба, такой ужас и негодование, что передать невозможно, а мгновениями – раздирающая сердце мольба. И вдруг этот крик становится глухим и далеким, точно он опустился в землю и доносится из глубокого погреба.

Ганс Касторп порывисто обернулся к двоюродному брату.

– И это была маленькая Гуйус? – спросил он взволнованно. – А потом – что это значит «из глубокого погреба»?

– Она заползла под одеяло! – сказал Иоахим. – Нет, ты представь, что я испытывал! Священник остановился у самого порога и говорил успокаивающие слова, как сейчас вижу его, он то вытягивал шею, то втягивал голову в плечи. Человек с крестом и служка стояли растерянные, не решаясь войти. А мне было между ними видно, что делается в комнате. Комната совершенно такая же, как твоя и моя, слева от двери у стены кровать, и возле изголовья столпилась кучка людей, – конечно, родители и близкие, – и они уговаривают, склонившись над постелью, а на ней видно только что-то бесформенное, и оно молит исступленно, негодует, брыкается...

– Ты говоришь, она брыкалась?

– Из всех сил! Но все было напрасно. Она вынуждена была причаститься святых тайн. Священник подошел к ней, вошли оба его спутника, кто-то притворил дверь. Однако я успел еще увидеть: на миг приподнимается растрепанная белокурая голова маленькой Гуйус, девочка смотрит на священника широко раскрытыми от ужаса глазами, они совсем белые, без цвета, потом опять раздается «ай-ой», и она снова ныряет под простыню.

– И ты мне рассказываешь такую вещь только теперь? – помолчав, проговорил Ганс Касторп. – Я не понимаю, как ты вчера вечером не вспомнил об этом. Но, боже мой, ведь у нее, очевидно, было еще очень много сил, раз она так сопротивлялась. Для этого ведь необходимы силы. За священником надо посылать, только когда человек уж совсем ослабеет...

– Она и ослабела, – возразил Иоахим. – О!.. Много кой-чего можно

было бы порассказать; самое трудное – начало, выбор... Она была на самом деле очень слаба, только страх придал ей такую силу. Ей было страшно до ужаса, она же почуяла, что скоро умрет. Ведь совсем молоденькая девушка, как тут в конце концов не извинить ее? Но иногда и мужчины ведут себя так же, а уж это непростительное безволие! Впрочем, Беренс умеет с ними разговаривать, он в таких случаях находит нужный тон!

– Какой же тон? – спросил Ганс Касторп, насупившись.

– «Пожалуйста, не ломайтесь», говорит он, – продолжал Иоахим. – По крайней мере он совсем недавно сказал это одному умирающему – мы узнали об этом от старшей сестры, она помогала держать больного. Был у нас такой, напоследок он разыграл отвратительную сцену, ни за что не хотел умирать. Тогда-то Беренс на него и накинулся. «Пожалуйста, не ломайтесь», – заявил он, и пациент мгновенно утихомирился и умер совершенно спокойно.

Ганс Касторп хлопнул себя рукой по колену и, откинувшись на спинку скамьи, взглянул на небо.

– Послушай, но это уж слишком! – воскликнул он. – Накидывается на человека и прямо заявляет: «Не ломайтесь!» Это умирающему-то! Нет, это уж слишком! Умирающий в какой-то мере заслуживает уважения. Нельзя же его так, ни с того ни с сего... Ведь умирающий, хочу я сказать, как бы лицо священное...

– Не отрицаю, – отозвался Иоахим. – Но если он такая тряпка...

– Нет! – настойчиво продолжал Ганс Касторп с упорством, которое отнюдь не соответствовало возражениям двоюродного брата. – Нет, умирающий – это существо гораздо более благородное, чем какой-нибудь ражий болван, который разгуливает себе по жизни, похохатывает, зашибает деньгу и набивает пузо. Так нельзя... – И голос его странно дрогнул. – Нельзя так, ни за что ни про что... – Он не договорил: как и вчера, на него напал неудержимый смех, этот смех вырывался из глубины его существа, сотрясая все тело, смех столь неодолимый, что Ганс Касторп невольно закрыл глаза, и из-под век выступили слезы.

– Тсс! – вдруг остановил его Иоахим. – Молчи, – прошептал он и толкнул в бок трясшегося от неудержимого хохота молодого человека. Ганс Касторп открыл затуманенные слезами глаза.

По дороге слева к ним приближался какой-то господин в светлых клетчатых брюках; это был хорошо сложенный брюнет с изящно подкрученными черными усами. Приблизившись, он обменялся с Иоахимом утренним приветствием, причем в устах господина приветствие это прозвучало особенно отчетливо и певуче; затем он оперся на свою

трость и, скрестив ноги, остановился в грациозной позе перед Иоахимом.

Сатана

Возраст незнакомца трудно было определить, – вероятно, что-нибудь между тридцатью и сорока годами; хотя, в общем, он производил впечатление человека еще молодого, однако его виски слегка серебрились и шевелюра заметно поредела. Две залысины, тянувшиеся к узкому, поросшему жидкими волосами темени, делали лоб необычно высоким. Его одежду, состоявшую из широких брюк в светло-желтую клетку и длинного сюртука из ворсистой материи, с двумя рядами пуговиц и очень широкими лацканами, отнюдь нельзя было назвать элегантною; двойной высокий воротничок от частых стирок по краям уже слегка обмахорился, черный галстук также был потрепан, а манжет незнакомца, видимо, вовсе не носил – Ганс Касторп угадал это по тому, как обвисли концы рукавов.

И все-таки было ясно, что перед ними не человек из народа; об этом говорило и интеллигентное выражение лица, и свободные, даже изысканные движения. Однако эта смесь потертости и изящества, черные глаза, мягкие, пушистые усы тотчас напомнили Гансу Касторпу тех музыкантов-иностранцев, которые на рождество ходят у него на родине по дворам с шарманкой и потом, подняв к окнам бархатные глаза, протягивают мягкую шляпу, ожидая, что им бросят монету в десять пфеннигов. «Настоящий шарманщик!» – подумал про себя Ганс Касторп. Поэтому он и не удивился фамилии незнакомца, когда Иоахим поднялся со скамьи и с некоторым смущением представил их друг другу.

– Мой двоюродный брат Касторп, господин Сеттембрини.

Ганс Касторп, еще со следами неумеренной веселости на лице, также поднялся, чтобы поздороваться. Но итальянец в вежливых выражениях попросил его не беспокоиться и заставил снова опуститься на скамью, а сам продолжал стоять в той же грациозной позе. Улыбаясь, поглядывал Сеттембрини на двоюродных братьев, особенно на Ганса Касторпа, и в умной, чуть иронической усмешке, затаившейся в самом уголке рта, там, где ус красиво загибался кверху, было что-то своеобразное, словно призывавшее к бдительности и ясности духа; Ганс Касторп как-то сразу протрезвел, и ему стало стыдно.

– Я вижу, господа, вы в веселом настроении – и правильно делаете, правильно. Великолепное утро! Небо голубое, солнце смеется... – И легким пластичным движением воздел он маленькую желтоватую ручку к небу и одновременно искоса метнул на них снизу лукавый взгляд. –

Можно даже позабыть, где находишься.

В его немецкой речи не чувствовалось никакого иностранного акцента, и лишь по той отчетливости, с какой он произносил каждый слог, можно было признать в нем чужеземца. Ему даже как будто доставляло удовольствие выговаривать слова. И слушать его было приятно.

– Надеюсь, вы хорошо доехали? – обратился он к Гансу Касторпу. – И приговор уже произнесен? Я хочу сказать: мрачный церемониал первого осмотра уже состоялся? – Здесь ему следовало бы умолкнуть и подождать, что скажет Ганс Касторп, если бы его это интересовало, ибо он задал определенный вопрос и молодой человек намеревался на него ответить. Но Сеттембрини тут же продолжал: – К вам были снисходительны? Из вашей смешливости... – он на мгновение умолк, и саркастическая складка, таившаяся в уголке его рта, стала заметнее, – можно сделать разные выводы. На сколько же месяцев вас засадили в нашу каталажку Минос и Радамант^[19]? – Слово «каталажка» прозвучало в его устах особенно забавно. – Мне предоставляется угадать самому? На шесть? Или сразу на девять? Тут ведь не скупятся...

Ганс Касторп удивленно рассмеялся, в то же время силясь припомнить, кто же такие Минос и Радамант. Он ответил:

– Ничего подобного. Нет, вы ошиблись, господин Сентеб...

– Сеттембрини, – поправил его итальянец быстро и четко, отвесив шуточный поклон.

– Господин Сеттембрини, прошу меня извинить. Нет, вы все же ошиблись. Я приехал всего на три недели – навестить моего двоюродного брата Цимсена и хочу воспользоваться этим случаем, чтобы тоже немного поправиться...

– Черт побери, значит вы не из наших? Вы здоровы и только гостите здесь, подобно Одиссею в царстве теней^[20]? Какая смелость – спуститься в бездну, где в бессмысленном ничтожестве обитают мертвые...

– В бездну, господин Сеттембрини? Разрешите с вами не согласиться! Мне пришлось, наоборот, вскарабкаться к вам на высоту целых пяти тысяч футов...

– Это вам только так показалось! Даю слово, то была иллюзия! – продолжал Сеттембрини, сделав решительное движение рукой. – Мы низко павшие создания, не правда ли, лейтенант? – обратился он к Иоахиму, которому очень польстило, что тот назвал его лейтенантом; но он попытался это скрыть и спокойно ответил:

– Мы действительно здесь немного опустились. Но в конце концов

можно сделать над собой усилие и снова выпрямиться.

– Да, я верю, что вы на это способны, вы человек порядочный. Так, так, так, – задумчиво сказал Сеттембрини, резко подчеркивая звук «т»; потом опять повернулся к Гансу Касторпу, трижды прищелкнул языком и проговорил: – Вот, вот, вот, – снова подчеркивая букву «т»; он пристально уставился в лицо новичка, его глаза стали неподвижными, точно у слепого; потом они снова ожили, и он продолжал:

– Значит, вы явились сюда наверх к нам, опустившимся, вполне добровольно и намерены на некоторое время удостоить нас общением с вами? Что ж, прекрасно. А какой же срок изволили вы себе наметить? Сознаюсь, нетактичен. Но меня удивляет, какими смелыми становятся люди, когда решают они сами, а не Радамант.

– Три недели, – сказал Ганс Касторп с несколько кокетливой небрежностью, ибо заметил, что вызывает зависть.

– O dio!^[21] Три недели! Вы слышали, лейтенант? Разве не чудится вам даже нечто дерзостное, когда человек заявляет: «Я приехал сюда на три недели, а потом снова уеду»? Мы, сударь, если мне будет позволено просветить вас, свое пребывание здесь неделями не мерим. Наша самая малая мера – месяц. В наших исчислениях мы придерживаемся высокого стиля, больших масштабов, это привилегия теней. У нас есть и другие, но все они того же рода. Осмелюсь спросить, какова ваша профессия в жизни, или, сказать точнее, к какой вы готовитесь? Видите, наше любопытство не ведает узды, ибо и его мы считаем своей привилегией.

– Пожалуйста, я отвечу вам очень охотно, – отозвался Ганс Касторп. И он сообщил о себе все что мог.

– Кораблестроитель! Но это же грандиозно! – воскликнул Сеттембрини. – Поверьте мне, грандиозно, хотя мои способности устремлены на иное.

– Господин Сеттембрини – литератор, – пояснил Иоахим несколько смущенно. – В немецких газетах был напечатан его некролог Кардуччи^[22] ... ну, знаешь, Кардуччи? – И смутился еще больше, ибо кузен удивленно посмотрел на него, словно желая сказать: «А тебе-то что-нибудь известно об этом Кардуччи? Видимо, так же мало, как и мне?»

– Верно, – сказал итальянец, кивнув головой. – Я имел честь поведать вашим соотечественникам об этом свободомыслящем и великом поэте после того, как жизнь его, увы, прервалась. Я знал его и вправе называть себя его учеником. В Болонье я сидел у его ног^[23]. Ему обязан я и своим образованием, и своей жизнерадостностью. Но ведь мы говорили о вас.

Итак, вы кораблестроитель? А знаете ли вы, что сразу выросли в моих глазах? Вот вы сидите передо мной, и вдруг оказывается, что вы представляете собой целый мир труда и практического гения!

– Но послушайте, господин Сеттембрини, я же, собственно говоря, еще студент, я только начинаю.

– Разумеется. И всякое начало трудно. Да и вообще трудна всякая работа, если она заслуживает этого названия, не правда ли?

– Вот уж верно, черт возьми! – согласился Ганс Касторп от всей души. Сеттембрини удивленно поднял брови.

– Вы даже черта призываете в подтверждение своих слов? Сатану – собственной персоной? А известно ли вам, что мой великий учитель написал ему гимн?

– Позвольте, – удивился Ганс Касторп, – гимн черту?

– Вот именно. Его иногда распевают у меня на родине, на празднествах. «O salute, o Satana, o Ribellione, o forza vindice della Ragione...»^[24] Великолепная песнь! Но это едва ли тот черт, которого вы имели в виду, ибо мой – в превосходных отношениях с трудом. А упомянутый вами – ненавидит труд, он должен его бояться; это, вероятно, тот черт, о котором сказано, что, протяни ему мизинец...

На добрейшего Ганса Касторпа все эти разговоры подействовали очень странно. По-итальянски он не понимал. Не слишком ему понравилось и сказанное по-немецки. Слова Сеттембрини отдавали воскресной проповедью, хотя все это и преподносилось легким, шутливым тоном. Он взглянул на двоюродного брата, опустившего глаза, и наконец сказал:

– Ах, господин Сеттембрини, вы слишком серьезно относитесь к моим словам. Насчет черта – просто к слову пришлось, уверяю вас!

– Кто-нибудь должен же относиться к человеческим словам серьезно, – сказал Сеттембрини, меланхолически глядя перед собой. Но затем снова оживился и, повеселев, продолжал, искусно возвращая разговор к тому, с чего он начался.

– Во всяком случае, я вправе заключить из ваших слов, что вы избрали трудную и почетную профессию. Боже мой, я гуманитарий, homo humanus^[25], и ничего не смыслю в инженерном деле, хотя и отношусь к нему с истинным уважением. Но я понимаю, что теория вашей специальности требует ума ясного и проницательного, а ее практическим задачам человек должен отдавать себя всего без остатка, разве не так?

– Конечно, тут я с вами абсолютно согласен, – ответил Ганс Касторп, невольно стараясь быть разговорчивее. – Требования в наше время

предъявляются колоссальные, трудно даже представить себе, как они велики, просто можно потерять мужество. Да, это не шутка. И если ты не очень крепок здоровьем... Правда, я здесь только в качестве гостя, но все-таки и я не из самых здоровых, и, не хочу врать, работа мне дается не так уж легко. Напротив, она меня порядком утомляет, сознаюсь в этом. Совсем здоровым я чувствую себя, в сущности, только когда ничего не делаю...

– Например, сейчас?

– Сейчас? Ну, здесь у вас наверху я еще не успел освоиться... и немного выбит из колеи, как вы, вероятно, заметили.

– А-а, выбиты из колеи?

– Да, и спал неважно, и первый завтрак был чересчур сытный. Правда, я привык плотно завтракать, но сегодняшней, видимо, слишком тяжел, too rich^[26], как выражаются англичане. Словом, я чувствую себя не совсем в своей тарелке, а утром мне даже моя сигара была противна – подумайте! Этого со мной никогда не бывает, разве только когда я серьезно болен... И вот сегодня мне показалось, что вместо сигары у меня во рту кусок кожи. Пришлось выбросить, не было никакого смысла себя насиловать. А вы курите, разрешите спросить? Нет? В таком случае вы не можете себе представить, как обидно и досадно бывает тому, кто, как я, например, с юности особенно полюбил курение.

– В этой области не имею, к сожалению, никакого опыта, – заметил Сеттембрини, – однако столь же неопытны и многие весьма достойные люди; их дух, возвышенный и трезвый, испытывал отвращение к курительному табаку. Не любил его и Кардуччи. Но тут вас поймет наш Радамант. Он предан тому же пороку, что и вы.

– Ну, назвать это пороком, господин Сеттембрини...

– Почему бы и нет? Следует называть вещи своими именами, правдиво и решительно. Это укрепляет и облагораживает жизнь. И у меня есть пороки.

– Значит, гофрат Беренс – знаток по части сигар? Обаятельный человек!

– Вы находите? А! Вы, значит, уже познакомились с ним?

– Да, только что, когда мы выходили. Состоялось даже нечто вроде консультации, но *sine rescripā*, знаете ли. Он сразу заметил, что я несколько малокровен, и посоветовал мне вести здесь тот же образ жизни, что и мой двоюродный брат, побольше лежать на воздухе вместе с ним и тоже измерять температуру.

– Да что вы? – воскликнул Сеттембрини. – Превосходно! – бросил он в пространство и, смеясь, откинулся назад. – Как это поется в опере вашего

композитора? «Я птицелов, я птицелов, всегда я весел и здоров»^[27]. Словом, все это весьма занятно. И вы решили последовать его совету? Без сомнения? Да и почему не последовать? Чертов приспешник этот Радамант! И потом всегда «весел», хотя иной раз и через силу. У него же склонность к меланхолии. Его порок ему идет во вред – впрочем, что это был бы иначе за порок... Табак вызывает в нем меланхолию – почему наша достойная всякого уважения старшая сестра и взялась хранить его запасы курева и выдает ему на день весьма скромный рацион. Говорят, что иногда, будучи не в силах противиться соблазну, он крадет у нее табак, а затем впадает в хандру. Короче говоря – смятенная душа. Вы, надеюсь, уже познакомились с нашей старшей сестрой? Нет? А следовало! Как же вы не домогались знакомства с ней? Это ошибка! Она ведь из рода фон Милендонков, сударь мой. А от Венеры Медицейской отличается тем, что там, где у богини перси, у нее крест...

– Ха-ха! Здорово! – рассмеялся Ганс Касторп.

– Имя ее Адриатика.

– Да что вы говорите? – воскликнул Ганс Касторп. – Послушайте, но это же поразительно! Фон Милендонк и к тому же Адриатика! Все вместе звучит так, точно она давно умерла. Прямо отдает средневековьем.

– Милостивый государь, – ответил Сеттембрини, – тут многое «отдает средневековьем», как вы изволили выразиться. Кстати, я лично убежден, что наш Радамант из одного лишь чувства стиля сделал эту окаменелость старшей надзирательницей своего «дворца ужасов». Ведь он художник. Вы не знали? Как же, пишет маслом. Что вы хотите, это же не запрещено, верно? Каждый волен рисовать, если ему хочется... Фрау Адриатика рассказывает всем, кто согласен ее слушать, да и остальным тоже, что в середине тринадцатого века одна из Милендонков была аббатисой женского монастыря в Бонне на Рейне. А сама она, вероятно, появилась на свет немногим позднее...

– Ха-ха-ха! Ну и насмешник же вы, господин Сеттембрини.

– Насмешник? Вы хотите сказать, что я зол? Да, я чуть-чуть зол, – отозвался Сеттембрини. – Моя беда в том, что я обречен растрачивать свою злость на столь убогие предметы. Надеюсь, вы ничего не имеете против злости, инженер? Я считаю, что она самое блестящее оружие разума против сил мрака и безобразия. Злость, сударь мой, это душа критики, а критика – источник развития и просвещения. – Тут он заговорил о Петрарке, которого называл «отцом нового времени»^[28].

– Однако надо возвращаться. Нам пора лежать, – рассудительно

вставил Иоахим.

Литератор сопровождал свою речь грациозными жестами. Теперь он как бы завершил эту игру жестов округлым взмахом руки, указав на Иоахима.

– Наш лейтенант напоминает нам о долге службы, – заявил он, – итак, пойдем. Нам по пути, и «вправо ведет он, туда, где чертог могучего Дита!»^[29] Ах, Вергилий, Вергилий^[30]. Не превзойден никем, господа! Конечно, я верю в прогресс. Но Вергилий умеет пользоваться прилагательными, как ни один из современных писателей. – И когда они зашагали по дороге домой, Сеттембрини начал было читать латинские стихи с итальянским произношением, но тут же прервал себя, ибо им повстречалась молодая девушка, видимо одна из дочерей этого городка, и даже неособенно хорошенькая; на лице Сеттембрини сразу же появилась улыбка ловеласа, и он стал напевать, прищелкивая языком: «Тэ-тэ-тэ... Ля-ля-ля, эй-эй-эй! Миленькая крошка, будь же моей!» Смотрите, как «в беглом сиянье блеснул ее взор», – процитировал он неведомо откуда и послал воздушный поцелуй удалявшейся смущенной девушке.

«Какой он, оказывается, ветреник», – подумал Ганс Касторп и не изменил своего мнения, даже когда, после галантной атаки на девицу, итальянец снова пустился в рассуждения. Главным образом прохаживался он насчет Беренса, язвил по поводу его ножищ и остановился затем на его звании, будто бы дарованном ему каким-то принцем, страдавшим туберкулезом мозга. О скандальном образе жизни этого принца до сих пор еще судачит вся округа. Но Радамант закрывает на это глаза, оба глаза, ведь он получил гофрата. Впрочем, господа, вероятно, не знают, что летний сезон – это его изобретение? Да, именно он его изобрел, и никто другой. Заслуга есть заслуга. Раньше в этой долине выдерживали только верные из верных. Тогда «наш юморист» с присущей ему прозорливостью открыл, что этот изъян – всего лишь плод предрассудка. Он выдвинул теорию, по крайней мере в отношении своего санатория, что летний курс лечения не только полезен и особенно эффективен, он прямо-таки необходим. Ему удалось разрекламировать свою теорию среди публики, он писал популярные статьи по этому вопросу и лансировал их в печати. С тех пор его дела идут летом так же бойко, как и зимой.

– Гений, – добавил Сеттембрини. – Ин-ту-и-ция! – добавил он. Затем язвительно прохватил и другие здешние лечебные учреждения и насмешливо воздал хвалу стяжательству их владельцев. Взять хотя бы профессора Кафку... Ежегодно в критическое время таяния снегов, когда многие пациенты стремятся покинуть эти места, профессор Кафка

оказывается вынужденным внезапно уехать куда-то на неделю, причем обещает по своем возвращении немедленно отпустить больных. Но его отсутствие продолжается обычно месяца полтора, и бедняги больные вынуждены ждать, причем их счета, замечу мимоходом, продолжают расти. Даже в Фиуме вызывали этого Кафку, но он не тронулся с места, пока ему не гарантировали пять тысяч добрыми швейцарскими франками, причем на переговоры ушло две недели. А через день после прибытия светила больной умер. Что же касается доктора Зальцмана, то он обвиняет Кафку в том, что у него будто бы шприцы плохо стерилизуются и что больных заражают дополнительными инфекциями. Он ездит в экипаже на шинах, говорит Зальцман, чтобы его покойникам не было слышно, а Кафка в свою очередь утверждает, будто у Зальцмана «дар веселящий лозы» навязывается пациентам в таком объеме, – конечно, тоже для округления счетов, – что люди мрут у него как мухи – не от чахотки, а от пьянства...

Сеттембрини говорил не умолкая, и Ганс Касторп хохотал искренне и добродушно над этим неудержимым потоком злословия. Красноречие итальянца доставляло особенное удовольствие еще и потому, что он говорил абсолютно правильно, чисто и без всякого акцента. Слова соскакивали с его подвижных губ как-то особенно упруго и изящно, точно он творил их заново и сам наслаждался своим творчеством, меткими выражениями, ловкими оборотами, даже грамматическим словоизменением и производными формами, раскрываясь перед собеседниками с искренней общительностью и веселой обстоятельностью; причем казалось, что у него настолько зоркий ум и такая ясность духа, что он не может ошибиться хотя бы один раз.

– Как вы удивительно говорите, господин Сеттембрини, – заметил Ганс Касторп, – очень живо... Я не знаю даже, как определить...

– Пластично? Да? – отозвался итальянец и начал обмахиваться носовым платком, хотя было довольно прохладно. – Вот то слово, которого вы ищете. У меня пластичная манера говорить, вот что вы имели в виду. Однако стоп! – воскликнул он. – Что я вижу! Вон шествуют inferнальные вершители наших судеб. Какое зрелище!

Тем временем они успели дойти до поворота. Или их увлекли речи Сеттембрини, или здесь сыграло роль то, что они спускались, а может быть им только казалось, что они забрели так далеко от санатория, – ибо дорога, по которой мы идем вперед, значительно длинней уже известной нам, – во всяком случае, они прошли обратный путь гораздо быстрее.

Сеттембрини был прав: внизу, через площадку, тянувшуюся вдоль задней стены санатория, действительно шествовали два врача, впереди –

гофрат в белом халате, – они сразу узнали его по крутой линии затылка и ручищам, которыми он загребал, словно веслами, – и следом за ним – доктор Кроковский в черном халате, похожем на блузу. Кроковский поглядывал вокруг с тем большим чувством собственного достоинства, что заведенный порядок вынуждал его при служебных обходах держаться позади своего шефа.

– А, Кроковский! – воскликнул Сеттембрини. – Вон он шагает и несет в себе все тайны наших дам. Прошу обратить внимание на изысканную символичность его одежды. Он носит черное, намекая на то, что истинный объект его изучения – то, что скрывается в ночи. У этого человека в голове царит одна мысль, и мысль эта – грязная. Как же вышло, инженер, что мы еще совсем не говорили о нем? Вы с ним познакомились?

Ганс Касторп кивнул.

– Ну и что же? Я начинаю подозревать, что и он вам понравился?

– Право, не знаю, господин Сеттембрини. Наша встреча была слишком мимолетной. И потом, я не спешу судить о людях, я просто разглядываю их и думаю: «Так вот ты каков? Ну и ладно».

– Это некоторая леность ума, – ответил итальянец. – Вы должны составлять себе определенные мнения. Природа вам дала для этого глаза и рассудок. Вот вы нашли, что я говорю со злостью. Но если оно и так, то, быть может, у меня определенный педагогический умысел? У нас, гуманистов, почти у всех есть педагогическая жилка. Историческая связь между гуманизмом и педагогикой указывает, господа, и на их психологическую связь. Не следует снимать с гуманиста обязанность воспитывать людей, ее просто нельзя отнять у него, ибо только он может передавать молодежи идеи человеческого достоинства и красоты. Некогда он сменил священника, который в сумрачные и человеконенавистнические эпохи имел дерзость руководить молодежью. Правда, с тех пор, господа, так и не сложился новый тип воспитателя. Мне кажется, что гимназия с гуманитарной программой – называйте меня отсталым, инженер, – но в основном, *in abstracto*^[31], прошу понять меня правильно, я все же остаюсь ее сторонником...

Даже в лифте он продолжал развивать эту мысль, но двоюродные братья на втором этаже вышли. Он же поднялся до третьего, где, как рассказывал Иоахим, занимал комнатку, выходившую во двор.

– У него, должно быть, нет денег? – спросил Ганс Касторп, провожавший Иоахима до его комнаты, где все было в точности так же, как и у Ганса Касторпа.

– Нет, – ответил Иоахим, – денег у него, вероятно, нет. Или ровно

столько, чтобы оплачивать свое пребывание здесь. Его отец тоже был литератором, знаешь ли, и, кажется, даже дедушка.

– Ну, тогда понятно, – сказал Ганс Касторп. – А что, он в самом деле серьезно болен?

– Насколько я знаю, его состояние для жизни не опасно, но болезнь упорно не поддается излечению, и процесс возобновляется все вновь и вновь. Он болеет уже много лет, несколько раз уезжал отсюда, но приходилось опять вскоре возвращаться.

– Бедняга! А он, видимо, мечтает о работе! Притом невероятно разговорчив, так и перескакивает с одного на другое. По отношению к девушке он вел себя довольно дерзко, и мне на минуту стало неловко. Но то, что он говорил потом о человеческом достоинстве, было замечательно, прямо как на торжественном акте. Ты часто с ним проводишь время?

Острота мысли

Однако Иоахим отвечал на этот вопрос как-то сбивчиво и неясно. Он даже успел вынуть из лежавшего на столе красного кожаного футлярчика, обтянутого внутри бархатом, маленький градусник и сунул себе в рот заполненный ртутью кончик. Он держал градусник слева, под языком, отчего стеклянный инструмент торчал слегка вбок и кверху. Затем переоделся, надел башмаки и нечто вроде тужурки, взял со стола печатную таблицу, карандаш и книгу – русскую грамматику, – Иоахим изучал русский язык, ибо надеялся, по его словам, что знание русского ему пригодится на службе, – и, оснащенный всем этим, вышел на балкон, где и расположился в шезлонге, лишь слегка прикрыв ноги одеялом из верблюжьей шерсти.

Да в нем и не было нужды: за последние четверть часа пелена облаков становилась все тоньше, и наконец прорвалось солнце – такое по-летнему жаркое и ослепительное, что Иоахиму пришлось защитить голову белым полотняным зонтиком, который с помощью хитроумного и несложного приспособления можно было прикреплять к подлокотнику шезлонга, меняя его наклон в зависимости от положения солнца. Ганс Касторп похвалил это приспособление. Ему хотелось узнать, что покажет градусник, и пока Иоахим держал его, он наблюдал за этой процедурой, осмотрел и меховой мешок, обнаруженный им в углу лоджии (Иоахим пользовался им в холодные дни); затем оперся о балюстраду балкона и стал глядеть в сад, где находилась общая галерея для лежания; там оказалось немало больных, они лежа читали, писали, болтали. Впрочем, ему была видна только часть галереи и человек пять пациентов.

– Сколько же времени нужно держать градусник? – спросил Ганс Касторп и обернулся.

Иоахим поднял семь пальцев.

– Но они, наверное, уже прошли – эти семь минут?

Иоахим покачал головой. Через некоторое время он вынул градусник изо рта, взглянул на него и сказал:

– Да, когда за ним следишь, за временем, оно идет очень медленно. И я ничего не имею против того, чтобы мерить температуру четыре раза в день. Тут только и замечаешь, какая, в сущности, разница – одна минута и целых семь, при том, что семь дней недели проносятся здесь просто мгновенно.

– Ты говоришь «в сущности». Но ты так говорить не можешь, –

возразил Ганс Касторп. Он сидел боком на перилах, белки его глаз покраснели. – Время вообще не «сущность». Если оно человеку кажется долгим, значит оно долгое, а если коротким, так оно короткое, а насколько оно долгое или короткое в действительности – этого никто не знает. – Он не привык философствовать, но сейчас испытывал потребность порассуждать.

– Почему же? – возразил Иоахим. – Мы все-таки измеряем его. У нас есть часы и календари, и когда прошел месяц, он прошел и для тебя, и для меня, и для всех нас.

– Но ты послушай меня, – остановил его Ганс Касторп и даже поднес указательный палец к помутневшим глазам. – Значит, длина одной минуты такова, какой она тебе кажется, когда ты измеряешь себе температуру?

– Одна минута тянется... она длится ровно столько, сколько нужно секундной стрелке, чтобы обежать свой круг.

– Но ведь это время может быть самым различным для нашего ощущения. И фактически... я подчеркиваю: фактически, – повторил Ганс Касторп и так сильно нажал указательным пальцем на свой нос, что совсем пригнул его кончик к губе, – движение стрелки есть движение в пространстве, не так ли? Нет, подожди, постой! Значит, мы измеряем время пространством. Но это все равно, как если бы мы захотели измерять пространство временем, – а так его измеряют только совершенно необразованные люди. От Гамбурга до Давоса двадцать часов поездом. А пешком сколько? А в мыслях? Меньше секунды!

– Послушай, – заметил Иоахим, – что это на тебя нашло? Или здешний воздух подействовал?

– Молчи! У меня сегодня мысль работает необычайно остро. Что же такое время? – спросил Ганс Касторп и так решительно отогнул в сторону кончик носа, что кровь от него отхлынула и он побелел. – Может быть, ты объяснишь мне? Ведь пространство мы воспринимаем нашими органами чувств, зрением и осязанием. Хорошо. Ну а каким же органом мы воспринимаем время? Может быть, ты мне ответишь? Видишь, вот ты и влип. Но как можем мы что-либо измерять, если, говоря по правде, не можем назвать ни одного, ну ни одного его свойства! Мы говорим: время проходит. Хорошо, пусть себе проходит. Но чтобы измерять его... подожди! Чтобы быть измеряемым, оно должно протекать равномерно, а где это сказано, что оно так и протекает? В восприятиях нашего сознания этого нет, мы лишь допускаем равномерность для порядка, и наши измерительные единицы – просто условность. Так вот, разреши мне...

– Хорошо, – прервал его Иоахим. – Значит, условность и то, что мой градусник показывает на пять черточек больше нормы? А из-за этих пяти

лишних делений я должен здесь прозябать и не могу служить в армии, это же факт, хоть и отвратительный!

– У тебя 37,5?

– Она уже начала понижаться. – Иоахим занес температуру в табличку. – Вчера вечером было почти 38, в результате твоего приезда. У всех, к кому приезжают гости, она повышается. И все-таки твой приезд – это благо.

– Я сейчас уйду, – сказал Ганс Касторп. – У меня в голове еще пропасть мыслей о времени, могу сказать – целый комплекс. Но я не хочу тебя волновать, у тебя и так слишком много черточек. Я этих мыслей не забуду, и мы потом к ним вернемся, может быть после завтрака. Когда настанет время завтрака, ты позовешь меня. Сейчас я тоже пойду полежу, меня ведь от этого, слава богу, не убудет. – И он прошел мимо стеклянной стенки на собственный балкон, где и для него были приготовлены шезлонг и столик, принес из уже аккуратно прибранной комнаты книжку «Ocean steamships» и свой пушистый мягкий плед в темно-красную и зеленую клетку и улегся.

Однако очень скоро ему пришлось раскрыть зонтик: здесь, на балконе, солнце жгло нестерпимо. Но лежать было необыкновенно удобно, Ганс Касторп тут же отметил это с удовольствием – он не помнил, чтобы ему так приятно лежалось в каком-нибудь шезлонге.

Кресло это, несколько старомодной формы – явная стилизация, ибо оно, бесспорно, было новым, – состояло из полированной рамы – имитации красного дерева – и матраса, обитого какой-то мягкой материей наподобие ситца; матрас, вернее – три сложенных вместе пухлых перины, покрывал весь шезлонг и свешивался со спинки. Кроме того, в изголовье висел на шнурке не слишком мягкий и не слишком жесткий валик в полотняном вышитом чехле, и на него было особенно удобно откидывать голову. Ганс Касторп оперся локтем на широкий плоский подлокотник и, щурясь, спокойно поглядывал вокруг; он не чувствовал потребности развлекать себя книжкой «Ocean steamships». Перед ним лежал суровый и скудный пейзаж, но он был залит солнечным светом и, обрамленный аркой лоджии, казался вставленной в раму картиной. Ганс Касторп задумчиво созерцал ее. Вдруг он что-то вспомнил и нарушил тишину, громко спросив:

– Она ведь карлица, эта, которая подавала нам за первым завтраком?

– Тсс... – остановил его Иоахим. – Тише. Да, карлица. А что?

– Ничего. Мы просто с тобой об этом еще не говорили.

И опять отдался своим думам. Когда он лег, было уже десять часов. Прошел час. Обыкновенный час, не длинней и не короче. Но вот он истек,

и по дому и саду разнесся звук гонга, сначала далекий, потом все ближе, потом опять удаляясь.

– Завтрак, – сказал Иоахим, и было слышно, как он встает.

Ганс Касторп также встал и вошел в комнату, чтобы привести себя в порядок. Двоюродные братья встретились в коридоре и пошли вниз. Ганс Кастора сказал:

– Ну, лежалось мне отлично. Что это у вас за шезлонги? Если тут можно купить такие, я увезу один в Гамбург, в нем лежишь как в раю. Или ты предполагаешь, что они сделаны по особому заказу Беренса?

Но Иоахим этого не знал. Они разделись и вторично вошли в столовую, где трапеза была уже в самом разгаре. Всюду белело молоко: у каждого прибора стоял большой, по меньшей мере полулитровый стакан молока.

– Нет, – сказал Ганс Касторп, когда он снова уселся между портнихой и англичанкой и покорно развернул салфетку, хотя чувствовал в желудке тяжесть еще после первого завтрака. – Нет, – сказал он, – да простит меня бог, но молока я вообще не пью, а тем более сейчас. Нельзя ли получить портер? – И он прежде всего вежливо и мягко обратился с этим вопросом к карлице. Но портера не оказалось. Однако она обещала принести кульмбахского пива, и принесла. Густое, черное, с коричневой пеной, оно вполне заменяло портер. Ганс Касторп жадно пил его из высокого полулитрового стакана, закусывая холодным мясом и гренками. Снова подали овсяную кашу и в изобилии масло и овощи. Но он только поглядывал на них, ибо есть был уже не в состоянии. Рассматривал он и публику за столами – лица уже не сливались в одно и не казались одинаковыми; начали выделяться отдельные фигуры.

Его стол был занят целиком, кроме одного места на конце, против него, – оказывается, оно предназначалось для врача. Ибо врачи, когда позволяло время, участвовали в общих трапезах, причем садились то за один стол, то за другой; поэтому в конце каждого одно место оставалось свободным. Сейчас отсутствовали оба; кто-то сообщил, что у них операция. Снова явился молодой человек с усами, опустил подбородок на грудь и уселся с озабоченным и замкнутым видом. Оказалась на своем месте и тощая блондинка, она так усердно загребала ложкой простоквашу, как будто, кроме этого, есть было нечего. Рядом с ней Ганс Касторп увидел маленькую веселую старушку, которая обращалась по-русски к молчаливому молодому человеку, а он озабоченно смотрел на нее и только кивал головой, причем так кривил лицо, точно держал во рту что-то очень невкусное. Против него, по ту сторону старухи, сидела еще одна молодая

девушка – и прехорошенькая: цветущий румянец, высокая грудь, волнистые темно-каштановые, красиво причесанные волосы, круглые карие детские глаза и маленький рубин на прекрасной руке. Она часто смеялась и тоже говорила по-русски, только по-русски. Ее звали Марусей, как узнал Ганс Касторп. Потом он заметил, что, когда она болтала и смеялась, Иоахим со строгим видом опускал глаза.

Сеттембрини вошел через боковую галерею и, подкручивая усы, проследовал на свое место в конце стола, стоявшего под углом к столу Ганса Касторпа. Когда он сел, его соседи звонко рассмеялись; вероятно, он отпустил какую-нибудь дерзость. Узнали Ганса Касторпа и члены «Союза однополочных». Гермина Клеефельд с глупым видом протискалась на свое место за столом перед одной из дверей на веранду и приветствовала губастого юнца, перед тем столь неприлично задиравшего свою куртку. Фрейлейн Леви, с лицом цвета слоновой кости, сидела рядом с толстой пятнистой Ильтис у поперечного стола, справа от Ганса Касторпа; их окружали еще неведомые ему люди.

– Вон твои соседи, – вполголоса сказал Иоахим, наклонившись к двоюродному брату... Супруги прошли вплотную мимо Ганса Касторпа к последнему столу в том же ряду, это был «плохой» русский стол, где какая-то чета с некрасивым мальчиком уже поглощала огромные порции овсяной каши. Сосед оказался человеком тщедушного сложения, его серые щеки ввалились, на нем была кожаная куртка, на ногах – неуклюжие фетровые сапоги с застежками. Его жена, тоже худенькая, но изящная, в шляпе с развевающимися перьями, просеменила к столу в юфтяных сапожках с высокими каблучками; ее шею обвивало грязноватое боа из птичьих перьев. Ганс Касторп рассматривал обоих с неприсущей ему бесцеремонностью, он сам почувствовал в ней что-то грубое; но именно эта грубость почему-то вдруг доставила ему удовольствие. Его взгляд был тупым и настойчивым. Когда в ту же минуту застекленная дверь слева захлопнулась, так же как и сегодня утром, со звоном и дребезгом, он не вздрогнул, а лишь сделал ленивую гримасу; все же он хотел потом повернуть голову в сторону двери, но вдруг решил, что это требует усилий и не стоит труда. Поэтому случилось так, что он и на этот раз не выяснил, кто же так неаккуратно обращается с дверью.

А причина его странного состояния крылась в том, что выпитое за завтраком пиво, обычно лишь весьма умеренно оживлявшее его, сегодня совершенно оглушило сознание и сковало тело, точно Ганса Касторпа ошарашили ударом по лбу. Веки у него налились свинцом, язык плохо слушался, и когда молодой человек из учтивости вздумал поболтать с

англичанкой, ему было трудно выразить самую простую мысль; чтобы перевести взгляд с одного на другое – и то требовалось усилие, а в довершение всего и лицо у него препротивно разгорелось, в точности как вчера; ему чудилось, будто щеки его распухли от жара, он дышал тяжело, сердце стучало в груди, словно молот, обернутый чем-то мягким, и если все это не слишком его мучило, то лишь потому, что сознание его было затуманено, точно он сделал несколько вдохов хлороформа. И когда доктор Кроковский все же пришел завтракать и уселся за свой прибор как раз напротив Ганса Касторпа, молодой человек заметил это словно сквозь сон, хотя Кроковский не раз пристально поглядывал на него, в то же время болтая по-русски с дамами, сидевшими по его правую руку; причем и цветущая Маруся и тощая простоквашница покорно и стыдливо опускали глаза. Все же Ганс Касторп держался вполне пристойно, предпочитая молчать, ибо язык не повиновался ему, и даже как-то особенно корректно обходился с ножом и вилкой. Но вот кузен кивнул и поднялся; он тоже встал, поклонился своим сотрапезникам, которых видел точно сквозь туман, и, особенно твердо ступая, последовал за Иоахимом.

– Когда же нужно опять лежать на воздухе? – спросил он, едва они вышли из санатория. – Насколько я могу судить – это пока здесь лучшее. Мне хотелось бы опять очутиться в моем замечательном шезлонге. Мы далеко пойдем гулять?

Лишнее слово

– Нет, – ответил Иоахим, – далеко мне ходить нельзя. В этот час я обычно спускаюсь ненадолго вниз и, если у меня есть время, иду через деревню и дохожу до местечка. Видишь людей и магазины, делаешь покупки. Потом лежишь опять час перед обедом, – да, полагается до четырех, – так что еще належишься, не беспокойся.

Они спустились по освещенной солнцем подъездной аллее, перешли мост над потоком и узкие рельсы, все время имея перед глазами горные вершины правого склона: Малый Шьяхорн, Зеленые башни, Дорфберг; Иоахим называл их одну за другой. На той стороне, несколько выше, лежало окруженное стеною кладбище деревни Давос. Иоахим тоже указал на него своей горной палкой. И они наконец добрались до главной улицы, которая тянулась по скалистому выступу, образовавшему над долиной как бы первый этаж.

Деревней это, собственно говоря, трудно было назвать: во всяком случае, от нее осталось одно имя. Курорт поглотил ее, он непрерывно разрастался, почти достигая устья долины, и та часть поселка, которую именовали деревней, незаметно переходила в так называемый Давос-курорт, мало чем от нее отличавшийся. Гостиницы и пансионы со множеством крытых веранд, балконов и галерей для лежания, а также частные домики, где сдавались комнаты, тянулись по обе стороны дороги; кое-где виднелись и новостройки; местами участки еще пустовали, и глазам открывались луга в долине...

Ганс Касторп, испытывавший потребность в привычном любимом возбуждении, опять закурил сигару и, вероятно благодаря выпитому пиву, к своему невыразимому удовольствию снова начал по временам ощущать вожделенный аромат, – правда, лишь изредка и слабо, надо было сделать некоторое нервное усилие, чтобы испытать хотя бы намек на привычное удовольствие, и все-таки во рту оставался мерзкий привкус кожи. Но он не мог преодолеть свою вялость и, сделав несколько попыток вернуть былое наслаждение, то ускользавшее от него, то дразнившее издали смутным намеком, в конце концов устал и с отвращением бросил сигару. Несмотря, однако, на внутреннюю скованность, он счел долгом вежливости поддерживать разговор и старался для этого вспомнить все те замечательные «мысли о времени», которые ему так хотелось высказать перед завтраком. Но вдруг понял, что начисто забыл весь «комплекс», и

относительно проблемы времени в его голове не осталось ни единой, даже самой ничтожной, мыслишки. Вместо того он начал говорить о телесных явлениях и притом как-то странно.

– Когда тебе опять надо мерить температуру? – спросил он. – После обеда? Это правильно. Тогда организм особенно деятелен и градусник все покажет правильно. Послушай-ка, ведь предложение Беренса, чтобы я тоже себе мерил, это была шутка? Правда? И Сеттембрини расхохотался, ведь это же бессмысленно. Да у меня и градусника нет.

– Ну, – сказал Иоахим, – за этим дело не станет. Возьми да купи. Они тут везде продаются, чуть не в каждом магазине.

– Зачем же! Нет, лежать – пожалуйста, лежать я буду вместе с вами охотно, но измерять температуру – это для гостя уже слишком, этим уж занимайтесь вы тут наверху. И почему, – продолжал Ганс Касторп, прижав, словно влюбленный, обе руки к груди, – почему у меня все время так колотится сердце... Это меня очень беспокоит, и давно. Видишь ли, сердцебиение бывает у человека, когда его ждет какая-нибудь особенная радость или когда он пугается, – словом, при сильных душевных движениях, верно? Но когда сердце начинает колотиться ни с того ни с сего, так сказать, по собственной инициативе, в этом, пойми меня правильно, есть что-то жуткое, точно тело существует само по себе и у него нет связи с душой, ну примерно как у трупа, но ведь труп тоже не мертв – какое там! – напротив, он ведет весьма оживленное существование, и тоже по собственному почину: еще вырастают волосы и ногти, да и вообще, как мне говорили, начинается пребойкая деятельность – всякие там процессы, физические и химические.

– Что это за выражения, – сказал Иоахим со сдержанным укором. – Пребойкая деятельность! – Может быть, он этим хотел слегка отомстить за сегодняшнее упоминание о бубенцах.

– Но ведь так оно и есть! Это действительно весьма бойкая деятельность! Почему ты обижаешься? – спросил Ганс Касторп. – Впрочем, я вспомнил об этом лишь мимоходом. И хотел я сказать только одно: когда тело начинает жить самостоятельно, вне связи с душой, и воображать о себе невесть что, как при таком беспричинном сердцебиении, – это жутко и мучительно. Вот и ищешь формальной причины, какого-нибудь душевного движения, которое могло его вызвать. Ну, внезапного чувства радости или страха, послужившего бы ему оправданием, что ли, – по крайней мере так я воспринимаю это. Я могу говорить только о себе.

– Да, да, – согласился Иоахим, вздохнув, – словно у тебя лихорадка, и

притом в теле начинается этакая «пребойкая деятельность», если воспользоваться твоим выражением; тогда, может быть невольно, начинаешь искать какого-либо душевного движения, как ты говоришь, которое хоть сколько-нибудь разумно объяснило бы эту деятельность... Но что за неприятную чепуху мы несем, – сказал он дрогнувшим голосом и вдруг умолк; Ганс Касторп в ответ только пожал плечами, и притом совершенно так же, как вчера это сделал Иоахим, удивив его столь непривычным жестом.

Они шли некоторое время молча. Наконец Иоахим спросил:

– Как тебе понравилась здешняя публика? Я имею в виду наших соседей по столу.

Ганс Касторп придал себе равнодушно-скептический вид.

– Ну, – заметил он, – я бы не сказал, что они очень интересны. За другими столами сидят, вероятно, более интересные люди; впрочем, может быть, только так кажется. Фрау Штер следовало бы вымыть голову, у нее ужасно жирные волосы. А эта Мазурка, или как ее там зовут, представляется мне довольно-таки глуповатой. Так хихикает, что вечно сует в рот платок.

Иоахим невольно усмехнулся этому искажению имени.

– Мазурка? Великолепно! – воскликнул он. – Но ее зовут Маруся, с твоего разрешения – все равно что Мария. Да, она действительно чересчур шаловлива, – продолжал он, – хотя имела бы все основания быть более серьезной, она очень больна.

– По ней не скажешь, у нее цветущий вид. Как раз на туберкулезную и слабогрудую она совсем не похожа! – шутливо заметил Ганс Касторп и бросил двоюродному брату лукаво-многозначительный взгляд; однако Иоахим не ответил ему таким же взглядом. Его загорелое лицо пошло пятнами, как бывает обычно с загорелыми лицами, когда они бледнеют, и губы как-то горестно скривились; это придало его лицу выражение, которое почему-то испугало Ганса Касторпа и заставило тотчас переменить тему разговора: он принялся расспрашивать о других больных, причем старался как можно скорее позабыть и Марусю, и выражение лица своего двоюродного брата. Это ему удалось вполне.

Оказалось, что англичанку, пившую чай из шиповника, зовут мисс Робинсон. Портниха вовсе не портниха, а учительница кенигсбергской казенной женской гимназии, вот почему она говорит так правильно. Ее зовут фрейлейн Энгельгарт. Что касается веселой старушки, то и сам Иоахим не знает, как ее зовут, хотя прожил здесь наверху уже довольно долго. Во всяком случае, она приходится двоюродной бабушкой той

молодой девице; которая ест простоквашу, – старая дама живет с ней в санатории. Но самый больной из всех сидящих за их столом – это доктор Блюменколь, Лео Блюменколь из Одессы, ну, тот молодой человек с усиками и озабоченным замкнутым лицом. Он здесь наверху уже много лет...

Тротуар, по которому они теперь шагали, был вполне городским, ибо они вступили на главную улицу этого поистине интернационального местечка. Им попадались фланирующие курортники, по большей части молодежь: кавалеры в спортивных костюмах и без шляп, дамы – тоже без шляп и в белых юбках. Звучала русская и английская речь. Справа и слева тянулись нарядные витрины, и Ганс Касторп, чье любопытство упорно боролось с мучительной усталостью, заставлял себя разглядывать их; он долго простоял перед магазином модной мужской одежды и вынужден был признать, что выставленные товары – на должной высоте.

Затем они увидели ротонду с крытой галереей, в которой играл оркестр. Это был курзал. На нескольких теннисных кортах шла игра. Долговязые, тщательно выбритые юноши в фланелевых брюках с безукоризненно отутюженной складкой, в башмаках на резиновой подошве и в рубашках с закатанными рукавами играли против загорелых, одетых в белое девушек, которые на бегу подпрыгивали, вытягиваясь в солнечных лучах, чтобы отбить высоко в воздухе белый, словно меловой, мяч. Аккуратные спортивные площадки были точно осыпаны мучной пылью. Кузены уселись на свободную скамью, чтобы посмотреть на игру и покритиковать игроков.

– Ты здесь, вероятно, не играешь? – спросил Ганс Касторп.

– Мне ведь нельзя, – ответил Иоахим. – Нам велено как можно больше лежать... Сеттембрини уверяет, что мы проводим всю нашу жизнь в горизонтальном положении, поэтому являемся, так сказать, горизонталями... По-моему, довольно плоская шутка. Играют здоровые или те, кто не подчиняется запрету. Впрочем, играют они не всерьез... больше ради костюма... А что касается запрета, то здесь нарушаются многие запреты, – больные играют, понимаешь ли, даже в покер, а в некоторых гостиницах и в *petits chevaux*^[32], хотя есть указание врачей, что это самое вредное. Но некоторые после вечерней проверки еще бегут вниз и понтируют. Принц, пожаловавший Беренсу звание гофрата, тоже всегда так делал.

Однако Ганс Касторп едва ли слышал Иоахима. Он сидел открыв рот, так как почти не мог дышать носом, хотя никакого насморка у него не было. Его сердце колотилось не в такт музыке, звучащей из ротонды, и это

было почему-то мучительно. Продолжая ощущать непонятный разнбой и беспорядок в себе, он чуть было не задремал, но тут Иоахим напомнил ему, что пора домой.

Возвращаясь в санаторий, они почти все время молчали. Ганс Касторп даже несколько раз споткнулся на ровной дороге и, горестно усмехнувшись, покачал головой. Хромой поднял их на лифте. Они расстались перед дверью тридцать четвертого номера, обменявшись коротким «до свиданья». Ганс Касторп проследовал через свою комнату на балкон, где сразу же упал в шезлонг и, даже не приняв более удобной позы, немедленно погрузился в тяжелое полузабытье, не переставая мучительно ощущать учащенное биение своего сердца.

Ну конечно, женщина

Сколько это продолжалось, он не знал. В положенное время раздались звуки гонга – еще не призыв к обеду, а лишь напоминание о том, что пора готовиться к нему; Ганс Касторп это знал и остался лежать, пока металлический звон не прозвучал вторично, то нарастая, то удаляясь. Когда Иоахим зашел за ним, Ганс Касторп хотел было переодеться. Однако кузен удержал его, заявив, что уже некогда. Он ненавидел и презирал всякие опоздания. Как можно, говорил Иоахим, добиться чего-нибудь и выздороветь, чтобы служить в армии, если мы настолько безвольны, что не можем даже вовремя являться к столу? Тут он, конечно, был прав, и Гансу Касторпу оставалось только заявить, что хотя он не болен, но ему почему-то ужасно хочется спать. Он лишь поспешно вымыл руки, и они спустились в столовую – в третий раз.

Поток больных вливался через два входа, а также через распахнутые двери на веранду на том конце зала, и скоро все семь столов оказались занятыми, будто люди вовсе и не вставали после завтрака. Таково было по крайней мере впечатление, возникшее у Ганса Касторпа, – правда, довольно фантастическое и противное разуму, однако его затуманенный мозг все же не мог на миг ему не поддаться, и оно даже понравилось ему; ибо он несколько раз пытался во время обеда снова вызвать его в своей душе, и это удавалось, причем иллюзия действительности была полной. Веселая старушка опять что-то лопотала на своем непонятном языке сидевшему от нее наискось доктору Блюменколю, и тот слушал ее с озабоченной миной. Ее тощая внучатная племянница наконец ела какое-то другое кушанье – не простоквашу, а, как выяснилось, ячменное пюре, которое «столовые девы» подавали в глубоких тарелках; однако она проглотила лишь несколько ложек и больше к нему не прикоснулась. И опять красивая Маруся совала в рот пахнувший апельсинными духами носовой платочек, чтобы заглушить приступы неудержимого смеха. Мисс Робинсон читала те же написанные округлым почерком письма, которые уже читала сегодня утром. Она, видимо, не знала ни слова по-немецки и знать не хотела. Иоахим, который старался держаться по-рыцарски, сказал ей что-то по-английски насчет погоды, и она, с набитым ртом, односложно ему ответила, а затем снова погрузилась в молчание. Что касается фрау Штер, появившейся в своей неизменной шотландской блузе, то выяснилось, что сегодня в первую половину дня она была на врачебном осмотре; рассказывая об этом, она

вульгарно жеманилась и то и дело улыбалась, вздергивая верхнюю губу и открывая заячьи зубы. В верхней части правого легкого, жаловалась она, у нее хрипы, кроме того, звук под левой лопаткой очень укорочен, и «старикан» сказал, что она должна пробыть здесь еще пять месяцев.

По своей невоспитанности она называла гофрата Беренса «стариканом». Она возмущалась тем, что «старикан» сидит не за их столом, хотя согласно очередному «турне» (она, видно, хотела сказать «туру») сегодня вечером должен был сидеть именно с ними, а он опять пристроился за столом слева (гофрат Беренс действительно сидел там, сложив перед тарелкой свои непомерные ручки). И понятно – почему: там место «этой коровы», фрау Заломон из Амстердама, а она даже в будни является к столу декольтированная, и «старикану», должно быть, это очень нравится; но она, фрау Штер, удивляется, к чему это, ведь во время осмотра он может любоваться ее прелестями сколько угодно. Потом она принялась рассказывать взволнованным шепотом, что вчера вечером в общей галерее для лежанья, – знаете, той, на крыше, – погасили свет и, конечно, по причине, которую фрау Штер определила как весьма «прозрачную». «Старикан» это заметил и так разбушевался, что во всем доме было слышно. Но виновного, разумеется, опять не нашли, хотя вовсе не нужно учиться в университете, чтобы угадать, кто это: конечно, опять капитан Миклосич из Бухареста, ему в дамском обществе никогда не бывает достаточно темно, он человек совершенно невоспитанный, хотя и носит корсет, – это, по правде говоря, просто хищный зверь, – да, хищный зверь, повторила фрау Штер сдавленным голосом, причем на лбу и на верхней губе у нее выступили капли пота. В каких отношениях с ним состоит жена генерального консула Вурмбрандта из Вены – известно решительно всем и в деревне и в поселке, так что едва ли тут можно говорить о загадочности этих отношений. Мало того, что капитан иной раз прямо с утра заявляется в комнату консульши, когда она еще лежит в постели, и присутствует при всех подробностях ее туалета, – в прошлый вторник он изволил выйти из комнаты Вурмбрандтши только в четыре часа утра.

– Сиделка молодого Франца из девятнадцатого номера, у которого произошла какая-то неудача с пневмотораксом, сама лично на него наскочила, она со стыда попала не в ту дверь и очутилась в комнате прокурора Параванта из Дортмунда. – Потом фрау Штер еще долго распространялась относительно какого-то «космического заведения» внизу в местечке, где она покупает эликсир для зубов, а Иоахим слушал все это, уставившись в свою тарелку.

Обед тоже был приготовлен отлично, и все подавалось необычайно

щедрыми порциями. Этот обед, включая питательный суп, состоял по меньшей мере из шести блюд. За рыбой последовало вкусное мясное блюдо с разнообразным гарниром, затем овощи, жареная птица, мучное, не уступавшее поданному вчера вечером, и наконец сыр и фрукты. Каждым блюдом обносили дважды – и не напрасно. Больные, сидевшие за всеми семью столами, накладывали себе полные тарелки и усердно все съедали, – здесь царил прямо-таки львиный аппетит, какой-то неистовый голод, и наблюдать за обедающими можно было бы даже с удовольствием, если бы в этом усердном насыщении не сквозило что-то жуткое и даже отталкивающее. Такое чувство вызывали не только самые бодрые пациенты – они оживленно болтали и бросались хлебным шариками, – но и тихие и угрюмые, которые в перерывах подпирали голову руками и сидели, глядя перед собой отсутствующим взглядом. Какой-то недоросток за столом слева, по виду еще школьник, с короткими руками и в круглых очках, мелко изрезал все, что навалил себе на тарелку, так что образовалась каша и мешанина из кусков; затем склонился над ней и начал жадно поедать ее, засовывая время от времени салфетку за стекла очков, чтобы протереть глаза, и неизвестно было, что он вытирает – пот или слезы.

Во время главной трапезы – обеда – два происшествия привлекли внимание Ганса Касторпа, поскольку это было возможно при его состоянии. Во-первых, кто-то снова грохнул застекленной дверью. В это время подавали рыбу. Ганс Касторп досадливо вздрогнул и с решимостью раздражения обещал себе на этот раз во что бы то ни стало подстеречь виновного. Он не только подумал, он заявил о своем намерении вслух, столь искренне было его возмущение. «Я должен выяснить, кто это!» – прошептал он с чрезмерной горячностью, так что и мисс Робинсон и учительница удивленно на него взглянули. Притом он повернулся всем корпусом влево и вдруг широко раскрыл глаза с покрасневшими белками.

Виновницей оказалась дама, вот она идет через зал, молодая женщина, скорее молодая девушка, в белом свитере и пестрой юбке, рыжевато-белокурые волосы просто заплетены в косы и уложены вокруг головы. Гансу Касторпу почти не удалось рассмотреть ее профиль. Неслышно, словно крадущейся походкой, что странно противоречило ее шумному появлению, и слегка вытянув вперед шею, направлялась она к крайнему столу слева, стоявшему перпендикулярно к двери на веранду: это был так называемый «хороший» русский стол; одну руку она держала в кармане вязаной кофточки, обтягивающей ее фигуру, а другую, поправляя волосы и как бы поддерживая их, поднесла к затылку. Ганс Касторп взглянул на эту руку. Он знал толк в человеческих руках, относился к ним требовательно и

со вниманием и, знакомясь с новыми людьми, прежде всего смотрел на их руки. Эта рука, поддерживавшая волосы на затылке, была не очень-то дамской, не такая холеная и изысканная, как руки женщин из тех общественных кругов, в которых вращался Ганс Касторп; в этой руке, довольно широкой, с короткими пальцами, чувствовалось что-то наивное, детское, что-то напоминавшее руку школьницы; кое-как подстриженные ногти, видимо, не знали маникюра, они были тоже как у школьницы, а вокруг них кожа чуть шершавилась, и можно было заподозрить, что их владелица страдает невинным пороком – грызет заусенцы. Впрочем, Ганс Касторп мог об этом только догадываться – дама была от него все же слишком далеко. Опоздавшая кивнула своим соседям, села за стол, спиной к залу, рядом с доктором Кроковским, который занимал председательское место за этим столом, и, все еще придерживая волосы на затылке, повернула голову, через плечо окидывая взглядом публику; Ганс Касторп мельком заметил, что скулы у нее широкие, а глаза узкие... И когда он это увидел – смутное воспоминание о чем-то или о ком-то легко коснулось его словно мимоходом...

«Ну конечно, женщина!» – подумал Ганс Касторп и еще раз пробормотал это даже вслух, причем так выразительно, что учительница, фрейлейн Энгельгарт, поняла. Тощая старая дева улыбнулась с растроганным видом.

– Это мадам Шоша, – сказала учительница. – Она так небрежна... Прелестная женщина. – И лиловатый румянец на щеках фрейлейн Энгельгарт стал еще ярче, что случалось, впрочем, всякий раз, когда она говорила.

– Французенка? – строго спросил Ганс Касторп.

– Нет, русская, – ответила Энгельгарт. – Вероятно, муж – француз или французского происхождения, я точно не знаю.

Ганс Касторп, чье раздражение еще не улеглось, осведомился, не тот ли вон ее муж, указав на господина с опущенными плечами, сидевшего за «хорошим» русским столом.

– О нет, не он, – ответствовала учительница. – Он еще не бывал здесь, его никто не знает.

– Закрывала бы дверь, как полагается! – сказал Ганс Касторп. – Каждый раз хлопает. Это же невоспитанно!

И так как учительница приняла упрек смиренно улыбаясь, словно сама была виновата, о мадам Шоша больше не говорили.

Второе происшествие состояло в том, что доктор Блюменколь встал и вышел из столовой – только и всего. Выражение легкого отвращения на его

лице проступило резче, и он, как обычно не сводя озабоченного взгляда с какой-то воображаемой точки, вдруг неслышно отодвинул свой стул и удалился. И тут фрау Штер показала свою невоспитанность во всей красе: вероятно, наслаждаясь постыдно радостным сознанием, что она не так серьезно больна, как Блюменколь, эта особа проводила его полусочувственным, полупрезрительным замечанием: «Бедняга! – И продолжала: – Скоро он... скоро ему крышка... Опять понадобился Синий Генрих!» Совершенно непринужденно, с глупо невинным видом произнесла она это нелепое прозвище – «Синий Генрих», и от ее слов Гансу Касторпу стало противно и смешно. Впрочем, доктор Блюменколь через несколько минут вернулся и с тем же скромным видом, с каким вышел, снова уселся за стол и продолжал есть. Он тоже ел очень много, накладывал каждое кушанье дважды, и все это – молча, с озабоченным, замкнутым лицом.

Обед кончился. Благодаря расторопности служащих – карлица оказалась особенно быстроногой – он продолжался лишь один час. Ганс Касторп кое-как взобрался к себе наверх и опять улегся, тяжело дыша, в своем удивительном шезлонге на балконе, ибо после обеда полагалось лежать до чая, – врачи считали это предписание особенно важным и требовали, чтобы больные ему неукоснительно подчинялись. И вот, между матовыми стеклянными перегородками балкона, отделявшими его, с одной стороны, от Иоахима, с другой – от русской супружеской пары, лежал он, погруженный в какое-то полусознательное состояние; его сердце колотилось, он дышал ртом. Когда Ганс Касторп высморкался, на платке оказалась кровь, но у него не хватило сил задуматься над этим обстоятельством, хотя он страдал некоторой мнительностью и был склонен к ипохондрии. Он снова взялся за «Марию Манчини» и на этот раз докурил ее до конца, но у нее был по-прежнему препротивный вкус. Голова его томительно кружилась, и он лениво раздумывал о том, как странно себя чувствует здесь наверху. Два-три раза его грудь сотрясалась от беззвучного смеха, когда он вспоминал о жутком прозвище плевательницы, которое фрау Штер, по своей бестактности, произнесла во всеуслышанье.

Господин Альбин

В саду перед домом легкий ветер развеивал фантастический флаг с жезлом, обвитым змеей. Небо снова закрыла сплошная пелена туч. Солнце село, и сразу потянуло неуютным холодком. Общая галерея для лежания казалась переполненной; оттуда доносились болтовня и хихиканье.

– Господин Альбин, умоляю вас, спрячьте нож, уберите его, иначе случится беда! – жалобно молил высокий дрожащий женский голос.

– Милейший господин Альбин, ради бога, пощадите наши нервы, спрячьте в ножны это страшное орудие убийства, – вмешался второй голос. На что белокурый молодой человек, сидевший боком на шезлонге и куривший папиросу, дерзко ответил:

– И не подумаю! Надеюсь, дамы все же разрешат мне поиграть моим ножом! Да, конечно, это особенно острый нож. Я купил его в Калькутте у слепого колдуна... Он проглатывал этот нож, а его сподручный сейчас же выкапывал его за пятьдесят шагов из земли... Хотите взглянуть? Он гораздо острее бритвы. Достаточно прикоснуться к лезвию, и оно само собой входит в тело, как в масло. Стойте, я подойду к вам поближе... – И господин Альбин поднялся. Раздался визг. – Впрочем, лучше я покажу свой револьвер! – продолжал господин Альбин. – Это будет интереснее. Хитрая штука! И такая дальнобойность... Сейчас я принесу его из своей комнаты.

– Господин Альбин, господин Альбин, не приносите! – завопило несколько голосов. Но господин Альбин уже вышел из галереи и устремился в свою комнату; он был еще совсем мальчишка, с размашистыми движениями, розовым детским лицом и крошечными бачками около ушей.

– Господин Альбин, – крикнула ему вслед какая-то дама, – лучше принесите свое пальто и наденьте его, прошу вас. Ведь вы полтора месяца пролежали с воспалением легких, а теперь сидите в одном костюме, не покрылись даже одеялом, да еще курите сигареты! Честное слово – вы искушаете судьбу, господин Альбин!

Но он только рассмеялся уходя и через несколько минут вернулся с револьвером. Тогда поднялся еще более глупый визг, и было слышно, как некоторые больные повскакали со своих шезлонгов, накинули на головы одеяла и легли ничком.

– Видите, какой он маленький и блестящий, – сказал господин Альбин, – но если я нажму вот на это, он куснет... – Снова раздался

вопли. – И, конечно, в нем полный заряд, – продолжал господин Альбин. – В этом барабане шесть пуль, после каждого выстрела он сам повертывается... Впрочем, я держу его не для забавы... – продолжал молодой человек и, заметив, что впечатление уже ослабевает, сунул револьвер в нагрудный карман, опять сел на свой шезлонг, закинув ногу на ногу, и закурил новую сигарету. – Отнюдь не для забавы, – повторил он и решительно сжал губы.

– А для чего же? Для чего же? – спросили задрожавшие от догадки голоса. – Какой ужас! – вдруг крикнул кто-то, и господин Альбин кивнул.

– Вижу, что вы начинаете понимать, – сказал он. – Да, именно для этого я его и держу, – продолжал он небрежно, сделав глубокую затяжку, несмотря на то только что перенесенное воспаление легких, и выпуская огромные клубы дыма. – Я приготовил его для того дня, когда мне наконец надоест вся эта канитель и я буду иметь честь почтительнейше удалиться из этого мира. Все делается довольно просто... Я некоторое время изучал данный вопрос, и теперь мне ясно, как это наилучшим образом обстригать (при слове «обстригать» снова раздается крик). Область сердца исключена... Неудобно целиться... И я предпочитаю немедленно лишиться сознания, а потому всажу такое вот изящное инородное тельце в этот интересный орган... – И господин Альбин поднес указательный палец к своей коротко остриженной белокурой голове. – Надо приставить вот сюда... – Господин Альбин снова извлек из кармана никелированный револьвер и постучал дулом по виску, – вот сюда, над височной артерией... Даже без зеркала можно найти... проще простого...

Снова раздались умоляющие и протестующие голоса, слышались даже чьи-то судорожные рыдания.

– Господин Альбин, господин Альбин, уберите револьвер, не держите его у виска, смотреть страшно! Господин Альбин, вы же молоды, вы поправитесь, вы вернетесь в жизнь, и все будут любить вас, даю вам слово! Только наденьте пальто, лягте, укройтесь, лечитесь. Не прогоняйте массажиста, когда он приходит растирать вас спиртом! Бросьте вы ваши сигареты, господин Альбин, слышите, мы молим вас, сохраните вашу жизнь, вашу молодую, драгоценную жизнь!

Но господин Альбин был неумолим.

– Нет, нет, – сказал он. – Не уговаривайте меня, хорошо, благодарю вас. Я еще никогда ни в чем не отказывал даме, но вы увидите – бесполезно совать судьбе палки в колеса. Ведь я здесь уже третий год... С меня хватит, я выхожу из игры – разве можно за это упрекнуть? Неизлечим, сударыни, – видите, вот я сижу перед вами, и я неизлечим – сам гофрат, даже ради чести

и репутации заведения, уже не делает из этого тайны. Так разрешите мне некоторые вольности – положение вещей дает мне право на них. Помните, как в гимназии, когда уже решено, что ты остаешься на второй год, и учителя тебя уже не спрашивают, и ничего уже не надо делать... Я теперь снова вернулся к этому счастливому состоянию. Мне больше ничего не нужно желать, на меня махнули рукой, и я надо всем смеюсь. Хотите шоколаду? Пожалуйста, берите! Нет, вы не обидите меня, в моей комнате целые груды шоколаду! Восемь бонбоньерок, пять плиток Гала-Петер и пять фунтов линдтовского шоколаду – всем этим меня снабдили наши санаторские дамы, когда я болел воспалением легких...

Неожиданно донесся чей-то бас и приказал всем успокоиться. Господин Альбин коротко рассмеялся – это был порхающий отрывистый смех. Потом на галерее стало тихо – так тихо, словно развеялся какой-то сон или наваждение; и в этой тишине как бы еще звучало эхо только что произнесенных слов. Ганс Касторп вслушивался в него, пока оно окончательно не замерло, и хотя ему казалось, что господин Альбин все-таки дуралей, он не мог подавить в себе некоторой зависти. Именно это сравнение с гимназической жизнью оказало свое действие, ибо он сам остался в шестом классе на второй год и до сих пор помнил то несколько постыдное, но приятное ощущение беспризорности, которое испытал, когда в последней четверти как будто сошел с беговой дорожки и мог «надо всем этим» смеяться. Но все же его размышления были путанны и туманны, и нам трудно определить их более точно. Сводились они к тому, что если честь имеет немалые преимущества, то их имеет, и позор, и тогда они, пожалуй, даже необъятнее. А когда он, для пробы, перенесся в положение господина Альбина и постарался представить себе, что будет, если совсем освободиться от бремени чести и вкушать лишь бездонные преимущества позора, то на миг с испугом ощутил неистовое блаженство, которое заставило его сердце биться еще торопливее.

Сатана делает оскорбительное для чести предложение

Потом он совсем потерял сознание. Его часы показывали половину четвертого, когда голоса за стеклянной стеной опять разбудили его: доктор Кроковский, делавший в этот час обход без гофрата, говорил по-русски с невоспитанной супружеской четой, он, видимо, осведомлялся о здоровье супруга и спросил табличку его температуры.

Однако он не продолжил затем свой путь по отдельным балконам, а, обойдя балкон Ганса Касторпа, вернулся в коридор и вошел оттуда к Иоахиму. В том, что врач сделал крюк и обогнул его балкон, Гансу Касторпу почудилось что-то оскорбительное, хотя он отнюдь не горел желанием остаться с глазу на глаз с Кроковским. «Ведь я здоров и не могу идти в счет...» – говорил он себе, – ибо тут у них наверху только тот шел не в счет и не подвергался расспросам, кто имел честь быть здоровым; но именно это и злило молодого человека.

Пробыв у Иоахима две-три минуты, Кроковский по балкону проследовал дальше, и Ганс Касторп услышал голос кузена, напоминавшего ему, что пора вставать и готовиться к ужину.

– Хорошо, – отозвался он и встал. Но от долгого лежания у него кружилась голова, дремота не освежила его, а лишь снова вызвала в лице мучительный жар, хотя тело скорее познабливало, – может быть, он недостаточно тепло укрылся?..

Он вымыл руки и промыл глаза, пригладил волосы, оправил одежду и, выйдя в коридор, встретился с Иоахимом.

– Ты слышал рассуждения этого господина Альбина? – спросил Ганс Касторп, когда они спускались по лестнице.

– Конечно, – отозвался Иоахим. – Его следовало бы приструнить. Нарушает весь послеобеденный отдых своей болтовней и так расстраивает дам, что потом идут насмарку результаты нескольких недель. Грубейшее нарушение правил. Но кому же охота быть доносчиком! И потом такие разговоры для большинства – даже развлечение.

– А ты допускаешь, – спросил Ганс Касторп, – что он говорит серьезно насчет виска и что проще простого, как он выражается, посадить туда «инородное тельце»?

– Ну конечно, – ответил Иоахим, – ничего невозможного тут нет. Такие случаи у нас здесь наверху бывают. За два месяца до моего приезда некий

студент – он жил в санатории уже давно – после очередного обследования взял да и повесился в лесу. В первые дни после моего приезда об этом еще много говорили.

Ганс Касторп нервно зевнул.

– Да, не скажу, чтобы я чувствовал себя хорошо у вас, – заявил он. – Может быть, я не смогу остаться дольше, слышишь? И мне придется уехать... Ты очень обидишься, если я это сделаю?

– Уехать? Чепуха! – воскликнул Иоахим. – Да ведь ты только что приехал! Как можно судить по первому дню?

– Боже мой! Неужели все еще первый день! У меня такое ощущение, точно я у вас здесь уже давным-давно.

– Только не начинай опять мудрствовать насчет времени! – сказал Иоахим. – Ты меня сегодня утром совсем сбил с толку.

– Не беспокойся, я все начисто забыл, – возразил Ганс Касторп. – Весь комплекс. И вся острота мысли исчезла, это прошло... Значит, сейчас будет чай...

– Да, а потом опять пройдемся до той скамьи, куда ходили утром.

– Сделай одолжение! Надеюсь только, что на этот раз мы не встретим Сеттембрини. Я сегодня больше не могу участвовать в разговорах высокообразованных людей, предупреждаю.

В столовой подавались все напитки, какие только можно было пить в этот час. Мисс Робинсон снова глотала свой кроваво-красный чай из шиповника, а внучатная племянница ела ложкой простоквашу. Кроме того, можно было получить молоко, чай, кофе, шоколад, даже мясной отвар, и за всеми столами больные, которые после сытного обеда два часа лежали, все же усердно намазывали маслом огромные ломти пирога с изюмом.

Ганс Касторп спросил чаю и стал пить, макая в него сухарики. Попробовал он и мармелада. На пирог с изюмом он, правда, поглядывал, но при мысли о том, чтобы съесть кусок, буквально содрогнулся. И вот он опять сидит на своем месте в этом зале с пестро расписанными сводами и семью столами, сидит уже в четвертый раз. Несколько позднее, а именно в семь часов, он сидел там в пятый раз и ужинал. В промежутке, который был очень короток и прошел незаметно, двоюродные братья, как и утром, совершили прогулку до той же скамейки у отвесной скалы и желоба с водой, – на этот раз дорога была полна гуляющими больными, так что кузенам приходилось то и дело раскланиваться. Затем снова последовало лежание на балконе в течение каких-то бессодержательных, мгновенно пролетевших полутора часов. Во время лежания Ганса Касторпа мучительно знобило.

К ужину он добросовестно переоделся и затем, сидя между мисс Робинсон и учительницей, ел суп-жюльен, жареное и тушеное мясо с гарниром, проглотил два куска какого-то торта, в который было намешано невесть что: пресное тесто, крем, шоколад, фруктовый мусс, марципаны, – и завершил все это сыром, положив его на вестфальский пряник. За ужином он опять приказал подать себе бутылку кульмбахского пива. Но, сделав основательный глоток из высокого стакана, вдруг почувствовал совершенно ясно и отчетливо, что ему нестерпимо хочется спать. В голове шумело, веки, казалось, налились свинцом, сердце словно било в литавры, и в довершение всех этих мук ему почудилось, что когда хорошенькая Маруся, наклонившись вперед, рассмеялась и прикрыла лицо рукой с маленьким рубином на пальце, она смеется над ним, а ведь он изо всех сил старался не дать к этому никакого повода. Словно издали слышал он голос фрау Штер – она что-то объясняла или доказывала, и это представилось ему таким диким вздором, что он совсем растерялся и даже усомнился – быть может, виноват его сонный мозг, превративший слова фрау Штер в какую-то галиматью. Она уверяла, будто умеет готовить двадцать восемь разных соусов к рыбе, – и имеет смелость на этом настаивать, да, да, хотя собственный муж предупреждал ее не упоминать об этих ее талантах. «Не заговаривай о соусах, – сказал он ей. – Никто тебе все равно не поверит, а если и поверят, то найдут это смешным!» И все-таки она решила сегодня заявить вслух и признать открыто, что да, она умеет готовить двадцать восемь соусов! Бедный Ганс Касторп пришел в ужас; он прямо-таки перепугался, схватился рукою за голову и забыл дожевать и проглотить кусок честера с пряником, которые были у него во рту. Когда встали из-за стола, он все еще не прожевал их.

Кузены вышли в левую застекленную дверь, в ту роковую дверь, которая всегда так громко хлопала. Она вела в холл. Почти все пациенты устремились через ту же дверь, ибо, как узнал Ганс Касторп, у обитателей санатория было принято собираться после обеда в этом холле и в гостиных и проводить какую-то часть вечера вместе. Большинство больных, разбившись на мелкие группы, болтали стоя. За двумя раскрытыми зелеными столами уселись игроки в домино и в бридж; тут была только молодежь – среди них господин Альбин и Германа Клеефельд. В первой гостиной оказались интересные оптические приборы: стереоскоп, сквозь линзы которого можно было рассматривать вставленные в него фотографии, – например венецианского гондольера во всей его бескровной и застывшей рельефности; затем калейдоскоп в виде подозрительной трубки, к нему достаточно было приложить глаз и поворачивать колесико, и перед

вами представала волшебная игра пестрых арабесок и звезд; и, наконец, вращающийся барабан, в который вставлялись кинематографические ленты: если смотреть сбоку в его отверстия, вы могли наблюдать мельника, дерущегося с трубочистом, учителя, который наказывает школьника, канатного плясуна и деревенскую парочку, танцующую сельский танец. Ганс Касторп, опершись ледяными руками о колени, довольно долго смотрел в каждый аппарат. Постоял он и возле стола, за которым играли в бридж и где неизлечимый господин Альбин, опустив уголки рта, с небрежностью светского человека тасовал карты. В углу сидел доктор Кроковский, занятый беседой по душам с оживленными дамами, разместившимися полукругом, среди которых были фрау Штер, фрау Ильтис и фрейлейн Леви. Сидящие за «хорошим» русским столом после ужина удалились в соседнюю маленькую гостиную, отделенную от карточной комнаты лишь портьерой, и образовали там интимную группу. Кроме мадам Шоша, в нее входили: вялый господин с белокурой бородой, впалой грудью и глазами навывкате; очень темная брюнетка, – оригинальный и несколько комический тип, – с крупными золотыми сережками и растрепанными волосами; затем доктор Блюменколь, присоединившийся к ним, и еще двое сутулых юношей. Мадам Шоша была в голубом платье с белым кружевным воротником. Она сидела в центре группы на диване возле круглого стола в глубине маленькой комнаты, лицом к игравшим в первой гостиной. Ганс Касторп, который не мог смотреть на эту невоспитанную женщину без внутренней укоризны, думал: «Что-то она мне напоминает, но что – не знаю...» Долговязый мужчина лет тридцати, с редящими волосами, сыграл три раза подряд на маленьком коричневом фортепиано свадебный марш из «Сна в летнюю ночь»^[33], и когда дамы особенно горячо стали просить его, заиграл эту мелодичную вещь в четвертый раз, предварительно посмотрев каждой в глаза молча и проникновенно.

– Разрешите, инженер, осведомиться о вашем самочувствии? – спросил Сеттембрини; засунув руки в карманы, он прогуливался среди больных и теперь подошел к Гансу Касторпу. На нем был тот же серый ворсистый сюртук и светлые клетчатые брюки. Свое приветствие он сопровождал улыбкой, и Ганс Касторп снова испытал какое-то отрезвление при виде этой умной и насмешливой улыбки, от которой у итальянца дрогнул уголок рта под изгибом темных усов. Но взглянул он на Сеттембрини довольно тупо, губы его отвисли, глаза покраснели.

– Ах, это вы, – сказал он, – тот господин, которого мы встретили на утренней прогулке возле скамейки наверху... у водостока... Конечно, я вас

сразу узнал. Поверите ли, – продолжал молодой человек, хотя отлично понимал, что этого говорить не следовало, – я вас тогда в первую минуту почему-то принял за шарманщика. Конечно, это чистейший вздор... – добавил он, заметив, что взгляд Сеттембрини стал холодно-настороженным. – Словом, ужасная глупость. Я просто понять не могу, каким образом я...

– Не беспокойтесь, это не имеет никакого значения, – ответил Сеттембрини, после того как молча поглядел на него. – Как же вы провели день – ваш первый день в этом увеселительном заведении?

– Благодарю, – отозвался Ганс Касторп, – я в точности следовал предписаниям, и образ жизни вел преимущественно горизонтальный, как вы любите выражаться.

Сеттембрини усмехнулся.

– Может быть, я случайно так и выразился, – сказал он. – Что ж, летело для вас время при таком образе жизни?

– И летело и тянулось, как посмотреть... – отозвался Ганс Касторп. – Иногда одно от другого трудно отличить, знаете ли. Но мне отнюдь не было скучно, у вас тут наверху все так оживлены и деятельны. Видишь и слышишь так много нового, необычного... С другой стороны, мне кажется, точно я здесь не один день, а уже давно, и даже как будто стал старше и умнее, вот какое у меня ощущение.

– Умнее тоже? – спросил Сеттембрини и удивленно поднял брови. – Разрешите мне один вопрос: сколько же вам лет?

И вот оказалось, что Ганс Касторп не знает! Да, он в данную минуту забыл, сколько ему лет, несмотря на все свои прямо-таки отчаянные усилия припомнить. Чтобы выиграть время, он заставил итальянца повторить вопрос, затем сказал:

– Мне... сколько лет?.. Ну, конечно, двадцать четвертый! Значит, будет двадцать четыре. Простите, но я очень устал! – добавил он. – Впрочем, усталость – не то слово! Знакомо вам такое состояние: видишь сон, знаешь, что это сон, стараешься проснуться и не можешь? Вот и я чувствую себя в точности так же. Наверное, у меня жар, иначе я никак не могу себе объяснить такое состояние. Представьте себе – у меня ноги оледенели до самых колен! Если можно так выразиться, ведь колени – это, разумеется, не ноги... Извините, я что-то совсем запутался, да это в конце концов и не удивительно, если тебя с раннего утра освистывают... пневмотораксом, а потом слышишь разглагольствования господина Альбина, да еще притом находишься в горизонтальном положении. Подумайте, у меня все время такое ощущение, словно я не могу больше доверять своим пяти чувствам,

и, должен признаться, это смущает меня еще больше, чем жар в лице и ледяные ноги. Скажите откровенно: считаете вы возможным, чтобы фрау Штер умела готовить двадцать восемь соусов к рыбе? Я спрашиваю не о том, может ли она их действительно приготовить, это исключено, но действительно ли она говорила об этом за столом, или мне только померещилось – вот что я хотел бы знать.

Сеттембрини посмотрел на него. Казалось, он не слушает. Его глаза снова точно приковались к чему-то, их взгляд стал неподвижным, как будто незрячим, и так же, как утром, итальянец трижды произнес: «так-так-так» и «вот-вот-вот», задумчиво и насмешливо напирая на букву «т».

– Двадцать четыре, говорите вы? – спросил он затем.

– Нет, двадцать восемь! – воскликнул Ганс Касторп. – Двадцать восемь соусов к рыбе! Не вообще, а именно к рыбе, это-то и чудовищно!

– Инженер! – сердито и наставительно прервал его Сеттембрини. – Сейчас же возьмите себя в руки и не приставайте ко мне с этой презренной чепухой! Я ничего о ней не знаю и знать не хочу! Двадцать четвертый, говорите? Гм... Разрешите мне еще один вопрос или, если хотите, ни к чему не обязывающее предложение. Так как пребывание у нас идет вам, видимо, не на пользу и вы физически и, если не ошибаюсь, нравственно чувствуете себя неважно... что, если бы вы отказались от мысли стать здесь старше, – словом, если бы вы сегодня же вечером уложили свои вещи и завтра, с одним из скорых поездов, следующих по расписанию, укатили бы отсюда?

– Вы считаете, что я должен уехать? – спросил Ганс Касторп. – Но ведь я только что приехал? Нет, разве можно судить по первому дню?

При этом он бросил случайный взгляд в соседнюю гостиную и увидел мадам Шоша уже анфас, ее узкие глаза и широкие скулы. «Ну что, что, – опять подумал он, – она мне напоминает?» Но его усталый мозг, несмотря на усилия, все же не мог дать ему ответа.

– Конечно, мне будет не очень легко акклиматизироваться у вас здесь наверху, – продолжал он, – это можно было предсказать заранее, но нельзя же сразу складывать оружие только потому, что я несколько дней буду не в своей тарелке и у меня будет гореть лицо; мне просто стыдно было бы, точно я трус, да и неразумно это... Посудите сами...

В его тоне вдруг появилась настойчивость, он взволнованно поводил плечами и, видимо, всеми силами старался заставить итальянца полностью взять свое предложение обратно.

– Приветствую разум, – ответил Сеттембрини. – Впрочем, я приветствую и отвагу. То, что вы говорите, достаточно убедительно, и

трудно было бы возражать против этого. Кроме того, мне приходилось наблюдать случаи очень удачной акклиматизации. В прошлом году тут жила некая фрейлейн Кнейфер, Оттилия Кнейфер, она из прекрасной семьи, отец – влиятельный государственный чиновник. Она пробыла тут года полтора и так обжилась, что даже, когда здоровье ее полностью восстановилось – у нас иногда выздоравливают, бывают такие случаи, – она ни за что не хотела уезжать. И она умоляла гофрата разрешить ей еще пожить здесь, она не хочет и не может вернуться домой, здесь ее дом, здесь она счастлива; но так как наплыв больных был большой и в ее комнате нуждались, все мольбы этой девицы оказались тщетными, и администрация настаивала на ее выписке как здоровой. Тогда у Оттилии вдруг сделался жар, температура поднялась очень высоко. Но ее разоблачили, заменив обычный градусник так называемой «немой сестрой», – вы еще не знаете, что это такое, это особый термометр без цифр, врач устанавливает температуру, прикладывая к нему измерительную шкалу, и сам чертит кривую. И оказалось, сударь мой, что у Оттилии всего 36,9 и никакого, решительно никакого жара нет. Тогда она искупалась в озере – по календарю было начало мая, а ночью у нас еще случались заморозки, вода в озере была не то что ледяная, а – говоря точнее – всего на два-три градуса выше нуля. Она просидела в воде довольно долго, чтобы заполучить какую-нибудь болезнь, – и что же? Как была, так и осталась здоровой. И уехала в полном отчаянье, никакие утешения родителей не действовали. «Что мне там делать? – говорила она. – Моя родина здесь!» Не знаю, как сложилась ее дальнейшая судьба... Но, кажется, вы не слушаете меня, инженер? Если зрение не изменяет мне, вы с трудом держитесь на ногах. Лейтенант, – обратился он к входившему Иоахиму, – забирайте-ка своего двоюродного брата и уложите его в постель. Хотя в нем и сочетаются разум и отвага, но нынче вечером он слегка раскис.

– Нет, уверяю вас, я все понял, – запротестовал Ганс Касторп. – «Немая сестра» – это просто столбик ртути без цифр, – видите, я отлично соображаю! – Все же он поднялся в лифте наверх вместе с Иоахимом и несколькими больными – совместное времяпрепровождение кончилось, все расходились по галереям и балконам для вечернего лежания.

Ганс Касторп вошел вместе с Иоахимом в его комнату. Ему казалось, что пол коридора с дорожкой из кокосовых волокон мягко покачивается у него под ногами, как волны, но это не вызывало неприятного чувства. Придя к Иоахиму, он уселся в большое цветастое кресло – такое же стояло и у него в комнате – и закурил «Марию Манчини». Однако у нее был вкус клея, угля, чего угодно, но не тот, какой ей полагалось иметь; все же он

продолжал курить, наблюдая за тем, как Иоахим готовится к лежанию. Вот он надел домашнюю тужурку, поверх нее – старое пальто, затем взял лампу с ночного столика и учебник русского языка, вышел на балкон, включил лампочку и, держа во рту градусник, опустился в шезлонг и с необычайной ловкостью стал завертываться в два косматых верблюжьих одеяла, которые были уже разостланы. Ганс Касторп смотрел с искренним восхищением, как Иоахим искусно с ними управляет. Сначала он перекинул оба одеяла влево, подоткнул их под себя до самых подмышек, потом подвернул в ногах и перекинул вправо; теперь он представлял собой ровный и гладкий сверток, из которого торчали только голова, плечи да руки.

– Здорово ты это делаешь, – сказал Ганс Касторп.

– Наловчился... – ответил Иоахим, не вынимая градусника изо рта. – Ты тоже научишься. Завтра нужно будет непременно раздобыть для тебя два одеяла. Они тебе потом пригодятся и внизу, а здесь у нас они просто необходимы, тем более что у тебя нет мехового мешка.

– Но я же не буду лежать на балконе поздно вечером, – заявил Ганс Касторп. – Этого я делать не буду, предупреждаю заранее. Как-то уж очень чудно. Все имеет свои границы. Чем-нибудь я должен все-таки подчеркнуть, что я у вас тут наверху только в гостях. Сейчас посижу еще с тобой немного и докурю сигару, как полагается. Правда, вкус у нее отвратительный, но я знаю, что сигара хорошая, и на сегодня удовольствуюсь этим. Сейчас почти девять – впрочем, увы, даже девяти еще нет. Но в половине десятого можно сказать с натяжкой, что уже пора ложиться спать.

По его телу вдруг пробежала ледяная дрожь – и его несколько раз потряс озноб. Ганс Касторп вскочил и подбежал к градуснику на стене, словно желая застать его на месте преступления. По Реомюру в комнате было девять градусов. Он пощупал трубы отопления – они были холодны и мертвы. Он пробормотал что-то насчет того, что если на дворе август, то все-таки стыд и позор не топить, дело же не в названии месяца, а в температуре воздуха, и она такова, что он лично продрог, как пес. Однако лицо его горело. Молодой человек снова сел, потом вскочил. Не разрешит ли Иоахим взять его одеяло с кровати, пробормотал он и, усевшись в кресло, прикрыл им колени. И вот он сидел, пылая жаром, дрожа от озноба, и мучился, докуривая отвратительную сигару. Им овладело чувство глубокой тоски; никогда еще, ни разу в жизни он не чувствовал себя так скверно. «Вот беда-то!» – пробормотал он. И вместе с тем его как будто вдруг коснулось странное, необычайно сладостное ощущение радости и надежды, и едва оно прошло, как он стал ждать, не вернется ли оно опять.

Однако странное ощущение не вернулось: осталась только тоска. Поэтому он в конце концов все же поднялся, бросил одеяло Иоахима обратно на кровать и, скривив рот, пробурчал: «Спокойной ночи! Не замерзни тут! Заходи утром, пойдем вместе завтракать». Затем, пошатываясь, вернулся через коридор в свою комнату.

Раздеваясь, он напевал какую-то мелодию, но вовсе не потому, что ему было весело. Механически и рассеянно выполнял он все маленькие процедуры ночного туалета, составляющие обязанность культурного человека, налил из дорожного флакона в стакан для полоскания рта ярко-красную жидкость, слегка прополоскал горло, вымыл руки мягким и дорогим мылом «Фиалка» и надел длинную батистовую сорочку с вышитыми на грудном карманчике инициалами Г.К. Потом лег, выключил свет и уронил голову, которая пылала и кружилась, на смертную подушку американки.

Он был вполне уверен, что немедленно погрузится в сон, но ошибся, и его веки, которые перед тем сами собой смыкались, теперь не хотели закрываться и, как только он их опускал, вздрагивая снова поднимались. Просто он привык ложиться позднее, уговаривал себя молодой человек, да и днем слишком много лежал. Кроме того, где-то снаружи выбивали ковер – что было, впрочем, маловероятно; оказалось, что это бьется его сердце, и он слышит его удары как бы вовне, где-то далеко во дворе, словно там колотили по ковру тростниковой выбивалкой.

В комнате еще не совсем стемнело, свет ламп, горевших на балконе у Иоахима и у неприятной четы, сидевшей за «плохим» русским столом, падал в открытую балконную дверь. И Ганс Касторп, лежавший на спине с трепещущими веками, вдруг вспомнил одно сегодняшнее впечатление, которое он, испугавшись, тогда же постарался из деликатности забыть, а именно: подмеченное им выражение, мелькнувшее на лице Иоахима, когда они говорили о Марусе и ее физической красоте, – его странно и жалобно скривившийся рот и пятнистую бледность, вдруг покрывшую бронзовые щеки. Ганс Касторп видел и понимал значение этого, видел и понимал как-то по-новому, проникновенно и интимно, и это открытие так потрясло его, что удары тростниковой выбивалки во дворе стали вдвое быстрее и громче и почти заглушили звуки вечерней серенады, доносившейся снизу, ибо в курортной гостинице снова начался концерт; из темноты звучала симметрически построенная, безвкусная опереточная мелодия, и он подсвистывал ей шепотом (ведь можно свистеть и шепотом), в то же время отбивая под перинкой такт озябшими ногами.

Это был, конечно, самый верный способ, чтобы не заснуть, да Гансу

Касторпу сейчас и не хотелось спать. С той минуты, когда он по-новому и с особенной живостью понял, почему Иоахим покраснел, мир показался ему обновленным, и ощущение сладостной радости и надежды снова шевельнулось в глубинах его существа. Он ждал еще чего-то, хотя сам не знал, чего именно. Но когда услышал, что соседи справа и слева закончили вечернее лежание и возвратились в свои комнаты, чтобы заменить горизонтальное положение на воздухе горизонтальным положением в доме, он выразил про себя уверенность, что варварская чета сегодня будет вести себя прилично. «Я смогу спокойно заснуть, – подумал он. – Сегодня они уже не будут шуметь, я не сомневаюсь». Однако он ошибся, да в глубине души совсем и не был в этом уверен; говоря по правде, ему лично даже показалось бы странным, если бы они вели себя пристойно. И когда в соседней комнате опять началась возня, с его губ сорвались беззвучные возгласы удивления. «Неслыханно! – прошептал он. – Необычайно! Кто бы мог подумать...» А сам тихонько продолжал подтягивать пошлой оперетке, которая назойливо доносилась из долины.

Наконец пришла дремота. Но с нею явились и причудливые сны – еще причудливее, чем прошлой ночью, и он то и дело просыпался от испуга или от того, что старался ухватить смысл каких-то бредовых видений. Ему приснился гофрат Беренс; старик бродил по дорожкам, согнув колени, безжизненно свесив перед собою руки, причем старался согласовать свои широкие унылые шаги с музыкой марша. Когда гофрат остановился перед Гансом Касторпом, на нем оказались очки с толстыми круглыми стеклами, и он начал нести какой-то несусветный вздор. «Конечно, штатский! – сказал он и без церемоний указательным и средним пальцем гигантской ручищи оттянул веко Ганса Касторпа. – Почтенный штатский, я сразу же заметил. Но не без таланта, отнюдь не без таланта к процессу повышенного сгорания. На годочки не поскупится, на лихие годочки службы у нас тут наверху! Ну-ка, господа, гопля, живо на увеселительную прогулку!» – воскликнул он, сунул в рот два огромных указательных пальца и свистнул так благозвучно, что к гофрату полетели в уменьшенном виде фигурки учительницы и мисс Робинсон, уселись к нему на правое и левое плечо – совершенно так же, как они сидели в столовой по обе стороны Ганса Касторпа; и гофрат, подпрыгивая, удалился, неся их на плечах, причем то и дело совал за стекла очков салфетку, чтобы вытереть глаза, которые заливал не то пот, не то слезы.

Затем спящему приснилось, что он на школьном дворе, где столько лет проводил перемены между уроками, и он вознамерился попросить карандаш у мадам Шоша, которая тоже была здесь. Она дала ему огрызок

красного карандаша в серебряном футляре, приятным, слегка хриплым голосом попросив его через час непременно вернуть карандаш, и когда она взглянула на него своими узкими серо-зелено-голубыми глазами, блестящими над широкими скулами, он вдруг заставил себя проснуться, ибо теперь понял и старался изо всех сил не забыть, кого и что именно она ему так живо напомнила. Торопливо закрепил он это открытие в своей памяти, чтобы оно до завтра не исчезло, ибо дремота и сновидения снова начали овладевать им; теперь ему надо было спастись от Кроковского – врач преследовал его, чтобы произвести расчленение его души, а Ганс Касторп испытывал перед подобной процедурой неистовый, прямо-таки слепой ужас. И вот, чувствуя связанность в ногах, бежал он вдоль всего балкона, мимо стеклянных стенок, рискуя жизнью прыгнул в сад, попытался в отчаянии взобраться даже на красно-коричневый флагшток и проснулся, весь в поту, в тот миг, когда преследователь схватил его за брюки.

Но едва он немного успокоился и снова забылся, как ему представилось следующее: он старался изо всех сил одним плечом оттолкнуть Сеттембрини, а тот стоял, и его губы умно, сухо и насмешливо улыбались под пышными черными усами, там, где они красиво загибались кверху; именно эту улыбку Ганс Касторп и ощущал как препятствие. «Вы мешаете! – услышал он свой голос. – Убирайтесь! Вы просто шарманщик, и вы мешаете!» Но Сеттембрини не давал сдвинуть себя с места, и Ганс Касторп еще раздумывал, как же ему быть, когда его вдруг осенила превосходная мысль о том, что есть время: это всего-навсего «немая сестра», ртутный столбик без всяких цифр, для тех, кто решил плутовать, – и проснулся он с твердым намерением завтра же непременно рассказать о своей догадке Иоахиму.

Среди подобных приключений и открытий прошла вся ночь, причем в этом сумбуре принимали также участие Германа Клеефельд, господин Альбин, капитан Миклосич, который унес в своей пасти фрау Штер, и прокурор Паравант, проколовший его копьем.

Один сон приснился Гансу Касторпу в эту ночь даже дважды, притом повторился точно во всех подробностях, – во второй раз он увидел этот сон уже под утро: будто бы он сидит в зале с семьей за столами, и вдруг грохает застекленная дверь и входит мадам Шоша, в черном свитере, одна рука опущена в карман, другая поддерживает волосы на затылке. Но вместо того чтобы направиться к «хорошему» русскому столу, эта невоспитанная женщина бесшумно приближается к Гансу Касторпу и молча протягивает руку для поцелуя – не ладонью книзу, а ладонью кверху; и Ганс Касторп

целует ладонь этой руки, не выхоленной, а шероховатой, с короткими пальцами и заусенцами вокруг ногтей. И тогда его опять с головы до ног пронизывает то ощущение бешеного блаженства, которое он испытал, когда постарался представить себе, что освобожден от гнета чести, и вкусил бездонные преимущества греха, – но только в этом сне ощущение блаженства было несравненно более сильным.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Необходимая покупка

– Что же, вашему лету конец? – насмешливо спросил Ганс Касторп двоюродного брата на третий день своего пребывания.

Погода внезапно изменилась.

Второй день, который гость полностью провел здесь наверху, был полетному роскошен. Глубокой синевой сияло небо над копьевидными вершинами елей, а поселок на дне долины резко белел в дрожащем зное, и воздух был полон веселым и задумчивым перезвоном колокольчиков: это коровы щипали на склонах гор согретый солнцем низкорослый желтоголовник. Уже к первому завтраку дамы явились в легких блузках, некоторые даже со сквозными прошивками на рукавах, что, впрочем, шло далеко не всем; возьмем хотя бы фрау Штер – ей это решительно не шло, ибо кожа на плечах у нее была слишком пористая. Словом, прозрачные одежды были не для нее. Мужское население санатория по мере сил также отдавало дань жаркой погоде. Появились люстриновые куртки и полотняные костюмы, Иоахим надел к синему пиджаку фланелевые кремовые брюки – сочетание, окончательно придавшее ему военный вид. Сеттембрини также неоднократно заявлял о своем намерении переоблачиться. «Черт побери, – заявил он, когда, прогуливаясь после ленча, спускался с кузенами в местечко, – ну и печет, придется, видно, одеться полегче». Но хотя итальянец и выразил это намерение в очень изысканной форме, он как был, так и остался в том же длинном ворсистом сюртуке с большими отворотами и в клетчатых брюках, – вероятно, его гардероб этим и ограничивался.

Однако мнимый возврат лета оказался просто какой-то ловушкой, поставленной природой, ибо уже на третий день все пошло шиворот-навыворот. Ганс Касторп глазам своим не верил. После обеда все переменялось. Не успели больные пролежать в шезлонгах и двадцати минут, как вдруг солнце скрылось, из-за юго-восточных горных гребней потянулись безобразные, торфяного цвета тучи, и по долинам промчался ветер, неся волну какого-то чужеродного воздуха, студеного и пронизывающего, словно волна эта пришла из ледяных неведомых стран; сразу упала температура, ветер положил начало новому режиму погоды.

– Снег, – раздался голос Иоахима через стеклянную перегородку.

– Что ты имеешь в виду? – спросил в ответ Ганс Касторп. – Не хочешь же ты сказать, что сейчас пойдет снег?

– Именно это я и хочу сказать, – отозвался Иоахим. – Мы знаем этот ветер. Когда он подует, значит установится санный путь.

– Чепуха! – возразил Ганс Касторп. – Если не ошибаюсь, то по календарю сейчас всего-навсего начало августа.

Однако Иоахим оказался прав, он уже был посвящен в особенности здешнего климата. Не прошло и нескольких минут, как под непрерывные раскаты грома поднялась метель, настоящий снежный буран, снег валил так густо, что горы потонули в белой мгле, а курорт и долина исчезли из глаз.

Снег шел всю вторую половину дня. Включили центральное отопление, и Иоахим, не желая прерывать лежание, забрался в свой спальный мешок, а Ганс Касторп вбежал в комнату, пододвинул кресло к нагретым трубам и, покачивая головой, стал смотреть оттуда на совершавшееся перед ним бесчинство. На другое утро снег уже не шел, но, хотя наружный термометр и показывал несколько градусов выше нуля, остался лежать; его пелена была с фут толщиной, и перед удивленным взором Ганса Касторпа открылся совершенно зимний ландшафт. Однако отопление снова выключили. Температура в комнате понизилась до шести градусов тепла.

– Что же, вашему лету конец? – с горькой иронией спросил тогда Ганс Касторп двоюродного брата.

– Трудно сказать, – ответил Иоахим. – Бог даст, еще будут хорошие, теплые деньки. Это вполне возможно даже в сентябре. Дело в том, знаешь ли, что здесь времена года не так уж резко отличаются друг от друга, они как бы путаются и не подчиняются календарю. Зимой иной раз солнце такое горячее, что на прогулке весь вспотеешь и приходится снимать пиджак, а летом – да ты сам видишь, что тут может быть летом. И потом сбивает с толку снег. Он идет в январе, но и в мае выпадает почти столько же, да и в августе тоже, как видишь. В общем, можно сказать, что ни один месяц не обходится без снега, уж таков закон, и в этом не приходится сомневаться. Словом, у нас бывают зимние дни и летние, весенние и осенние, но настоящей смены времен года тут наверху ждать нечего.

– Веселенькая путаница, нечего сказать, – заметил Ганс Касторп. В калошах и зимнем пальто спускался он вместе с двоюродным братом вниз, в курорт, чтобы купить одеяла для лежания на воздухе, – было ясно, что при такой погоде ему своим пледом не обойтись. Не приобрести ли также и спальный мешок, заметил он мимоходом, но потом отказался от этой мысли, как будто даже испугавшись ее.

– Нет, нет, – заявил он, – достаточно одеял! Они мне потом и внизу пригодятся, одеяла нужны везде, тут нет ничего особенного, ничего

странного. Спальный мешок – другое дело, он нужен для каких-то специальных целей; пойми меня правильно – если я приобрету себе спальный мешок, мне самому будет чудиться, что я здесь намерен прочно обосноваться и уже в каком-то смысле стал таким же, как вы. Одним словом, я хочу только сказать, что абсолютно бессмысленно покупать спальный мешок на две-три недели...

Иоахим согласился с ним, и они приобрели в одном из больших нарядных магазинов английского квартала два одеяла верблюжьей шерсти – таких же, как у Иоахима, необычайно длинных и широких, приятных на ощупь и естественной окраски, и распорядились немедленно отправить их в санаторий, в интернациональный санаторий «Берггоф», комната 34. Гансу Касторпу хотелось сегодня же после обеда испытать одеяла.

Покупку они произвели, конечно, после второго завтрака, ибо дневной распорядок не давал возможности спуститься в курорт в другие часы. Уже шел дождь, и снег, лежавший на улицах, превратился в ледяное крошево, взлетающее брызгами под ногами прохожих. Возвращаясь, они нагнали Сеттембрини, который под зонтом, но все-таки без шляпы, тоже спешил в санаторий. Итальянец был желт и, видимо, находился в элегическом настроении. В тщательно выбранных, изящных выражениях пожаловался он на холод и сырость, которые были для него мучительны. Если бы хоть топили! Но наши пресловутые правители выключают отопление, как только перестает идти снег, – идиотское правило, насмешка над здравым смыслом. И когда Ганс Касторп возразил, что умеренная температура в комнатах, вероятно, входит в число здешних лечебных процедур, – врачи, видимо, хотят уберечь пациентов от чрезмерной изнеженности, – Сеттембрини ответил с резкой насмешкой:

– Подумаешь! Неприкосновенные лечебные принципы! И Ганс Касторп еще говорит о них с благоговением и покорностью, как будто они заслуживают такого отношения! Но примечательно – примечательно, разумеется, в самом лучшем смысле слова – вот что: пользуются безусловным почитанием именно те принципы, которые абсолютно совпадают с экономическими выгодами правителей, а на те, которые не совсем с ними совпадают, правители готовы смотреть сквозь пальцы.

Кузены рассмеялись, а Сеттембрини в связи с разговорами о тепле, по которому он истосковался, вспомнил покойного отца.

– Отец мой, – начал он, мечтательно растягивая слова, – был человек утонченный, чувствительный душой и телом! Как он любил зимой свой маленький теплый кабинетик, искренне любил! Там всегда должно было быть не меньше двадцати градусов по Реомюру, и обогревалась эта

комнатка раскаленной докрасна печуркой; бывало, в сырой и холодный день или когда дует трамонтана, войдешь к нему из прихожей нашего домика – тепло ложится тебе на плечи, как мягкий плащ, и на глаза невольно набегают блаженные слезы. Комнатка была битком набита книгами и рукописями, там имелись бесценные экземпляры... А среди всех этих духовных сокровищ перед своим узким пюпитром стоял в голубом фланелевом шлафроке мой отец и предавался занятиям литературой – такой стройный и миниатюрный, на целую голову ниже меня, вы только представьте! Но с густыми кустами седых волос на висках и длинным изящным носом... Какой это был романист, господа! Один из первых среди современников, знаток нашего языка, каких мало, латинский стилист, каких уже нет, настоящий uomo letterato^[34], в духе Боккаччо... Отовсюду приезжали ученые, чтобы с ним поговорить, – один из Хапаранды^[35], другой из Кракова... Они приезжали именно в Падую, в наш родной город, чтобы выразить ему свое глубокое почитание, а он принимал их с приветливым достоинством. И новеллист он был выдающийся, в часы досуга он писал рассказы изысканнейшей тосканской прозой – отец был мастером *idioma gentile*^[36].

Сеттембрини произносил слова родного языка с каким-то восторженным самозабвением, каждый слог точно пел и медленно таял у него на языке, и он покачивал при этом головой.

– И садик он себе развел по примеру Вергилия, – продолжал итальянец, – и все, что он говорил, было разумно и прекрасно. Но тепло, тепло в его комнатке было ему необходимо, иначе он начинал дрожать и готов был плакать от досады, что его заставляют мерзнуть. И вот представьте себе, вы, инженер, и вы, лейтенант, как я, сын своего отца, страдаю в этом треклятом варварском месте, где тело в самый разгар лета содрогается от холода и унижительные впечатления постоянно терзают душу! Ах, как это трудно! А что за типы нас окружают! Этот болван, этот чертов гофрат! А Кроковский! – Сеттембрини сделал вид, будто никак не может выговорить фамилию врача. – Кроковский, этот бесстыдный исповедник, он ненавидит меня за то, что человеческое достоинство не позволяет мне поддерживать его поповские штучки... А за моим столом... что за люди, и в их обществе я вынужден вкушать пищу! Справа – пивовар из Галле, его фамилия Магнус, у него усы – точно пучок сена. «Оставьте меня в покое с вашей литературой, – заявляет он. – Что она изображает? Возвышенные натуры! А на что мне возвышенные натуры? Я человек практический, да и возвышенных натур в жизни почти не бывает». Вот

какое у него понятие о литературных произведениях. Возвышенные натуры... О мать божья! А напротив сидит его супруга и все больше теряет белок, так как все глубже погружается в тупоумие. Просто горе и гнусность!

Не сговариваясь, Иоахим и Ганс Касторп относились одинаково к этим речам: что-то в них было жалобное и неприятно мятежное, но вместе с тем занимательное, а задорная строптивость и меткая язвительность делали их даже поучительными. Ганс Касторп добродушно расхохотался над «пучком сена» и «возвышенными натурами», или, верней, над тем комическим отчаянием, с каким Сеттембрини об этом говорил, потом сказал:

– Боже мой, ну конечно в таких заведениях общество всегда несколько смешанное. Ведь нам не дано выбирать соседей по столу, да и к чему бы это привело? За нашим столом тоже сидит такая дама... фрау Штер – вы, наверно, ее видели... Она убийственно невежественна, иной раз просто не знаешь, куда глаза девать, когда она заводит свои дурацкие разговоры. И притом жалуется, что у нее температура и уж такая, такая вялость! И она действительно тяжело больна. Как странно – больна и глупа. Не знаю, понятна ли моя мысль, но если человек глуп, да в придачу еще болен – это на меня как-то особенно действует, такое сочетание, наверно, самая печальная вещь на свете. И совершенно не знаешь, как быть: ведь к больному надо относиться серьезно и с уважением, болезнь – это ведь что-то почтенное, если мне позволено будет так выразиться. Но когда к ней примешивается глупость со всякими «фомулюсами», «космическими заведениями» и прочими нелепостями, тут уж не знаешь, как быть – смеяться или плакать; для человеческого чувства возникает дилемма, и притом до того мучительная, что слов не подберешь. То есть не подходят друг к другу болезнь и глупость, несовместимы они! Мы не привыкли представлять их вместе! Принято считать, что глупый человек должен быть здоровым и заурядным, а болезнь делает человека утонченным, умным, особенным. Такова общепринятая точка зрения. Разве нет? Впрочем, я высказываю мысли, которых не смог бы обосновать, – продолжал он. – Но раз уж мы затронули этот вопрос... – Тут он вдруг смешался.

Смущен был и Иоахим, а Сеттембрини молчал, удивленно подняв брови, причем делал вид, будто ждет просто из вежливости, чтобы собеседник кончил излагать свои взгляды. В действительности же он ждал, когда Ганс Касторп окончательно запутается, и только тогда ответил:

– Sapristi^[37], инженер, да у вас, оказывается, дар к философствованию, вот уж не ожидал! По вашей теории вам следовало быть менее здоровым, чем вы кажетесь, ибо вы, очевидно, умны. Но разрешите заметить, что я не

могу согласиться с вашими выводами, я их отклоняю, я прямо-таки враждебно отношусь к ним. Видите ли, что касается суждений нашего духа, то я несколько нетерпим, и пусть лучше меня назовут педантом, все же я не оставлю без возражений, если они того заслуживают, хотя бы такие взгляды, как изложенные вами...

– Но, господин Сеттембрини...

– Раз-решите... Я знаю, что вы хотите сказать. Вы хотите сказать, что вовсе уж не так уверены в правильности ваших утверждений, что высказанные вами взгляды для вас вовсе не так бесспорны и вы их изложили как одну из возможных точек зрения, которые, так сказать, носятся в воздухе, и хотели, не беря на себя никакой ответственности, просто испытать свои силы, развивая их. Это соответствует вашему возрасту, ибо он еще далек от мужественной твердости и прежде всего стремится производить опыты с самыми различными точками зрения. *Placet experiri*^[38], – латинское «с» он произнес как итальянское, – хорошая поговорка. Вызывает во мне недоумение то, что ваш эксперимент направлен именно в эту сторону. Сомневаюсь, чтобы тут была случайность. Я, наоборот, боюсь, что в этом сказалась некоторая склонность, которая может, при вашем характере, окрепнуть, если ей не противодействовать. Поэтому я обязан внести поправки. Вы заявили, что когда сочетаются болезнь и глупость – это самая печальная вещь на свете. С этим я еще могу согласиться. И мне умный больной милее чахоточного болвана. Но мой протест начинается там, где вы утверждаете, будто сочетание болезни с глупостью является своего рода погрешностью против стиля, так сказать безвкусицей природы и дилеммой для человеческого чувства, как вы изволили выразиться. Если вы считаете болезнь чем-то аристократическим и, как вы сказали, почтенным, тем, что с глупостью не вяжется, – да, это тоже ваше выражение, – так нет же! Болезнь отнюдь не аристократична, отнюдь не почтенна, самый этот взгляд есть болезнь или ведет к ней. Может быть, я всего успешнее вызову у вас отвращение к такому взгляду, если скажу, что он устарел, он уродлив. Этот взгляд возник в придавленные суеверием времена, когда идея человека была искажена и обесчещена, во времена, полные страха, когда гармония и здоровье считались чем-то подозрительным, порождением дьявола, а немощь гарантировала пропуск в царство небесное. Но разум и просвещение изгнали эти тени, омрачившие душу человечества, – правда, еще не вполне, еще до сих пор идет борьба, а имя этой борьбе, сударь мой, – труд, земной труд во имя земли, во имя чести и интересов человечества; и каждый день все больше закаляются в этой борьбе те силы, которые окончательно освободят человека и поведут

его по пути прогресса и цивилизации, навстречу все более яркому, мягкому и чистому свету.

«Черт возьми, – подумал Ганс Касторп, ошеломленный и пристыженный, – вот так хвалебная песнь труду. Чем я ее вызвал? Впрочем, все это звучит довольно сухо. И что он все твердит о труде? Вечно лезет со своим трудом, хотя труд здесь почти ни при чем!» И он сказал:

– Прекрасно, господин Сеттембрини. Прямо удивительно, как вы все это умеете объяснить... Лучше, пластичнее, мне кажется, и выразить трудно.

– Возврат к прошлому, – снова начал Сеттембрини, приподняв зонтик над кем-то проходившим мимо него, – интеллектуальный возврат к прошлому, к воззрениям той мрачной, жестокой эпохи, – поверьте мне, инженер, это тоже болезнь, и она вполне изучена, для нее у науки есть немало терминов – и в области эстетики и психологии, и в области политики, хотя это школьные термины, они ничего не объясняют, и вы охотно бы от них уклонились. Но так как все явления духовной жизни тесно между собой переплетены и одно вытекает из другого, а черту нельзя дать даже мизинца, не то он захватит всю руку, да и всего человека... и так как, с другой стороны, всякий здоровый принцип может привести только к здоровым результатам – все равно какой бы вы ни взяли за основу, – то зарубите себе на носу: в болезни отнюдь нет ничего возвышенного, ничего столь почтенного, чтобы она никак не могла сочетаться с глупостью; напротив, болезнь скорее – унижение, да, и она очень мучительна, очень оскорбительна, она унижает идею человека... Можно в отдельных случаях относиться к болезни бережно, с сочувствием, но уважать ее как особую духовную ценность – нельзя, это заблуждение, – зарубите себе на носу, – и оно служит началом всех умственных заблуждений. Та женщина, о которой вы говорили... не могу вспомнить ее фамилию... да, фрау Штер, благодарю вас, – словом, та нелепая женщина – не тот случай, когда перед человеческим чувством, как вы выразились, встает дилемма. Больна и глупа – ну и с богом, такая уж у нее судьба, тут все просто, остается только пожалеть и пожать плечами. Дилемма, сударь мой, вернее трагедия, начинается там, где природа оказалась настолько жестокой, что нарушила гармонию личности или заранее сделала ее невозможной, связав благородный и жизнеутверждающий дух с непригодным для жизни телом. Вы знаете Леопарди^[39], инженер, или вы, лейтенант? Это несчастный поэт моей страны, горбатый, болезненный. Он был одарен великой душой, но, постоянно оскорбляемая убожеством тела, она опустилась в низины

иронии, и жалобы этой души разрывают сердце. Вот послушайте!

И Сеттембрини начал декламировать; итальянские слова словно пели и таяли у него на языке; покачивая головой, он временами закрывал глаза, не заботясь о том, что спутники ничего не понимают. Видимо, для него было важно самому насладиться богатствами своей памяти и своего произношения и раскрыть их перед слушателями. Наконец он проговорил:

– Но вы же ничего не понимаете, вы слышите только звуки, а их мучительного смысла не улавливаете. Калеке Леопарди, господа, – прочувствуйте это до конца, – было прежде всего отказано в женской любви, поэтому-то он, вероятно, и не мог бороться против увядания своей души. Блеск славы и добродетели померк для него, природа показалась ему злой, – впрочем оно так и есть, она зла и глупа, тут я с ним согласен, – и он изверился, – страшно сказать, – изверился в силах науки и прогресса! Вот она где трагедия, инженер! Вот где «дилемма для человеческого чувства», а не в отношении той женщины, – я не желаю утруждать себя, вспоминая ее фамилию... И не говорите мне, пожалуйста, об «одухотворении», которое будто бы может вызвать в человеке болезнь, – ради бога, не говорите! Душа без тела – нечто настолько же нечеловеческое и ужасное, как и тело без души, впрочем – первое редкое исключение, второе – правило. Как правило, тело берет верх над душой, захватывает власть, захватывает все, что есть жизнь, и отвратительно эмансипируется. Человек, ведущий жизнь больного, – только тело, в этом и состоит античеловеческая, унижительная особенность болезни... В большинстве случаев такое тело ничем не лучше трупа...

– Интересно, – вдруг заметил Иоахим, наклоняясь вперед, чтобы взглянуть на двоюродного брата, который шел по другую сторону Сеттембрини, – ты ведь недавно говорил почти то же самое.

– Разве? – удивился Ганс Касторп. – Да, может быть у меня и возникали подобные мысли.

Сеттембрини сделал молча несколько шагов, затем сказал:

– Тем лучше, господа. Если так, тем лучше. Я отнюдь не хотел преподнести вам какую-то оригинальную философскую концепцию – это не моя специальность. Если наш инженер сам подметил нечто подобное, это только подтверждает мое предположение, что он дилетантствует в области мысли и, как это присуще одаренной молодежи, пока только экспериментирует с самыми различными воззрениями. Одаренный молодой человек – вовсе не чистый лист бумаги, а скорее лист, на котором симпатическими чернилами все уже написано, хорошее и дурное, и дело воспитателя – энергично развивать хорошее, а дурное, если оно стремится

проступить на этом листе» навсегда уничтожить, соответствующим образом влияя на него. Вы делали покупки, господа? – спросил он уже совсем другим, небрежным тоном.

– Да, ничего особенного, – отозвался Ганс Касторп, – всего-навсего...

– Мы купили одеяла для моего двоюродного брата, – спокойно пояснил Иоахим.

– Чтобы лежать на воздухе... при таком собачьем холоде... Я ведь тоже, пока я здесь, буду следовать режиму, – сказал Ганс Касторп, усмехнувшись, и опустил глаза.

– А! Одеяла, лежание на воздухе... – проговорил Сеттембрини. – Так, так, так! Ну, ну, ну! И в самом деле: «Placet expend!» – повторил он с итальянским выговором и простился со своими спутниками. Приветствуемые хромым портье, они уже входили в холл санатория, и Сеттембрини свернул в одну из гостиных, чтобы, как он заявил, перед завтраком почитать газеты. Второе лежание он, видимо, решил прогулять.

– Ну, знаешь ли, – начал Ганс Касторп, когда с Иоахимом поднимался на лифте, – это же настоящий педагог. Он сам недавно признал, что есть в нем такая жилка. И с ним нужно быть все время начеку, скажешь лишнее слово – и получай длинейшее наставление. Но послушать его стоит, он умеет говорить, каждое слово у него точно выскакивает изо рта, и оно какое-то круглое и аппетитное... Когда он ораторствует, мне всегда представляется, что это не слова, а свежие булочки.

Иоахим рассмеялся.

– Ну, этого ты лучше ему не говори. По-моему, он будет огорчен, узнав, что во время его поучений ты вспоминаешь о булках.

– Разве? Я далеко не уверен. У меня все время такое впечатление, что для него важно не только наставлять, или, может быть, важно во вторую очередь, а главное – говорить, вот так подбрасывать слова и катить их... упруго, точно резиновые мячики... ему даже приятно, когда обращают внимание и на эту особенность его речи. Пивовар Магнус, конечно, глуповат со своими «возвышенными натурами», однако Сеттембрини следовало бы все-таки объяснить, что же в литературе основное. Я не спросил, чтобы не компрометировать себя, – ведь я в этом тоже плохо разбираюсь и до сих пор не встречал ни одного литератора. Если для него дело не в «возвышенных натурах», то в «возвышенных словах»; по крайней мере у меня создается такое впечатление, когда я нахожусь в его обществе. А какие он употребляет выражения! Ничуть не стесняясь, говорит «добродетель»! Ты подумай! За всю свою жизнь я ни разу не решился вслух произнести это слово, и даже в школе, если в оригинале было

написано «virtus», мы переводили: «храбрость». Поэтому меня невольно покорило, должен сознаться. И потом, мне слегка действует на нервы, когда он начинает бранить и погоду, и Беренса, и фрау Магнус за то, что она теряет белок, – словом, всех и вся. Он оппозиционер по натуре, я это сразу понял. И обрушивается на всякий установленный порядок, а в таких людях всегда чувствуется какая-то отверженность, тут ничего не поделаешь.

– Это ты так воспринимаешь, – задумчиво ответил Иоахим. – А я вижу в нем что-то гордое, и никакой отверженности; наоборот, он высоко ценит себя и человека вообще, и эта черта мне нравится, в нем есть сознание своего человеческого достоинства.

– Ты прав, – сказал Ганс Касторп. – Даже какая-то строгость; и очень часто становится не по себе оттого, что – скажем прямо – чувствуешь, будто бы тебя контролируют, но вовсе не в отрицательном смысле. Поверишь, у меня почему-то такое ощущение, что он, например, возражает против моей покупки одеял для лежання, он этим недоволен, у него есть что сказать на этот счет, и он порицает меня.

– Нет, – отозвался Иоахим после краткого раздумья. – Почему бы? Не могу себе представить. – Затем, сунув в рот градусник и собрав все свои пожитки, отправился лежать, а Ганс Касторп начал тут же переодеваться и приводить себя в порядок к обеду – ведь до него оставался всего какой-нибудь час.

Экскурс в область понятия времени

Когда они после обеда поднялись опять к себе наверх, пакет с одеялами уже лежал на стуле в комнате Ганса Касторпа, и он в первый раз воспользовался ими; Иоахим, опытный в этом деле, научил его искусству в них завертываться, как здесь завертывались все, и каждый новичок должен был немедленно этим искусством овладеть. Одеяла расстилали одно поверх другого на шезлонге, так что в ногах значительная часть лежала на полу. Затем усаживались в шезлонг и начинали завертываться в то, которое лежало сверху: сначала в длину, до подмышек, потом, сидя, наклонялись, ухватив сложенный вдвое конец с одной стороны и с другой, подгибали его как можно аккуратнее и затем подвертывали одеяло с другой стороны, чтобы оно лежало ровно и без складок. То же проделывали и с нижним одеялом; это было несколько труднее, и Гансу Касторпу, как бездарному новичку, пришлось немало покряхтеть, прежде чем он, то нагибаясь, то выпрямляясь, научился приемам завертывания. Лишь немногие санаторские ветераны, заявил Иоахим, умеют тремя уверенными движениями захлестывать вокруг себя оба одеяла сразу, но эта редкая и завидная ловкость достигается не только многолетними упражнениями, для нее нужно иметь врожденный талант. Над последним словом Ганс Касторп невольно рассмеялся; у него ныла поясница, и он утомленно откинулся на спинку шезлонга, а Иоахим, не сразу поняв, что же тут смешного, с недоумением посмотрел на него, но потом и сам рассмеялся.

– Так, – заявил он, когда Ганс Касторп, умучавшись от этой гимнастики и приняв вид какого-то бесформенного тюка, наконец улегся и оперся головой о мягкий валик, – даже двадцатиградусный мороз тебя теперь не проймет. – Потом он исчез за стеклянной стенкой, чтобы самому завернуться и лечь.

Утверждение Иоахима относительно двадцатиградусного мороза показалось Гансу Касторпу сомнительным, – ему и сейчас уже было холодно. Он то и дело вздрагивал от пробежавшего по телу озноба, всматриваясь из-под деревянных арок балкона в сочащуюся с неба мокреть, которая, казалось, в любую минуту могла перейти в снегопад. Как странно, что, несмотря на сырость, его щеки все еще пылают сухим жаром, как будто он находится в слишком жарко натопленной комнате. И просто смешно, до чего он устал от возни с одеялами, – книга «Ocean steamships» начинала дрожать в его руках, как только он подносил ее к глазам. Правда,

уж очень здоровым его тоже не назовешь – общее малокровие, как заявил гофрат Беренс, поэтому он, вероятно, так легко и зябнет. Однако неприятные ощущения смягчались удивительно удобным положением, в котором он лежал на этом шезлонге; неопределимые, почти таинственные особенности этого кресла с первого же раза вызвали в нем живейшее удовольствие, и теперь он снова одобрил его конструкцию как в высшей степени удобную. Играла ли здесь роль мягкая обивка, правильный наклон спинки, ширина и высота подлокотников или степень упругости привешенного к изголовью валика – однако трудно было с большей гуманностью обеспечить полный отдых покоящемуся телу, чем давал этот шезлонг. Ганс Касторп был в душе рад, что ему на два часа обеспечен покой; и эти два часа, освященные традиционным распорядком санаторского дня, казались ему, хотя он был здесь наверху всего лишь гостем, вполне разумной мерой. Ибо он был терпелив от природы, мог долго оставаться без всяких занятий, любил, как мы уже видели, иметь досуг и желал, чтобы этот досуг не был спугнут лихорадочной деятельностью, заполнен ею и разрушен.

В четыре предстоял чай с пирожным и вареньем, затем небольшая прогулка, опять отдых в шезлонге, в семь ужин, во время которого, так же как за другими трапезами, бывало кое-что интересное, заслуживающее внимания, почему их и ждали с удовольствием; а после ужина можно было посмотреть в стереоскоп, в калейдоскопическую зрительную трубку, в барабан с кинематографической лентой... Ганс Касторп уже знал распорядок дня назубок, хотя, конечно, нельзя было утверждать, что он, как говорится, «сжился» с ним.

В сущности, странная вещь – это «сживание» с новым местом, это, хотя бы и нелегкое, приспособление и привыкание, на которое идешь ради него самого, чтобы, едва или только что привыкнув, снова вернуться к прежнему состоянию. Такие временные отклонения включаешь в основной строй жизни как интермедию, для разнообразия, для того чтобы «поправиться», то есть для обновляющего переворота в деятельности организма, ибо при однообразном течении жизни организму грозила бы опасность изнежиться, обессилеть, отупеть. В чем же причина этого отупения и вялости, которые появляются у человека, если слишком долго не нарушается привычное однообразие? Причина лежит не столько в физической и умственной усталости и изношенности, возникающих при выполнении тех или иных требований жизни (ибо тогда для восстановления сил было бы достаточно простого отдыха), причина кроется скорее в чем-то душевном, в переживании времени – так как оно

при непрерывном однообразии грозит совсем исчезнуть и настолько связано и слито с непосредственным ощущением жизни, что, если ослабевает одно, неизбежно терпит мучительный ущерб и другое. Относительно скуки, когда «время тянется», распространено немало ошибочных представлений. Принято считать, что при интересности и новизне содержания «время бежит», другими словами – такое содержание сокращает его, тогда как однообразие и пустота отяжеляют и задерживают его ход. Но это верно далеко не всегда. Пустота и однообразие, правда, могут растянуть мгновение или час или внести скуку, но большие, очень большие массы времени способны сокращать само время и пролетать с быстротой, сводящей его на нет. Наоборот, богатое и интересное содержание может сократить час и день и ускорить их, но такое содержание придает течению времени, взятому в крупных масштабах, широту, вес и значительность, и годы, богатые событиями, проходят гораздо медленнее, чем пустые, бедные, убогие; их как бы несет ветер, и они летят. То, что мы определяем словами «скука», «время тянется», – это скорее болезненная краткость времени в результате однообразия; большие периоды времени при непрерывном однообразии съеживаются до вызывающих смертный ужас малых размеров: если один день как все, то и все как один; а при полном однообразии самая долгая жизнь ощущалась бы как совсем короткая и пролетала бы незаметно. Привыкание есть погружение в сон или усталость нашего чувства времени, и если молодые годы живутся медленно, то позднее жизнь бежит все проворнее, все торопливее, и это ощущение основывается на привычке. Мы знаем, что необходимость привыкать к иным, новым содержаниям жизни является единственным средством, способным поддержать наши жизненные силы, освежить наше восприятие времени, добиться омоложения этого восприятия, его углубления и замедления; тем самым обновится и наше чувство жизни. Ту же цель преследуют перемены места и климата, поездки на взморье, в этом польза развлечений и новых событий. В первые дни пребывания на новом месте у времени юный, то есть мощный и широкий, ход, и это продолжается с неделю. Затем, по мере того как «сживаешься», наблюдается некоторое сокращение; тот, кто привязан к жизни, или, вернее, хотел бы привязаться к жизни, с ужасом замечает, что дни опять становятся все более легкими и начинают как бы «буксовать», а, скажем, последняя неделя из четырех проносится до жути быстро и незаметно. Правда, освежение чувства времени действует несколько дольше, и когда мы возвращаемся к привычному строю жизни, оно снова дает себя почувствовать; первые дни, проведенные дома хотя бы после путешествия,

воспринимаются как что-то новое, широко и молодо, но очень недолго: ибо с привычным распорядком жизни сживаешься опять быстрее, чем с его отменой, и когда восприятие времени притупилось – от старости или от слабости жизнеощущения, при котором оно никогда и не было развито, – это чувство времени опять очень скоро засыпает, и уже через сутки вам кажется, что вы никуда и не уезжали и ваше путешествие только приснилось вам.

Мы приводим эти соображения лишь потому, что примерно таковы были мысли Ганса Касторпа, когда он несколько дней спустя сказал двоюродному брату (взглянув на него при этом покрасневшими глазами):

– А все-таки забавно, что в чужом месте время сначала ужасно тянется. То есть, разумеется, нет и речи о том, чтобы я скучал, напротив, я скорее мог бы сказать, что развлекаюсь прямо по-королевски. Но когда я оглядываюсь назад, смотрю ретроспективно – только пойми меня правильно, – мне чудится, будто я здесь наверху давным-давно и бог весть сколько времени прошло с той минуты, когда поезд подошел к платформе и ты сказал: «Что же ты не выходишь?» Помнишь? Мне кажется, прошла целая вечность. С обычными измерениями времени и данными рассудка это решительно не имеет ничего общего, тут вопрос особого ощущения. Конечно, было бы глупо, если бы я сказал: мне кажется, я здесь уже два месяца – это было бы просто nonsens'ом^[40]. Я именно только говорю – «очень давно».

– Да, – ответил Иоахим с градусником во рту, – понимаю, с тех пор как ты здесь, я могу хоть как-то опереться на тебя. – И Ганс Касторп рассмеялся тому, что Иоахим сказал это так просто, без пояснений.

Он пытается говорить по-французски

Нет, он отнюдь еще не сжился со здешней жизнью и не познал ее во всем ее своеобразии – да это познание и невозможно было приобрести не только за несколько дней, но, как утверждал Ганс Касторп (и заявил об этом кузену), даже за три недели; не приспособился и его организм к в высшей степени специфическим атмосферным условиям «здесь наверху»; от этого приспособления ему солоно приходилось, оно как будто совсем не давалось.

Обычный день был строго распределен, заботливо организован, и, если подчиняться установленному распорядку, человек быстро осваивался, и все шло своим чередом. Однако в пределах недели, а также больших периодов времени происходили регулярные отклонения от обычного расписания, и о них Ганс Касторп узнавал лишь постепенно – при одном он присутствовал впервые, другие уже повторялись; что касалось ежедневного появления определенных предметов и лиц, то здесь ему тоже приходилось на каждом шагу учиться, замеченное мимоходом рассматривать внимательнее и вбирать в себя новое с юношеской восприимчивостью.

Например, как разъяснил ему Иоахим, в тех пузатых баллонах с короткими горлами, стоявших в коридорах перед некоторыми дверями и бросившихся ему в глаза в вечер его приезда, оказался кислород, да, чистейший кислород, по шести франков баллон; живительный газ давался умирающим при последней вспышке, для поддержания угасающих сил, они вдыхали его через резиновую трубку. Ибо за дверями, возле которых стояли такие баллоны, лежали умирающие, или «moribundi», как назвал их гофрат Беренс, когда Ганс Касторп однажды встретился с ним на первом этаже: гофрат шел по коридору в белом халате, щеки у него были синие, и он на ходу загребал ручищами. Они вместе стали подниматься по лестнице.

– Ну как, беспристрастный наблюдатель? – спросил Беренс. – Что вы поделяете, милостиво ли взирает на нас ваш испытующий взор? Нам лестно, нам лестно. Да, наш летний сезон неплох, он у нас первый сорт. И я немало потрудился, чтобы его разрекламировать. Жаль, что вы не хотите провести здесь и зиму, я слышал – вы предполагаете пробыть всего два месяца? Ах, три недели? Но это же только мимолетный визит, не стоило и ездить! Ну, вам виднее. А все-таки жаль, что вы не хотите прожить зиму, когда тут собирается вся хотволе^[41], – продолжал он, шутливо искажая французское произношение, – международная хотволе приезжает туда вниз,

в местечко, только зимой, и вам посмотреть бы их следовало. Это было бы полезно в образовательном отношении. Просто лопнуть можно от смеха, когда эти типы шествуют, подпрыгивая, точно на ходулях. А дамы, боже праведный, дамы! Пестры, как райские птицы, а уж любезны... Ну, мне пора к моему морибундусу, – заявил он, – вот сюда, в двадцать седьмой номер. Последняя стадия, знаете ли. Вся середка сгнила. Пять дюжин фляг с кислородом высосал он вчера и сегодня, пьяница эдакий! Но к полудню, думаю, отправится ad penates^[42]. Ну, милый Рейтер, – обратился он к больному, входя в комнату, – а что, если мы откупорим еще одну?.. – Он закрыл за собою дверь, и слова его как бы оборвались. Но Ганс Касторп все же успел за это короткое мгновение рассмотреть в глубине комнаты, на подушке, восковой профиль молодого человека с тощей бородкой, медленно обратившего к двери глаза с очень выпуклыми глазными яблоками.

Это был первый морибундус, которого Ганс Касторп видел в своей жизни, ибо и его родители и дед умирали как бы у него за спиной. С каким достоинством покоилась на подушке голова этого молодого человека с задранной кверху бородкой! Каким значительным был взгляд его слишком крупных глаз, когда он обратил их к двери! Ганс Касторп, все еще ошеломленный этим мгновенным впечатлением, невольно попытался так же расширить и выкатить глаза и посмотреть вокруг тем же значительным замедленным взглядом. Приближаясь к лестнице, он устремил этот взгляд на даму, которая вышла из комнаты позади него и перегнала его уже на площадке. Он не сразу узнал мадам Шоша. Она тихонько усмехнулась тому, что он сделал такие глаза, потом поднесла ладонь к косам на затылке, словно желая их поддержать, и стала спускаться по лестнице впереди него неслышной и гибкой походкой, слегка выставив вперед голову.

В эти первые дни он не завел почти никаких знакомств, да и потом это случилось не скоро. Распорядок дня, в общем, мало способствовал знакомствам. Ганс Касторп был замкнут по природе, кроме того он чувствовал себя здесь гостем и «беспристрастным наблюдателем», как выразился гофрат Беренс, поэтому в основном довольствовался обществом Иоахима и разговорами с ним. Правда, сестра, с которой они сталкивались в коридоре, до тех пор вывертывала себе шею, глядя им вслед, пока Иоахим, и раньше достаивавший ее минутной болтовней, наконец не познакомил ее с двоюродным братом. Шнурок от пенсне у нее был закинут за ухо, и она говорила не только жеманясь, но вычурно и вымученно, и при самом поверхностном знакомстве с нею начинало казаться, что под пыткой скуки ее рассудок даже помрачился. Было очень трудно от нее отделаться,

ибо, когда она увидела, что разговор подходит к концу и молодые люди намерены продолжать свой путь, она вцепилась в них взглядами, торопливыми словами и полной отчаяния улыбкой; и тогда они, из сострадания, решили постоять с ней еще немного. А она принялась рассказывать во всех подробностях о своем папе – он юрист, и о кузене – он врач, видимо желая выставить себя в выгодном свете и подчеркнуть, что она принадлежит к образованному обществу. Что касается ее юного подопечного там, за дверью, то он сын кобургского фабриканта кукол Ротбейна, недавно болезнь перебросилась у него на кишечник. Это очень тяжело для всех, кто имеет с ним дело, – господа, вероятно, представляют себе почему, особенно трудно, если принадлежишь к интеллигентной семье и обладаешь тонкой чувствительностью, присущей высшим классам общества. На минуту нельзя отойти. Вот хотя бы на днях... вы не поверите, господа, я вышла совсем ненадолго, зубного порошку себе купить, возвращаюсь и вижу: мой больной сидит в постели, а перед ним стакан густого темного пива, колбаса салями, кусище черного хлеба и огурец! Все эти запретные лакомства ему, оказывается, прислали родственники для подкрепления сил. А на другой день он, конечно, был еле жив. Он сам ускоряет свой конец. Но смерть будет освобождением только для него, не для нее, – к слову сказать, здесь ее зовут сестра Берта, но на самом деле она Альфреда Шильдкнехт, – и вот ей придется тогда перейти к другому больному, с более или менее опасной стадией болезни, здесь или в другом санатории, вот единственная перспектива, которая ее ждет, другой не предвидится.

Ганс Касторп согласился, что, конечно, профессия у нее тяжелая, но она, надо полагать, дает и удовлетворение...

– Разумеется, – ответила сестра, – она дает удовлетворение, но уж очень она тяжела.

– Ну, наилучшие пожелания господину Ротбейну. – И двоюродные братья хотели было отойти.

Однако она опять вцепилась в них взглядами и словами, и в этой своей попытке хоть немножко задержать их была так жалка, что не уделить ей еще хоть несколько мгновений было бы просто жестокостью.

– Он спит! – сказала она. – Сейчас я ему не нужна. Вот я и вышла на минутку в коридор... – И она принялась жаловаться на гофрата Беренса и на его тон: он слишком бесцеремонен, ведь она – девушка из хорошей семьи. Доктора Кроковского она хвалила, заявив, что вот это человек душевный. Затем опять свела разговор на своего папу и на кузена. Ее мозг был, видимо, не способен ни на что другое. Тщетно силясь удержать

молодых людей еще хоть на миг, она вдруг заговорила очень громко, стала чуть ли не кричать, но они все же ускользнули от нее и поспешили дальше. Сестра еще некоторое время смотрела им вслед, наклонившись вперед и словно присасываясь к ним взглядом, как будто желая силой этого взгляда заставить их повернуть обратно. Затем из груди ее вырвался тяжелый вздох, и она возвратилась в комнату своего подопечного.

Кроме нее, Ганс Касторп познакомился в эти дни с черно-бледной дамой, которую видел в саду, с мексиканкой, прозванной «Tous-les-deux». И он действительно услышал из ее уст печальную формулу, ставшую ее прозвищем; но так как он к этому приготовился, то вполне владел собой и не мог потом себя ни в чем упрекнуть. Двоюродные братья встретили мексиканку перед главным входом, когда после первого завтрака отправлялись на положенную прогулку. Закутавшись в черную кашемировую шаль и согнув колени, неутомимо ходила она взад и вперед большими тревожными шагами, и из-под черной вуали, наброшенной на серебриющиеся волосы и завязанной под подбородком, светилося матовой белизной ее стареющее лицо с крупным страдальческим ртом. Иоахим, который был, как всегда, без шляпы, приветствовал ее поклоном, она неторопливо ответила, и когда подняла глаза – поперечные морщины, пересекавшие ее лоб, обозначились резче. Увидев новое лицо, она остановилась и, тихонько кивая головой, ждала, чтобы молодые люди приблизились; ибо, видимо, считала необходимым узнать, известно ли приезжему о ее горестной судьбе, и услышать его мнение. Иоахим представил кузена. Выпростав из-под мантильи худую желтоватую руку с резко выступающими венами и унизанную кольцами, она протянула ее молодому человеку и продолжала, кивая, смотреть на него.

– Toils les de, monsieur, – проговорила она. – Tous les de vous savez...^[43]

– Je le sais, madame^[44], – ответил Ганс Касторп вполголоса. – Et je le regrette beaucoup.^[45]

Его поразили мешки под ее агатово-черными глазами – тяжелые и отвисшие, он еще никогда таких не видел. От нее исходил легкий аромат увядания. И его душу охватила особая мягкость и серьезность.

– Merci, – сказала она с каким-то шелестящим выговором, удивительно гармонизировавшим с надломленностью всего ее облика, и один угол ее крупного рта трагически опустился. Затем она снова спрятала руку под мантилью, наклонила голову и опять беспокойно зашагала по дорожкам. А когда они пошли дальше, Ганс Касторп сказал:

– Вот видишь, я был очень спокоен и обошелся с ней как надо. Мне

кажется, у меня от природы дар обходиться с такими людьми, – верно? Мне даже кажется, что с теми, у кого есть горе, я лажу лучше, чем с теми, у кого все благополучно, бог его знает почему; может быть, оттого, что я все-таки сирота и слишком рано потерял родителей; но если люди серьезны и печальны и дело идет о смерти – меня это не гнетет и не смущает, я, напротив, чувствую себя в родной стихии и, во всяком случае, лучше, чем когда они бодры и веселы, – это мне более чуждо. Недавно я думал вот о чем: ведь какая глупость, что здешние дамы до такой степени боятся смерти и всего связанного с ней, и их тщательно оберегают, и даже причастие приносят умирающим, когда больные сидят за столом. Фу, пошлость какая! Разве вид гроба тебе не нравится? Мне иной раз очень нравится. По-моему, гроб – это вещь Прямо-таки красивая, даже когда он пуст, а уж если там кто-нибудь лежит, то для меня это зрелище глубоко торжественное. В похоронах есть что-то утешительное, и мне казалось не раз: когда ищешь утешения – надо идти не в церковь, а на какие-нибудь похороны. Люди одеты в строгую черную одежду, стоят без шляп, смотрят на гроб серьезно и с благоговением, и никто не осмелится глупо острить, как обычно острят в жизни. Когда в людях чувствуется хоть немного благоговения – мне это очень по душе. Я уж иной раз спрашиваю себя, не следовало ли мне стать пастором... В каком-то смысле мне эта профессия подошла бы... Надеюсь, я не сделал ни одной ошибки, когда отвечал ей по-французски?

– Нет, – отозвался Иоахим, – все было сказано вполне правильно.

Политически неблагонадежна

Происходили и регулярные отклонения от обычного распорядка; таким днем было, во-первых, воскресенье – с музыкой на террасе, она играла два раза в месяц. Сегодня было как раз второе воскресенье, и оно отмечало конец недели, в начале которой Ганс Касторп сюда прибыл. Он приехал во вторник, и вот наступил пятый день его жизни в санатории, чисто весенний день; после бурного ненастья и неожиданного возврата зимы он казался особенно нежным и свежим, с чистенькими облачками, ясным небом и нежарким солнцем, озарявшим горные склоны и долины, которые снова зазеленели, как и полагается летом, ибо выпавший снег был обречен на быстрое таяние.

Все, видимо, старались отдать дань воскресному дню и как-то выделить его; в этом стремлении и администрация и больные поддерживали друг друга. За первым же завтраком был подан песочный пирог, возле каждого прибора стояла вазочка с цветами – дикими горными гвоздиками и даже альпийскими розами, причем мужчины тут же вдели себе по цветку в петлицу (на прокуроре Параванте из Дортмунда был даже фрак и крапчатый жилет); дамские туалеты оказались особенно нарядными и воздушными, мадам Шоша явилась к завтраку в свободном кружевном матине с откидными рукавами; и когда застекленная дверь, как обычно, с треском захлопнулась за ней, она повернулась лицом к залу, как бы грациозно представилась сидящим, а уже потом крадущейся походкой скользнула к своему столу; матине так удивительно шло ей, что учительница из Кенигсберга сейчас же начала восторгаться. Даже варварская чета, сидевшая за «плохим» русским столом, отдала дань божьему празднику, и супруг сменил кожаную куртку на что-то вроде короткого сюртука, а теплые сапоги – на кожаные ботинки; правда, на шее у супруги болталось все то же грязноватое боа из перьев, но под ним оказалась зеленая шелковая блузка с рюшем у ворота. Увидев их обоих, Ганс Касторп насупился и покраснел, что здесь, впрочем, случалось с ним весьма часто.

Сейчас же после второго завтрака на террасе зазвучала музыка, оркестр состоял из медных и деревянных духовых инструментов и играл то бравурные, то мечтательные пьесы до самого обеда. Во время концерта лежание на воздухе было не обязательно. Правда, иные вкушали улады слуха, расположившись на своих балконах, два-три шезлонга были заняты

и в садовом павильоне, но большинство больных сидело за белыми столиками на крытой галерее, а более легкомысленная часть публики, решив, что стулья – это слишком почтенно, расположились на каменных ступенях, которые вели в сад, и здесь царило веселое оживление; собрались молодые люди обоего пола – большинство из них Ганс Касторп уже знал в лицо или по фамилии: Гермина Клеефельд и господин Альбин, который пустил по кругу большую цветастую коробку шоколадных конфет и всех угощал, но сам не ел, а, приняв покровительственный вид, курил сигарету с золотым мундштуком; затем губастый юнец из «Союза однолегочных»; фрейлейн Леви, худая девица с лицом цвета слоновой кости; пепельный блондин по фамилии Расмуссен, чьи вялые руки висели, словно плавники, на уровне груди; госпожа Заломон из Амстердама, одетая в красное платье, – пышнотелая особа, тоже присоединившаяся к молодежи; человек с редющей шевелюрой, который умел играть марш из «Сна в летнюю ночь», – он пристроился у нее за спиной и сидел, охватив острые колени и не спуская мутных глаз с ее смуглого затылка; рыжеволосая барышня из Греции; еще одна девица неизвестной национальности с лицом тапира; прожорливый подросток в толстых очках; еще один мальчик лет пятнадцати – шестнадцати, с моноклем, – когда он покашливал, то подносил к губам мизинец с длинейшим ногтем, похожим на совок для соли, – явный осел, – и другие.

Этот мальчик с длинным ногтем, как начал шепотом рассказывать Иоахим, был лишь слегка нездоров, когда приехал, температуры – никакой; отец его, врач, отправил сына сюда наверх только в целях профилактики, и, по заключению гофрата, он должен был пробыть в санатории самое большее месяца три. И вот теперь, через три месяца, у него температура поднимается до 37,8—38 и болезнь очень развилась. Правда, он ведет такой неразумный образ жизни, что его следовало бы отхлестать по щекам.

Двоюродные братья сидели несколько в стороне, за отдельным столиком, ибо Ганс Касторп курил, попивая черное пиво, которое он взял с собой из столовой, и минутами ему даже казалось, что у сигары прежний вкус. Слегка захмелев от пива и от музыки, действовавших на него как обычно, он сидел, приоткрыв рот, склонив голову набок, и созерцал покрасневшими глазами беззаботную курортную жизнь вокруг себя, причем сознание, что у всех этих людей происходит внутри процесс разрушения, который так трудно остановить, и у большинства легкий жар, не только не мешало, но придавало всему какое-то своеобразие, даже обаяние. За столиками пили жемчужно пенившийся лимонад, а на крыльце снимались. Иные обменивались почтовыми марками, рыжая барышня из

Греции рисовала в блокноте господина Расмуссена, сидевшего на большом камне, но потом ни за что не хотела показать рисунок и, смеясь и открывая широко расставленные зубы, вертелась туда и сюда, так что ему долго не удавалось вырвать у нее блокнот. Гермина Клеефельд сидела на ступеньках и, полузакрыв глаза, постукивала в такт музыке свернутой газетой, в то время как господин Альбин старался приколоть к ее груди пучочек полевых цветов; губастый подросток, пристроившись у ног фрау Заломон, болтал, задрав к ней голову, а лысеющий пианист не отрываясь продолжал смотреть на ее затылок.

Наконец к обществу пациентов присоединились и врачи, гофрат Беренс в белом халате и доктор Кроковский – в черном. Они прошли вдоль столиков, причем гофрат обращался почти к каждому с добродушной шуткой, и его путь обозначился струей оживления; затем они спустились к молодежи, женская часть которой, ревниво поглядывая друг на друга и теснясь, тотчас обступила доктора Кроковского, а гофрат в честь воскресного дня стал показывать мужчинам фокус со шнурками на ботинках: он поставил свою ножищу на ступеньку, распустил шнурки, взял их особым образом в одну руку и ухитрился без помощи другой снова зашнуроваться крест-накрест так крепко, что все дивились; многие попытались проделать то же самое, но тщетно.

Позднее на террасе появился и Сеттембрини; опираясь на горную палку, вышел он из столовой, одетый все в тот же ворсистый сюртук и желтоватые брюки; лицо его, как обычно, выражало живой ум и скептическое лукавство; он посмотрел вокруг, устремился к столику, за которым сидели двоюродные братья, воскликнул: «А, bravo!» – и попросил разрешения подсесть к ним.

– Пиво, табак и музыка! – воскликнул он. – Вот ваше отечество! Я вижу, инженер, что у вас есть вкус к национальному духу. Вы – в своей стихии, это меня радует. Разрешите же и мне приобщиться к гармонии ваших чувств.

Ганс Касторп весь подобрался – он сделал это, едва завидев итальянца. И сказал:

– Поздненько же вы приходите, господин Сеттембрини, концерт уже скоро кончится. Разве вы не охотник послушать музыку?

– Я не люблю слушать ее ни по команде, ни по календарю, – отозвался Сеттембрини. – Не люблю, когда от нее несет аптекой и она предписывается мне сверху из санитарных соображений. Я, видите ли, все же дорожу той свободой и теми остатками человеческого достоинства, которые у нас тут еще сохранились. И при таких мероприятиях – я лишь

гость, как вы гость здесь у нас, только в более широком смысле; забегаю на четверть часика, а потом иду опять своими путями. Это дает мне иллюзию независимости... Разумеется, всего-навсего иллюзию, но ничего не поделаешь, раз она доставляет известное удовлетворение. Вот ваш кузен – другое дело. Для него хождение на музыку – вроде службы. Не правда ли, лейтенант, вы видите в этом как бы часть своих служебных обязанностей? О, я понимаю, вы знаете способ сохранять и в рабстве свою гордость! Фокус, ошеломляющий фокус! Не каждый европеец способен проделать его. Музыка? Вы, кажется, спросили меня – разве я не любитель музыки? Ну, если вы говорите «любитель» (Ганс Касторп не помнил, чтобы он употребил это слово), то термин выбран неплохо, в нем есть оттенок нежного легкомыслия. Хорошо, согласен. Да, я любитель музыки, но из этого еще не следует, что я ее особенно почитаю, как почитаю и люблю хотя бы слово, ибо оно – носитель духа, орудие прогресса, блистательно взрыхляющий землю плуг... А музыка... в ней есть что-то недосказанное, сомнительное, безответственное, индифферентное. Вероятно, вы возразите мне, что в музыке может быть и ясность. Но и природа может быть ясной, какой-нибудь там ручеек... А разве нам от этого легче? Это же не подлинная ясность, а какая-то туманная, ничего не говорящая, ни к чему не обязывающая, ясность без последствий, и потому – опасная, ибо соблазняет нас на ней успокоиться. Придайте музыке патетический характер. Допустим, что она воспламенит наши чувства. Но ведь дело в том, чтобы воспламенить наш разум! Казалось бы, музыка – само движение, но я все-таки подозреваю ее в квиетизме^[46]. Позвольте мне выразиться парадоксально: у меня политическая неприязнь к музыке.

Тут Ганс Касторп не удержался и ударил себя по коленке – таких вещей он еще в жизни своей не слыхивал.

– Все-таки подумайте об этом! – продолжал Сеттембрини. – Музыка неоценима как величайшее средство воодушевления, как сила, которая влечет нас ввысь и вперед, если дух уже подготовлен для ее воздействия. Но литература, как видно, опередила ее. Сама по себе музыка не двинет мир дальше. Сама по себе музыка – опасна. А лично для вас, инженер, она особенно опасна. Я это сразу понял по вашему лицу, когда вошел.

Ганс Касторп рассмеялся:

– Ах, на мое лицо смотреть не следует, господин Сеттембрини. Вы не поверите, как на меня влияет воздух у вас наверху. Акклиматизироваться мне труднее, чем я думал.

– Боюсь, что вы ошибаетесь.

– Нет, нисколько! И черт его знает, почему я здесь все время чувствую

жар и усталость.

– А я нахожу, что за концерты мы все-таки должны быть благодарны администрации, – рассудительно заметил Иоахим. – Вы подходите к вопросу о музыке с более высокой точки зрения, господин Сеттембрини, ну, как писатель и тут я с вами спорить не берусь. Но все же, по-моему, в данном случае надо быть благодарным за то, что нам дают хоть немного музыки. Я сам далеко не так уж музыкален, да и пьесы, которые здесь исполняются, не бог весть что, не классическая и не современная музыка, а просто – духовая. И тем не менее даже такая приятно разнообразит жизнь; удачно заполняет несколько часов; делит их и заполняет каждый, – словом, вносит в них какое-то содержание, а ведь здесь часы, дни и недели обычно пролетают попусту. Видите ли, такой непритязательный концертный номер продолжается, скажем, минут семь, не правда ли, и они что-то составляют для вас, у них есть конец и начало, они выделяются из всего остального и по крайней мере не обречены потонуть в безнадежной рутине здешней жизни. Кроме того, эти пьесы делятся на музыкальные фразы, а те в свою очередь на такты, все время что-нибудь да происходит, и каждое мгновение приобретает какой-то смысл, за который можно ухватиться, а ведь в обычное время... не знаю, сумел ли я выразить...

– Bravo! – воскликнул Сеттембрини. – Bravo, лейтенант, вы очень хорошо подчеркнули моральный момент в сущности музыки, а именно то, что она с помощью своеобразного живого биения, меры, придает бегу времени подлинность, одухотворенность и ценность. Музыка пробуждает в нас чувство времени, пробуждает способность утонченно наслаждаться временем, пробуждает... и в этом отношении она моральна. Поскольку искусство пробуждает – оно морально. Ну а что, если происходит как раз обратное? Если она оглушает, усыпляет, противодействует активности и прогрессу? Ведь результат может быть и таков, что музыка действует как наркотик... А это – дьявольское действие, милостивые государи. Этот наркотик от дьявола, ибо он вызывает отупение, неподвижность, скованность, холопскую бездеятельность... Нет, господа, в музыке есть что-то подозрительное. Я остаюсь при своем: у нее двусмысленная природа. И я не преувеличиваю, когда утверждаю, что она политически неблагонадежна.

Итальянец продолжал в том же духе, и Ганс Касторп слушал его, но не мог следить внимательно за его мыслями: во-первых, он очень устал, во-вторых, его отвлекало то, что происходило среди легкомысленной молодежи, сидевшей на ступеньках. Глаза не обманывают его? Он не ошибся? Барышня с лицом тапира усердно пришивала пуговицу к манжете

спортивных брюк юнца с моноклем! При этом из ее груди вырывалось тяжелое и жаркое астматическое дыхание, а он, покашливая, подносил к губам свой ноготь, похожий на совок для соли. Они же оба больны, говорил себе Ганс Касторп, и это показывает только, сколь аморальны нравы, царящие здесь наверху среди молодых людей. Музыка играла польку...

Хиппе

Так отмечалось воскресенье. Кроме того, во вторую половину дня пациенты группами ездили кататься. После чая несколько запряженных парами экипажей, протащившись по извилистой аллее, остановились перед главным входом, чтобы посадить заказчиков: это были по большей части русские, главным образом – дамы.

– Русские вечно ездят кататься, – сказал Иоахим Гансу Касторпу; они как раз стояли рядом против главного входа и, чтобы развлечься, наблюдали отъезжающих.

– Поедут в Клавадель, или к озеру, или в Флюэлаталь, или в Клостерс. Красивых мест очень много. Пока ты здесь, мы тоже могли бы как-нибудь съездить, если хочешь. Но мне кажется, ты сейчас занят тем, что привыкаешь к здешней жизни, и такие затеи тебе не нужны.

Ганс Касторп не возражал. Он стоял с сигаретой во рту, засунув руки в карманы, и смотрел, как веселая маленькая русская старушка со своей тощей внучатной племянницей и еще с двумя дамами усаживается в экипаж; одна из дам была Маруся, другая – мадам Шоша. Последняя облачилась в легкий пыльник с хлястиком на спине, но шляпы не надела. Она уселась рядом со старушкой в глубине экипажа, а молодые девушки – на переднем сидении. Все четыре были очень веселы и непрерывно болтали на своем мягком, словно бескостном языке. Они шутили по поводу верха этого экипажа, в котором с трудом расселись, по поводу русских конфет в деревянной коробочке с бумажными кружевами – двоюродная бабушка прихватила ее с собой в дорогу, но угощала конфетами уже сейчас... И каждый раз, когда говорила мадам Шоша, Ганс Касторп безошибочно различал среди прочих ее грудной голос. Как только он встречался с этой столь небрежной особой, ему становилось все яснее то сходство, которое он одно время искал и которое открылось ему потом во сне... Но Марусин смех, ее круглые карие глаза, смотревшие совсем по-детски поверх прижатого к губам носового платочка, и ее высокая грудь, где, должно быть, гнездилась тяжелая болезнь, напомнили ему нечто другое, виденное им совсем недавно и потрясшее его, поэтому он осторожно, не поворачивая головы, покосился на Иоахима. Нет, слава богу, таких пятен на лице Иоахима, как в тот раз, не было, да и губы не кривились жалобной усмешкой. Но он смотрел на Марусю, причем ни в его позе, ни в выражении лица отнюдь не было ничего военного, а, напротив,

во всем облике сквозило такое уныние и горестное самозабвение, что его нельзя было бы назвать иначе как человеком сугубо штатским. Впрочем, он тут же взял себя в руки и бросил быстрый взгляд на Ганса Касторпа – тот едва успел отвести глаза и устремить свой взор в пространство. При этом его сердце усиленно забилося – по собственному почину и без всяких оснований, как оно здесь билось уже не раз.

День закончился без дальнейших примечательных событий, за исключением, быть может, обеда и ужина; так как сделать трапезы еще обильнее, чем в будни, кажется, уже было нельзя, то по воскресеньям кушанья отличались особой изысканностью (за обедом было подано chaud-froid из кур с гарниром из раковых шеек и вишен; к мороженому – пирожное в сахарных корзиночках и в заключение – свежие ананасы). Вечером, после пива, Ганс Касторп почувствовал едва ли не большую усталость, озноб и тяжесть во всем теле, чем в предшествующие дни, он простился с двоюродным братом, когда еще не было девяти, торопливо натянул перинку до самого подбородка и заснул как убитый.

Однако уже следующий день, – это был первый понедельник, который гость провел здесь наверху, – принес с собой еще одно планомерное отклонение от дневного распорядка, а именно: лекцию доктора Кроковского, которые он читал в столовой два раза в месяц для совершеннолетних больных, владеющих немецким языком и не принадлежащих к числу обреченных смерти. Речь шла, как узнал Ганс Касторп от своего кузена, о ряде связанных между собою докладов, составлявших целый научно-популярный курс под названием «Любовь как сила, вызывающая заболевания». Это поучительное развлечение обычно имело место после первого завтрака, и, как опять-таки подчеркнул Иоахим, присутствовать на нем считалось обязательным или во всяком случае крайне желательным, поэтому то обстоятельство, что Сеттембрини, владевший немецким языком лучше, чем кто-либо в санатории, не только не посетил ни одной из этих лекций, но и отзывался о них весьма пренебрежительно, считалось возмутительной дерзостью.

Что касается Ганса Касторпа, то он прежде всего из вежливости, а также из нескрываемого любопытства решил пойти. Однако совершил перед тем нечто нелепое и несуразное ему взбрело в голову на свой страх и риск отправиться в одиночестве на далекую прогулку, и она, вопреки его ожиданиям, очень ему повредила.

– Знаешь, что я тебе скажу? – были его первые слова, когда Иоахим утром вошел к нему в комнату. – Я вижу, что так дальше продолжаться не может. Хватит с меня горизонтального существования – тут и кровь может

охладеть. У тебя, конечно, другое дело, ты пациент, и я не намерен совращать тебя. Но я решил сейчас же после завтрака сделать хорошую прогулку, если ты не возражаешь, и пойти просто куда глаза глядят, в широкий мир. Возьму с собой чего-нибудь перекусить, и тогда я ни от кого не буду зависеть. Вернусь домой другим, вот увидишь.

– Хорошо, – ответил Иоахим, так как видел, что двоюродному брату этого действительно хочется и он твердо решил осуществить свое желание. – Только мой совет – не увлекайся. Здесь ведь не то, что дома. И потом не опоздай на лекцию.

В действительности же не только причины физического порядка внушили Гансу Касторпу его намерение. Ему казалось, что и жар в голове, и противный вкус во рту, который он в «Берггофе» ощущал почти постоянно, и непонятное сердцебиение вызваны не только процессом акклиматизации, а скорее такими обстоятельствами, как возня русской четы, доносившаяся через стену, разговоры глупой и больной фрау Штер за столом, рыхлый кашель австрийца, ежедневно раздававшийся в коридорах, заявления господина Альбина, распущенные нравы здешней больной молодежи, лицо Иоахима, когда он смотрел на Марусю, и еще множеством таких же фактов. И он решил, что хорошо бы разок вырваться из заколдованного круга санаторской жизни, подышать вольным воздухом, сделать хороший моцион, чтобы почувствовать вечером усталость или по крайней мере знать, откуда она взялась. И вот, когда Иоахим, словно на службу, отправился после завтрака на «увеселительную прогулку» до скамейки у водостока, Ганс Касторп распрощался с ним и, помахивая горной палкой, самостоятельно зашагал вниз по дороге.

Утро было прохладное, пасмурное, время – около половины девятого. Ганс Касторп, как и наметил себе, глубоко вдыхал чистый воздух раннего утра, свежий и легкий; этот воздух входил в человека свободно, в нем не было ни влаги, ни содержания, он ни о чем не напоминал... Молодой человек перешел через горный ручей и через полотно узкоколейки, выбрался на неравномерно застроенную улицу и снова свернул с нее на луговую тропинку, которая тянулась сначала по ровной местности, а затем наискось и довольно круто поднималась по правому склону. Восхождение было Гансу Касторпу приятно, ширилась грудь, загнутым концом горной палки он сдвинул шляпу на затылок, а когда, достигнув некоторой высоты, посмотрел назад и увидел вдали зеркальную поверхность озера, мимо которого проезжал по пути сюда, он запел.

Ганс Касторп пел все, что приходило ему на память, всякие чувствительные популярные песенки, какие можно найти в студенческих и

спортивных песенниках, и среди них одну, где были следующие строки:

Воспойте же вино, любовь,
Но чаще – добродетель...

Сначала он мурлыкал себе под нос, потом стал петь все громче и наконец во весь голос. Баритон у него был жидковатый, но сегодня собственный голос показался ему красивым и звучным, и пение все больше воодушевляло его. Высокие ноты он брал фальцетом, но даже фальцет казался ему красивым. Когда память изменяла ему, он пел на знакомый мотив первые попавшиеся бессмысленные слоги и слова, подражая профессиональным певцам, картинно округлял рот и с эффектным рокотаньем бросал в пространство букву «р»; в конце концов Ганс Касторп перешел на чистую импровизацию и мелодий и текста, сопровождая свое исполнение оперными жестами. Но так как подниматься в гору и петь – очень утомительно, то он скоро почувствовал, что ему трудно дышать и с каждой минутой становится все труднее. Однако, из идеализма, увлеченный красотой своего пения, он продолжал себя пересиливать, хотя дышал прерывисто и с трудом. Перед его словно ослепшим взором что-то мерцало, пульс судорожно бился, и наконец он упал без сил у подножия мощной сосны, и после столь необычайного воодушевления им овладело состояние какого-то невыразимо мрачного, граничившего с отчаянием похмелья.

Когда он кое-как успокоил свои нервы и встал, чтобы продолжать прогулку, в затылке возникло странное ощущение, и, несмотря на молодые годы, голова у него вдруг начала трястись – в точности как она некогда тряслась у старого Ганса-Лоренца Касторпа. Это явление живо напомнило ему покойного деда, и без всякого неприятного чувства он попытался с таким же достоинством упереться подбородком в воротничок, как упирался дед, борясь с трясением головы и вызывая этим восхищение мальчика.

Извилистой тропинкой поднялся он еще выше. Его привлекло позванивание колокольчиков, и вскоре он увидел стадо; оно паслось неподалеку от бревенчатой хижины, крыша которой была укреплена камнями. Тут он увидел двух бородатых мужчин с топорами на плече, идущих ему навстречу; подойдя ближе, они стали прощаться. «Ну, счастливо и большое спасибо», – сказал один из них другому низким звучным голосом, переложил топор на другое плечо и, похрустывая иглами, начал без дороги спускаться между елями в долину. Как странно

прозвучали в этом уединении слова: «Ну, счастливо и большое спасибо», – они точно сон коснулись Ганса Касторпа, который был все еще захвачен своими песнями и восхождением на крутизну. Он повторил вполголоса эти слова, пытаясь подражать гортанному наречию горца и той торжественной и нескладной манере, с какой они были произнесены; затем поднялся еще выше, ибо ему хотелось достичь границы лесов, однако, взглянув на часы, вынужден был отказаться от этого намерения.

Тогда он свернул влево, к курорту, на тропинку, которая шла сначала прямо, а потом вниз. Высокоствольный хвойный лес обступил его, и, проходя через него, Ганс Касторп опять было запел, однако вполголоса, хотя странная дрожь в коленях при спуске еще усилилась. Но, выйдя из чащи, он даже остановился, пораженный открывшейся ему изумительной картиной: перед ним лежал интимный, замкнутый в себе пейзаж, полный мира и величия.

Справа по каменистому плоскому ложу низвергался горный ручей, вскипая пеной на скалистых уступчатых глыбах, и затем, уже спокойнее, бежал дальше, в долину; через него был переброшен живописный мостик с незатейливыми перилами. Земля под ногами синела колокольчиками какого-то кустарникового растения, заросли которого виднелись повсюду.

Гигантские, стройные ели одинакового роста поднимались в одиночку и группами со дна ущелья и по его склонам, а одна, вцепившись корнями в отвесный берег ручья, повисла над ним, косой линией причудливо врезаясь в пейзаж. В этом прекрасном безлюдном уголке царило шумящее вершинами уединение. На той стороне ручья Ганс Касторп увидел скамейку.

Он перешел ручей и сел на нее, чтобы отдаться созерцанию вскипающей пены и послушать идиллически говорливый, однообразный и все же щедрый звуками шум воды; ибо Ганс Касторп любил ее журчанье не меньше, чем музыку, а может быть и больше. Но едва он удобно уселся, как у него пошла носом кровь, и притом с такой силой, что он даже не вполне уберег от нее костюм. Кровь шла долго, упорно, и борьба с кровотечением отняла у него целых полчаса, причем ему непрерывно приходилось бегать взад и вперед между скамьей и ручьем; он то и дело прополаскивал в нем носовой платок, промывал нос водой и вытягивался на скамье, прижав к носу мокрый платок. Когда кровь наконец остановилась, он так и остался лежать, скрестив под головою руки и согнув ноги в коленях; глаза его были закрыты, уши полны журчанием воды, но он чувствовал себя неплохо, обильная потеря крови его скорее успокоила и как-то странно понизила его жизнедеятельность, ибо после выдоха он долго не испытывал потребности

снова вдохнуть в себя воздух и лежал неподвижно, предоставляя сердцу сделать несколько ударов, и только затем, вяло и лениво, снова начинал дышать.

И тогда он перенесся в раннюю пору своей жизни, послужившую как бы прообразом для сновидения, которое ему пригрезилось несколько ночей назад, хотя в этом сне и отразились недавние впечатления... Но сейчас, в лесу, он был столь сильно и неудержимо, до полного упразднения пространства и времени, отброшен в это давнее «тогда» и «там», что, казалось, на скамье у ручья лежит безжизненное тело, а сам Ганс Касторп находится далеко отсюда, в давно прошедших годах, в другой обстановке, и притом эти столь важные в его жизни минуты, несмотря на их простоту, таили в себе что-то опасное и опьяняющее.

Тринадцатилетним четырехклассником, когда он еще носил короткие штанишки, он однажды остановился среди школьного двора, разговаривая с другим мальчиком примерно того же возраста, но из следующего класса. Разговор затеял сам Ганс Касторп, воспользовавшись случайным поводом, и хотя по своему вполне определенному и ограниченному содержанию разговор этот мог быть только очень деловым и коротким, он доставил Гансу Касторпу огромную радость. Это произошло как раз в перемену между предпоследним и последним уроком в классе Ганса Касторпа – между историей и рисованием. По двору, вымощенному красным кирпичом и отделенному от улицы оградой и воротами, ученики гуляли парами и рядами, стояли кучками и полусидели, прислонившись к облицованным выступам школьного здания. По двору разносился громкий гул. Учитель в мягкой шляпе смотрел за школьниками и жевал булку с ветчиной.

Фамилия мальчика, с которым беседовал Ганс Касторп, была Хиппе, имя Прибыслав; интересно было то, что буква «р» в этом имени произносилась как «ш» – «Пшибыслав»; это странное имя подходило к его наружности – не вполне обычной и действительно своеобразной. Хиппе был сыном историка, преподавателя гимназии, а потому и образцовым учеником, уже опередившим на класс Ганса Касторпа, хотя они были почти ровесниками; он родился в Мекленбурге и, видимо, унаследовал от предков смешанную кровь – германскую и вендо-славянскую^[47], или наоборот. Его коротко стриженные волосы на круглой голове были белокурыми, а глаза, голубовато-серые или серо-голубые, подобно изменчивому и неопределенному цвету далеких гор, имели необычную форму: они были узкие и даже чуть раскосые, а под ними резко выступали широкие скулы – склад лица, отнюдь не уродовавший мальчика и делавший его даже привлекательным, но послуживший достаточным основанием для того,

чтобы товарищи прозвали его «Киргизом». Хиппе уже носил длинные брюки и наглухо застегнутую синюю куртку с хлястиком, на воротнике которой всегда чуть белела перхоть.

Дело было в том, что Ганс Касторп уже давно обратил внимание на Пшибыслава, выделил его из кишевшей на школьном дворе толпы знакомых и незнакомых мальчиков, интересовался им, следил за ним взглядом, может быть даже восхищался им... Во всяком случае, он наблюдал за Хиппе с особой симпатией и уже по дороге в школу думал о том, что вот сейчас увидит Хиппе среди его товарищей. Пшибыслав будет говорить и смеяться. Ганс Касторп еще издали различит его голос, приятно глуховатый, словно затуманенный, чуть-чуть хриплый. Для такой заинтересованности как будто не было особых оснований, если не считать языческого имени, примерных успехов (хотя это не могло играть никакой роли) и, наконец, киргизских глаз мальчика, которые порой, когда Пшибыслав смотрел в сторону, но не с целью что-либо увидеть, странно темнели и как будто томно затуманивались ночной дымкой; однако Ганс Касторп мало заботился о моральном оправдании своих ощущений или о том, как их в случае надобности определять, – ведь о дружбе между ними не могло быть и речи, раз они с Хиппе «незнакомы». А тогда зачем искать названия для этих отношений? Он и мысли не допускал, что когда-нибудь о них заговорит, – тема слишком неподходящая, да и к чему? Кроме того, всякое определение, если оно и не содержит критической оценки, все же вводит свой предмет в круг знакомого и привычного, а Ганс Касторп был проникнут бессознательной уверенностью, что такое внутреннее сокровище надо оберегать от всяких определений и не приобщать к будничному и повседневному.

Однако, оправданные или нет, эти безымянные и невыразимые чувства обладали такой жизненной силой, что Ганс Касторп примерно год, почти целый год, – точно он не мог бы сказать, когда это началось, – втайне носился с ними, что служило доказательством верности и постоянства его натуры, особенно если представить себе, какой это громадный срок в столь юном возрасте. К сожалению, когда мы творим о тех или иных особенностях характера, в наших словах всегда скрыта моральная оценка, либо хвала, либо порицание, хотя у каждой такой особенности всегда есть две стороны. «Верность» Ганса Касторпа, которой он, однако, ничуть не гордился, – сейчас мы оставляем в стороне всякие оценки, – проистекала от некоторой душевной неповоротливости, медлительности, инертности, вследствие чего преданность чувств и устойчивость жизненных отношений казались ему тем почтеннее, чем дольше они оставались неизменными.

Поэтому он был уверен, что настроения и переживания, владевшие им в то время, будут продолжаться бесконечно, оттого и дорожил ими и отнюдь не жаждал перемен. Так он в сердце своем сжился с далеким и тихим чувством к Пшибыславу Хиппе и считал его неотъемлемой частью своей внутренней жизни. Он любил те душевные движения, которые вызывало в нем это чувство, – напряженное ожидание, увидит ли он сегодня Хиппе, пройдет ли тот совсем близко от него и, может быть, взглянет на него, любил немые хрупкие радости, какие дарила ему его тайна, и даже неизбежные в таких случаях разочарования, – самое сильное он испытал, когда Пшибыслав «отсутствовал»; школьный двор казался ему опустевшим, день – тусклым, но упорная надежда на завтра поддерживала его.

Продолжалось это год, пока не достигло упомянутой высшей и волнующей точки, потом благодаря постоянству и верности Ганса Касторпа еще год, и наконец прекратилось, причем он так же не заметил, как ослабели и исчезли узы, связывавшие его с Пшибыславом Хиппе, как не заметил и их зарождения. Да и Пшибыслав покинул этот город и школу оттого, что его отца перевели в другое место; но Ганс Касторп едва обратил на это внимание, он забыл Хиппе еще раньше. Образ «Киргиза», как бы выступив из тумана, вошел в его жизнь, становясь постепенно все яснее и осязаемее, вплоть до той минуты величайшей близости и телесной воплощенности, когда они разговаривали во дворе, некоторое время продержался на переднем плане, а затем снова начал отступать и без боли прощания опять исчез в тумане.

Но та минута, то опасное и волнующее положение, в которое себя поставил Ганс Касторп, разговор, реальный разговор с Пшибыславом Хиппе – все это возникло следующим образом: предстоял урок рисования, а Ганс Касторп вдруг обнаружил, что забыл дома карандаш. Всем его одноклассникам их карандаши были нужны; однако у него были знакомые мальчики в других классах, и он мог бы попросить карандаш у них. Но в глазах Ганса Касторпа Пшибыслав был самым близким знакомым – ближайшим, так глубоко он уже общался с ним в тайниках своего сердца; и вот, почувствовав какой-то радостный подъем, он решил воспользоваться удобным случаем – он назвал это про себя удобным случаем – и попросить у Пшибыслава карандаш. Что такая просьба будет выглядеть довольно странно – ведь он с Хиппе все-таки незнаком, – этого мальчик не сообразил или махнул на это рукой, так он был захвачен и ослеплен каким-то неожиданно нахлынувшим на него бесшабашным настроением. И вот на вымощенном красным кирпичом дворе, среди школьной толчеи, он

действительно остановился перед Пшибыславом Хиппе и сказал:

– Извини, пожалуйста, ты не можешь одолжить мне карандаш?

И Пшибыслав посмотрел на него своими киргизскими глазами над выступающими скулами и ответил приятно-хрипловатым голосом, ничуть не удивившись или не выказав никакого удивления:

– С удовольствием. Только после урока непременно верни. – И он достал из кармана свой карандаш – тоненькую посеребренную гильзу с колечком, которое достаточно было передвинуть кверху, и тогда из металлического футляра показывался заостренный цветной грифель. Он стал объяснять несложный механизм карандаша, и их головы сблизились.

– Только смотри не сломай! – добавил Хиппе.

К чему эти предупреждения? Разве Ганс Касторп мог не вернуть карандаш или допустить в обращении с ним малейшую небрежность?

Потом они, улыбаясь, посмотрели друг на друга и, так как говорить больше было не о чем, повернулись друг к другу сначала боком, потом спиной и разошлись в разные стороны.

И все. Но ни разу еще в своей жизни Ганс Касторп не испытывал такого удовольствия, как на этом уроке рисования, – ведь он рисовал карандашом Пшибыслава Хиппе, да еще предстояло потом снова возвратить карандаш владельцу, этот возврат, как нечто само собой разумеющееся, совершенно естественно вытекал из того факта, что карандаш был дан. Ганс Касторп даже позволил себе небольшую вольность слегка очинить карандаш, а потом, подобрав три-четыре красных лакированных стружки, хранил их чуть не целый год во внутреннем ящике своей парты, и если бы кто их увидел, никому и в голову бы не пришло, что они ему дороги. Впрочем, возврат карандаша совершился очень просто, вполне во вкусе Ганса Касторпа, да он ни к чему иному и не стремился: привычка к тайному и безмолвному общению с Хиппе притупила в нем желание разговаривать с ним вслух.

– Вот, – сказал он. – Большое спасибо.

А Пшибыслав ничего не сказал, он лишь бегло проверил механизм, затем сунул карандаш в карман...

После этого случая они больше ни разу друг с другом не беседовали, но благодаря предприимчивости Ганса Касторпа в тот единственный раз это все же случилось.

Он широко раскрыл глаза, ошеломленный столь глубоким уходом в прошлое. «Кажется, я грезил! – подумал он. – Да, это был Пшибыслав. Давно уж я не вспоминал о нем. А куда же делись те стружки? Парта так и осталась на чердаке, в доме дяди Тинапеля. Они, наверно, до сих пор лежат

в заднем маленьком ящике слева. Я их спрятал, не вынимал и был к ним настолько невнимателен, что даже не выбросил их... А она – в точности Пшибыслав, прямо как живой. Вот уж не думал, что увижу его опять так отчетливо. До чего же он похож на нее, на эту здесь, в санатории! Вот, значит, почему она меня так интересует? А может быть, и другое – я потому так интересовался им? Вздор! Ужасный вздор! Впрочем, мне пора идти, и как можно скорее». Но он продолжал лежать, раздумывая и вспоминая.

Затем поднялся. «А теперь – счастливо и большое спасибо», – проговорил он, и слезы выступили у него на глазах, хотя он улыбался. Ганс Касторп решил идти, но вдруг быстро опустился на скамейку, уже держа в руках шляпу и горную палку: он с изумлением обнаружил, что ноги у него подгибаются. «Гопля! – подумал он – Кажется, дело плохо! А я должен быть ровно в одиннадцать на лекции. Прогулки в горы, конечно, хороши, но, видимо, в них есть и свои трудности. Да, да, а все же медлить здесь нечего. От лежания у меня, наверно, слегка онемели ноги; на ходу это пройдет». Он опять попытался встать, и так как сделал решительное усилие над собой – дело пошло на лад.

Во всяком случае, его возвращение было довольно плачевным, особенно после столь вдохновенного начала. То и дело приходилось останавливаться, чтобы передохнуть, ибо он чувствовал, как лицо его вдруг бледнеет, на лбу выступает холодный пот, а от беспорядочного сердцебиения он задыхается. Так спускался он с трудом по извилистым дорожкам; когда же достиг долины неподалеку от курзала, то увидел со всей ясностью, что собственными силами ему до «Берггофа» не добраться, ведь идти еще далеко, и так как трамвай туда не ходил и ни один наемный экипаж не показывался, он попросил какого-то возчика, который вез пустые ящики в сторону деревни, посадить его. И вот он ехал, сидя спина к спине с возчиком, свесив ноги, и замечал, что пешеходы с участливым удивлением поглядывают на него, а он сонно покачивается и кивает головой от толчков подводы; затем он сошел у переезда через полотно узкоколейки, сунул возчику деньги, не видя, много или мало дает ему, и торопливо стал подниматься по подъездной аллее.

– Depechez-vous, monsieur!^[48] – сказал француз-привратник. – La conference de monsieur Krokowski vient de commencer.^[49]

Ганс Касторп забросил шляпу и палку в гардероб и, прикусив язык, торопливо и осторожно протиснулся через чуть приоткрытую стеклянную дверь в столовую, где все население санатория сидело на стульях,

поставленных рядами, а у накрытого скатертью поперечного стола, на который был водружен графин с водой, стоял доктор Кроковский в длинном сюртуке и говорил...

Психоанализ

К счастью, в уголке у самой двери оказалось свободное место. Он пробрался к нему сторонкой, сел и сделал вид, что сидит здесь уже давно. Публика, с вниманием первых минут не отрывавшая глаз от доктора Кроковского, вероятно даже не заметила, как Ганс Касторп вошел, – и хорошо сделала, ибо выглядел он ужасно. Он был бледен как полотно, костюм испачкан кровью, словно он только что совершил убийство. Правда, когда он опустился на стул, дама, сидевшая впереди, повернула голову и внимательно посмотрела на него своими узкими глазами. Это была мадам Шоша. Он узнал ее не без горечи. Вот черт! Неужели ему так и не дадут покоя? Он надеялся наконец, добравшись до места, хоть немного отдохнуть, а теперь она будет все время торчать у него перед носом, – случайность, которой он, может быть, при других обстоятельствах даже обрадовался бы; но сейчас, когда он так утомлен и измотан, – зачем это ему? Только лишние волнения для сердца! В течение всей лекции ее соседство будет держать его в напряжении. Она ведь посмотрела на него в точности глазами Пшибыслава, – сначала на лицо, затем на пятна крови, притом довольно бесцеремонно и навязчиво, как и можно было ждать от особы, которая хлопает дверью. Какие у нее дурные манеры! Не так держались женщины в привычных для Ганса Касторпа кругах общества, они сидели прямо, словно аршин проглотили, и повертывали к соседу по столу только голову, а говорили чуть шевеля губами. Мадам Шоша сидела ссутулившись, вяло опустив плечи» к тому же вытянув вперед шею, так что шейные позвонки резко выступали над вырезом белой блузки. Примерно так же держал голову и Пшибыслав; но он был образцовым учеником и пользовался почетом (хотя Ганс Касторп когда-то попросил у него карандаш вовсе не поэтому), а тут было совершенно ясно, что небрежные манеры мадам Шоша, хлопанье дверями и бесцеремонный взгляд – все это связано с ее болезнью; да и та несдержанность и те отнюдь не почтенные, но почти неограниченные преимущества, которыми хвастался господин Альбин, – все это результат болезни.

Ганс Касторп смотрел на поникшую спину мадам Шоша, и его мысли начали путаться, они перестали быть мыслями и перешли в грезы, а тягучий баритон доктора Кроковского, так мягко выделявший звук «р», словно аккомпанировал им откуда-то издалека. Однако царившая в зале тишина и всеобщее глубокое и напряженное внимание подействовали на

него и пробудили от дремоты. Он посмотрел вокруг... Рядом с ним лысеющий пианист слушал, закинув голову, скрестив руки на груди и раскрыв рот. У сидевшей за ним учительницы фрейлейн Энгельгарт глаза жадно блестели, на щеках пылали пятна – этот жаркий румянец алел и на лицах других дам, попадавших в поле зрения Ганса Касторпа. Он видел его и на лице фрау Заломон – вон она, рядом с господином Альбином, и на лице супруги пивовара, фрау Магнус, той самой, которая теряла белок. Черты фрау Штер, сидевшей в задних рядах, выражали столь примитивное упоение, что просто жуть брала, а фрейлейн Леви, с ее кожей цвета слоновой кости, откинулась на спинку стула, полузакрыв глаза, сложив плоские руки на коленях, и напоминала бы покойницу, если бы не бурно и равномерно вздымавшаяся грудь; она больше всего походила на восковую фигуру, которую он когда-то видел в паноптикуме, – в груди фигуры был механизм, заставлявший ее дышать. Несколько пациентов слушали, приложив руку к уху, или намеревались приложить, так как их руки были приподняты, но, захваченные лекцией, они словно оцепенели. Прокурор Паравант, с виду загорелый здоровяк, даже потрянул себя за ухо, засунул в него указательный палец, словно желая прочистить, и затем снова подставил потоку красноречия, лившемуся из уст доктора Кроковского.

О чем же говорил Кроковский? Какие развивал он мысли? Ганс Касторп напряг весь свой ум, чтобы схватить их на лету, – но это удалось ему не сразу, ибо он не слышал начала, а размышляя о понурой спине мадам Шоша, пропустил и дальнейшее. Речь шла о некоей силе... о той силе... – словом, о силе любви, вот о чем шла речь. Ну разумеется! Ведь эта тема входила в общий заголовок лекционного курса, да и о чем еще мог говорить доктор Кроковский, если он работал именно в этой области? Правда, Гансу Касторпу было довольно чудно слушать лекцию о любви, ведь до сих пор ему читали только такие курсы, как теория передаточных механизмов в кораблестроении и тому подобное. И как можно было рассуждать о столь стыдливом и сокровенном предмете ясным утром в присутствии дам и мужчин?

Доктор Кроковский смешивал два стиля – поэтический и научный, даже сугубо научный; однако говорил нараспев и с воодушевлением, что показалось молодому Гансу Касторпу чем-то неприличным; вероятно, именно поэтому у дам так горели щеки, а мужчины так усердно напрягали слух. Оратор, например, то и дело произносил слово «любовь», но в каком-то зыбком значении, никак нельзя было вонять – имеет он в виду нечто возвышенно-добродетельное или страстно-плотское, и эта неустойчивость смысла вызывала легкое подобие морской болезни. Никогда еще в

присутствии Ганса Касторпа это слово не повторяли так часто, как сегодня, а когда он начинал думать, ему казалось, что сам он еще ни разу не произносил его и не слышал из чужих уст. Может быть, он и ошибался, – но во всяком случае это слово не заслуживало столь настойчивого упоминания. Напротив, эти скользкие два слога с зубным и губными согласными и протяжной гласной во втором слоге начали даже вызывать у него отвращение, точно снятое молоко, голубовато-белое и пресное, особенно в сравнении со всеми теми весьма смелыми выводами, которые лектор с ним связывал. Гансу Касторпу стало ясно, что если подходить к этому вопросу так, как подходил Кроковский, то можно преподносить публике весьма рискованные штучки, не боясь, что она встанет и покинет зал. Оратор не ограничивался тем, что с ошеломляющим тактом говорил вслух о том, о чем обычно умалчивают, хотя это всем известно: он разрушал одну за другой все иллюзии, беспощадно требовал познания, не оставлял даже уголка для сентиментальной веры в честь седин и в ангельскую чистоту нежного дитяти.

Хотя Кроковский по случаю лекции надел сюртук, на нем был, как обычно, мягкий отложной воротник, сандалии и серые носки, и все это придавало ему какую-то основательность и вместе с тем идеалистичность; но Ганса Касторпа его вид все-таки испугал. Несмотря на то, что Кроковский подкреплял свои утверждения всевозможными примерами и анекдотами, которые черпал из лежавших перед ним книг и исписанных листков, и даже несколько раз цитировал стихи, – говорил он главным образом о пугающих формах любви, странных и мучительных, о ее жутких уклонах и непобедимой власти над человеком. Среди всех естественных влечений, заявил он, любовь – наиболее неустойчивое и опасное, в самой основе своей ведущее к заблуждениям и губительной извращенности; да тут и удивляться нечему, ибо этот мощный импульс вовсе не прост, он по природе своей очень сложен и многогранен; поэтому, как бы он ни был правомерен в целом, все же нельзя не признать, что в состав его входят и противоречия и извращения. Однако, продолжал доктор Кроковский, люди справедливо не хотят, основываясь на извращенности отдельных его сторон, заключать об его извращенности в целом, поэтому мы вынуждены часть правомерности целого, если и не всю его правомерность, распространять на отдельные извращенные стороны.

Таковы требования логики, и он просит своих слушателей твердо это запомнить. Душевное сопротивление и разнообразные коррективы, а также инстинкты пристойности и порядка, – он чуть было не сказал «буржуазные», – под сглаживающим и ограничивающим воздействием

которых извращенные составные элементы любви сливаются в закономерное и полезное целое – явление нередкое и весьма желательное (как добавил лектор несколько пренебрежительно), но врача и мыслителя оно уже не касается. Однако иногда этот процесс не удается, не хочет и не может удалиться, и кто знает, патетически спросил Кроковский, не являются ли такие случаи наиболее драгоценными и свидетельствующими о душевном благородстве? В таких именно случаях обеим группам сил – любовному влечению и враждебным ему импульсам, среди которых особенно следует отметить стыд и отвращение, – присущи исключительные, выходящие за пределы обычной буржуазно-мещанской меры напряженность и страстность; и так как борьба эта происходит в подсознательных глубинах души, она мешает умиротворению, успокоению и облагораживанию внутренних порывов, обычно ведущих к гармонии и к прописной любовной жизни. Но каков же исход борьбы между целомудрием и любовью, ибо речь идет именно об этой борьбе? Она как будто оканчивается победой целомудрия. Страх, приличия, брезгливость целомудрия, трепетная жажда чистоты – все это подавляет любовь, держит ее в оковах и во мраке, не допускает до сознания ее бурные требования и не дает им проявляться, – а если и дает, то лишь частично, не во всем их многообразии и мощи. Однако эта победа целомудрия – Пиррова победа, ибо любовному влечению не заткнешь рот, оно не поддается насилию, приглушенная любовь не умирает, она томится под спудом, во мраке и жаждет достичь своего, она разрывает узы целомудрия и появляется вновь в ином, неузнаваемом образе... Но каков же тот образ, какова та маска, под которой вновь появляется изгнанная и подавленная любовь? Так вопрошал доктор Кроковский и обводил взглядом ряды слушателей, словно в самом деле ожидал от них ответа. Нет, он должен теперь ответить и на данный вопрос, раз уже сказал столь многое. Никто, кроме него, этого не знает, но он-то знает наверняка и скажет, по нему видно. Этот человек с пылающими глазами, восковой бледностью лица и черной бородой, да еще в каких-то монашеских сандалиях и серых шерстяных носках, казался воплощением той борьбы между целомудрием и страстью, о которой вещал. По крайней мере таково было впечатление Ганса Касторпа, в то время как он вместе со всеми напряженно ожидал ответа относительно того образа, в каком снова появляется изгнанная любовь. Женщины затаили дыхание. Прокурор Паравант еще раз поспешно дернул себя за ухо, дабы в решающую минуту оно было открыто и могло воспринимать. И тогда доктор Кроковский изрек: «В образе болезни! Симптомы болезни – это замаскированная любовная активность, и всякая болезнь – видоизмененная любовь».

Наконец-то слушатели узнали ответ, хотя не все были способны оценить его по достоинству. У них вырвался единодушный вздох, и прокурор многозначительно кивнул, в то время как Кроковский продолжал развивать свой тезис. Ганс Касторп опустил голову, чтобы обдумать услышанное и проверить, понял ли он. Но так как он не привык к столь сложным построениям мысли и, кроме того, после неудачной прогулки его умственные силы как-то сдали, он готов был каждую минуту отвлечься и действительно тут же отвлекся, взглянув за спину, которая была перед ним, и на руку, которая поднялась к затылку, прямо у него перед глазами, чтобы поддержать тяжелые косы.

И он смутился оттого, что рука находилась так близко от его глаз и на нее – хочешь не хочешь, – а надо было смотреть, изучать ее со всеми ее изъемами и человеческими чертами, словно через увеличительное стекло. Нет, не было ничего аристократического в этой широковатой руке, похожей на руку школьницы, с может быть даже не олень чистыми суставами и кое-как подстриженными ногтями, вокруг которых, несомненно, были заусенцы. Ганс Касторп скривил рот, но глаза его оставались прикованными к руке мадам Шоша, и тогда перед ним мелькнуло какое-то смутное воспоминание о том, что сказал доктор Кроковский относительно буржуазных предрассудков, которые люди противопоставляют любви... Все же рука в целом была красивее пальцев, эта закинутая за голову почти нагая рука, ибо материя на рукавах была тоньше, чем на блузке, – легчайший газ, очертание предплечья проступало сквозь него особенно воздушно и легко, и совсем без покрова оно оказалось бы, вероятно, менее пленительным. Ганс Касторп даже ощущал, каким прохладным должно быть нежное и полное запястье. По отношению к этой руке не могло быть и речи о мещанском сопротивлении.

И Ганс Касторп грезил, устремив взгляд на руку мадам Шоша. Как женщины одеваются! Они показывают какую-то часть своего затылка и своей груди, окутывают плечи прозрачным газом! Они ведут себя так на всем земном шаре, чтобы пробудить в нас страстное желание. Господи боже мой, ведь жизнь прекрасна! Она прекрасна потому, что женщины одеваются соблазнительно, – и все люди считают, что так и надо, это повсюду принято и настолько распространено, что никто об этом не думает, никто не возражает, каждый бессознательно мирится с этим. А подумать следовало бы, говорил себе Ганс Касторп: если хочешь радоваться жизни, то надо понять, что этот обычай может дать счастье, это просто сказочный обычай. Конечно, женщины одеваются сказочно и соблазнительно ради определенной цели и не нарушают этим приличий, ибо тут вопрос

грядущих поколений, продолжения человеческого рода: все это понятно. Но как быть, если женщина больна и вовсе не пригодна для материнства? Что тогда? Имеет ли для нее смысл носить газové рукава, чтобы будить в мужчинах любопытство к ее телу – к ее телу, внутри которого сидит болезнь? Очевидно, что это не имеет никакого смысла и должно было бы считаться неприличным и запрещаться. Ведь интерес мужчины к больной женщине так же неоправдан, как... ну, скажем, затаенный интерес Ганса Касторпа к Пшибыславу Хиппе. Глупое сравнение, довольно мучительное воспоминание! Но оно возникло само собой, без его участия. Впрочем, смутные домыслы Ганса Касторпа на этом прервались, главным образом потому, что его вниманием снова завладел доктор Кроковский, голос которого неожиданно зазвучал гораздо громче. Он стоял за своим столиком, раскинув руки, склонив голову набок, и, несмотря на сюртук, чуть ли не напоминал распятого Иисуса Христа!

Оказалось, что в конце доклада доктор Кроковский стал энергично пропагандировать расчленение души и, раскрыв объятия, звал всех прийти к нему. Придите ко мне, говорил он другими словами, все страждущие и обремененные! И, видимо, был глубоко убежден в том, что все без исключения страдают и обременены. Он говорил о скрытых страданиях, о тоске и стыде, об освобождающей силе психоанализа; пел хвалы просветлению подсознания, утверждал, что болезнь снова превращается в аффект, когда он осознан, призывал к доверию, сулил выздоровление. Затем опустил руки, выпрямился, собрал листки, которыми пользовался для своей лекции, и, точно учитель, зажав их под мышкой, удалился с высоко поднятой головой через галерею.

Все встали, отодвинули стулья и начали медленно двигаться к тому же выходу, через который доктор Кроковский покинул зал. Казалось, будто они теснятся следом за ним концентрическими кругами, со всех сторон влекутся к нему нерешительно и смущенно, но в безвольном единодушии, точно крысы, подманенные крысоловом. Ганс Касторп остановился среди этого людского потока, ухватившись за спинку стула. «Я ведь здесь только гость, – подумал он. – Я здоров и, слава богу, вообще иду не в счет, а к следующей лекции меня уже здесь не будет».

Он следил за мадам Шоша, – она шла словно крадучись, выставив вперед голову. Интересно, позволяет ли она тоже себя расчленять... При этой мысли сердце у него заколотилось. Он не заметил, что Иоахим пробирается к нему между стульями, и нервно вздрогнул, когда двоюродный брат с ним заговорил.

– А ты явился в последнюю минуту? Далеко ходил? Хорошо было?

– О, очень приятно, – отозвался Ганс Касторп. – Да, довольно далеко. Но, должен признаться, путешествие мое подействовало на меня не так благотворно, как я ожидал. Или я поторопился с этой прогулкой, или они мне вообще не на пользу. Впредь я от них воздержусь.

Иоахим спросил, понравилась ли ему лекция, но Ганс Касторп не ответил. Словно по молчаливому соглашению, они и потом не обмолвились о ней ни единым словом.

Сомнения и рассуждения

Итак, во вторник исполнилась неделя пребывания нашего героя «здесь наверху»; поэтому, возвратившись с утренней прогулки, он нашел у себя в комнате первый счет за неделю, аккуратно составленный коммерческий документ в зеленой обложке, с грифом санатория (где весьма заманчиво и живописно было изображено здание «Берггофа»), а под ним слева была напечатана колонкой выборка из проспекта, в которой в разрядку было упомянуто и о «психическом лечении новейшими методами». В каллиграфически выведенном расчете значилось точно 180 франков; за уход и лечение – 12; за комнату по 8 франков в день; в графе «Вступительный взнос» – 20 франков, в графе «Дезинфекция комнаты» – 10, потом небольшая сумма за белье, за пиво и вино, выпитые за первым ужином, таким образом, получалась круглая сумма.

Проверяя расчет с Иоахимом, Ганс Касторп не нашел никаких поводов для возражений.

– Правда, медицинской помощью я не пользуюсь, – сказал он, – но это уж мое дело; она включена в стоимость пансиона, и я не могу требовать, чтобы они ее вычли; да и как это сделать? На дезинфекции они, конечно, наживаются, никогда не поверю, чтобы, выкуривая американку, они истратили H₂SO на десять франков. Но, в общем, должен признать, все это обходится скорее дешево, чем дорого, особенно при том, что они за эти деньги дают пациентам.

Итак, перед вторым завтраком двоюродные братья отправились в контору, чтобы заплатить по счету.

Контора помещалась в нижнем этаже. Они прошли вестибюль, миновали гардеробную, кухню, служебные помещения и, свернув в коридор, легко нашли ее, тем более что на двери висела фарфоровая табличка с надписью. И тут Ганс Касторп не без интереса заглянул в коммерческий центр управления таким предприятием, как санаторий «Берггоф». Это была настоящая маленькая канцелярия: стучала машинистка, трое служащих сутулились над бумагами, а в соседней комнате, у отдельного застекленного стола, сидело, видимо, более важное лицо, не то управляющий, не то директор, он только поглядывал сквозь монокль холодно-деловитым и испытующим взглядом на клиентов. Пока с молодыми людьми рассчитывались у окошечка кассы, давали сдачу, инкассировали, выписывали квитанции, они молчали и держались строго и

скромно, даже подобоострастно, как и подобает молодым немцам, которые привыкли переносить свое уважение к чиновнику и канцелярии на каждую служебную комнату и каждую конторскую чернильницу; однако выйдя оттуда, по дороге в столовую, да и в течение всего дня они то и дело возвращались к порядкам в Берггофской санатории, причем Иоахим в качестве давнего и многоопытного его обитателя должен был отвечать на вопросы двоюродного брата.

Как выяснилось, гофрат Беренс не был ни владельцем, ни хозяином санатория – хотя и могло сложиться такое впечатление. Над ним и за ним стояли незримые силы – наблюдательный совет, акционерное общество, и лишь контора являлась выражением их деятельности. Принадлежать к ним было, видимо, весьма неплохо, ибо, по авторитетному утверждению Иоахима, несмотря на высокие оклады врачей и самые либеральные принципы хозяйствования, общество каждый год выдавало своим членам весьма солидные дивиденды. Таким образом, гофрат не был самостоятельным человеком, а всего лишь агентом, чиновником, представителем этих высших сил, – правда, первым и верховным, душою дела, он оказывал решающее влияние на всю его организацию, не исключая управления, хотя как главный врач, конечно, стоял над коммерческой стороной предприятия. Говорили, что он родом из северо-западной Германии и уже много лет назад занял место главного врача, занял против воли и вопреки своим жизненным планам: сюда наверх его привела болезнь жены, чьи останки уже давно покоились на сельском кладбище, которое живописно раскинулось по правому склону над деревней Давос, ближе к выходу из долины. Жена Беренса была прелестная женщина, но болезненного вида, с запавшими глазами – по крайней мере судя по фотографиям, расставленным повсюду в его казенной квартире, а также по написанным маслом портретам, висевшим на стенах и сделанным его собственной рукой художника-любителя. Она подарила ему двух детей – сына и дочь, – а затем ее легкое, охваченное жаром тело было поднято в эту местность, и за несколько месяцев его силы окончательно истощились и иссякли. Рассказывают, что у Беренса, который ее обожал и был сражен этим ударом, даже появились странности: временами на него находили приступы задумчивости, идя по улице, он начинал хихикать, жестикулировать и говорить с самим собой, привлекая внимание прохожих. После смерти жены он не вернулся туда, где жил раньше, а остался в Давосе, – вероятно, еще и потому, что не хотел разлучаться с ее могилой; однако решающей оказалась менее сентиментальная причина: он сам сильно сдал и, как специалист, находил, что его место здесь. Поэтому-то он

и поселился окончательно в этих местах, присоединившись к тем врачам, которые являются для пациентов, находящихся под их наблюдением, как бы товарищами по несчастью, ибо одни врачи, будучи здоровы, борются с болезнью как бы с независимых позиций своей незатронутости, другие сами отмечены ею; это особый, однако далеко не редкий случай, имеющий и свои преимущества, и свои трудности. Разумеется, товарищество врача и больного надо приветствовать, и недаром говорится, что только больной может быть наставником и целителем больного. Но способен ли по-настоящему, духовно управлять какой-либо силой тот, кто принадлежит к ее рабам? Может ли освободиться тот, кто сам находится в подчинении? Для обычного человеческого восприятия больной врач остается парадоксом и загадочным явлением. Быть может, знание данной болезни изнутри, в результате личного опыта не столько обогащает, сколько затуманивает и сбивает с толку? Такой врач не способен смотреть болезни в глаза ясным взором противника, решительно стать на чью-либо сторону – он связан; поэтому следует спросить со всей необходимой осторожностью, может ли тот, кто принадлежит к миру больных, быть заинтересован в исцелении или хотя бы оберегании других в том же смысле, как и человек здоровый?..

Этими сомнениями и домыслами Ганс Касторп и поделился с Иоахимом, когда они болтали о санатории «Берггоф» и его медицинском руководителе. Но Иоахим возразил, что совершенно неизвестно, продолжает ли гофрат Беренс и теперь быть пациентом, – вероятно, он уже выздоровел совсем. Начал он здесь практиковать давным-давно, некоторое время работал самостоятельно и очень быстро создал себе имя как чуткий диагност и специалист по пневмотораксу. Потом его завербовал «Берггоф», учреждение, с которым он связан уже почти целое десятилетие... Вон там, в конце северо-западного флигеля, находится его квартира (доктор Кроковский тоже живет неподалеку); старшая сестра, происходящая из старинного рода, о которой столь насмешливо отзывался Сеттембрини, – Ганс Касторп видел ее до сих пор только мельком, – ведет несложное хозяйство вдовца. А вообще – гофрат одинок, его сын учится в германских университетах, дочь уже замужем за адвокатом, они живут во французской Швейцарии. Иногда молодой Беренс приезжает на каникулы; за время, что Иоахим здесь, он был один раз: и санаторские дамы ужасно разволновались, температуры подскочили, в галереях для лежания пошли всякие споры и ссоры, на приеме у Кроковского число больных значительно увеличилось.

Ассистенту отвели для приема особую комнату; эта комната, так же как большой кабинет для обследования, лаборатория, операционная и

рентгеновский кабинет, помещалась в хорошо освещенном подвальном этаже санатория. Мы называем его подвальным, так как благодаря каменной лестнице, которая вела туда с первого этажа, действительно казалось, что спускаешься в какой-то подвал, однако это была чистейшая иллюзия. Во-первых, потому, что первый этаж был поднят довольно высоко, во-вторых, все здание стояло на крутом склоне горы, и так называемые «подвальные» помещения выходили окнами в сад и на долину, – обстоятельство, в силу которого лестница теряла свой смысл и назначение. Ибо, когда вы вступали на нее, вам чудилось, что вы спускаетесь ниже уровня земли, а внизу вы оказывались опять на ее уровне или только чуть ниже, что очень рассмешило Ганса Касторпа, когда он однажды под вечер сопровождал двоюродного брата к массажисту, который должен был его взвесить, и им пришлось спуститься вниз. В этой «зоне» санатория царили чисто клинические свет и чистота; все было белое и в белом, белым лаком поблескивали двери, среди них и та, которая вела в кабинет доктора Кроковского; на двери кнопкой была прикреплена визитная карточка ученого мужа, и чтобы попасть сюда из коридора, надо было спуститься еще на две ступеньки, так что открывавшаяся за нею комната чем-то напоминала кладовую. Она находилась справа от лестницы, эта дверь, в конце коридора, и Ганс Касторп особенно внимательно поглядывал на нее, прогуливаясь мимо кабинета в ожидании Иоахима. Вдруг кто-то вышел из нее, это была дама, она только что приехала, и ее фамилии он еще не знал, маленькая, изящная, с завитой челкой и золотыми серьгами. Поднимаясь по ступенькам, она низко наклонилась, одной рукой подобрала юбку, а другой маленькой рукою в кольцах поднесла к губам платочек; не разгибаясь и уставившись перед собой большими, бледными, испуганными глазами, она, шурша юбками, поспешила к лестнице, ведущей наверх, вдруг приостановилась, словно вспомнив что-то, потом засеменила дальше и, все так же не разгибаясь, не отнимая платочка от губ, исчезла за поворотом.

Когда Кроковский открыл дверь, выпуская ее из своей приемной, там оказалось гораздо темнее, чем в коридоре: клиническая белоснежная ясность, заливавшая помещения этого этажа, туда, видимо, не доходила; в аналитическом кабинете Кроковского, как успел заметить Ганс Касторп, царил мягкий полумрак, густые сумерки.

Разговоры за столом

Во время трапез в пестро расписанной столовой Ганс Касторп-внук испытывал некоторое смущение оттого, что после его злосчастной прогулки, предпринятой на собственный страх и риск, у него так и осталось это дедовское трясение головой – и именно за столом; оно повторялось почти неизменно, а он никак не мог от него удержаться и скрыть от остальных. Тщетно он с достойным видом упирался подбородком в воротничок – такую позу трудно было долго выдерживать; тщетно придумывал самые разнообразные способы замаскировать свой недостаток, – например, все время двигал головой, поворачиваясь то вправо, то влево, или, поднося ложку с супом ко рту, крепко опирался запястьем левой руки о стол, а иногда, в перерывах между кушаньями, ставил на него даже локоть и поддерживал голову ладонью, хотя сам считал это невоспитанностью, допустимой только в распушенной среде больных. Но все это было очень тягостно, – еще немного, и для него могут быть окончательно испорчены эти трапезы, которыми он так дорожил, оттого что они приносили с собой немало примечательного и тревожного.

Но ничего не поделаешь! Ганс Касторп отлично знал, что то постыдное явление, с которым он борется, имеет не только физическую причину, оно вызвано не только здешним воздухом и трудностями акклиматизации – нет, оно результат какой-то глубокой душевной взволнованности и связано именно с этими примечательными и тревожащими его фактами. Мадам Шоша имела привычку опаздывать к столу, и, пока она не появлялась, Ганс Касторп беспокойно шаркал под столом ногами, ожидая, что вот сейчас грохнет застекленная дверь, ибо появление мадам Шоша неизменно сопровождалось гроханьем, и знал, что он непременно вздрогнет и лицо у него похолодеет; так и бывало. Вначале он каждый раз яростно оборачивался и свирепым взглядом провожал опоздавшую неряху до ее места за «хорошим» русским столом, а иногда даже бросал ей вслед сквозь зубы резкое слово или возмущенное восклицание. Теперь он этого уже не делал, а, прикусив губу, низко склонял голову над тарелкой или отвергивался с нарочитой небрежностью. Ему казалось, что на гнев он теперь едва ли имеет право, да и порицать ее уже не может так свободно, ибо является как бы ее соучастником и делит ответственность перед другими, – словом, ему было стыдно; однако нельзя сказать, что он стыдился за нее, – нет, ему было стыдно перед людьми

именно за себя – чувство, впрочем, совершенно лишнее, ибо ни одна душа в зале не интересовалась ни пороками мадам Шоша, ни тем, что Гансу Касторпу за нее стыдно, исключая, может быть, фрейлейн Энгельгарт, учительницу, сидевшую справа от него.

Убогое создание угадало, что в результате чрезмерной чувствительности Ганса Касторпа к этому хлопанью дверью между ее молодым соседом по столу и русской дамой возникла какая-то нервическая связь; затем, что дело вовсе не в характере их отношений, если они вообще существуют, и, наконец, что его лицемерное равнодушие – лицемерное по недостатку актерского опыта и дарования, и притом плохо разыгранное, – что это равнодушие означает не ослабление, а усиление его интереса к молодой женщине, новую, более высокую ступень этих отношений.

Без всяких ожиданий и надежд на что-либо для себя лично фрейлейн Энгельгарт неустанно расточала бескорыстные хвалы мадам Шоша, – причем самым удивительным оказалось то, что Ганс Касторп, если и не сразу, то постепенно, все же вполне отчетливо понял и разгадал эти поджигательские маневры своей соседки, и они стали ему противны, хотя он с не меньшей охотой поддавался их дурману.

– Грох! – говорила старая дева. – Явилась она. И смотреть незачем, сразу ясно, кто именно вошел. Конечно! Вон она идет, и какая прелестная походка – прямо кошечка, которая крадется к миске с молоком. Жаль, что нам нельзя поменяться местами, тогда вы могли бы так же свободно и непринужденно наблюдать за ней, как я. Ведь не всегда же вам хочется повертывать голову и смотреть ей вслед, я понимаю – бог знает что она в конце концов может вообразить, если заметит... Вот она здоровается со своими соотечественниками... Да вы бы хоть разок посмотрели. Глядишь на нее, и просто сердце радуется... Когда она так улыбается и разговаривает, у нее на одной щеке появляется ямочка, но не всегда, только если она этого захочет. Да, прелестная женщина, избалованное создание, оттого и небрежна. Таких людей нельзя не любить, хочешь не хочешь, даже когда сердишься на них за небрежность, даже этот гнев усиливает нашу преданность, ведь такое счастье чувствовать, что сердишься и все-таки не можешь не любить...

Так, тайком от других, шептала учительница, прикрыв рот рукой; синеватый румянец на стародевьих щеках говорил о том, что у нее повышенная температура, а ее сластолюбивые речи проникали бедному Гансу Касторпу в плоть и кровь. Какая-то несамостоятельность вызывала в нем потребность слышать со стороны подтверждение, что да, мадам Шоша действительно прелестная женщина; ему хотелось получить поддержку

извне, чтобы отдаться тем чувствам и ощущениям, против которых восставали его разум и его совесть.

Впрочем, все эти разговоры давали мало конкретного материала, ибо фрейлейн Энгельгарт при всем желании не могла сообщить относительно мадам Шоша ничего более определенного, а только то, что в санатории было известно каждому; учительница просто ее не знала, не могла даже похвастаться общими знакомыми, и единственное ее преимущество перед Гансом Касторпом состояло в том, что она была родом из Кенигсберга – это не так уж далеко от русской границы – и могла произнести несколько слов по-русски, – убогое преимущество, но Ганс Касторп был готов усмотреть в этом какую-то многообещающую личную связь с мадам Шоша.

– Я заметил, что она не носит кольца, – обручального кольца, – сказал он. – Почему? Вы ведь мне сказали, что она замужем?

Учительница настолько чувствовала себя ответственной за мадам Шоша перед Гансом Касторпом, что смутилась, словно ее приперли к стене и необходимо как-нибудь вывернуться.

– Ну, мало ли почему, – возражала учительница. – Она бесспорно замужем. Тут не может быть никаких сомнений. И она заставляет называть себя мадам не только ради пущей важности, как это делают за границей иные перезрелые барышни, а потому, что у нее действительно есть муж где-то в России, это знает весь курорт. Девичья фамилия у нее другая, русская, а не французская, кончается на «анова» или «укова», я знала, да позабыла; если хотите, я спрошу; у нас многие знают ее фамилию. А кольцо? Да, кольца она не носит, я тоже обратила внимание. Но, боже милостивый, может быть оно не идет ей, может быть оно делает руку слишком широкой! Или она считает это мещанством – носить обручальное кольцо, – оно слишком простое, гладкое. Нет, у нее, наверное, шире размах... Я знаю, в русских женщинах, в их натуре есть какая-то свобода, широта... А в таком кольце чувствуется что-то прямо-таки отстраняющее и отрезвляющее, это же символ – мне хочется сказать – рабства, оно сразу придает женщине черты монахини, она становится чистым цветочком – «не тронь меня». И ничего нет удивительного, если это ей не по душе... Такая прелестная женщина, в полном расцвете... Вероятно, у нее нет ни оснований, ни охоты сейчас же показывать первому встречному, которому она подает руку, что она связана узами брака...

Боже праведный, как эта особа лезла из кожи! Ганс Касторп испуганно смотрел на нее, но она не опустила глаз, в ее взгляде было и упрямство и какое-то мучительное смущение. Затем оба помолчали, чтобы опомниться. Ганс Касторп принялся за еду, стараясь не трясти головой. Наконец он

спросил:

– А муж? Он что же, совсем забросил ее? И даже не навещает здесь наверху? Кто он такой?

– Чиновник. Русский. Административный чиновник в очень отдаленной губернии, в Дагестане, знаете ли, это далеко на Востоке, в Закавказье, его туда командировали. Нет, я же говорила вам, что его никто у нас наверху в глаза не видал. А она опять живет здесь уже больше двух месяцев.

– Значит, она тут не в первый раз?

– О нет, уже в третий. А в промежутках она жила на других курортах. Наоборот, она иногда ездит к нему, не чаще раза в год, на некоторое время. Они, можно сказать, живут врозь, и она только иногда ездит к нему.

– Ну да, ведь она больна...

– Конечно, больна. Но не настолько, не настолько серьезно, чтобы все время жить по санаториям, врозь с мужем. Дело не в том, тут, вероятно, есть и другие, более глубокие причины. Здесь все считают, что должны быть еще другие какие-то причины. Возможно, ей не нравится в этом самом Дагестане, в Закавказье, это такие далекие дикие места... в конце концов ничего удивительного. Вероятно, тут причина и в муже, раз ей так не хочется быть с ним вместе. Хотя фамилия у него и французская, но он все-таки русский чиновник, а ведь это ужасно грубый народ, эти русские чиновники, поверьте мне. Я однажды видела такого типа, у него были железного цвета бакенбарды и багровое лицо... Они страшные взяточники, и потом все пьют вутку – ну, спирт, понимаете... Ради приличия заказывают немножко какой-нибудь еды, ну там несколько маринованных грибов или кусочек осетрины, и потом пьют без всякой меры. Называется это у них «закуска»...

– Вы валите все на него, – сказал Ганс Касторп. – Ведь мы не знаем, может быть в ней причина того, что они плохо живут? Надо же быть справедливым. Достаточно посмотреть на нее, и потом эта манера грохать дверь... И ничуть она не ангел, пожалуйста не обижайтесь, но я не доверяю ей вот настолько. А вы не можете судить непредубежденно, вы ослеплены своим пристрастием и решили, что во всем права она...

Так рассуждал порой Ганс Касторп. С хитростью, которая была чужда его натуре, он делал вид, будто восторг учительницы перед мадам Шоша имеет в действительности совсем другую подоплеку, будто этот восторг – факт вполне самостоятельный и даже презабавный. И Ганс Касторп может непринужденно дразнить им старую деву из своего независимого и юмористического далека. А так как он был уверен, что его сообщница

покорно примет столь дерзкий выверт и не будет возражать, то он ничем не рискует.

– Доброе утро! – говорил он, являясь к завтраку. – Хорошо спали? Надеюсь, вам приснилась ваша прекрасная Минка?.. Как вы краснеете! Достаточно назвать ее имя! Да вы совсем втюрились, лучше не отрицайте!

И учительница, которая действительно залилась румянцем и низко наклонилась над чашкой, лепетала, едва шевеля губами:

– Да нет же, ну что вы говорите, господин Касторп! Нехорошо с вашей стороны так смущать меня своими намеками. Ведь все замечают, что это касается ее и что вы говорите вещи, от которых я краснею.

Странную игру вели эти два соседа по столу. Оба знали, что их слова – двойная и тройная ложь, и Ганс Касторп дразнит учительницу, только чтобы лишний раз поговорить о мадам Шоша, и находит в этих шутках над старой девой какое-то болезненное удовольствие, в которое вовлекал и ее; она же, со своей стороны, допускала эти шутки – во-первых, из инстинктивной страсти к сводничеству, во-вторых, оттого, что в угоду молодому человеку действительно слегка втюрилась в мадам Шоша и, кроме того, испытывала какое-то убогое наслаждение, когда он дразнил ее и заставлял краснеть. Оба все это отлично угадывали и в себе и друг в друге, ощущали в этой путанице что-то нечистоплотное. Но, хотя Гансу Касторпу были противны всякая путаница и нечистоплотность, – отталкивали они его и в данном случае, – он все же продолжал купаться в этой грязи, успокаивая себя тем, что ведь он здесь наверху случайный гость и скоро опять уедет. Разыгрывая знатока, разбирал он наружность «небрежной особы», нашел, что спереди она определенно выглядит моложе и красивее, чем в профиль; правда, глаза у нее слишком широко расставлены, а осанка оставляет желать лучшего, зато руки и плечи имеют красивые и мягкие очертания. Говоря это, он пытался скрыть, как неудержимо у него трясется голова; однако учительница не только замечала его усилия – это было ясно, – но он с возмущением обнаружил, что и у нее самой голова трясется. То, что он назвал мадам Шоша «прекрасной Минкой», было также ловким дипломатическим ходом и политической хитростью. Ибо после этого он мог спросить:

– Я называю ее «Минка», а как ее зовут на самом деле? То есть как ее имя? Если человек втюрился, а вы, безусловно, втюрились, то вы не можете не знать ее имени.

Учительница задумалась.

– Подождите, кажется знаю, – сказала она наконец. – Вернее, знала. Не Татьяна? Нет, не то, и не Наташа. Наташа Шоша? Нет, я не слышала, чтобы

ее так называли. Стойте! Вспомнила! Ее зовут Авдотья. Во всяком случае, что-то в этом роде. Только ни в коем случае не Катенька и не Ниночка. Совсем забыла! Но я легко могу узнать, если вы хотите.

И действительно, она на другой же день сообщила ему имя мадам Шоша. Она назвала его за обедом, когда снова грохнула застекленная дверь. Оказывается, имя мадам Шоша было Клавдия.

Ганс Касторп понял не сразу. Он заставил ее несколько раз повторить по буквам, прежде чем его усвоил. Затем сам произнес несколько раз, поглаживая на мадам Шоша, причем белки его глаз покраснели, – он как бы примерял к ней это имя.

– Клавдия, – повторил он, – да, может быть, ее так и зовут, это имя ей подходит. – Он не скрывал своей радости по поводу узнанной им интимной подробности и отныне, говоря о мадам Шоша, называл ее только Клавдией. – А ведь ваша Клавдия катает хлебные шарики, я только что видел. Не слишком изысканно!

– Смотря по тому, кто катает, – ответствовала учительница. – Клавдии это идет.

Да, трапезы в этом зале с семью столами имели огромную прелесть для Ганса Касторпа. И ему бывало жаль, когда одна из них кончалась, но он утешал себя мыслью, что через два, ну два с половиной часа будет снова сидеть здесь, и тогда ему будет казаться, что он и не уходил. Что разделяло эти два момента? Да ничего. Короткая прогулка к водостоку или в английский квартал, короткий отдых в шезлонге Перерыв этот не был ни долгим, ни трудно преодолимым. Совсем не то, что работа или какие-нибудь горести и тревоги, которые трудно охватить душой, через которые трудно переступить. А о мудром и удачно найденном распорядке дня в «Берггофе» этого нельзя было сказать. Едва встав из-за стола после общей трапезы, Ганс Касторп мог тут же отдаться радостному ожиданию новой встречи с больной Клавдией Шоша, если только слово «радость» передает его чувства и не является слишком легковесным, беззаботным, будничным и случайным, хотя, быть может, читатель и сочтет подходящими и допустимыми в отношении Ганса Касторпа и его внутренней жизни только пустые, стертые слова. Но мы вынуждены напомнить, что не мог он, как молодой человек, совестливый и умный, просто «радоваться», глядя на мадам Шоша или находясь поблизости от нее; этого нельзя забывать, и ясно, что, предложи мы ему это слово, он бы отверг его, пожав плечами.

Да, он относился свысока к некоторым словам и выражениям, чего нельзя не отметить. С пылающими сухим жаром щеками разгуливал он по санаторию и что-то пел про себя, в себя, ибо состояние его души было

музыкальным и исполненным чувствительности. Он мурлыкал песенку, которую неведомо когда и где услышал в чьем-то салоне или на благотворительном концерте, какой-то нежный вздор – ее пело маленькое сопрано, – и сейчас ему вспомнилась эта песенка, начинавшаяся так:

О как меня волнует
Подчас одно лишь слово...

Он хотел уже продолжать:

Что с губ твоих сорвалось,
А сердце петь готово... —

но вдруг пожал плечами, пробормотал: «смешно» – и, с некоторой меланхолической строгостью, презрительно отверг и оттолкнул от себя нежную песенку, как что-то безвкусное и нелепое. Ведь столь простенькая песенка могла бы удовлетворить и порадовать разве что какого-нибудь молодого человека, который «подарил», как принято выражаться, свое сердце самым благонамеренным и мирно-надежным образом какой-нибудь цветущей дурынде там внизу, на равнине, и теперь предается благонамеренным, надежным, разумным и, в основе своей, самодовольным чувствам. Для Ганса Касторпа и его «отношений» с мадам Шоша – слово «отношения» мы оставляем на его совести и снимаем с себя всякую ответственность за него – такие стишки совершенно не подходили; лежа в шезлонге, он почувствовал потребность произнести над ними эстетический приговор, заявил, что это «белиберда», и тут же оборвал мелодию, презрительно наморщив нос, хотя взамен ничего более подходящего у него не нашлось.

Однако некоторое удовлетворение он все же испытал, когда, лежа, прислушивался к биению своего сердца, своего физического сердца, стучавшего отчетливо и торопливо среди глубокой тишины – предписанной тишины, которая в часы основного лежания воцарялась, согласно распорядку, над всем «Берггофом». Оно стучало упорно и торопливо, его сердце, как стучало почти всегда с тех пор, как он находился здесь наверху; однако за последнее время это меньше тревожило его, чем в первые дни. Теперь уже нельзя было сказать, что оно колотится по собственной инициативе, без причины и без всякой связи с его душевным состоянием;

подобная связь существовала, во всяком случае ее нетрудно было установить и оправдать экзальтированную физическую деятельность сердца определенными движениями души. Достаточно было Гансу Касторпу подумать о мадам Шоша, – а он думал о ней, – и он испытывал чувство, соответствующее сердцебиению.

Появляется страх. Два деда и поездка в сумерках на челноке

Погода совсем испортилась – в этом отношении Гансу Касторпу, при его кратковременном пребывании в этой местности, решительно не повезло. Правда, нельзя сказать, чтобы шел снег, но целыми днями лил дождь, тяжелый и унылый, в долине лежал густой туман, и хотя холод стоял такой, что в столовой даже протопили, однако то и дело гремели до смешного ненужные грозы, обстоятельно отдаваясь в горах гулкими раскатами.

– Жаль, – сказал Иоахим. – А я надеялся, что мы как-нибудь прихватим с собою завтрак и поднимемся на Шацальп или отправимся в другое красивое место. Но, как видно, ничего не выйдет. Надеюсь, что во время твоей последней недели погода будет лучше.

Однако Ганс Касторп ответил:

– Брось, пожалуйста. Я вовсе не горю желанием предпринимать всякие там прогулки. Моя первая оказалась не слишком удачной. Лучше всего я отдыхаю, когда день течет однообразно, без особых развлечений. Развлечения нужны тем, кто живет здесь уже много лет. Но при моих трех неделях – какие тут развлечения!

И это была правда. Он чувствовал, что в санатории время его занято и жизнь полна. И если он питал какие-либо надежды, то и радость их исполнения, и горечь разочарования ждали его именно здесь, а не на каком-то Шацальпе. Мучило его отнюдь не то, что время ползет; напротив, он начинал опасаться, что конец его пребывания в санатории надвинется слишком быстро. Уже идет вторая неделя, скоро кончатся две трети того времени, которое он должен здесь пробыть, а когда начнется последняя – пора уже будет думать о чемоданах. Первоначальная освеженность его чувства времени давно исчезла, дни уже летели, невзирая на то, что каждый в отдельности тянулся, полный все возрождающихся ожиданий, и набухал молчаливыми и затаенными чувствами... Да, время – загадочная штука, и что оно такое – понять очень трудно! Однако нужно ли уточнять те скрытые переживания, которые в течение дня то угнетали, то окрыляли Ганса Касторпа? Их испытал каждый, это самые обычные ощущения, со всей их сентиментальной незатейливостью; и в более разумном и обнадеживающем случае, когда действительно была бы уместна песенка «О как меня волнует», все протекало бы совершенно так же.

Не может быть, чтобы мадам Шоша совсем не заметила тех нитей, которые протянулись от некоего стола к ее столу, а Гансу Касторпу непреодолимо и во что бы то ни стало хотелось, чтобы она заметила как можно больше. Мы говорим «непреодолимо», ибо он отдавал себе вполне ясный отчет в том, насколько все это нелепо. Но когда с человеком творится то, что начинало твориться с ним, он жаждет, чтобы другой узнал о его состоянии, даже если его чувства лишены основания и смысла. Уж такова человеческая природа.

И вот, после того как мадам Шоша случайно, или подчиняясь магнетическому притяжению, во время трапезы раза два-три обернулась и каждый раз встречалась глазами с Гансом Касторпом, она в четвертый раз уже нарочно посмотрела на его стол, и опять их глаза встретились. В пятый она, правда, перехватила его взгляд не сразу: молодого человека в эту минуту как бы не оказалось на своем посту. Но он тотчас почувствовал, что она смотрит, и с такой жаркой торопливостью послал ей в ответ свой взор, что она с улыбкой отвернулась. И эта улыбка вызвала в нем боязливую надежду и восторг. Однако, если она считает это мальчишеством, она ошибается. У него потребность в более утонченных чувствах. В шестой раз, когда он почуял, ощутил, узнал по интуиции, что она смотрит, он сделал вид, будто весьма неодобрительно разглядывает прыщеватую даму, которая подошла к его столу, чтобы поболтать с двоюродной бабушкой, и, сохраняя железную выдержку в течение двух-трех минут, продолжал изучать ее, пока не убедился, что киргизские глаза за тем столом уже не устремлены на него, – удивительная комедия, о которой мадам Шоша не только могла, но непременно должна была догадаться – пусть душевная тонкость и самообладание Ганса Касторпа заставят ее призадуматься... Дело кончилось следующим: во время перерыва между двумя кушаньями мадам Шоша небрежно обернулась и стала рассматривать сидевших в столовой. Ганс Касторп был на своем посту, их взгляды встретились. И в то время как они смотрели друг на друга (больная – насмешливо и будто что-то выискивая, Ганс Касторп – с взволнованным упорством выдерживая ее взгляд, он даже стиснул зубы) – с ее колен соскальзывает салфетка и вот-вот упадет на пол. Вздогнув, мадам Шоша пытается удержать ее. Но и он словно испытывает толчок, – ослепленный, рывком приподнимается на стуле, хочет перемахнуть эти восемь метров, обогнуть стоящий на его пути стол и кинуться на помощь, как будто, если он даст салфетке упасть на пол, произойдет катастрофа... И уже у самого пола она успевает вовремя подхватить салфетку. Однако, склонившись над полом и держа салфетку за уголок, должно быть рассерженная этим нелепым и вздорным испугом,

которому она поддалась и виновником которого, очевидно, считает его, мадам Шоша еще раз оборачивается и смотрит в его сторону, замечает его позу, готовность к прыжку, его вздернутые брови и, улыбаясь, отвертывается.

Ганс Касторп испытал по этому поводу почти необузданное торжество. Но тут же последовал и контрудар, ибо мадам Шоша в течение двух последующих дней, то есть во время десяти трапез, совсем не поворачивалась к залу лицом. И даже при своем появлении не «представлялась» публике, как делала обычно. Это было жестоко. Но так как подобный маневр был явно направлен против него, он подтверждал, что между ними бесспорно существуют какие-то взаимоотношения, хотя бы в отрицательной форме; и одного этого пока что достаточно.

Ганс Касторп убеждался, что Иоахим был совершенно прав, когда говорил ему, что здесь помимо соседей по столу отнюдь не легко завязать знакомства. А послеобеденный час, когда пациенты бывали вместе, причем этот час иногда сокращался до двадцати минут, мадам Шоша неизменно проводила в привычном обществе, состоявшем из господина со впалой грудью, курчавой насмешницы, тишайшего Блюменколя и юноши с покатыми плечами; вся эта компания усаживалась в глубине маленькой гостиной – завсегдатаи «хорошего» русского стола, видимо, считали это своей привилегией. Да и двоюродный брат постоянно торопил Ганса Касторпа покинуть общество и подняться наверх, чтобы дольше полежать на воздухе, как он говорил, а может быть, и по другим причинам, морально-диетического порядка, о которых он умалчивал, хотя Ганс Касторп о них догадывался и их уважал. Мы позволили себе упрекнуть его в необузданности, но, как бы далеко ни заходили его желания, он не стремился к светскому знакомству с мадам Шоша и вполне понимая, что можно было возразить очень многое против такого знакомства. Неясные и напряженные взаимоотношения, возникшие между ним и русской дамой в результате его поведения и упорных взглядов, имели отнюдь не светский характер, они ни к чему не обязывали и не могли обязывать. Правда, несмотря на всю свою недопустимость с чисто светской точки зрения, они все же существовали; но если мысль о «Клавдии» вызывала у Ганса Касторпа сердцебиение, этого было еще далеко недостаточно, и он, внук Ганса-Лоренца Касторпа, не сомневался в том, что у него с этой иностранкой, которая живет без мужа, не носит обручального кольца, разъезжает по курортам, держится весьма неважно, хлопает дверью, катает хлебные шарики и, без сомнения, грызет заусенцы, – что, скажем прямо, у него с нею, кроме этих тайных отношений, ничего общего быть не может,

между их жизнями лежит пропасть и настоящей строгой критики эта молодая особа не выдержит. Ганс Касторп был рассудителен и потому лишен всякого личного высокомерия; но высокомерие более общего и глубинного порядка было буквально написано у него на лбу и в несколько сонливых глазах, и от него веяло чувством такого превосходства, которое он, наблюдая за мадам Шоша и ее манерами, не мог, да и не желал отбросить. Как ни странно, но это чувство превосходства он ощутил особенно живо и, быть может, впервые, когда однажды услышал, как мадам Шоша говорит по-немецки; она стояла в зале после окончания трапезы, засунув обе руки в карманы своего свитера, и Ганс Касторп, проходя мимо, заметил, что, обращаясь к другой пациентке, своей соседке по лежанию, она старается, – это, впрочем, выходило у нее прелестно, – говорить с ней по-немецки, на языке, который был Гансу Касторпу родным, и он вдруг понял это с внезапной, еще никогда не испытанной им гордостью; хотя в то же время почувствовал и некоторое желание пожертвовать этой гордостью тому восхищению, какое вызывала в нем ее ломаная речь и манера прелестно запинаться.

Одним словом, Ганс Касторп видел в своем тайном влечении к столь небрежной представительнице особой общины здесь наверху просто каникулярный эпизод, который перед «трибуналом разума» и его собственной благоразумной совести не мог притязать на признание, прежде всего потому, что мадам Шоша была в жару, обессилена, подточена болезнью, – обстоятельство, тесно связанное с сомнительностью ее существования в целом и игравшее также немалую роль в его опасливой осторожности... Нет, искать настоящего знакомства с нею у него и в мыслях не было, что же касается остального, то ведь через полторы недели он будет уже на практике у «Тундера и Вильмса», и все это оборвется без всяких последствий. Однако он постепенно начал смотреть на свои душевные движения, тревоги, радости и горести, вызванные нежным чувством к этой больной, как на главный смысл и содержание его жизни здесь и ставить свое душевное состояние в прямую зависимость от успехов или неудач их отношений. Условия же лишь благоприятствовали развитию его чувства, ибо существование обитателей санатория было заключено в рамки ограниченного пространства и строгого распорядка времени, и хотя комната мадам Шоша находилась на первом этаже (впрочем, больная обычно лежала на воздухе, как Ганс Касторп узнал от учительницы, на одной из общих террас, которая находилась на крыше, это и была как раз та самая терраса, где на днях капитан Миклосич выключил свет), все же они встречались неизбежно, не только за всеми пятью

трапезами, но и на каждом шагу. И то обстоятельство, что никакие заботы и дела не могли помешать желанным для него свиданиям, Ганс Касторп находил просто замечательным, хотя и в благоприятных возможностях и в неизбежности этих встреч было нечто стеснявшее его.

И все-таки он пытался слегка подталкивать судьбу, придумывал то одно, то другое, внося в ее намерения свои поправки. Мадам Шоша привыкла опаздывать к столу – начал задерживаться и он и тоже приходил позднее, чтобы встретиться с нею по пути в столовую. Он затягивал одевание, еще не был готов, когда за ним являлся Иоахим, и отправлял двоюродного брата вперед, уверяя, что сейчас догонит его. Следуя особому инстинкту, он выжидал определенного мгновения, а затем решал, что время настало, спешил в нижний этаж и пользовался не продолжением той лестницы, по которой только что спустился, а другой, в самом конце коридора, неподалеку от слишком знакомой двери, а именно – от седьмого номера. И на этом пути по коридору между обеими лестницами, так сказать, на каждом шагу представлялся шанс для встречи, ибо в любую минуту дверь седьмого номера могла открыться, – что не раз и бывало, – потом она с грохотом захлопывалась за спиной мадам Шоша, хотя сама она выходила бесшумно и так же бесшумно скользила вниз по лестнице... А потом либо шла впереди него, поддерживая рукою косы на затылке, либо Ганс Касторп осязал спиной ее взгляд, причем во всем теле у него начиналась какая-то дрожь, а по спине бегали мурашки. Но так как он хотел порисоваться, то делал вид, будто и не подозревает о ее присутствии и живет своей жизнью, полной энергичной независимости, засовывал руки в карманы пиджака, без всякой нужды поводил плечами или громко откашливался и бил себя при этом кулаком в грудь – все это только чтобы выказать полную непринужденность.

Дважды он зашел в своих хитростях еще дальше. Уже усевшись за стол, он вдруг словно спохватился и сказал сердито и растерянно, ощупывая себя обеими руками: «Ну вот, носовой платок забыл. Теперь тащись опять наверх». И он возвращался обратно, чтобы встретиться с «Клавдией» лицом к лицу, а это было нечто совсем иное, чем когда она шла впереди или позади него, нечто более опасное и полное более острого очарования. В первый раз, когда он предпринял этот маневр, она еще издали смерила его взглядом с головы до ног, притом весьма пренебрежительно и бесцеремонно, но, подойдя ближе, равнодушно отвернулась и прошла мимо, так что похвастаться ему перед собой было нечем. Во второй раз мадам Шоша взглянула на него не только когда глаза их встретились, она смотрела все время, пока они шли друг другу

навстречу, смотрела ему в лицо упорно и даже несколько угрюмо, а пройдя мимо, еще повернула голову, что глубоко потрясло беднягу. Впрочем, жалеть его особенно не приходится, ведь он этого хотел и сам все это вызвал. Однако упомянутый случай сильно подействовал на него и в минуту встречи, и впоследствии, ибо, только когда она прошла мимо него, понял он, что именно произошло: никогда не видел Ганс Касторп мадам Шоша так близко, так ясно, во всех подробностях; он, кажется, разглядел каждый короткий волосок, выбившийся из ее белокурой с рыжеватым металлическим отливом косы, просто уложенной на голове, и всего несколько дюймов отделяло его лицо от ее лица, со столь необычным, но уже издавна знакомым ему складом; этот склад нравился ему больше всего на свете, чуждый и характерный (ибо только чуждое кажется нам характерным), отмеченный северной экзотикой и загадочностью, он звал погрузиться в его пропорции и особенности, которые так трудно было определить. Основным в этом лице являлись все же резко выдававшиеся скулы, они как бы наступали на необычно плоско, необычно широко расставленные глаза, придавая им едва уловимую раскосость, а щекам – легкую впалость, благодаря чему и полные губы казались чуть вывернутыми. Но особенно примечательны были глаза – узкие, с каким-то пленительным киргизским разрезом (таким его находил Ганс Касторп), серовато-голубые или голубовато-серые, цвета далеких гор, глаза, которые при взгляде в сторону, – но не для того, чтобы увидеть что-нибудь, – как будто томно затуманивались ночной дымкой; и эти глаза Клавдии беззастенчиво и несколько угрюмо рассматривали его совсем близко и своим разрезом, цветом и выражением жутко и ошеломляюще напоминали глаза Пшибыслава Хиппе! Впрочем, «напоминали» совсем не то слово, – это были те же глаза; и той же была широкая верхняя часть лица, чуть вдавленный нос, – все, вплоть до яркого румянца на белой коже, – у мадам Шоша, да и у всех обитателей санатория он отнюдь не служил признаком здоровья, ибо являлся только результатом продолжительного лежания на свежем воздухе; словом, все было такое же, как у Пшибыслава, и тот совершенно так же глядел на Ганса Касторпа, когда они встречались мимоходом на школьном дворе.

Ганс Касторп был потрясен. Но, несмотря на восторг, вызванный этой встречей, в него начал закрадываться страх, ощущение такой же стесненности, какую вызывала замкнутость в ограниченном пространстве вместе с ожидавшими его благоприятными возможностями. И если давно забытый Пшибыслав снова встретил его здесь наверху в образе Клавдии Шоша и посмотрел на него теми же киргизскими глазами, это тоже было

какой-то замкнутостью наедине с неизбежным и неотвратимым, – неизбежным в жутком и счастливом смысле этого слова, оно было богато надеждами и вместе с тем от него веяло чем-то пугающим, даже грозным; и юный Ганс Касторп почувствовал, что ему нужна помощь, в душе у него совершались какие-то смутные инстинктивные движения, которые можно было бы назвать поисками осязью, вслепую, потребностью в помощи; он перебирал в душе ряд лиц, мысль о которых могла бы послужить ему поддержкой.

Во-первых, подле него Иоахим, добрый, честный Иоахим; в его глазах за последнее время появилась такая грусть, и он порой пожимал плечами с такой резкой пренебрежительностью, каких раньше ни за что и ни при каких обстоятельствах себе не позволил бы, – Иоахим с «Синим Генрихом» в кармане – этой посудиною для мокроты, прозвище, которое фрау Штер с циничным упрямством повторяла кстати и некстати, причем Ганс Касторп в душе каждый раз содрогался... Итак, подле него был честный Иоахим; чтобы поскорее отдаться вожденной службе в армии, он терзал и мучил гофрата Беренса, упрашивая поскорее отпустить его вниз, на «равнину», как больные с легким, но явным презрением именовали мир здоровых людей. Стремясь достичь этой цели и сэкономить время, с которым здесь обращались столь расточительно, Иоахим вносил в исполнение лечебной повинности присущую ему добросовестность; делал он это, конечно, ради собственного исцеления, но, как иногда подозревал Ганс Касторп, отчасти и ради самой повинности: ведь это была служба не хуже всякой другой, а долг есть долг. Итак, Иоахим, покидал вечером общество больных уже через какие-нибудь четверть часа, стремясь поскорее улечься на воздухе, и это было правильно; его воинская дисциплинированность до известной степени помогала и Гансу Касторпу, человеку сугубо штатскому, выполнять предписания врачей, иначе он без смысла и цели охотно бы посидел еще с остальными, заглядывая в маленькую «русскую» гостиную. Однако та настойчивость, с какой Иоахим стремился сократить вечернее сидение в обществе пациентов, имело еще одну тайную причину, о которой Ганс Касторп отлично догадывался с тех пор, как стал понимать, почему в известные минуты лицо Иоахима бледнеет пятнами и рот как-то особенно жалостно кривится. Ибо на этих сборищах в маленькой гостиной присутствовала и Маруся, хохотунья Маруся с маленьким рубином на красивой руке, с апельсинными духами и источенной червем болезни высокой грудью; теперь Ганс Касторп понимал, что именно это обстоятельство и заставляет Иоахима бежать отсюда, так как общество больных неудержимо и мучительно притягивает его; чувствовал ли

Иоахим, что он тоже «заперт» в тесном пространстве и даже в еще большей степени, чем он сам, ибо Маруся с ее апельсинным платочком, в довершение всего, пять раз в день сидела с ними за тем же столом? Во всяком случае, у Иоахима было достаточно своих сердечных забот, и едва ли его присутствие могло чем-нибудь помочь Гансу Касторпу в его внутренних трудностях. Правда, это ежедневное бегство Иоахима было очень почтенно, но меньше всего могло оно подействовать на двоюродного брата успокаивающе, а порой Гансу Касторпу мерещилось, что в достойном примере, который подавал Иоахим, столь ревностно выполняя лечебную повинность, и в его многоопытных советах есть что-то подозрительное.

Ганс Касторп не пробыл в «Берггофе» и двух недель, но у него возникло такое чувство, будто он здесь наверху уже давным-давно, и распорядок дня, которому Иоахим следовал с чисто служебной точностью, начал приобретать в глазах приезжего отпечаток какой-то само собой разумеющейся святости и нерушимости, причем жизнь внизу, на равнине, казалась отсюда странной и нелепой. Он уже обрел завидную ловкость в обращении с двумя одеялами, при помощи которых, лежа на воздухе, придаешь себе вид аккуратного свертка, настоящей мумии; еще немного, и он будет проделывать это с не меньшей уверенностью и мастерством, чем Иоахим, и так же по всем правилам захлестывать вокруг себя одеяла; даже странно, что внизу, на равнине, никто не подозревает об этом искусстве и его правилах. Да, это было удивительно; но вместе с тем он дивился и тому, что находит это удивительным, и та тревога, которая заставляла его искать совета и поддержки, снова просыпалась в нем.

Вспоминал он и о гофрате Беренсе, о данном ему *sine rescripto* совете вести тот же образ жизни, что и все пациенты, и даже измерять себе температуру, и о Сеттембрини, который, услышав про совет главного врача, особенно громко и многозначительно расхохотался, а потом замурлыкал что-то из «Волшебной флейты». Да, Ганс Касторп попытался обратиться мыслью к этим двум людям, желая знать, успокоит ли это его. Ведь гофрат Беренс уже сед и годится ему в отцы. Кроме того, он глава этого учреждения, высший авторитет, а Ганс Касторп испытывал беспокойную душевную потребность в отеческом авторитете. И все-таки, когда он пытался мысленно отнестись к гофрату с детским доверием, это ему не удавалось. Беренс похоронил в Давосе жену, – горе, которое сделало его, между прочим, немного чужаковатым, – а потом так и остался в этих местах, оттого что здесь была ее могила, да и его собственное здоровье пошатнулось. Вылечился ли он? Здоров ли он теперь и полон ли

недвусмысленной решимости излечивать людей, чтобы они могли как можно скорее возвращаться на равнину и служить? Его щеки всегда были синими, и, в сущности, выглядел он так, словно у него повышенная температура. Но, может быть, это только кажется, и лишь здешний воздух повинен в его цвете лица? Ведь и Ганс Касторп изо дня в день ощущает какой-то сухой жар, хотя жара у него нет, по крайней мере насколько можно судить не прибегая к термометру. Правда, если послушать рассуждения гофрата, то невольно опять возникала мысль о повышенной температуре; говорил он как-то странно – грубовато и вместе с тем весело и добродушно, но в его речах чувствовалась экзальтация, лихорадочность, и это впечатление еще усиливалось при взгляде на его всегда синие щеки и слезящиеся глаза, как будто он продолжает оплакивать жену. Ганс Касторп вспоминал сказанное Сеттембрини о «меланхолии» гофрата, о его «безнравственности» и о том, что итальянец назвал его «смятенной душой». Быть может, все это было дерзкой и пустой болтовней; и все-таки молодой человек находил, что размышления о Беренсе действуют не слишком успокоительно.

Но ведь был еще сам Сеттембрини, вечный оппозиционер, ветреник и «*homo humanus*», как он называл себя; и он многословно и самоуверенно доказывал Гансу Касторпу, что болезнь и глупость вовсе не являются противоречием и дилеммой для человеческого чувства. Так как же насчет Сеттембрини? Полезно ли размышлять о нем? Ганс Касторп хорошо помнил, что не раз в слишком живых сновидениях, наполнявших здесь наверху его ночи, он возмущался умной сухой усмешкой итальянца под красивым изгибом усов, обзывал Сеттембрини шарманщиком и пытался его оттеснить, так как Сеттембрини ему только мешал. Но это происходило во сне, бодрствующий Ганс Касторп был иным, менее необузданным, чем в сновидениях. Наяву все могло сложиться иначе, и, пожалуй, полезно обратиться к такому человеку нового типа – критикану и бунтарю, хотя его строптивость чересчур слезлива и многословна. Сеттембрини ведь сам назвал себя педагогом, – очевидно, он желал оказывать влияние; а юноша Ганс Касторп горячо желал, чтобы на него влияли, – правда, в меру, а не так, как это имело место на днях, когда Сеттембрини совершенно серьезно порекомендовал ему уложить чемоданы и уехать отсюда раньше срока.

«*Placet experiri*», – подумал он, усмехаясь, ибо настолько-то знал латынь, хоть и не решился бы назвать себя *homo humanus*. Поэтому молодой человек наблюдал за Сеттембрини и не без испытующего внимания прислушивался к тому, что тот проповедовал при мимолетных встречах, происходивших во время положенных прогулок до скамьи или

вниз, в курорт, а также в других случаях, когда, например, Сеттембрини, окончив трапезу, вставал из-за стола первым и, в своих клетчатых брюках, с зубочисткой во рту, лениво брел через зал с семью столами и, вопреки всем обычаям и предписаниям, на минутку задерживался у стола, где сидели двоюродные братья. Скрестив ноги, он становился в изящную позу и болтал, жестикулируя зубочисткой. Или брал себе стул и пристраивался на уголке между Гансом Касторпом и учительницей или Гансом Касторпом и мисс Робинсон и наблюдал, как новые соседи по столу уничтожают десерт, от которого он, видимо, отказался.

– Прошу разрешить мне доступ в сие благородное общество, – заявил он как-то, пожал кузенам руку и отвесил остальным общий поклон. – Этот пивовар, там, за нашим столом... я умолчу о пивоварше... Этот господин Магнус только что прочел нам лекцию о психологии народов. Хотите послушать? «Наша дорогая Германия, – сказал он, – это большая казарма. Не спорю. Но все-таки народ у нас очень дельный, и я не променяю нашу основательность на любезность других народов. А что мне в их любезности, если меня обманывают и в хвост и в гриву?» И все в таком же стиле. Сил моих больше нет. А тут сидит против меня бедное создание с кладбищенскими розами на щеках, этакая старая дева из Зибенбюргена, и говорит без умолку о своем зяте, которого ни один человек не знает и знать не хочет. Словом, я не выдержал, я бежал.

– А при пробеге вы захватили и свой флаг, – сказала фрау Штер, – представляю себе!

– Вот именно. При пробеге! – воскликнул Сеттембрини. – Пробег! Да, здесь дует другой ветер, я попал куда следует. Значит, я при пробеге захватил свой флаг! Кто еще способен с такой точностью выбирать слова! Осмелюсь спросить – успешно ли подвигается ваше лечение?

Фрау Штер нестерпимо жеманничала.

– Боже правый, – сказала она, – все одно и то же; да вы, сударь, сами знаете. Делаешь два шага вперед и три назад, пять месяцев отсидишь, а тут является старик и добавляет еще полгода. Ах, это прямо танталовы муки. Толкаешь, толкаешь – и думаешь, вот ты уже наверху...

– О, как это благородно с вашей стороны! Наконец-то вы даруете бедному Танталу хоть какое-то разнообразие^[50]. В порядке обмена вы предоставляете ему возможность покатать знаменитый камень. Вот это я называю подлинной сердечной добротой! Но скажите, мадам, оказывается, с вами происходят какие-то загадочные явления? Слышал я рассказы про всяких двойников и астральные тела... Но до сих пор не верил! Однако то, что делается с вами, меня просто сбивает с толку...

– Вы, как видно, хотите поиздеваться надо мной!

– Ничуть! И не думаю! Успокойте меня сначала относительно некоторых темных сторон вашего существования, и тогда увидим, кто издевается! Вчера вечером между половиной десятого и десятью я решил сделать небольшой моцион и погулять по саду; окидываю при этом взглядом все балконы – электрическая лампочка на вашем так и рдеет среди темноты. Значит, вы лежали согласно велениям долга, разума и режима. «Вон лежит наша больная красавица, – говорю я про себя, – и честно выполняет предписания, чтобы как можно скорее возвратиться домой, в объятия господина Штера». А всего несколько минут назад я слышу, будто вас в тот самый час видели в cinematografo (господин Сеттембрини произнес это слово по-итальянски, делая ударение на четвертом слоге), в cinematografo курзала и после этого еще в кондитерской за сладким вином и безе. И притом...

Штериха повела плечами, захихикала в салфетку, толкнула одним локтем Иоахима Цимсена, другим – тихого доктора Блюменколя и с многозначительным лукавством подмигнула, всеми способами показывая свое непроходимо глупое самодовольство. Желая обмануть персонал, она имела обыкновение выносить на балкон зажженную настольную лампу, а затем потихоньку удирать вниз и искать развлечений в английском квартале. А в Каннштате ее ждал муж. Впрочем, она была не единственным пациентом, занимавшимся подобным надувательством.

– Притом, – продолжал Сеттембрини, – вы наслаждались этими безе – но в каком обществе? В обществе капитана Миклосича из Бухареста! Меня уверяли, что он носит корсет, но, боже мой, какое это в данном случае имеет значение? Заклинаю вас, мадам, скажите, где были вы сами? Вы же раздвоились! Во всяком случае, вы заснули, и земная часть вашего существа лежала на балконе, спиритуальная же вкушала общество капитана Миклосича и его безе...

Фрау Штер вертелась и извивалась, точно ее щекотали.

– Неизвестно, следовало ли желать обратного, – продолжал Сеттембрини, – чтобы вы вкушали безе в одиночестве, а целительному лежанию предавались совместно с капитаном Миклосичем...

– Хи-хи-хи...

– А вы знаете, господа, какая история произошла третьего дня? – тут же продолжал Сеттембрини. – Кое-кого отсюда забрали, черт забрал, – вернее, некая госпожа мамаша, дама решительная и энергичная, она мне понравилась. Я имею в виду молодого Шнеермана, Антона Шнеермана. Он еще сидел вон там впереди, против мадемуазель Клеефельд, – видите,

сейчас его место пусто. Ну, оно очень скоро опять будет занято, на этот счет я не тревожусь, но Антона точно вихрем унесло, в один миг, он сам и опомниться не успел. Полтора года прожил он здесь – хотя ему всего шестнадцать; и только что ему предписали еще полгода. Что же происходит? Уж не знаю, кто шепнул мадам Шнеерман словечко, во всяком случае до нее дошел слух насчет того, что сынок усердно служит Вакху et ceteris^[51]. И вот, без всяких предупреждений, она появляется здесь, настоящая матрона – на три головы выше меня, седая и гневная, – не говоря худого слова, закатывает господину Антону несколько оплеух, хватает его за шиворот и тащит на станцию. «Если уж ему суждено, – говорит она, – то с таким же успехом он может погибнуть и у нас внизу». И увозит его домой.

Все, кто слышал это, рассмеялись, ибо господин Сеттембрини рассказывал очень забавно. Итальянец был, видимо, в курсе всех последних новостей, хотя и отзывался весьма критически и насмешливо о той совместной жизни, которую вели «здесь наверху» обитатели санатория. Но он знал все. Знал фамилии и в общих чертах жизненные обстоятельства каждого вновь прибывающего; рассказывал, что вчера такому-то или такой-то сделали резекцию ребра, и утверждал, ссылаясь на самые достоверные источники, что с осени больше не будут принимать больных с температурой выше 38,5. А этой ночью, сообщил он затем, собачка мадам Капатсулиас из Митилены уселась на электрическую кнопку светового сигнала на ночном столике своей госпожи, в результате чего поднялся шум и беготня, тем более что мадам Капатсулиас оказалась не одна, а в обществе асессора Дюстмунда из Фридрихсхагена. Даже доктор Блюменколь не мог не улыбнуться, а хорошенькая Маруся так хохотала в свой апельсинный платочек, что чуть не задохнулась; фрау Штер же пронзительно вскрикивала, прижимая обе ладони к левой груди.

Однако двоюродным братьям Лодовико Сеттембрини рассказывал и о себе, о своем происхождении – то на прогулке, то вечерами, когда все общество собиралось в гостиной, или после обеда, когда столовая уже пустела, а они втроем еще сидели на своем конце стола; «столовые девы» убрали посуду. Ганс Касторп покурил свою «Марию Манчини», вкус которой он на третьей неделе своего пребывания здесь опять начал понемногу ощущать. Настороженный и удивленный, но готовый поддаться влиянию этого человека, слушал он рассказы итальянца, раскрывавшие перед ним странный и безусловно новый мир.

Сеттембрини говорил о своем деду, который был в Милане адвокатом, но прежде всего горячим патриотом и в изображении внука представлял

чем-то вроде политического агитатора, оратора и журналиста, – он тоже был оппозиционером, как и внук, по в более смелых и крупных масштабах. Ибо если Лодовико, по его собственному горькому признанию, вынужден был в своем злословии ограничиваться людьми и их жизнью в интернациональном санатории «Берггоф», насмешливо критикуя во имя прекрасной и радостно-деятельной человечности их узость и мещанство, – его дед доставлял немало хлопот правительствам; он организовывал заговоры против Австрии и Священного Союза, который в ту эпоху держал его раздробленное отечество в цепях незримого рабства, он был пылким участником особых, распространенных тогда в Италии тайных обществ – короче говоря, карбонарием^[52], как заявил Сеттембрини, вдруг понизив голос, будто и сейчас еще опасно упоминать об этом. Словом, по рассказам его внука, Джузеппе Сеттембрини представлялся обоим слушателям натурой загадочной, пылкой и мятежной, подстрекателем и заговорщиком, и при всем уважении, которое они из вежливости старались выказать к этой фигуре, им не удавалось вполне подавить на своих лицах выражение некоторого скептического недоверия и даже неприязни. Правда, дело тут было особое: все, что они слышали, происходило почти сто лет назад и уже стало историей, а что касается истории, особенно древней, то примеры исступленной любви к свободе и неукротимой ненависти к тирании были обоим хорошо известны, и они этим людям теоретически даже сочувствовали, но не представляли себе, что могут так по-человечески близко с ними соприкоснуться. Кроме того, деятельность повстанца и заговорщика была у этого дедушки, видимо, тесно связана с горячей любовью к отечеству, которое он жаждал видеть единым и свободным; да и сама бунтарская его деятельность явилась плодом и результатом такой любви; хотя кузенам и казалось странным это сочетание в одном лице мятежника и патриота, ибо они привыкли отождествлять любовь к отечеству с обереганием традиционных порядков, все же им пришлось в душе согласиться, что там и при тогдашнем положении дел такое бунтарство могло быть гражданской добродетелью, а лояльность и приверженность к старым порядкам – косным равнодушием к жизни общества.

Однако дед Сеттембрини был не только итальянским патриотом, он был согражданином и соратником всех народов, жаждущих свободы, ибо после крушения попытки к государственному перевороту, предпринятой в Турине^[53], – он принимал в ней участие словом и делом, причем едва ускользнул от ищеек Меттерниха, – дед употребил свое изгнание на то,

чтобы бороться и проливать свою кровь в Испании за конституцию и в Греции – за независимость эллинов^[54]. В это время родился отец Сеттембрини, почему, вероятно, и стал великим гуманистом и поклонником классической древности; впрочем, его мать была немкой – Джузеппе женился в Швейцарии и во время своих дальнейших приключений всюду возил с собой жену. Позднее, после десяти лет эмиграции, он вернулся на родину, сделался в Милане адвокатом, но отнюдь не отказался от того, чтобы пером и словом, стихом и прозой звать свой народ к свободе и восстановлению единства республики, с диктаторским размахом разрабатывать план государственного переворота и открыто проповедовать объединение и освобождение народа ради всеобщего счастья. Одна деталь, о которой упомянул Сеттембрини-внук, произвела особенно сильное впечатление на молодого Ганса Касторпа, а именно, что дедушка Джузеппе при жизни появлялся среди своих сограждан только в черной траурной одежде, ибо, как он заявил, он страдалец за Италию, свою родину, прозябающую в рабстве и нищете. Услышав об этом, Ганс Касторп уже не в первый раз вспомнил собственного деда, который, насколько помнил внук, тоже всегда носил черное, но совсем по другим основаниям, чем дед Сеттембрини: это была старинная мода, которую Ганс-Лоренц Касторп присвоил себе, чтобы подчеркнуть свою непричастность к настоящему и глубокую, коренную связь своей сущности с прошлым. Он оставался верен ей до тех пор, пока смерть торжественно не сочетала его временный образ (в брыжах) с подлинным и изначальным.

Вот уж эти два деда были действительно полной противоположностью! Ганс Касторп задумался, причем взгляд его стал неподвижным, и он осторожно покачал головой, что могло быть принято и за восхищение перед Джузеппе Сеттембрини, и за неприятие и отрицание. Он добросовестно старался не осуждать сразу же то, что ему казалось чуждым, а ограничиваться сравнениями и определениями. Он видел внутренним взором высохшую голову старика Ганса-Лоренца Касторпа, который, стоя в зале и задумчиво склоняясь над чуть золотящимся круглым ободком крестильной чаши, этой неподвижной и все же странствующей семейной реликвии, приоткрывает рот и произносит слог «пра», далекий и благочестивый звук, напоминающий о таких местах, кудаходишь на цыпочках и почтительно наклонившись вперед. И видел, как Джузеппе Сеттембрини с трехцветным флагом в руке, воздев к небу черные очи и размахивая саблей, бросается во главе кучки борцов за свободу на фалангу защитников деспотизма. В обоих была, пожалуй, своя красота и доблесть, думал Ганс Касторп, тем более стремясь к терпимости, что сам он – по

личным или наполовину личным причинам – сочувствовал одной из этих партий. Ведь дед Сеттембрини сражался за политические права, его же собственный дед или во всяком случае предки деда и были теми, кто владел первоначально всеми этими правами; но за четыре века мятежная чернь с помощью хитроумных речей и насилия вырвала у них эти права... И тот и другой неизменно ходили в черном, дед северный и дед южный, и оба делали это, чтобы подчеркнуть строгое расстояние между собой и неприемлемой для каждого современностью. Но один одевался так из праведности, во имя прошлого и умершего, которому он принадлежал всем существом; другой же, напротив, из бунтарства, во имя враждебного всякой праведности прогресса. Да, это были два мира, две различных страны света, и Ганс Касторп, слушая рассказы господина Сеттембрини, испытующе заглядывал то в одну, то в другую, и ему казалось, что он однажды это уже испытал. Ему вспомнилась его одинокая прогулка в лодке по одному озеру в Голштинии как-то вечером, в конце лета. Было семь часов, солнце уже садилось, на востоке, над поросшим кустами берегом, всходила почти полная луна. И вот, когда Ганс Касторп греб, скользя по тихой воде, в течение каких-нибудь десяти минут все вокруг показалось ему вдруг необычайно странным, какой-то фантаσμαгорией. На западе еще царил день, и там был разлит трезвый и жесткий, бесспорно дневной свет, но достаточно было повернуть голову, и он видел так же бесспорно волшебную, затканную влажными туманами лунную ночь. Эта удивительная двойственность продолжалась самое большее четверть часа, потом победили ночь и луна; но взор Ганса Касторпа, пораженный и зачарованный, с радостным изумлением переходил от одного ландшафта и освещения к другому, от дня к ночи и от ночи снова к дню. Этот вечер ему невольно сейчас и вспомнился.

Особым знатоком права и крупным ученым, продолжал свои размышления Ганс Касторп, адвокат Сеттембрини едва ли мог быть, если принять во внимание его беспокойный образ жизни и многоликую деятельность. Но общая основа права, если верить внуку, воодушевляла его с малых лет и до самой могилы, – и Ганс Касторп, хотя голова у него не слишком ясно работала и он порядком отяжелел после обычного берггофского обеда в шесть блюд, все же пытался понять, что имеет в виду Сеттембрини, называя эту основу «источником свободы и прогресса». До сих пор молодой человек разумел под этим нечто вроде развития подъемных механизмов в девятнадцатом веке; причем сам Сеттембрини и его дед, видимо, вполне оценивали значение таких вещей, как техника. Итальянец высоко ставил отечество своих двух слушателей. Немцы,

говорил он, изобрели не только порох, превративший в хлам броню феодализма, но и печатный станок, а он сделал возможным демократическое распространение идей, то есть распространение демократических идей. За это Сеттембрини и восхвалял Германию, хотя в отношении прошлого почитал справедливым отдать пальму первенства своей стране, ибо, в то время как другие народы еще прозябали во мраке суеверия и рабства, она подняла знамя борьбы за прогресс, науку и свободу. Но если он и отдавал должную дань уважения технике и развитию путей сообщения – области, в которой работал Ганс Касторп, – и уже высказывался в этом смысле при первой встрече с кузенами у скамьи над обрывом, все же почитал он эти силы не ради них самих, а ради их значения для морального совершенствования человека, и он счастлив, что может приписать им такое значение, ибо техника все больше подчиняет себе природу и, создавая средства сообщения, сеть дорог и телеграфной связи, помогает преодолению климатических различий и показывает, что она надежнейшее средство для сближения народов: техника способствует их более тесному знакомству, выравнивает различия между людьми, разрушает предрассудки и должна привести к всеобщему объединению. Первоначально человеческий род вышел из мрака, страха и ненависти, но сияющим путем движется он вперед и ввысь к конечному состоянию симпатии, внутренней ясности, навстречу добру и счастью. И на этом пути техника – самое передовое орудие развития. Однако в своих утверждениях Сеттембрини отважно, точно одним махом, соединял такие категории, которые Ганс Касторп привык до сих пор мыслить отдельно, как очень далекие друг от друга. Техника и мораль! – провозгласил Сеттембрини. А потом действительно заговорил о христианстве и о Спасителе, впервые принесшем как откровение идеи равенства и единства, причем печатный станок весьма мощно способствовал распространению этих идей, а великий революционный переворот во Франции возвел их в закон. Однако при этих словах молодой Ганс Касторп по какой-то неопределенной причине вдруг почувствовал, что он вполне определенно сбит с толку, хотя все это было изложено Сеттембрини совершенно ясно и без обиняков. Один раз, продолжал итальянец, один-единственный раз его дед, и притом в самом начале своих зрелых лет, испытал подлинное счастье, и это было в дни Июльской революции в Париже. Вслух и публично заявил он тогда, что придет время, когда все люди будут считать эти три парижских дня равными шести дням творения. Тут уж Ганс Касторп не выдержал, он стукнул кулаком по столу, ибо был безмерно удивлен. Как же можно было три летних дня в июле 1830 года^[55], когда парижане создали себе новую

конституцию, поставить рядом с теми шестью, когда господь бог отделил сушу от воды и сотворил светила небесные, цветы и деревья, рыб и птиц и всяческую жизнь? Сеттембрини явно хватил через край, и Ганс Касторп, оставшись потом наедине с Иоахимом, откровенно и решительно выразил ему свое негодование и заявил, что подобное сравнение даже непристойно.

И все же он был готов подвергнуться чужому влиянию, ибо ему было интересно производить над собой опыты, и хотя теории Сеттембрини противоречили его пиетету, его укоренившимся взглядам и вкусам, он подавлял в себе протест против этих теорий – ведь то, что представлялось ему порочным, могло быть просто смелостью, и то, что он ощущал как безвкусицу, там и в те времена могло считаться величием духа или хотя бы благородной крайностью, – когда, например, дед Сеттембрини назвал баррикады «престолом народа» и заявил, что «копье гражданина» должно быть «освящено на алтаре человечества».

Ганс Касторп догадывался, почему он так внимательно слушает Сеттембрини, – правда, еще не вполне отчетливо, но догадывался: он считал это, в каком-то смысле, своим долгом, уже не говоря о том особом ощущении каникулярной безответственности, возникающей обычно у путешественника и у гостя, – они ни от чего не замыкаются и отдаются любому впечатлению, ибо знают, что завтра или послезавтра опять снимутся с места и вернутся к привычному строю жизни; что-то вроде веления совести – вернее, веления и голоса не вполне чистой совести – заставляло его слушать рассуждения итальянца, сидя закинув ногу на ногу и покуривая свою «Марию Манчини», или когда они втроем поднимались из английского квартала в «Берггоф».

Сеттембрини изображал дело так, что в основе борьбы за господство на земле лежат два принципа: сила и право, тирания и свобода, суеверие и знание, принцип косности и принцип кипучего движения вперед, прогресса. Первый можно назвать началом азиатским, второй – европейским, ибо именно Европа – родина бунта, критики и преобразующей деятельности, тогда как Восток является воплощением неподвижности и бездеятельного покоя. Не может быть никакого сомнения в том, какая из этих двух сил в конце концов победит: конечно, та, которая движет просвещением и разумным совершенствованием. Ибо все новые народы, захваченные гуманизмом, вступают на блистательный путь развития, все большую территорию завоевывает он в самой Европе, начинает проникать и в Азию. Но еще многого не достаёт для полной победы, и еще много благородных и жертвенных усилий должны приложить те, кто хочет блага и чей светоч не погас, чтобы и в тех странах,

где еще не было ни восемнадцатого века, ни 1789 года, наконец рухнули монархии и религиозные системы. Но этот день придет, заявил Сеттембрини и лукаво усмехнулся под шелковистыми усами, он придет, если не голубиной поступью, то прилетит на орлиных крыльях, и взойдет утренняя заря всеобщего братства народов под знаком разума, науки и права; он принесет священный союз гражданской демократии как сияющий противовес трижды проклятому союзу государей и министерских кабинетов^[56], личным и смертельным врагом которых был дед Джузеппе, – словом, всемирную республику. Для этой конечной цели необходимо прежде всего нанести удар по азиатскому, рабскому началу, поразить самый центр косности, жизненный нерв его сопротивления, а он находится в Вене. Австрию надо разрушить и разбить наголову – во-первых, чтобы отомстить за прошлое, во-вторых, чтобы проложить пути для господства права и счастья на земле.

Этот последний поворот мысли и выводы, к которым приводили Сеттембрини его широковещательные рассуждения, уже не интересовали Ганса Касторпа, они просто не нравились ему и даже как-то болезненно задевали, точно он ощущал в них личное или национальное озлобление – уже не говоря об Иоахиме, который, едва итальянец заговаривал на эту тему, хмурился, отвертывался, старался не слушать, напоминал о том, что пора выполнять какое-нибудь очередное предписание, либо сворачивал на другое. Да и Ганс Касторп не считал нужным уделять внимание такого рода отклонениям мысли – они выходили за пределы тех взглядов итальянца, воздействию которых он, в виде опыта, готов был подчиниться; так приказывала ему совесть, притом он слышал ее голос столь явственно, что, когда Сеттембрини к ним подсаживался или присоединялся во время прогулок, Ганс Касторп даже сам толкал его на высказывания его идей.

Эти идеи, идеалы и устремления воли, как обычно подчеркивал Сеттембрини, передавались в их семье из поколения в поколение. Все трое отдали им всю свою жизнь и духовные силы – дед, отец и внук, каждый на свой лад; отец не меньше, чем дед Джузеппе, хотя он не был, как дед, политическим агитатором и борцом за свободу, а лишь тихим ученым с чувствительной душой, гуманистом, который провел всю жизнь за письменным столом. Но что такое гуманизм? Любовь к человеку – вот в нем основное, а потому гуманист вместе с тем и политик и бунтарь против всего, что пачкает и унижает идею человека. Гуманизм упрекают в том, что он придает чрезмерное значение форме; но ведь и к прекрасной форме он стремится в конце концов во имя человеческого достоинства и является поэтому блестящей противоположностью средневековья, погрязшего не

только в суевериях и человеконенавистничестве, но и в постыдной бесформенности. Гуманизм с самого начала боролся за свободу мысли, за жизнерадостность, за то, чтобы небо предоставить воробьям. Прометей! Вот кто был первым гуманистом, и он – то же самое, что Сатана, которого Кардуччи воспел в своих гимнах... Боже мой! Если бы кузены слышали, как этот исконный враг церкви, выступая в Болонье, громил христианское слюнтяйство романтиков и издевался над ним! Над священными песнями Манцони^[57]! Над поэзией теней и лунного света итальянского романтизма, который он называл «бледной монахиней неба – луной»! Per Vaccho^[58], какое наслаждение было слушать его! А как он, Кардуччи, толковал Данте! Он прославлял его как гражданина «большого города»^[59], который отстаивал мятежную силу, перестраивающую и улучшающую жизнь, и боролся против аскетизма и отрицания действия, ибо в лице «Donna gentile e pietosa»^[60] поэт воспел вовсе не ту худосочную тень Беатриче, которой поклонялись мистагоги^[61]: нет, так звалась его супруга, и она в этом стихотворении является воплощением земной мудрости и практического труда...

Ганс Касторп наконец-то услышал кое-что о Данте, и притом из самого авторитетного источника. Он, конечно, не мог положиться вполне на слова такого краснбая, как Сеттембрини, но все же очень интересно, что Данте был, оказывается, просвещенным жителем большого города. Поэтому Ганс Касторп продолжал слушать, а Сеттембрини уже начал рассказывать о себе и заявил, что в его лице, в лице внука Лодовико, соединились тенденции ближайших предков – гражданские идеалы деда и гуманистические – отца, и это выразилось в том, что он сам стал литератором, свободомыслящим писателем. Ибо литература есть не что иное, как сочетание гуманизма и политики, причем такое сочетание тем естественнее, что сам гуманизм уже есть политика, я политика – это гуманизм.

Тут Ганс Касторп насторожился, он силился постигнуть последнее утверждение итальянца, надеясь, что теперь ему наконец-то откроется вся бездна невежества пивовара Магнуса и что литература окажется не только изображением «возвышенных натур».

А слышали когда-нибудь молодые люди, осведомился Сеттембрини, о Брунетто Латини^[62], который был городским писцом во Флоренции в 1250 году? Им написана книга о добродетелях и пороках. Он впервые придал флорентинцам надлежащий лоск, научил их ораторскому мастерству и искусству управлять своей республикой по законам политики.

– Вот, заметьте это себе, милостивые государи! – воскликнул

Сеттембрини. – Заметьте! – И он заговорил о «слове», о культе слова, красноречия и назвал его торжеством человечности. Ибо слово – это человеческая честь, и лишь слово делает жизнь достойной человека. Не только гуманизм – гуманность вообще, исконное уважение к человеку и человеческое самоуважение от слова неотделимы, они связаны и с литературой. («Видишь, – говорил позднее Ганс Касторп двоюродному брату, – видишь, значит в литературе все дело в красивых словах. Я сразу это почуял».) Поэтому с ним связана и политика, или правильнее будет сказать: она возникает из их союза, из единства гуманизма и литературы, ибо прекрасное слово рождает прекрасное деяние.

– В вашей стране, – продолжал Сеттембрини, – жил двести лет тому назад писатель, чудесный старый болтун. Он придавал огромное значение почерку, ибо считал, что прекрасный почерк приводит к прекрасному стилю. Ему следовало пойти немного дальше и сказать, что прекрасный стиль приводит к прекрасным деяниям. – Прекрасно писать, продолжал он, развивая свою мысль, это почти то же, что прекрасно мыслить, а от такой мысли уже недалеко и до прекрасного деяния. Всякая нравственность и нравственное совершенствование рождаются из духа литературы, ибо он является одновременно выражением чувства человеческого достоинства, гуманности и политики. Да, это одно, одна и та же сила, та же идея, и все это воплощено в одном слове. Какое же это слово? Оно складывается из весьма знакомых нам слогов, весь смысл и величие которых его собеседники едва ли когда-нибудь осознали до конца; это слово – цивилизация! И в то время как губы Сеттембрини выговаривали «цивилизация», он поднял желтоватую правую ручку, словно провозглашая тост.

Молодой Ганс Касторп решил, что все это очень интересно, но, конечно, ни к чему не обязывает, и слушаешь просто так, в виде опыта, а интересно очень, он так и заявил Иоахиму Цимсену, хотя тот держал во рту градусник и мог отвечать только мычанием; к тому же он старался рассмотреть цифру на шкале и занести ее в таблицу и был этим настолько занят, что не мог высказать свое мнение по поводу теорий Сеттембрини. Что касается Ганса Касторпа, то, как мы уже упоминали, он охотно выслушивал всякие теории, не замыкался перед ними, впускал в свой внутренний мир для проверки; причем не мог не отметить, насколько человек бодрствующий выгодно отличается от погруженного в дурацкую мечтательность. Когда Ганс Касторп бывал в таком состоянии, он мысленно не раз бросал в лицо Сеттембрини слово «шарманщик» и изо всех сил пытался оттереть от остального общества, ибо итальянец «мешал»; когда

же он бодрствовал, то вежливо и внимательно выслушивал его речи и добросовестно старался сгладить и подавить поднимавшиеся в нем возражения против взглядов и мнений этого самозванного ментора. Ибо возражения просыпались в нем, этого он не мог отрицать; одни жили в его душе раньше, всегда и неизменно, другие возникали из теперешнего положения вещей, из его отчасти явных, отчасти потаенных переживаний «здесь наверху».

Но что же такое человек? Почему так легко обманывает себя его совесть? И когда в нем говорит «долг», почему ухитряется он услышать даже в голосе долга поощрение своей страсти? Из чувства долга, во имя объективности и справедливости выслушивал Ганс Касторп декларации Сеттембрини и с самыми благими намерениями обдумывал его взгляды на разум, республику и прекрасный стиль, готовый поддаться их воздействию. И тем легче предоставлял он своим мыслям и мечтам уноситься в совсем противоположном направлении; говоря откровенно, мы подозреваем, мы даже убеждены в том, что он ради того только и выслушивал Сеттембрини, чтобы получить от своей совести то разрешение, которого она ему до сих пор не давала. Но что или кто же находился на другом берегу, противоположном патриотизму, человеческому достоинству и гуманистической литературе, на берегу, к которому Ганс Касторп считал себя вправе вновь устремить свои чувства и помыслы? Там находилась... Клавдия Шоша с ее киргизскими глазами, расслабленная, подточенная червем болезни; и когда Ганс Касторп вспоминал о Клавдии (впрочем, «вспоминал» слишком равнодушное слово, чтобы выразить всю его устремленность к ней), ему снова чудилось, будто он в Голштинии, на озере, сидит в челноке и переводит усталый, ослепленный взор с западного берега, залитого жестким, словно глянцеvitым, дневным светом, на восточную часть неба, где царит окутанная туманами лунная ночь.

Градусник

Ганс Касторп считал недели своего пребывания в санатории от вторника до вторника, так как он прибыл во вторник. Уже прошло несколько дней после оплаты счета, представленного за вторую неделю, – ровно 160 франков, что в конце концов очень скромно и дешево, особенно если принять во внимание то неоплачиваемое, что входило в состав здешней жизни, – правда, его и оплатить нельзя, поэтому оно, видно, и не вносилось в счет, – а также некоторые развлечения, стоимость которых при желании вполне можно было высчитать, – как, например, курортные концерты два раза в месяц или лекции Кроковского. Нет, это было недорого, даже если считать только обслуживание, удобную комнату и пять обильных трапез в день.

– Действительно не бог весть сколько, скорее дешево, жаловаться не приходится, – говорил гость аборигену. – Значит, тебе нужно в месяц... ну, скажем, шестьсот пятьдесят франков за стол и квартиру, а ведь сюда входит еще и лечение. Допустим, ты за месяц выложишь еще тридцать франков чаевых, если ты человек порядочный и тебе приятно видеть вокруг приветливые лица. Выходит всего шестьсот восемьдесят франков. Хорошо. Ты скажешь, что есть еще всякие побочные и накладные расходы. Ну, ведь тратишь же деньги на вино, косметику, сигары, иной раз пойдешь куда-нибудь или захочешь прокатиться, время от времени оплачиваешь счет сапожника или портного. Допустим. Однако, при всем желании, ты даже тысячи франков в месяц не истратишь! Даже восьмисот марок. А в год это не составит и десяти тысяч марок. И уж во всяком случае не больше. Но ты примерно столько и проживаешь.

– Считать в уме – дело похвальное, – отозвался Иоахим. – Я и не подозревал, что ты в этом так силен. Ты сразу вывел всю сумму за год, и это не малое достижение. Ты определенно кой-чему научился здесь наверху. Но ты насчитал слишком много. Сигар я не курю и шить себе здесь костюмы тоже не намерен, спасибо!

– Вот видишь, значит даже слишком много, – сказал Ганс Касторп, несколько сбитый с толку. Как вышло, что он включил в расходы кузена сигары и новые костюмы? Однако эта особая способность считать в уме – чистейший обман и заблуждение. Он и в этом, как и во всем остальном, скорее был медлителен и лишен огня, а его сообразительность в данном случае отнюдь не была импровизацией, она была тщательно подготовлена,

и даже в письменном виде, ибо Ганс Касторп однажды вечером, во время лежания (он по вечерам лежал на воздухе, как все), встал со своего особенно удобного шезлонга и, следуя внезапно возникшей мысли, принес из комнаты карандаш и бумагу для подсчета. Тогда-то он и установил, что его двоюродному брату, да и вообще любому пациенту, чтобы существовать здесь, нужно двенадцать тысяч франков в год, и для забавы высчитал, что лично он вполне мог бы жить в санатории постоянно, ибо располагал восемнадцатью – девятнадцатью тысячами франков в год.

Итак, вот уже три дня как счет за вторую неделю был оплачен, и Ганс Касторп рассчитался к обоюдному удовольствию; другими словами – уже наступила середина третьей, а следовательно, и последней недели его пребывания здесь наверху. В воскресенье он еще раз вместе со всеми прослушает очередной концерт для курортников, в понедельник будет присутствовать на очередной лекции Кроковского, – так сказал он себе и двоюродному брату, а во вторник или в среду уедет, и Иоахим опять останется один, бедняга Иоахим, которого Радамант приговорил еще к бог знает скольким месяцам сидения здесь и чьи мягкие черные глаза всякий раз затуманивались грустью, когда заходила речь о столь быстро приближающемся отъезде Ганса Касторпа. Да, подумать только, вот и конец отпуска! Пронесся, пролетел, миновал – даже не скажешь как. Ведь все-таки им предстояло провести вместе ни больше, ни меньше как двадцать один день, это целая вереница дней, которую сначала как будто и глазом не окинешь. И вот вдруг оказалось, что остается всего каких-нибудь три-четыре куцых денька, правда как быотяжеленных двумя периодическими отступлениями от нормального дневного распорядка, но тем не менее уже полных мыслями о прощании и сборах в дорогу. Да, три недели здесь наверху – это ничто, ему все об этом твердили. Самая малая единица времени – месяц, сказал Сеттембрини, и так как Ганс Касторп не прожил здесь даже полного месяца, это было ничто, а не пребывание, мимолетный визит, по выражению гофрата Беренса. Может быть, то обстоятельство, что время проносилось здесь мгновенно, зависело от повышенного общего сгорания? И если Иоахиму предстоит прожить в «Берггофе» еще пять месяцев и этим ограничиться, то такая ускоренность жизни здесь должна даже утешать его. Но на протяжении данных трех недель братьям следовало больше ценить и учитывать время, как при измерении температуры, когда предписанные семь минут кажутся такими долгими. Гансу Касторпу было искренне жаль двоюродного брата, у которого можно было по глазам прочесть печаль от близкой разлуки с кузеном и утраты человеческого общения между ними; особенно жгучей

становилась эта жалость, когда отъезжающий думал о том, что бедняга Иоахим будет тут жить и жить, а он опять вернется на равнину и начнет работать в области сближающей народы техники средств сообщения; эта жгучая жалость отзывалась порой в груди прямо-таки физической болью, до того резкой, что он даже начинал сомневаться, окажется ли в силах бросить Иоахима здесь наверху в одиночестве. Столь мучительное ощущение, вероятно, и было причиной того, что он по собственной инициативе все реже упоминал о предстоящем отъезде; и только Иоахим время от времени наводил разговор на эту тему; Ганс Касторп же, как мы упоминали, из врожденного такта и деликатности до последней минуты как будто не хотел даже вспоминать о нем.

– Будем по крайней мере надеяться, – говорил Иоахим, – что, когда ты вернешься вниз, ты почувствуешь, насколько здесь у нас отдохнул и освежился.

– Да, значит, я буду всем кланяться и скажу, что ты приедешь самое позднее через пять месяцев, – отвечал Ганс Касторп. – Отдохнул? Ты хочешь знать – отдохнул ли я за эти несколько дней? Допускаю. Несмотря на очень короткий срок, я все-таки отдохнул. Но, с другой стороны, я столкнулся здесь наверху с совершенно новыми переживаниями, – новыми во всех отношениях и очень интересными, но также и утомительными для души и для тела, и у меня нет ощущения, что я с ними справился и вполне акклиматизировался, а ведь это, вероятно, первое условие всякого отдыха. Моя «Мария», слава богу, стала прежней, вот уже несколько дней как я опять курю ее с удовольствием. Но время от времени у меня все еще появляется кровь на платке, когда я сморкаюсь, а от этого чертова жара в лице и нелепого сердцебиения я, видно, до самого отъезда не избавлюсь. Нет, нет, насчет акклиматизации и говорить не приходится, да и срок был слишком короткий. Чтобы вполне акклиматизироваться и справиться со всеми здешними впечатлениями, надо прожить тут подольше, только тогда можно было бы говорить о поправке и прибавлении белка. А жаль; жаль потому, что я действительно совершил ошибку, мне следовало уделить больше времени для жизни здесь, да и возможность в конце концов была. И у меня такое чувство, что дома, на равнине, мне придется отдыхать от этого отдыха и отсылаться еще три недели, такая меня иногда охватывает усталость. А тут еще, как назло, привязался катар...

Казалось, что Ганс Касторп в самом деле приедет на родину с отчаянным насморком. Должно быть, он простудился именно во время вечернего лежания на воздухе, в котором вот уже неделя как участвовал, несмотря на сырую и холодную погоду, видимо решившую не сдаваться до

самого его отъезда. Но он уже знал, что здесь такую погоду не считают плохой: понятие «плохая погода» тут наверху было вообще довольно неопределенным, больные не боялись никакого ненастья, на него почти не обращали внимания, и Ганс Касторп, с присущей молодежи впечатлительностью и готовностью перенимать взгляды и нравы окружающей среды, – Ганс Касторп начал так же относиться к погоде. Если дождь лил как из ведра, это еще не значило, что воздух стал менее сухим. Вероятно, так оно и было, ведь голова все равно горела, точно находишься в слишком жарко натопленной комнате или выпил лишнее. Что касается холода, даже весьма значительного, то прятаться от него в комнату было бессмысленно, так как, если не шел снег, отопление бездействовало, и сидеть дома было несколько не уютнее, чем лежать в зимнем пальто, ловко завернувшись в два толстых шерстяных одеяла, на своем балкончике. Даже напротив: такое лежание было несравненно уютнее, то есть попросту оказывалось самым приятным жизненным положением, в котором Ганс Касторп когда-либо находился, причем на эту оценку отнюдь не могло повлиять ироническое заявление некоего писателя и карбонария, что положение сие присуще «горизонталам». Особенно приятным бывало оно по вечерам, когда на столике рядом горела лампочка, Ганс Касторп посасывал любимую сигару, доставлявшую ему опять прежнее удовольствие, и наслаждался неизъяснимыми удобствами здешних шезлонгов; правда, кончик носа леденел, руки, державшие все те же «Ocean steamships», стыли и синели, но через арку лоджии он любовался темнеющей долиной, где огоньки горели то россыпями, то гроздьями и откуда каждый вечер, по крайней мере в течение часа, сюда наверх доносилась музыка, знакомые певучие звуки, приятно смягченные расстоянием: фрагменты из опер, отрывки из «Кармен», «Трубадура»^[63] и «Фрейшютца»^[64], мелодичные вальсы, бравурные марши, в такт которым бодро покачиваешь головой, резвые мазурки. Мазурки? Марусей звали ее, эту девушку с маленьким рубином на пальце; а на соседнем балкончике за толстой стенкой из молочного стекла лежал Иоахим, и время от времени Ганс Касторп осторожно перебрасывался с ним несколькими словами, учитывая присутствие всех других лежавших по соседству «горизонталов». Иоахиму тоже лежалось неплохо на его балкончике, но он был немзыкален и не мог так живо наслаждаться вечерними концертами, как Ганс Касторп. Тем хуже для него. Зубрит, наверно, вместо этого русскую грамматику!

Сам Ганс Касторп быстро забывал о лежавших на одеяле «Ocean

steamships» и с увлечением слушал музыку, радостно открывая для себя ее прозрачную фактуру; а когда оркестр исполнял какую-нибудь особенно характерную, полную настроения музыкальную пьесу, он с готовностью отдавался ее воздействию и вспоминал при этом даже с враждебностью рассуждения Сеттембрини, когда тот, например, заявлял, что считает музыку политически неблагонадежной; ведь такое заявление, в сущности, ничем не лучше разговоров его деда Джузеппе об Июльской революции и шести днях творения.

Да, Иоахим не мог так наслаждаться музыкой, чуждо было ему и удовольствие от курения пряной сигары; но он столь же удобно, как и кузен, располагался на своем балкончике, вкушая уединение и спокойствие. День кончался, и с ним кончались все тревоги, можно было быть уверенным, что сегодня уже больше ничего не произойдет, нас уже не постигнут никакие потрясения, мышцам нашего сердца не понадобится усиленно работать, и вместе с тем не приходилось сомневаться, что завтра, со всей вероятностью, вытекающей из ограниченности, своеобразия и тех или иных сочетаний обстоятельств, все начнется сначала; двойное ощущение неизбежности этого завтра и безопасности на сегодня было особенно приятно и, вместе с музыкой и вновь обретенным удовольствием от курения «Марии», делало для Ганса Касторпа вечернее лежание одним из наиболее счастливых состояний его жизни.

Однако, невзирая на все приятности, этот гость, этот хлипкий новичок успел во время вечернего лежания (а может быть, и еще где-нибудь) схватить сильную простуду. У него, видимо, начинался ужасный насморк, который сидел в лобной пазухе: нос заложило, язычок в гортани болел, воздух не входил, как обычно, по предназначенному для него каналу, а проникал с трудом, холодный и раздражающий, вызывая ежеминутный кашель; за ночь голос Ганса Касторпа превратился в глухой и сиплый, словно пропитой, бас; молодой человек, по его собственному свидетельству, всю ночь глаз не сомкнул и то и дело поднимал голову с подушки, так как горло удушливо саднила мучительная сухость.

– Вот досада, – сказал Иоахим, – даже как-то неловко. Простуды, как тебе известно, здесь не *gescus*^[65], их не признают, при особой сухости здешнего воздуха они официально отрицаются, и плохо пришлось бы тому пациенту, который вздумал бы заявить Беренсу, что простужен. У тебя, конечно, другое дело, ты в конце концов имеешь право простудиться. Хорошо, если бы нам удалось приостановить катар, внизу знают, как это сделать, но тут... сомневаюсь, чтобы тут этим хоть сколько-нибудь заинтересовались. Лучше у нас не болеть, все равно никто не обратит

внимания. Это давнишняя теория, напоследок и ты с ней столкнешься. Когда я приехал, здесь была одна дама, она целую неделю хваталась за ухо и жаловалась на боль; наконец Беренс посмотрел ей ухо. «Можете совершенно не беспокоиться, – сказал он, – это не туберкулез». На том дело и кончилось. Ну, посмотрим, чем тебе можно помочь. Завтра утром, когда ко мне придет массажист, я скажу ему. Такой здесь порядок, а он передаст кому следует, и, может быть, тебя все-таки полечат.

Так сказал Иоахим, и служебный механизм оправдал себя. В пятницу, когда Ганс Касторп возвратился к себе после утреннего моциона, в дверь постучали, и состоялось его личное знакомство с фрейлейн Милендонк, или «старшей», как ее называли; до сих пор он видел эту перегруженную заботами даму только издали – она либо выходила из комнаты больного, либо пересекала коридор, чтобы войти в другую, либо появлялась на минуту в столовой, и он слышал ее пискливый голос. Теперь она сама к нему пожаловала; услышав его кашель, она жестко и отрывисто постучала в дверь костяшками пальцев и, не успев сказать: «Войдите», распахнула ее, причем, шагнув через порог, тут же откинула голову и еще раз проверила номер.

– Тридцать четыре, – громко пискнула она. – Правильно. – Послушайте, молодой человек, *on me dit que vous avez pris froid. I hear, you have caught a cold. Wy, kaschetsja, prostudilisj*, – говорят, вы простудились? На каком языке прикажете объясняться с вами? Вижу, что по-немецки. А-а, гость молодого Цимсена... Но я спешу в операционную. Там нужно одного хлороформировать, а он наелся салата из бобов. За всем ведь не доглядишь. И как это вас угораздило здесь подхватить простуду?

Ганс Касторп был шокирован ее манерой выражаться, – а еще дама старого дворянского рода! Говоря, она все время забежала вперед, точно описывала петли, беспокойно вертела головой с задранной, что-то вынюхивающим носом, как хищная птица в клетке, и помахивала перед собой веснушчатой, слегка сжатой рукой с оттопыренным большим пальцем, словно хотела сказать: «Ну, живо, живо, живо! Говорите сами, не слушайте меня, тогда я скорее уйду». Ей было лет сорок – низенькая особа с бесформенной фигурой, в белом с поясом медицинском халате и с гранатовым крестиком на груди. Из-под сестринской шапочки выбивались жидкие рыжеватые космы, водянисто-голубые воспаленные глаза – на одном к тому же сидел весьма зрелый ячмень – неуверенно шныряли, нос был вздернутый, рот лягушачий, причем искривленная нижняя губа выдавалась вперед, и фрейлейн Милендонк при разговоре загребала ею, как лопатой. И все-таки Ганс Касторп разглядывал ее со всей той скромной

терпимостью и простодушным дружелюбием, какие были ему присущи.

– Что это еще за простуда, а? – снова спросила «старшая», пытаясь придать своему взгляду проницательность, что ей никак не удавалось, ибо глаза ее неудержимо бегали по сторонам. – Мы таких простуд не любим. А вы часто простужаетесь? Ваш двоюродный брат тоже часто простужался? Сколько вам лет? Двадцать четыре? В таком возрасте это бывает. Да, и вот вы приезжаете сюда наверх и схватываете простуду? А нам с вами, молодой человек, здесь не полагалось бы говорить о «простуде», эта чепуховина бывает только у вас там внизу. (Выражение «чепуховина» прозвучало как-то особенно неуместно и вульгарно в ее устах, при этом она противно выпятила нижнюю губу.) У вас самый настоящий катар дыхательных путей, допускаю, да и по глазам видно. (Она снова сделала попытку проницательно уставиться на него, и ей это опять не удалось.) Но катары бывают не от простуды, они бывают в результате инфекции, к которой человек оказался восприимчивым, и вопрос только в том, безобидная у вас инфекция или не очень безобидная, все остальное – чепуховина. (Опять это отвратительное слово.) Ваша восприимчивость, будем надеяться, имеет в большинстве случаев вполне безобидный характер, – продолжала она и как-то странно взглянула на него своим весьма зрелым ячменем. – Вот вам вполне безобидное антисептическое средство. Может быть, от него вам и станет легче. – Она извлекла из висевшей на поясе черной кожаной сумки какой-то пакетик и положила на стол. Это был формаминт. – Впрочем, вид у вас утомленный; точно у вас жар. – Она продолжала смотреть ему в лицо, причем взгляд ее все-таки соскальзывал куда-то в сторону.

– Вы измеряли температуру?

Он ответил отрицательно.

– А почему? – спросила она, подгребла искривленной нижней губой и выпятила ее.

Он промолчал. Этот малый был, видимо, еще очень молод, и у него осталась от школы привычка молчать, когда его спрашивают, а он не знает, что ответить.

– Вы что же – вообще никогда не измеряете температуру?

– Измеряю, сударыня. Когда у меня жар.

– Молодой человек, температуру измеряют прежде всего, чтобы узнать, есть ли жар. А сейчас, по вашему мнению, у вас нет жара?

– Право, не знаю, сударыня; никак не пойму. Познабливает меня и в жар бросает уже давно, с тех пор как я сюда приехал.

– Ага. А где же ваш градусник?

– Я не захватил его с собой, сударыня. Зачем? Ведь я приехал сюда

только в гости, я здоров.

– Чепуховина! И меня вы позвали потому, что здоровы?

– Нет, – вежливо улыбнулся он, – потому что я слегка...

– Простудились? Поверьте, такие простуды мы видели не раз. Натте! – сказала она, снова порылась в сумке, извлекая оттуда два длинных кожаных футляра, черный и красный, и положила на стол.

– Вот этот стоит три с половиной франка, а этот пять. Конечно, лучше если вы возьмете за пять, это уж на всю жизнь, разумеется при бережном обращении.

Улыбаясь, взял он со стола красный футляр и открыл. Словно некая драгоценность, лежал стеклянный термометр на красном бархате футляра, в желобке, точно соответствовавшем его форме. Градусы были отмечены красными черточками, десятые – черными. Цифры тоже были красные, тонкий нижний конец градусника заполнен зеркально отсвечивающей ртутью. Холодный ртутный столбик стоял очень низко – гораздо ниже цифры нормального животного тепла.

Ганс Касторп знал, как должен вести себя человек, у которого есть самоуважение и чувство собственного достоинства.

– Я возьму вот этот, – заявил он, даже не взглянув на другой. – Этот, за пять. Разрешите сейчас же...

– Идет! – пискнула старшая сестра. – Когда покупаешь полезную вещь, жадничать нечего! Не спешите, поставим вам в счет. Давайте сюда, мы еще его спустим, совсем вниз загоним, вот. – И она взяла у него из рук градусник, несколько раз встряхнула, так что ртуть упала еще ниже, до цифры 35.

– Не беспокойтесь! Меркурий опять поднимется, опять полезет вверх, – сказала она. – Вот вам ваша покупка! Вы, наверно, знаете, как это у нас делается? Суετε под ваш уважаемый язык, держите семь минут, четыре раза в день, покрепче сжимаете вашими драгоценными губами. До свиданья, молодой человек! Желаю утешительных данных.

Она исчезла.

Ганс Касторп, отвесив поклон, продолжал стоять у стола и смотрел то на дверь, в которую вышла Милендонк, то на оставленный ею градусник. «Значит, это и была старшая сестра фон Милендонк, – подумал он. – Сеттембрини терпеть ее не может, и действительно, в ней есть что-то неприятное. И этот ячмень безобразен, впрочем не всегда же у нее ячмень. Но почему она все время называет меня „молодой человек“? Да еще пропускает „в“ посередине? Что-то тут есть залихватское, неприятное. И градусник всучила мне – видно, всегда таскает запас в сумке. Говорят, их

здесь везде полным-полно, во всех магазинах, даже там, где никак не ожидаешь, говорил Иоахим. Но мне не пришлось и пальцем шевельнуть, чтобы достать его, как с неба свалился. – Ганс Касторп вынул из футляра изящную вещицу, поглядел на нее и тревожно прошелся с ней несколько раз по комнате. Сердце колотилось торопливо и громко. Он посмотрел на балконную дверь, потом сделал движение, словно хотел выйти в коридор и повидать Иоахима, однако передумал, остался у стола и откашлялся, чтобы проверить, не глухо ли звучит его голос. Потом опять кашлянул несколько раз. – Да, необходимо проверить, нет ли у меня жара от этого насморка», – сказал он себе, торопливо сунул градусник в рот, кончиком под язык, так что инструмент торчал у него наискось и вверх между губ, а губы крепко стиснул, чтобы не проникал воздух извне. Потом взглянул на часы-браслет: тридцать шесть минут десятого. И стал ждать, чтобы прошли семь минут.

«Ни одной секундой дольше, – думал он, – и ни одной секундой меньше. На меня можно положиться, не преуменьшу и не преувеличу. Ко мне не нужно подсаживать „немую сестру“, как к той особе, о которой нам рассказывал Сеттембрини, кажется ее звали Оттилия Кнейфер...» И он принялся ходить по комнате, прижимая градусник языком.

Время тянулось, назначенный ему срок казался бесконечно долгим. Когда он взглянул на стрелки, испугавшись, что пропустил нужное мгновение, он увидел, что прошло всего две с половиной минуты. Он делал тысячу движений, брал в руки разные предметы и водворял их на место, незаметно для двоюродного брата вышел на балкон и начал разглядывать пейзаж, эту высокогорную долину, все детали которой были ему уже так хорошо знакомы, ее пики, кряжи и отвесы, выступавшую слева кулису «Бременбюля», хребет которого косо спускался к Давосу, а склоны заросли буйным желтоголовником, горные нагромождения справа, названия которых он давно знал наизусть, Альтейнскую стену – отсюда представлялось, что она замыкает долину с юга, – посмотрел вниз, на клумбы и дорожки сада, на грот в скале и на пихту, прислушался к негромкому гулу голосов, доносившемуся из общей галереи, где лежали больные, вернулся в свою комнату, попытался переложить поудобнее термометр во рту, потом еще раз движением локтя обнажил запястье и поднес к глазам руку с часами. И вот наконец, насили-насили, точно их тащили, волокли и подгоняли пинками, прошли шесть минут. Но так как он, стоя посреди комнаты, вдруг задумался, и мысли его поплыли, то последняя минута проскользнула незаметно, точно кошка, новое движение локтя открыло ее тайное исчезновение; оказалось, что Ганс Касторп даже слегка запоздал, и уже прошла треть восьмой минуты, когда он, сказав себе,

что ничего тут страшного нет и это не имеет никакого значения, выхватил градусник изо рта и растерянно уставился на него.

Он не сразу разглядел его показания, блеск ртути сливался с отсветами на чуть скругленной стеклянной оболочке: то казалось, что ртутный столбик поднялся очень высоко, то он совсем исчезал; Ганс Касторп подносил градусник к глазам, вертел в разные стороны, но ничего не видел. Наконец, при удачном повороте, он уловил уровень столбика, отметил его и задумался. Меркурий действительно сильно вытянулся, столбик поднялся довольно высоко, на несколько десятых выше границы нормального тепла крови; у Ганса Касторпа было 37,6.

Утром, между десятью и половиной одиннадцатого, 37,6 – это многовато, это уже «температура», жар, появившийся в результате какой-то инфекции, к которой его организм оказался восприимчивым; весь вопрос в том – какая же это инфекция. 37,6 – выше температура не поднималась даже у Иоахима, да и ни у кого из ходячих больных, – только у тех, кто считался тяжело больным либо «морибундусом» и лежал в постели. Ни у Клеефельд с ее пневмотораксом, ни... ни у мадам Шоша. Правда, это не совсем то, у него ведь только «простудная» температура, как принято говорить внизу, в долине. Но отделить одно от другого и провести точную границу было бы трудно. Ганс Касторп подозревал, что не сейчас только, когда он проснулся, появилась эта температура, Меркурия следовало запросить раньше, с самого начала, как и рекомендовал гофрат Беренс. Теперь ясно, что его совет был очень разумен, а Сеттембрини был кругом неправ, когда так издевался над ним, – Сеттембрини со своей республикой и прекрасным стилем. Ганс Касторп теперь презирал и республику и прекрасный стиль, он все вновь и вновь проверял показания термометра, хотя ртутный столбик то и дело терялся в отсветах на стекле; но сколько бы он ни вертел термометр, он убеждался все вновь и вновь, что Меркурий показывает 37,6, и это – утром, задолго до полудня!

Ганса Касторпа охватило глубокое волнение. Он прошелся несколько раз по комнате с градусником в руке, причем продолжал держать его горизонтально, боясь, что если опустит, то изменятся и показания; затем бережно положил на умывальник, взял пальто и одеяла и вышел на балкон; устроившись в шезлонге, он накрылся одеялами, как его учили, уже опытной рукой подвернул с боков и снизу сначала одно, потом другое и вытянулся в кресле, ожидая второго завтрака и прихода Иоахима. Порой он улыбался, и, казалось, он улыбался кому-то. Порой его грудь судорожно поднималась, и из его пораженного катаром горла вырывался кашель.

Когда Иоахим в одиннадцать часов, с последним ударом гонга, зашел

за ним, чтобы вместе идти завтракать, он застал двоюродного брата еще в шезлонге.

– Ну что же ты? – удивленно спросил он, подходя к шезлонгу.

Ганс Касторп помолчал, глядя перед собой. Затем ответил:

– Да, последняя новость, у меня температура.

– Что это значит? – удивился Иоахим. – Тебя лихорадит?

Ганс Касторп опять помедлил с ответом, затем несколько небрежно пояснил:

– Лихорадит меня, дорогой мой, уже давно, с тех пор как я здесь. Но сейчас речь идет не о моих субъективных ощущениях, а о точных показаниях. Я измерял себе температуру.

– Измерял? Чем же? – испуганно воскликнул Иоахим.

– Градусником, конечно, – отозвался Ганс Касторп насмешливо и довольно строго. – «Старшая» продала мне градусник. Почему она упорно называла меня «молодой человек» – понять не могу. Корректностью она, видимо, не отличается. Но она, несмотря на спешку, продала мне очень хороший градусник, и если ты хочешь проверить, сколько на нем, можешь взглянуть, он в комнате, на умывальнике. Повышение минимальное.

Иоахим тут же повернулся и вошел в комнату, Выйдя снова на балкон, он сказал нерешительно:

– Да, тридцать семь и пять десятых с половиной...

– Значит, Меркурий немного опустился! – торопливо пояснил Ганс Касторп. – Было шесть.

– Минимальным это повышение никак нельзя назвать, ведь еще утро, – сказал Иоахим. – Приятный сюрприз, – продолжал он, стоя перед шезлонгом кузена, как стоят перед «приятным сюрпризом», – упершись руками в бока и склонив голову. – Придется тебе лечь в постель.

Но у Ганса Касторпа был готов ответ.

– Не вижу, – сказал он, – почему я с 37,6 должен укладываться в постель, когда многие, да и сам ты, с меньшей температурой разгуливаете точно здоровые.

– Но ведь тут другое дело, – возразил Иоахим, – у тебя заболевание острое и безобидное. Просто насморк с температурой.

– Во-первых, – начал Ганс Касторп, даже поделивший свою речь на «во-первых» и «во-вторых», – мне непонятно, почему при безобидном жаре – допустим, что такой жар бывает, – почему при безобидном жаре я должен лежать в постели, а при вредном – наоборот, быть на ногах. А во-вторых, я же тебе сказал, что насморк ничуть не усилил жар, который был и раньше. Я считаю, – закончил он, – что 37,6 – это 37,6. Если вы можете разгуливать

с такой температурой, то могу и я.

– Но мне пришлось пролежать четыре недели, когда я приехал, – вставил Иоахим, – и только когда выяснилось, что температура от постельного режима не снижается, мне разрешили встать.

Ганс Касторп улыбнулся.

– И что же? – спросил он. – Я думаю, так вышло потому, что у тебя нечто иное. Мне кажется, ты сам запутался. То ты настаиваешь на различии, то приравниваешь одно к другому. Это же чепуховина...

Иоахим резко повернулся на каблуке, и когда двоюродный брат опять увидел его загорелое лицо, оно казалось чуть темнее.

– Нет, – возразил Иоахим, – ничего я не приравниваю, путаник ты. Я хочу сказать одно: ты отчаянно простужен, ведь по голосу слышно, и тебе надо лечь, чтобы сократить процесс болезни, ведь ты же на той неделе решил ехать домой, но если ты не желаешь, я имею в виду – лечь, можешь этого не делать. Я ничего тебе не предписываю. А теперь пора завтракать, мы и так опаздываем!

– Верно! Пошли! – сказал Ганс Касторп и сбросил с себя одеяло. Он зашел в комнату, чтобы пригладить щеткой волосы, и, пока он причесывался, Иоахим еще раз проверил показания градусника, лежавшего на умывальнике; Ганс Касторп издали следил за ним. Затем они спустились вниз и снова – в который раз – заняли свои привычные места в столовой, где, как всегда в этот час, на всех столах так и светилось белизною молоко.

Когда карлица принесла Гансу Касторпу стакан кульмбахского пива, он решительно отказался. Лучше сегодня не пить пива. «Нет, вообще ничего, большое спасибо, разве глоток воды». Он привлек всеобщее внимание. Как так? Что это за новшества? Почему он не хочет пива?

– У меня небольшая температура, – небрежно бросил Ганс Касторп. – Всего 37,6. Пустяки.

Тут они угрожающе подняли указательные пальцы; Ганс Касторп почувствовал себя как-то странно. А они склоняли головы набок, лукаво прищуривали один глаз и помахивали перед собой пальцем, словно им вдруг открылись какие-то дерзкие и пикантные проделки человека, до сих пор строившего из себя невинность.

– Ну, ну, смотрите, – сказала учительница, и даже пух на ее щеках словно покраснел, когда она грозила ему пальцем. – Хороши, хороши, нечего сказать. Ай-яй-яй!

– Э-ге-ге, – подхватила и фрау Штер и тоже погрозила – не пальцем – красным обрубком, поднеся его к носу. – У него, оказывается, темпы, у господина гостя-то. Значит, теперь он наш, такой же пропащий, как мы!

Даже двоюродная бабушка, сидевшая на том конце стола, шутливо погрозила ему с хитрой улыбкой, когда до нее дошла весть, что он нездоров; а хорошенькая Маруся, которая до тех пор едва обращала на него внимание, наклонилась в его сторону и, прижав к губам апельсинный платочек, посмотрела на него своими круглыми карими глазами; не мог не присоединиться к остальным и господин Блюменколь, когда фрау Штер ему все рассказала, – и тоже погрозил пальцем, хотя сделал это не глядя на Ганса Касторпа, и только мисс Робинсон держалась по-прежнему замкнуто и безучастно. Иоахим сидел, благовоспитанно опустив глаза.

Ганс Касторп, которому льстило столь усердное поддразнивание, считал нужным скромно отнекиваться.

– Нет, нет, – говорил он, – вы ошибаетесь, все это совершенно безобидно, просто у меня насморк, видите, глаза не смотрят, грудь заложило, я всю ночь кашлял, довольно неприятная история...

Но они не внимали его оправданиям, смеялись и махали руками в знак протеста.

– Да, да, да, все это выдумки и отговорки, жар от насморка, знаем! Знаем! – Затем все вдруг потребовали, чтобы Ганс Касторп немедленно показался врачу. Новость всех оживила, и во время завтрака из всех семи столов их стол был самым шумным. Особенно усердствовала фрау Штер. Эта женщина с красно-сизым тупым лицом, трещинками на щеках и пышным рюшем у ворота впала в какую-то судорожную болтливость и начала распространяться относительно особых приятностей кашля; да, есть что-то увлекательное и даже сладостное, когда ощущаешь, как в самой глубине груди возникает щекотка, она все растет, растет – и тогда напрягаешься изо всех сил, чтобы эта спазма и судорога разрешилась кашлем; такое же удовольствие доставляет чиханье, человек вдруг испытывает неудержимое желание чихнуть, с упоением делает два-три бурных вдоха и выдоха, а затем блаженно отдается удовлетворению своей потребности, и в этот миг, в сладкий миг чиханья забывает обо всем на свете. Ведь иногда чихаешь несколько раз подряд. Вот вам бесплатные радости здешней жизни, не все ли равно какие! Весной, например, расчесываешь себе обмороженные места – а они так приятно зудят, – расчесываешь что есть мочи, до крови, до бешенства, до сладострастия. А если взглянешь при этом в зеркало, то увидишь вместо своего лица какую-то дьявольскую рожу.

Отвратительные разглагольствования невоспитанной фрау Штер продолжались до тех пор, пока не кончилась эта короткая, но сытная трапеза; кузены поднялись, чтобы, следуя расписанию, совершить вторую

ежедневную прогулку, а именно – вниз, в Давос-курорт. По пути Иоахим молчал, погруженный в свои думы, а Ганс Касторп сопел заложенным носом, и скрипучий кашель то и дело вырывался из его простуженной груди. Когда они возвращались, Иоахим сказал:

– Я хочу предложить тебе одну вещь: сегодня пятница, завтра после обеда я иду на ежемесячный осмотр. Это не общее обследование, но Беренс меня кое-где простукает и заставит Кроковского кое-что записать. Ты мог бы пойти со мной и попросить, чтобы заодно выслушали и тебя. Ведь это смешно: будь ты дома, ты бы непременно позвал Хейдекинда. А здесь, где есть два специалиста, ты разгуливаешь себе с температурой, не знаешь, что с тобой, серьезно ли это и не лучше ли все-таки лечь в постель.

– Хорошо, – сказал Ганс Касторп, – как хочешь. Отчего же не сходить. И потом даже интересно разок поприсутствовать на осмотре.

На том кузены и порешили, а когда они поднялись наверх к санаторию, судьбе было угодно, чтобы они столкнулись с самим гофратом Беренсом, и им удалось тут же изложить ему обстоятельства дела.

Беренс выходил из подъезда, долговязый, вытянув длинную шею, в сдвинутом на затылок цилиндре и с сигарой во рту; щеки у него были синие, глаза навывкате, он казался преисполненным энергии и заявил, что направляется в местечко, где намерен посетить нескольких больных в порядке частной практики, а сейчас только что крепко поработал в операционной.

– Приятного аппетита, господа, – сказал он. – Все путешествуете? Все странствуете? Хорошо в широком мире! А я только что участвовал в неравном поединке между ножом, операционной пилой и человеческим организмом – великое дело, знаете ли, резекция ребер! Раньше, бывало, пятьдесят процентов оставались на операционном столе. Теперь все это делается лучше, но и сейчас иные господа нередко раньше времени убираются отсюда *mortis causa*^[66]. Ну, сегодняшней хоть шутки понимал, молодцом держался... Ведь, кажется, вздор – человеческое ребро, которое уже не ребро, а мягкая часть, знаете ли, непристойность, легкое извращение идеи, так сказать. Ну, а вы? Как ваше драгоценное самочувствие? Хорошо живетесь вдвоем, а, Цимсен, старая лиса? Вы почему же льете слезы, господин турист? – вдруг обратился он к Гансу Касторпу. – Лить слезы публично здесь не разрешается. Запрещено правилами распорядка. А то все начнут нюни распускать.

– Да у меня насморк, господин гофрат, – ответил Ганс Касторп. – Не знаю как, но я ухитрился заполучить жестокий катар. Кашляю, и грудь порядочно заложена.

– Вон что! – отозвался Беренс. – Что ж, вам надо посоветоваться с опытным врачом.

Оба рассмеялись, и Иоахим ответил, сдвинув каблуки:

– Мы так и намерены сделать, господин гофрат. Завтра я иду на обследование, и мы хотели попросить вас, не будете ли вы так добры посмотреть заодно и моего двоюродного брата. Вопрос в том, сможет ли он во вторник выехать отсюда...

– Эн-ве, – сказал Беренс. – Эн-ве-о-пе – не возражаю, охотно посмотрю. Давно пора! Раз уж человек попал сюда, нужно этим воспользоваться. Но навязываться, конечно, никому не охота. Значит, завтра в два, после кормежки!

– У меня, кроме того, еще небольшая температура, – заметил Ганс Касторп.

– Да что вы говорите! – воскликнул Беренс. – И вы воображаете, что это для меня новость? Думаете, у меня глаз нет? – И он поднес огромный указательный палец к слезящимся, покрасневшим и выкачанным глазам, – сначала к одному, потом к другому. – И сколько же у вас?

Ганс Касторп скромно сообщил цифру.

– С утра? Гм, недурно. Для начала вовсе не так бездарно. Ну, значит, завтра в два, оба. Сочту за особую честь! Вводите в себя пищу, приятного аппетита. – Сгибая колени, загребая ручищами, он начал тяжелым шагом спускаться по дороге, и сигарный дым развеивался за его плечом, словно темный флажок.

– Все вышло, как ты хотел, – сказал Ганс Касторп. – Удачнее быть не могло, вот я и попал в пациенты. Впрочем, что он может сделать, самое большее – пропишет лакричный сок или грудной чай; и все-таки приятно почувствовать заботу врача, когда нездоровится. Но почему у него такой бесшабашный тон? Вначале это казалось мне забавным, а в конце концов стало просто неприятно. Ну как можно говорить «вводите в себя пищу, приятного аппетита»? Что за галиматья! Можно сказать «кушайте, приятного аппетита», «кушайте» – слово, так сказать, поэтическое, ну как «хлеб наш насущный», и вполне уместно. Но «вводите пищу» – голая физиология, и желать тут аппетита можно только в насмешку. Не нравится мне и его куренье, оно пугает меня, я же знаю, что это ему вредно и ведет к меланхолии. Сеттембрини уверяет, что эта бесшабашная веселость – напускная, а у Сеттембрини критический ум, меткие суждения, в этом ему не откажешь. И мне следовало бы глубже разбираться в людях и не принимать все за чистую монету, тут он прав. Но иной раз начинаешь с осуждения, с порицания и справедливой досады, а потом открывается что-

то совсем другое, не имеющее никакого отношения ко всяким оценкам, и – конец моральной строгости, а прекрасный стиль и республика кажутся просто пошлостью...

Он пробормотал еще что-то нечленораздельное, точно ему самому было трудно разобраться в своих мыслях. Двоюродный брат лишь взглянул на него искоса и сказал «до свидания», после чего они разошлись по своим комнатам и балконам.

– Ну, сколько? – вполголоса спросил через некоторое время Иоахим, хотя не мог видеть, что Ганс Касторп взялся за термометр... И Ганс Касторп ответил с напускным равнодушием:

– Все то же.

Действительно, войдя в комнату, он взял с умывальника свою изящную утреннюю попку, несколько раз встряхнул градусник, чтобы сбить вниз столбик ртути, показывавший неинтересную для него теперь цифру 37,6, и, сунув в рот это подобие стеклянной сигары, уже как старожил растянулся в шезлонге. Однако, несмотря на большие ожидания и на то, что он продержал градусник под языком полных восемь минут, Меркурий поднялся лишь до тех же 37,6; температура была безусловно повышенная, однако не больше, чем утром. После обеда поблескивающий столбик дотянулся до 37,7, а вечером, когда пациент почувствовал себя крайне утомленным всеми волнениями и неожиданностями этого дня, замер на 37,5; рано утром он показал всего 37, но к полудню снова достиг вчерашнего уровня. Таково было положение дел на другой день, когда настал час обеда, после которого должно было состояться свидание с врачом.

Впоследствии Ганс Касторп вспоминал, что за этим обедом мадам Шоша была в золотисто-лимонном свитере с крупными пуговицами и каймой на карманах; свитер был новый, во всяком случае для Ганса Касторпа, и она, войдя, как обычно, с опозданием, на миг встала в этом свитере лицом к залу, словно показывая себя. Затем, как делала пять раз в день, неслышно проскользнула к своему столу, мягким движением опустилась на стул и, болтая с соседями, принялась за еду; Ганс Касторп, как обычно устремив свой взор на «хороший» русский стол, мимо Сеттембрини, сидевшего за поперечным столом, на этот раз с особым вниманием следил за движениями ее головы, когда она говорила, и снова отметил выгнутую линию затылка и поникшие плечи. Что касается мадам Шоша, то она во время всего обеда ни разу не повернулась и не окинула взглядом зал. Но когда убрали десерт, когда большие часы с цепями и маятником, висевшие на поперечной стене зала, над «плохим» русским

столом, пробили два часа, это удивительное событие все же свершилось и потрясло Ганса Касторпа своей загадочностью. Пока часы били раз и два, пленительная больная медленно повернула голову и стан и через плечо, открыто, не таясь, посмотрела в сторону его стола и не только стола вообще – нет, она посмотрела именно и только на Ганса Касторпа, притом с легкой улыбкой, игравшей вокруг сжатых губ и узких Пшибыславовых глаз, словно хотела сказать: «Ну, что же ты? Пора! Отчего ты не уходишь?» (Ведь когда говорят только глаза, они обращаются на «ты», если даже губы еще ни разу не произнесли «вы».)

Происшествие это ошеломило Ганса Касторпа и взволновало до глубины души – он едва поверил своим глазам, растерянно взглянул сначала на ее лицо, затем на лоб и, скользнув взглядом по волосам, уставился куда-то в стену. Разве она знает, что он идет сегодня в два часа на прием? Все говорило за то, что знает. И вместе с тем это представлялось настолько же невероятным, как если бы она узнала, о чем он думал минуту назад; а думал он о том, не передать ли гофрату через Иоахима, что ему стало лучше и он считает осмотр излишним; но от ее вопросительной улыбки преимущества такого плана тотчас померкли, и их заменила перспектива безнадежной скуки. Однако через мгновение свернутая салфетка Иоахима оказалась уже на столе, он многозначительно поднял брови и кивнул, приглашая Ганса Касторпа встать, отвесил поклон соседям по столу и направился к двери, а Ганс Касторп, словно захмелев, но твердым и решительным шагом вышел за ним из столовой с таким ощущением, словно ее взгляд и улыбка все еще покоятся на нем.

Они со вчерашнего утра не говорили о намеченном на сегодня визите и теперь шли в молчаливом одинодушии. Иоахим спешил: назначенное время уже прошло, а гофрат Беренс требовал точности. Их путь вел по коридору, тянувшемуся на одном уровне с землей, мимо конторы, а затем по опрятной, покрытой натертым до блеска линолеумом лестнице вниз, в «подвальный» этаж. Иоахим постучал в дверь прямо напротив лестницы; на ней висела фарфоровая табличка с надписью, возвещавшей о том, что здесь находится ординаторская.

– Войдите! – крикнул Беренс, особенно подчеркивая второй слог. Он стоял посреди комнаты в халате, в правой руке у него был стетоскоп, которым он постукивал себя по боку.

– Быстрей, быстрей, – сказал он и устремил выпученные глаза на циферблат стенных часов. – Un poco più presto, Signori!^[67] Мы существуем здесь не только для ваших высокородий!

За одним из сдвоенных письменных столов сидел доктор Кроковский,

его бледность особенно подчеркивалась черной люстриновой блузой, локтями он опирался на доску стола, в одной руке держал перо, другую запустил в бороду; перед ним лежали бумаги, вероятно истории болезней, и он смотрел на вошедших с тупым выражением лица, как бы подчеркивая этим, что присутствует здесь только в роли ассистента.

– Ну-ка, давайте ваш кондуит! – отвечал гофрат на извинения Иоахима, взял у него из рук температурный листок и принялся рассматривать его, а тем временем пациент, спеша обнажить верхнюю часть тела, торопливо снимал с себя одежду и вешал ее на стоявшую у двери вешалку. На Ганса Касторпа никто не обращал внимания. Сначала он стоя созерцал происходившее, потом уселся в старомодное кресло с обшитыми бахромою ручками, рядом с которым стоял столик и на нем – графин с водой. Вдоль стен тянулись шкафы с толстыми книгами по медицине и папками с документами. Больше мебели не было, кроме обтянутой белой клеенкой кушетки с подвижным изголовьем и бумажной салфеткой, прикрывавшей подушки в изголовье.

– 37,7, 37,9, 37,8, – бормотал Беренс, листая недельные записи, куда Иоахим аккуратно заносил результаты измерений, производившихся им пять раз в день.

– Все еще жарок, любезный Цимсен, едва ли вы можете утверждать, что после недавнего обследования стали крепче («недавно» – это было четыре недели назад). Инфекция еще сидит, инфекция сидит, – продолжал он. – Ну, в один день с этим не покончишь, мы же не волшебники.

Иоахим кивнул и пожал голыми плечами, хотя мог бы возразить, что ведь он здесь наверху не со вчерашнего дня.

– А как обстоит дело с покалываньем у правого хилуса, где хрипы были особенно резкие? Лучше? Ну-ка, подойдите. Мы вас остороженько выслушаем. – И обследование началось.

Зажав под мышкой стетоскоп, расставив ноги и откинувшись назад, гофрат Беренс начал выстукивать Иоахима сверху, от правого плеча; он взмахивал кистью правой руки и стучал мощным средним пальцем, как молотком, подпирая ее левой. Затем стал стучать под лопаткой, вдоль правого бока и ниже, а Иоахим, уже привыкший к подобным процедурам, поднял правую руку, чтобы врач мог постучать и под мышкой. То же было сделано с левой стороны, а покончив с этим, Беренс скомандовал: «Кругом!» – и обследовал грудную клетку. Он постучал у самой шеи под ключицей, над грудью и ниже, сначала справа, потом слева. Настучавшись, он перешел к выслушиванию; приложив ухо к одному концу стетоскопа, приставлял его к спине и к груди Иоахима – всюду, где перед тем

выстукивал. Он требовал при этом, чтобы Иоахим то глубоко дышал, то кашлял. Это, видимо, очень утомляло больного, ибо он под конец едва переводил дух и на глазах у него выступили слезы. А гофрат Беренс, почти одними и теми же словами, отрывисто докладывал обо всем, что слышал там, внутри его тела, своему ассистенту за письменным столом, причем Гансу Касторпу невольно вспоминалась сцена у портного, когда одетый по модному господин снимает с другого господина мерку для костюма и в строго установленной последовательности прикладывает сантиметр то тут, то там к телу заказчика, измеряя объем груди, длину конечностей, и диктует цифры обмера своему помощнику, ссутулившемуся над столом.

– Короткое, укороченное... – диктовал гофрат Беренс. – Везикулярное, – отметил он, и потом еще раз: – Везикулярное (это, видимо, было хорошо). Жесткое, – он сделал гримасу, – очень жесткое... Хрипы.

А доктор Кроковский все это записывал совершенно так же, как помощник портного.

Ганс Касторп следил за всем происходящим с Иоахимом, склонив голову набок, погруженный в задумчивое созерцание его торса, его ребер (у него, слава богу, еще все ребра были целы) – при каждом вздохе они резко выдавались над впадиной живота, – его золотисто-смуглого стройного юношеского торса с темными волосами на груди и на сильных руках; на кисти одной из них поблескивали золотые часы-браслет. «Плечи спортсмена, – думал Ганс Касторп, – он всегда любил гимнастику, а по мне ее хоть совсем не будь, – с этим связано и его влечение к военному делу. Всегда он стремился к тому, чтобы тело у него было крепкое, гораздо больше, чем я, или во всяком случае иначе; я ведь в душе человек сугубо штатский и заботился о том, чтобы теплее была вода в ванне, да как бы повкуснее поесть и выпить, а он старался быть мужчиной, добиваться чисто мужских успехов. И вот теперь его тело действительно, хотя и не совсем так, как он представлял себе, заняло главное место и приобрело решающее и самостоятельное значение, и это сделала болезнь. Оно охвачено жаром, не желает освободиться от инфекции и окрепнуть, как бы страстно бедняга Иоахим не мечтал о том, чтобы стать солдатом внизу, на равнине. Вот он, статен видом, как сказано в писании, настоящий Аполлон Бельведерский, до последнего завитка волос. Но внутри у него сидит болезнь, и снаружи он весь горячий от болезни; болезнь делает человека гораздо более телесным, в болезни человек становится только телом...» Тут Ганс Касторп испугался, оторвал взгляд от обнаженного торса Иоахима и испытующе заглянул ему в глаза, в его большие черные кроткие глаза, на которых от усиленного дыхания и кашля сейчас стояли

слезы, – во время обследования эти глаза с печалью смотрели куда-то поверх Ганса Касторпа, в пустоту.

Тем временем гофрат Беренс закончил осмотр.

– Что ж, Цимсен, хорошо, – сказал он. – Все в порядке, насколько это возможно. В следующий раз (то есть через месяц) везде будет еще немного лучше.

– Сколько же, господин гофрат, вы полагаете...

– Опять торопите? Как вы будете муштровать своих солдат, если вы в жару? Я сказал вам недавно, что полгодика можете, если хотите, считать с того дня, но не забывайте – это минимум. В конце концов здесь уж не так плохо, отдайте нам хоть справедливость, у нас не каторга и не... сибирские рудники! Или вы считаете, что есть все же какое-то сходство? Ладно, Цимсен! Довольно! Следующий! Кто там еще желает? – крикнул он и посмотрел перед собой. Вместе с тем он простер руку, державшую стетоскоп, к доктору Кроковскому; ют поднялся и взял трубку, чтобы произвести дополнительно небольшой ассистентский осмотр Иоахима.

Вскочил и Ганс Касторп и, не сводя глаз с гофрата Беренса, который стоял задумавшись, расставив ноги и открыв рот, торопливо начал раздеваться.

Он так спешил, снимая через голову пикейную рубашку с манжетами, что запутался в ней. И вот он наконец встал перед гофратом Беренсом – белокожий худой блондин, тот же Иоахим Цимсен – только в штатском варианте.

Однако гофрат Беренс не смотрел на него, все еще погруженный в свои мысли. Доктор Кроковский уже уселся на место, а Иоахим Цимсен начал одеваться, когда Беренс наконец-то соблаговолил обратить внимание на того, кто теперь стоял перед ним.

– Ах, так это вы! – сказал он, схватил Ганса Касторпа за плечо своей ручищей, отодвинул от себя и начал пристально разглядывать. Но не в лицо смотрел он, как делают обычно, когда смотрят на человека, а на его тело; бесцеремонно повертывал туда и сюда, как повертывают тело, изучал и его спину.

– Гм, – проговорил он, – давайте-ка послушаем, как вы звучите. – И тоже начал его выстукивать.

Он выстукивал Ганса Касторпа в тех же точках, что и Цимсена, и не раз возвращался к ним. Особенно долго выстукивал он какое-то место слева над ключицей и несколько ниже, видимо сравнивая звук.

– Слышите? – спрашивал он каждый раз доктора Кроковского. И доктор Кроковский, сидевший в пяти шагах от него за письменным столом,

каждый раз кивал, что да, мол, слышит; задумчиво уперся он подбородком в грудь, прижав к нему бороду, так что концы ее задрались.

– Дышите глубже! Кашляйте! – командовал гофрат, снова завладевший стетоскопом; и Гансу Касторпу пришлось основательно поработать легкими минут десять, пока гофрат его выслушивал. Беренс не произносил ни слова, а только приставлял стетоскоп, и притом не раз, то к одному месту, то к другому, именно к тем, которые он перед тем выслушивал. Потом сунул трубку под мышку, заложил руки за спину и уставился в пол между собою и Гансом Касторпом.

– Да, Касторп, – сказал он, впервые назвав его просто по фамилии, – дело обстоит *praeter-propter*^[68], то есть именно так, как я с самого начала и подозревал. Я взял вас на заметку, Касторп, теперь можно в этом признаться, и именно с той минуты, как удостоился незаслуженной чести познакомиться с вами, – и я решил с почти полной уверенностью, что вы по сути дела уже наш и со временем это сами поймете, как уже многие из тех, кто приезжали сюда для развлечения и поглядывали на все задрав нос, а в один прекрасный день оказывалось, что им было бы весьма не вредно, – и не только «не вредно», прошу понять меня правильно, – отбросить все эти замашки стороннего наблюдателя и задержаться здесь на несколько более долгий срок.

Ганс Касторп изменился в лице, а Иоахим, намеревавшийся пристегнуть помочи, остановился и, словно оцепенев, прислушался...

– У вас такой милый симпатичный кузен, – продолжал гофрат, мотнув головой в сторону Иоахима и покачиваясь с носка на каблук, – вот он, надеюсь, скоро сможет сказать, что был когда-то болен, но, если мы этого добьемся, это только покажет, что все-таки он был болен, ваш двоюродный брат, а это *a priori*, как выразился философ, бросает некоторый свет и на вас, дорогой Касторп...

– Но ведь он приходится мне только сводным кузеном, господин гофрат.

– Ладно, ладно, не станете же вы отрекаться от своего родственника. Сводный или не сводный – это все же кровное родство. С какой стороны?

– С материнской, господин гофрат. Он – сын сводной...

– А ваша матушка находится в добром здравии?

– Нет, она умерла. Она скончалась, когда я был еще маленьким.

– О! И от какой же причины?

– От закупорки сосудов, господин гофрат.

– От закупорки? Ну, это дело давнее. А ваш отец?

– Он умер от воспаления легких, – ответил Ганс Касторп. – И мой дед

тоже, – добавил он.

– Да? И дед тоже? Ну, это относительно ваших предков. Что же касается вас самих, то у вас всегда было предрасположение к малокровию, так ведь? Однако от физической или умственной работы вы устаете не скоро? Ах, все-таки скоро, да? И начинается сердцебиение? Началось только недавно? Хорошо. И к тому же наблюдается склонность к катарам дыхательных путей. Знаете ли вы, что и раньше были больны?

– Я?

– Да, я имею в виду лично вас. Вот слышите разницу? – И гофрат постучал слева, в верхней части груди, затем пониже.

– Там звук глуше, чем тут, – сказал Ганс Касторп.

– Отлично. Вам следовало бы стать врачом. Значит, там глухой звук, а его дают пораженные раньше места, где уже произошло обызвествление, они, так сказать, зарубцевались. Вы уже давно больны, Касторп, но никого не будем винить за то, что вы этого не знали. Диагностировать первую стадию очень трудно – во всяком случае, коллегам, практикующим на равнине. Я вовсе не хочу сказать, что у нас какой-то особенно тонкий слух, хотя специализированный опыт все же кое-что значит. Но слышать яснее нам помогает воздух, понимаете, здешний легкий сухой воздух.

– Ну конечно, понятно, – отозвался Ганс Касторп.

– Ладно, Касторп. А теперь слушайте, мой мальчик. Я скажу вам золотые слова. Если бы речь шла только об этом, понимаете, о глухих тонах и рубцах в вашей эоловой полости и о чужеродных известковых отложениях в ней, то я преспокойно отправил бы вас обратно к вашим ларам и пенатам и ни на вот столечко на ваш счет не тревожился, понимаете вы меня? Но учитывая положение дел сейчас и возможные осложнения, и раз уж вы попали сюда, к нам, то не стоит вам уезжать домой, Ганс Касторп, вам все равно пришлось бы очень скоро вернуться.

У Ганса Касторпа кровь снова прилила к сердцу, и оно бурно заколотилось, а Иоахим стоял на том же месте, держась за пуговицы для помочей на спине и опустив глаза.

– Кроме глухих хрипов, – продолжал гофрат, – у вас там наверху, слева, есть шумы, уже почти шумы, и они бесспорно вызываются тем, что поражен новый участок. Я пока еще не хочу говорить об очаге размягчения, но эксудативный очажок с влажными хрипами есть, и если вы, милейший, у себя внизу будете жить, как жили до сих пор, то все ваше легкое живо полетит к черту.

Ганс Касторп стоял неподвижно, губы у него подергивались, и было видно совершенно отчетливо, как его сердце пульсирует между ребрами.

Он посмотрел на Иоахима, но не смог поймать его взгляд и снова стал смотреть на гофрата – на его лицо с синеватым румянцем, синими глазами навывкате и неровно подстриженными усиками.

– Объективное подтверждение нам дает и ваша температура, – продолжал гофрат. – 37,6 в десять часов утра – это примерно соответствует акустическим данным.

– А я думал, жар у меня от катара, – сказал Ганс Касторп.

– А катар? Он от чего? – перебил его гофрат. – Я кое-что расскажу вам, Касторп, а вы послушайте, извилин в мозгу, чтобы понять, у вас, по-моему, хватит. Здешний воздух весьма благоприятствует излечению болезни, так вы полагаете, верно? И это правильно. Но он также благоприятствует и развитию болезни, понимаете? Способствует ее обнаружению, вызывает революцию в организме, выводит болезнь из скрытого состояния, и она дает вспышку; такой вспышкой – не прогневайтесь – и является ваш знаменитый катар. Не знаю, лихорадило ли вас, когда вы жили еще внизу, на равнине, но здесь вас начало лихорадить с первого же дня, и причина – вовсе не катар, смею вас заверить.

– Да, – сказал Ганс Касторп, – должно быть, вы правы.

– Вы, наверно, сразу точно опьянели, – продолжал гофрат. – Это результат растворения ядов, порожденных бактериями; они, понимаете ли, действуют токсически на центральную нервную систему, и щеки от этого начинают гореть. Придется вас прежде всего уложить в постель, Касторп, и посмотрим: может быть, недели две-три постельного режима и отрезвят вас. А там видно будет. Сделаем хорошенький внутренний снимок – вам будет презабавно заглянуть в себя. Но хочу вас сразу же предупредить: такие случаи, как ваш, не излечиваются за один-два дня, о рекламных успехах и чудесах исцеления здесь говорить не приходится. Мне сразу показалось, что вы будете более способным пациентом, в смысле умения болеть, чем этот ваш бригадный генерал, который так и рвется отсюда, как только у него на две-три десятых меньше. Точно команда «лежать смирно!» чем-нибудь хуже, чем «стоять смирно!». Покой – первая обязанность гражданина, от нетерпения – один вред. Так вот, не заставляйте разочаровываться в вас, не подводите меня, с моим знанием людей, очень прошу... А теперь марш в ваше стойло!

На этом гофрат Беренс и закончил разговор и тут же сел за стол, ибо, как человек, занятый по горло, хотел воспользоваться перерывом между двумя обследованиями и кое-что записать. Доктор Кроковский же, наоборот, встал, шагнул к Гансу Касторпу, положил руку на плечо молодого человека и, широко улыбаясь, так что в чаще бороды открылись желтые

зубы, сердечно стал трясти ему руку.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Суп вечности и внезапное прояснение

Теперь нам предстоит коснуться одного обстоятельства, которому считает нужным удивиться сам рассказчик, чтобы уж не слишком удивлялся читатель. Если для нашего отчета о первых трех неделях пребывания Ганса Касторпа «здесь наверху» (всего двадцать один день в середине лета, причем этим сроком, в меру человеческого предвидения, его жизнь в «Берггофе» и должна была ограничиться), – если для этого отчета понадобилось именно столько времени и места, сколько, надо сознаться, мы и предполагали отвести ему, – то для описания последующих трех недель едва ли потребуется такое же число страниц, часов и дней, какое потребовалось для изображения первых трех недель: мы уверены, что эти последующие недели пронесутся мгновенно и, мелькнув, отойдут в прошлое.

Это явление может показаться странным, и все-таки оно естественно и соответствует законам повествования и слушания. Ибо следует считать естественным и закономерным, что время для нас так же тянется или летит, в нашем восприятии так же расширяется или сжимается, как и в восприятии героя нашего повествования, молодого Ганса Касторпа, планам которого судьба воспрепятствовала столь неожиданным образом; и, может быть, полезно, имея в виду тайну времени, подготовить читателя к еще более неожиданным чудесам и явлениям, с которыми мы столкнемся, пребывая в обществе этого юноши. Но сейчас достаточно будет, если каждый вспомнит, как быстро проходит вереница дней, даже «долгая» вереница, когда ты болен и лежишь в постели; кажется, будто повторяется все тот же день; но так как он один и тот же, говорить о «повторении» не слишком уместно; речь должна бы идти о неизменном, о непреходящем «сейчас» или о вечности. Тебе приносят за обедом суп, как принесли вчера, как принесут и завтра. И в тот же миг на тебя повеет чем-то, – чем и откуда, ты сам не знаешь; тебе приносят суп, а у тебя – головокружение, формы времени сплываются, сливаются, и вдруг становится ясно, что истинная форма бытия – это непротяженное настоящее, в котором тебе вечно приносят суп. Однако говорить в отношении вечности о скуке и о том, что время тянется, было бы слишком парадоксально; а парадоксов мы решили избегать, особенно живя одной жизнью с нашим героем.

Итак, в субботу, со второй половины дня, для Ганса Касторпа начался постельный режим, ибо врач, гофрат Беренс, этот высший авторитет в

окружающем нас мире, отдал соответствующее распоряжение. И вот молодой человек лежал в ночной сорочке с вышитой на грудном кармашке монограммой, заложив руки за голову, в опрятной белой постели, служившей смертным одром американке и, вероятно, многим другим, и смотрел простодушными, мутноватыми от насморка глазами на потолок, размышляя о превратностях своей судьбы. Но и не будь у него насморка, он едва ли взирал бы на все таким уж ясным, разумным и незатуманенным взглядом; нет, при всей несложности его внутреннего мира, мысли и чувства его были какие-то противоречивые, смутные, запутанные, не вполне искренние и устойчивые. То его тело сотрясал рождавшийся из недр существа неудержимый и торжествующий смех, и сердце мучительно замирало от какой-то упоительной радости и надежды; то он бледнел от испуга и тоски, и ему казалось, что это сама совесть, а не сердце, судорожно и торопливо стучится в его грудную клетку.

В первый день Иоахим дал ему полный покой и избегал всяких разговоров. Осторожно заглядывал он несколько раз в комнату, кивал лежавшему, спрашивал, как и полагается, не нужно ли ему чего-нибудь. Впрочем, Иоахиму легко было понять нежелание Ганса Касторпа пускаться в какие-либо объяснения, и он ни на чем не настаивал, ибо, при своих взглядах на жизнь, считал собственное положение еще более мучительным.

Но в воскресенье утром, вернувшись с прогулки, которую он совершил, как прежде, в одиночестве, Иоахим набрался духу и решил дольше не откладывать разговор с кузеном о самых неотложных вопросах. Он подошел к его постели и сказал, вздохнув:

– Да, ничего не поделаешь, придется предпринять кое-какие шаги. Ведь тебя дома, наверное, ждут?

– Нет еще, – ответил Ганс Касторп.

– Ну, в ближайшие дни, в среду или в четверг?

– Ах, они вовсе не ждут меня так уж точно, непременно в назначенный день, – возразил Ганс Касторп. – Только у них и дела, что ждать меня да считать дни, когда я вернусь. Вернусь и все, и дядя Тинапель скажет: «А, вот и ты!» А дядя Джемс спросит: «Ну как, доволен?» И если я не приеду, так они еще долго меня не хватятся, можешь быть уверен. Разумеется, со временем их придется известить.

– Ты можешь себе представить, как мне все это не нравится, – продолжал Иоахим и снова вздохнул. – А что будет дальше? Ведь и на мне лежит ответственность за эту историю. Ты приезжаешь сюда наверх, чтобы навестить меня, я ввожу тебя в нашу жизнь – и вдруг ты тут застреваешь, и никто не знает, когда ты опять вырвешься и сможешь поступить на место.

Согласись, что мне это в высшей степени не нравится!

– Позволь, – остановил его Ганс Касторп, все еще лежавший, закинув руки за голову. – Что ты мудришь? Не сочиняй глупостей. Разве я приехал сюда наверх, только чтобы навестить тебя? Конечно, и для этого тоже, но в конце концов главное – чтобы отдохнуть и поправиться, по совету Хейдекинда. И вдруг выясняется, что я нуждаюсь в гораздо более серьезной поправке, чем он, да и все мы могли себе представить. И я не первый – многие считали, что они приезжают сюда с мимолетным визитом, а потом оказывалось, что они жестоко ошиблись. Вспомни хотя бы второго сына «Tous-les-deux», и как у него все сложилось – я даже не знаю, жив ли он еще, или его потихоньку вынесли во время обеда? Ведь то, что я слегка болен, для меня неожиданность, мне нужно сначала привыкнуть к мысли, что я тоже пациент, совершенно такой же, как вы, а не просто гость, как я воображал вначале. С другой стороны, это вовсе не такая неожиданность, ведь таким уж блистательно здоровым я себя никогда не чувствовал, и, если вспомнить, что мои родители умерли очень рано, то неоткуда было и взяться блистательному здоровью! У тебя тоже есть маленький изъян, хотя он теперь, видимо, почти залечен, но мы все не придаем ему особого значения, и, может быть, это у нас действительно в роду, по крайней мере Беренс высказал такое предположение. Вот я лежу здесь со вчерашнего дня и думаю, как я относился к жизни в целом, – понимаешь, к ее требованиям... Моей натуре всегда были присущи известная серьезность и неприятие всего слишком здорового и шумного, – мы еще недавно говорили о том, что меня порой даже тянуло стать священником – ради всех этих скорбных и возвышенных обрядов: этакий, понимаешь ли, черный покров с серебряным крестом и тремя буквами R.I.P. ...Requiescat in pace...

[69] Это, пожалуй, прекраснейшие слова на свете, и они мне гораздо симпатичнее всяких «Да здравствует», которые по сути дела ведь только шумиха. Происходит это, вероятно, именно потому, что во мне самом есть изъян и с детства было особое отношение к болезни, – вот сейчас оно и сказалось. Но если дело обстоит так, то, наоборот, счастье, что я попал сюда к вам и решил пройти осмотр, и тебе решительно не за что упрекать себя. Ты же слышал: если бы я продолжал еще некоторое время жить так, как жил, то у меня, быть может, ни за что ни про что полетело бы к черту все легкое!

– Ну, этого мы знать не можем, – сказал Иоахим. – В том-то и дело, что знать не можем! У тебя ведь и раньше были очажки, и никто ими не интересовался, они самостоятельно зарубцовывались, и теперь у тебя осталось после них только несколько мест с притупленным звуком. Вполне

возможно, что если бы ты случайно не попал сюда наверх, так же случилось бы и с тем очажком, который у тебя сейчас обнаружили! Тут ничего нельзя знать наперед.

– Нет, знать ничего нельзя, – подхватил Ганс Касторп, – и поэтому мы не имеем права предполагать самое худшее, хотя бы, например, относительно сроков моего лечения. Ты говоришь – неизвестно, когда меня отпустят отсюда и я смогу поступить на верфь, но тон у тебя пессимистический, а я нахожу пессимизм преждевременным, и именно потому, что мы ничего знать не можем. Ведь Беренс никакого срока не назначил, он человек разумный и не строит из себя пророка. Кроме того, еще не делали ни просвечивания, ни снимков, а ведь только они дадут возможность судить объективно о положении дел, и, кто знает, может быть, ничего заслуживающего внимания и не окажется, температура может снизиться сегодня-завтра, и я спокойно распрощаюсь с вами. Нет, я за то, чтобы раньше времени не бить тревогу и не пугать домашних всякими ужасами. Достаточно, если мы на днях напишем им, я сам могу написать вот этой авторучкой, – сяду в постели и напишу, что я сильно простужен, поднялась температура, лежу и выехать пока не могу. А там видно будет.

– Ну хорошо, пока можно и так, насчет остального подождем.

– Что ты имеешь в виду?

– Какой же ты беззаботный! Ведь содержимое твоего чемодана рассчитано на три недели! Тебе нужны белье, верхнее и нижнее, зимняя одежда и побольше обуви. Да и денег тебе должны прислать.

– Если, – сказал Ганс Касторп, – если мне все это понадобится.

– Хорошо, подождем! Но не следует... – Иоахим взволнованно заходил по комнате. – Нет, не следует создавать себе иллюзий! Я здесь пробыл слишком долго, чтобы не знать, как это бывает. Когда Беренс констатирует, что в верхушке легкого ослабленное дыхание, почти хрипы... Впрочем, конечно, посмотрим.

На том дело пока и кончилось, а затем в свои права вступили еженедельные и двухнедельные отклонения от обычного дневного распорядка; даже в лежачем положении Ганс Касторп принимал в них участие, если не прямое, то хотя бы слушая рассказы Иоахима, когда тот заходил и присаживался на четверть часика к нему на кровать.

На подносе, на котором ему в воскресенье утром принесли завтрак, красовалась вазочка с цветами; не забыли прислать и десертное печенье, подававшееся в тот день в столовой. А позднее на террасе и в саду раздались оживленные голоса, басовито запели трубы, загнусили кларнеты и начался концерт, имевший место каждые две недели. Иоахим явился в

комнату двоюродного брата и слушал концерт с его балкончика; дверь была открыта, и Ганс Касторп, сидя в подушках и склонив голову набок, ловил долетавшие до него созвучия; он глядел перед собой благоговейно-любовным и мечтательным взглядом и внутренне как бы пожимал плечами, вспоминая рассуждения Сеттембрини о том, что музыка будто бы «политически неблагонадежна».

Но, кроме того, он, как мы уже отметили, требовал от Иоахима подробного рассказа обо всех событиях и мероприятиях этих дней, выспрашивал, были ли в воскресенье дамы в праздничных туалетах, в кружевных матине и так далее (однако для кружевных матине день оказался слишком холодным), а также отправился ли кто-нибудь после обеда кататься в колясках, – катанье действительно имело место, «Союз однолегочных» ^[70] *in corpore* ездил в Клавадель, – а в понедельник больной даже пожелал узнать содержание *conference* ^[71] доктора Кроковского и стал расспрашивать о ней Иоахима, когда тот вернулся с лекции и перед послеобеденным лежанием забежал его проведать. Но Иоахим был молчалив, ему, видимо, не хотелось говорить. Однако Ганс Касторп продолжал настаивать, он желал знать подробности.

– Хотя я и лежу, но плачу полностью, – заявил он, – и желаю получать все, что здесь дают.

Он вспомнил тот понедельник две недели назад, когда самостоятельно отправился на прогулку, столь утомившую его, и высказал предположение, что именно она повлияла революционизирующим образом на его организм, после чего и обнаружилась таившаяся в нем болезнь.

– Но меня поразило, как люди говорят здесь! – воскликнул он. – Знаешь, простонародье, с каким достоинством и торжественностью; порой кажется, что это стихи. «Ну, счастливо и большое спасибо!» – повторил он, подражая интонации дровосека. – Я слышал это в лесу и никогда не забуду. Такие вещи связываются потом с другими впечатлениями и воспоминаниями и будут звучать в душе до конца твоих дней... Значит, Кроковский опять рассуждал о «любви»? – спросил он наконец и сделал гримасу.

– Само собой, – ответил Иоахим. – О чем же еще? Ведь это его тема.

– И что же он сказал сегодня?

– Ах, ничего особенного. Ты ведь слышал в прошлый раз, какие у него на этот счет теории.

– Но что он сегодня преподнес вам новенького?

– Нового ничего... Сегодня была сплошная химия, – неохотно начал

рассказывать Иоахим. – Кроковский заявил, что при «этом», видишь ли, происходит как бы своего рода отравление, самоотравление организма, а его причина – какое-то неведомое, распространившееся по всему телу вещество. Оно распадается, продукты распада действуют одурманивающе на некоторые центры спинного мозга, и люди точно пьянеют, примерно так, как это бывает при постоянном употреблении наркотиков – морфия или кокаина.

– И тогда начинают гореть щеки, – подхватил Ганс Касторп. – Скажи пожалуйста, как интересно! И все-то он знает. Набрался учености! Подожди, в один прекрасный день он еще откроет это неведомое вещество, которое содержится во всем теле и выделяет яды, одурманивающие нашу центральную нервную систему, и тогда ему будет легче морочить людям голову. А может быть, люди додумались до этого и раньше? Послушать его, так, пожалуй, начнешь верить во все эти истории насчет любовных напитков и тому подобного, о которых рассказывается в старинных легендах... Ты уже уходишь?

– Да, мне надо непременно еще полежать. Со вчерашнего дня моя кривая стала подниматься. Эта история с тобой все же на меня подействовала...

Прошло воскресенье, затем понедельник. Наступило утро и наступил вечер третьего дня пребывания Ганса Касторпа в «стойле» – обычный будничный день, как и все другие, просто вторник. Но именно во вторник он приехал сюда наверх, со вторника прожил здесь ровнехонько три недели, поэтому ему захотелось написать домой и сообщить своим дядюшкам хотя бы в общих чертах, как обстоит дело с его здоровьем. Подложив под спину подушку, он сел и написал на листе почтовой бумаги с грифом санатория, что его отъезд отсюда, против ожидания, откладывается. Он сильно простужен, температурит и лежит в постели, а гофрат Беренс отнесся к его болезни с присущей ему сверхдобросовестностью и поставил ее в связь с особой конституцией пишущего эти строки. Еще при первом знакомстве главный врач нашел у него резко выраженное малокровие, поэтому намеченный им, Гансом Касторпом, срок для отдыха признан, видимо, недостаточным. О дальнейшем он уведомит. Так будет хорошо, решил Ганс Касторп. Ни слова лишнего, и все же на первое время вполне достаточно. Письмо он вручил служителю, который, минуя санаторский почтовый ящик, отправил его с ближайшим поездом.

После этого наш путешественник решил, что главное сделано; хотя его мучил кашель и насморк, затруднявший дыхание, он успокоился и, ожидая выздоровления, стал жить со дня на день, причем каждый день был

поделен на небольшие части и, столь обычный и нормальный, не казался в своем непоколебимом однообразии ни слишком коротким, ни бесконечно длинным. Утром, дав знать о себе оглушительным стуком в дверь, входил массажист, нервный малый, прозванный «учителем гимнастики»; рукава у него были закатаны, руки жилистые, он говорил горловым голосом, неразборчиво и запинаясь, и называл Ганса Касторпа, как и всех больных, не по фамилии, а по номеру комнаты; массажист обтирал его спиртом. Вскоре после его ухода появлялся Иоахим, уже одетый для прогулки, желал кузену доброго утра, справлялся, какая температура была у него в семь утра, и сообщал свою. Пока он завтракал внизу, Ганс Касторп, опираясь на засунутую за спину подушку, делал то же – с особым аппетитом, вызванным новыми обстоятельствами его жизни, причем ему нисколько не мешало деловито-деловое вторжение врачей, которые, проследовав через столовую, спешно совершали обход лежащих больных и «морибундусов». С полным ртом варенья он сообщал им о том, что спал «отлично», и потом, держа в руке чашку, следил, как гофрат, опершись кулаками о стоявший посреди комнаты стол, быстро пробегает глазами температурный листок; затем, когда врачи уходили, с равнодушной неторопливостью отвечал на их прощальное приветствие. Окончив завтрак, он закуривал папиросу, и вдруг оказывалось, что Иоахим уже вернулся с обязательной утренней прогулки, а Ганс Касторп еще не успел отдать себе отчет в том, что двоюродный брат вышел из комнаты. Они опять болтали о том о сем, и Иоахим еще успевал полежать до второго завтрака, причем время пролетало так быстро, что даже самый пустой и духовно убогий человек не успел бы соскучиться, а ведь у Ганса Касторпа не было недостатка в умственной пище – ему предстояло еще разобраться во всех впечатлениях первых трех недель, проведенных здесь наверху, осознать свое теперешнее положение и возможные его последствия; поэтому два толстых тома подшивки иллюстрированного журнала из библиотеки санатория лежали пока без употребления на его ночном столике.

Так же быстро проходило время, пока Иоахим совершал свою вторую прогулку в Давос-курорт – она занимала какой-нибудь часок, не больше. Вернувшись, он опять заходил к Гансу Касторпу, рассказывал о том или другом наблюдении, сделанном во время прогулки, и, постояв или посидев несколько минут возле постели больного, отпраивался лежать перед обедом – надолго ли? Да тоже на какой-нибудь часок! И не успевал Ганс Касторп закинуть руки за голову и отдаться обдумыванию одной из своих мыслей, как уже гремел гонг, призывавший всех не лежащих больных и не «морибундусов» готовиться к обеду.

Иоахим уходил, и тогда появлялся «обеденный суп» – простодушно-символическое обозначение того, что ему приносили на первое. Ибо Ганса Касторпа не посадили на диету – да и чего ради его было сажать? Диетный скудный стол ему отнюдь не был показан. И потом – хотя он и лежит, а платит за все, и в минуты этой остановившейся вечности ему приносят вовсе не какой-то там «обеденный суп», а полный берггофский обед из шести блюд, без всяких изъятий, в будни – обильный, в воскресенье – даже роскошный, вкуснейший парадный обед, приготовленный первоклассным поваром по-европейски в кухне-люкс. «Столовая дева», на обязанности которой было обслуживать лежащих больных, приносила его в аппетитных никелированных закрытых судках, пододвигала к кровати неведомо откуда взявшийся столик на одной ножке – специальной конструкции, чудо равновесия, причем доска, выдвигаясь над постелью, оказывалась прямо перед больным, – и Ганс Касторп кушал подобно сынишке портного из сказки про «столик-накройся»^[72].

Едва он успевал съесть обед, как возвращался из столовой Иоахим; двоюродный брат укладывался на своем балконе, над «Берггофом» воцарялась послеобеденная тишина «главного лежания», и вдруг оказывалось, что уже половина третьего. Ну, не совсем половина, точнее – всего четверть. Но такие четверти при круглых цифрах в счет не идут, они просто поглощаются ими, как это бывает, когда временное хозяйство ведется в крупных масштабах, при многочасовой езде по железной дороге или если люди ничем не заняты, кроме ожидания, и все их помыслы страстно сосредоточены лишь на том, чтобы время скорее проходило и оставалось позади. Тогда четверть третьего – это все равно, что половина третьего, а с божьей помощью – и три, раз уже упоминалось число три. Тридцать минут рассматриваются как затакт к целому часу, а потому не замечаются внутренним взором: именно так бывает при подобных обстоятельствах. По тем же причинам и срок главного послеобеденного лежания фактически сводился к одному часу – да и в нем последняя четверть укорачивалась, сокращалась, срезалась как бы апострофом. И этим апострофом был доктор Кроковский.

Да, при своем самостоятельном послеобеденном обходе больных доктор Кроковский уже не избегал комнаты Ганса Касторпа. Молодой человек стал теперь таким же, как все, но уже не был пустым местом, недостающим звеном, он стал пациентом, им интересовались, а не оставляли в стороне, как это делали в течение стольких дней, вызывая в нем тайную, хоть и не слишком сильную досаду, все же ощущавшуюся заново каждый день. В первый раз доктор Кроковский появился у него в

комнате в понедельник, – мы говорим «появился», ибо это самое подходящее слово для того странного и даже жутковатого впечатления, которое Ганс Касторп в тот день так и не мог побороть. Он лежал в полу-, даже четвертьдремоте, как вдруг, мгновенно опомнившись, с испугом увидел перед собой ассистента, который проник в комнату не через дверь, а снаружи, совсем с другой стороны. Путь, избранный им, вел не по коридору, а по балкончикам, он вошел в открытую балконную дверь, и могло показаться, будто он прилетел по воздуху. Как бы там ни было, но он стоял у постели Ганса Касторпа, черно-бледный, широкоплечий, коренастый, – апостроф, урезающий час; в его разделенной надвое бороде виднелись желтоватые зубы, приоткрытые мужественной улыбкой.

– Вы, по-видимому, никак не ожидали увидеть меня здесь, господин Касторп, – проговорил он бархатистым баритоном, растягивая слова и слегка жеманясь, причем буква «р» хотя и звучала у него несколько экзотически, с упором в небо, но отнюдь не раскатисто, ибо он лишь слегка прикоснулся языком к внутренней стороне верхних зубов. – Но, осведомляясь о состоянии вашего здоровья, я лишь исполняю приятный долг. Ваши взаимоотношения с нами вступили в новую фазу, за ночь вы из гостя превратились в нашего сотоварища (при слове «сотоварищ» Ганс Касторп даже испугался). И кто бы мог подумать, – с товарищеской шутливостью продолжал доктор Кроковский, – кто бы мог подумать в тот вечер, когда я познакомился с вами, и вы, в ответ на мои ошибочные предположения – тогда они были еще ошибочными, – вы заявили мне, что совершенно здоровы. Я, кажется, высказал тогда что-то вроде сомнения, но, уверяю вас, это не было сомнением. Я вовсе не намерен выставять себя более прозорливым, чем я есть на самом деле, у меня тогда и мысли не было ни о каком эксудативном очажке, я разумел другое, в более общем, философском смысле, и высказал сомнение в том, что «человек» вообще и «совершенное здоровье» – понятия совместимые. И даже теперь, после того как вас обследовали, я, при моих взглядах и в отличие от моего достоуважаемого шефа, не могу считать вот этот очажок, – и он слегка прикоснулся пальцем к плечу Ганса Касторпа, – не могу считать его главным предметом нашего внимания. Для меня это явление вторичное... Органические явления всегда имеют вторичный характер...

Ганс Касторп вздрогнул.

– И поэтому, в моих глазах, ваш катар – уже на третьем месте, – добавил доктор Кроковский будто мимоходом. – Как у вас, кстати, на этот счет? Постельный режим, конечно, быстро сделает свое дело. А температура? Сколько сегодня?

С этой минуты посещения ассистента приняли характер самого обыкновенного контрольного визита и такими остались в ближайшие дни и недели. Без четверти четыре или даже несколько раньше доктор Кроковский входил через балконную дверь, весело и мужественно приветствовал больного, задавал ему самые простые врачебные вопросы, заводил иногда и более личный разговор, по-товарищески шутил, и если даже во всем этом чувствовались какие-то опасения, то ведь и к опасениям привыкаешь, только бы они оставались в известных границах, и скоро Ганс Касторп уже не находил никаких возражений против визитов доктора Кроковского, они стали частью твердо установленного нормального дня и сокращали время послеобеденного лежания.

Итак, когда ассистент опять выходил через балкон, было уже четыре часа, – другими словами, день уже близился к вечеру! Не успеешь опомниться – и день очень даже близился к вечеру и незамедлительно сменялся вечером: пока пили чай – и внизу, в столовой, и в комнате номер 34, – время неудержимо бежало к пяти; а когда Иоахим возвращался с третьей обязательной прогулки и снова заходил к двоюродному брату, было уже почти шесть, почему и лежание до ужина сводилось, в общем, к часу, – но одолеть такого противника, как один час, если у тебя есть мысли в голове и целый *Orbis pictus*^[73] на ночном столике, это сущий пустяк.

Затем Иоахим уходил в столовую. Гансу Касторпу приносили ужин в комнату. Долина уже давно была полна теней, и, пока Ганс Касторп ужинал, в комнате заметно темнело. Отужинав, он откидывался на подушку, засунутую за спину, и продолжал сидеть перед уже ненужным столиком, глядя, как в комнате быстро сгущаются сумерки, сегодняшние сумерки, которые трудно отличить от вчерашних и от тех, что сгущались два дня назад, неделю назад. И вот уже был вечер, а только что было утро, укороченный и искусственно убыстренный день буквально растекался между пальцев и становился ничем; Ганс Касторп весело это отмечал как что-то удивительное или во всяком случае заставляющее призадуматься, ибо в его годы это не могло пугать его. Ему только чудилось, что он «все еще» вглядывается в загадку времени.

В один прекрасный день, – прошло уже дней десять – двенадцать с тех пор, как Ганс Касторп перешел на положение лежачего больного, – в этот самый час, то есть до того как Иоахим покинул общество больных и вернулся после ужина, в дверь постучали, и в ответ на удивленный возглас хозяина «войдите» появился Лодовико Сеттембрини, причем в то же мгновение комнату залил слепящий свет; не успев закрыть за собою дверь, гость тут же включил плафон, и трепетные лучи, отраженные белым

потолком и белой мебелью, мгновенно озарили комнату, точно обнажив ее.

Итальянец был единственным человеком, о ком в эти дни осведомлялся Ганс Касторп; только о нем он упорно расспрашивал Иоахима. Иоахим и без того сообщал кузену всякий раз, когда на несколько минут присаживался к нему на постель или стоял возле него, – а это случалось по десяти раз на дню, – Иоахим сообщал обо всех мелочах и перипетиях санаторской жизни, а поскольку вопросы задавал Ганс Касторп, – они, конечно, носили внеличный и общий характер. Больному в его уединении хотелось знать, не появились ли в санатории новые пациенты, не отбыл ли кто-нибудь с уже знакомой физиономией; и он был, видимо, доволен, что пока имело место только первое. Оказывается, появился «новенький», некий молодой человек с зеленоватым, осунувшимся лицом, и его сейчас же посадили за стол фрау Ильтис и фрейлейн Леви, у которой лицо было как слонобая кость, оправа от стола, где сидели оба кузена. Значит, Ганс Касторп сможет понаблюдать за ним. Итак, никто не уехал? Иоахим коротко отвечал «нет», опуская при этом глаза. Однако ему приходилось так часто отвечать на тот же вопрос – точнее, через день, – что однажды он уже с некоторым нетерпением заявил раз и навсегда: насколько ему известно, никто уезжать не намерен, да и вообще здесь это не так просто – взял да уехал.

Что касается Сеттембрини, то, как мы уже отмечали, Ганс Касторп осведомлялся лично о нем и пожелал узнать, что сказал итальянец «по этому случаю». – «По какому?» – «Да что я лежу здесь и якобы болен». Сеттембрини действительно кое-что сказал, но выразился весьма кратко. В день исчезновения Ганса Касторпа он сразу же подступил к Иоахиму с вопросом, куда делся его гость, причем явно ожидал услышать в ответ, что Ганс Касторп уехал. Когда Иоахим объяснил ему, в чем дело, он произнес лишь два слова по-итальянски: сначала «ecco», затем «povertetto», что означало «вот видите» и «бедный малыш», – достаточно было знать итальянский язык не больше, чем знали оба молодых человека, чтобы понять смысл этих двух восклицаний.

– Почему «povertetto»? – удивился Ганс Касторп. – Сам он ведь тоже вынужден сидеть здесь наверху со своей литературой, которая, по его мнению, состоит из гуманизма и политики, и он едва ли может отдавать свои силы служению человеческим, земным интересам. Напрасно он столь высокомерно выражает мне сочувствие – я все-таки вернусь вниз раньше, чем он.

И вот теперь господин Сеттембрини стоял собственной персоной посреди внезапно залитой светом комнаты, а Ганс Касторп, опершись на

локоть, повернулся к двери, взглянул на вошедшего прищурясь и, узнав его, покраснел. На Сеттембрини был все тот же ворсистый свитер с широкими отворотами, сорочка с довольно потертым отложным воротником и клетчатые брюки. Так как он только что отобедал, то, по обыкновению, держал во рту деревянную зубочистку. Уголок рта под красиво загибающимся усом кривился знакомой, трезвой и скептической, усмешкой.

– Добрый вечер, инженер! Взглянуть на вас разрешается? Если да, то необходим свет – вы уж извините меня за самоуправство! – заявил гость и широким взмахом своей небольшой ручки указал на плафон. – Вы предавались созерцанию? Ни за что не хотел бы вам мешать. Склонность к задумчивости в данном случае была бы мне весьма понятна, а захотелось поболтать – у вас есть в конце концов ваш кузен. Я здесь лишний и, как видите, это вполне понимаю. Но все же мы живем с вами на таком маленьком клочке земли, что невольно у человека к человеку рождается сочувствие, духовное сочувствие, сердечное сочувствие... Вот уж по меньшей мере неделя как вас не видно. Я и в самом деле вообразил, будто вы отбыли, когда увидел, что ваше место в трапезной пусто. Но лейтенант сообщил мне, что дело обстоит не так плохо, гм... вернее, не так уж хорошо, не считите за грубость... Словом, как ваше здоровье? Как вы себя чувствуете? Что поделяетесь? Надеюсь, не вешаете нос?

– Так это вы, господин Сеттембрини? Очень любезно с вашей стороны! Ха, ха, трапезная, да? Вот вы и опять состригли. Садитесь, пожалуйста, сюда, на стул. Нет, вы ничуть не помешали мне. Я лежал тут и предавался размышлениям, – впрочем, размышления, пожалуй, слишком громкое слово. Просто лень было включить свет. Большое спасибо, субъективно – чувствую себя самым нормальным образом. Насморк почти прошел в результате лежания, но ведь он, как тут все говорят, явление вторичное... Температура все еще не такая, как полагается, то 37,5, то 37,7, за эти дни она еще не снизилась.

– А вы регулярно измеряете ее?

– Да, шесть раз в день, так же как вы все здесь наверху. Ха-ха, простите, вы меня насмешили, значит наша столовая – трапезная?.. Ведь так их, кажется, называют в монастырях, верно? И что-то в ней действительно есть от трапезной; я, правда, еще не был ни в одном монастыре, но я примерно такой себе ее и представляю. И «устав» я уже выучил наизусть и соблюдаю точно.

– Как и полагается благочестивому брату. Можно сказать, ваш искус кончен и вы дали монашеский обет. Позвольте торжественно поздравить

вас. Да, вы уже теперь говорите «наша трапезная». Впрочем, я отнюдь не хочу задеть ваше мужское достоинство, но вы скорее напоминаете молоденькую монахиню, чем монаха, и именно такую невинную овечку, только что принявшую постриг невесту Христову с большими удивленными глазами жертвы. Мне и раньше приходилось время от времени видеть таких агнцев, И всегда, всегда я испытывал какую-то сентиментальную жалость... да, да, ваш двоюродный брат мне все рассказал. Итак, в последнюю минуту вы все же решились подвергнуться осмотру...

– У меня ведь был жар... Но, уверяю вас, господин Сеттембрини, будь у меня внизу на равнине такой катар, я бы непременно обратился к нашему врачу. А здесь, где, можно сказать, сидишь у самых истоков исцеления и в доме два специалиста, согласитесь, было бы просто нелепо...

– Ну, понятно, понятно. Значит, и градусник вы себе тоже ставили до того, как вас уложили в постель. Впрочем, вам с самого начала порекомендовали измерять температуру. А градусник вам, наверное, подсунула Милендонк?

– Подсунула? Просто он был нужен, я и купил у нее...

– Все ясно. Безупречная торговая сделка. И на сколько же месяцев вас засадили в нашу каталажку?.. Боже милостивый, я ведь вас именно этими словами уже спрашивал! Помните? Вы только что прикатили и ответили мне тогда еще очень бойко.

– Конечно, помню, господин Сеттембрини, много нового пришлось мне с тех пор испытать, но это я помню совершенно ясно, словно то было сегодня. И вы потом так занятно стали изображать гофрата Беренса, как одного из судей преисподней... Радамес^[74]... нет, стойте, не то...

– Радамант? Может быть, я его и называл так. Не могу же я помнить все, что вспыхивает у меня в голове!

– Конечно, Радамант! Минос и Радамант! И насчет Кардуччи вы нам тогда рассказывали...

– Позвольте, милый друг, его мы лучше не будем трогать... Слышать сейчас это имя из ваших уст, пожалуй, слишком странно!

– Согласен, – рассмеялся Ганс Касторп. – Все-таки благодаря вам я многое узнал о нем. Да, тогда я еще ни о чем не подозревал и ответил вам, что приехал на три недели. Но ведь я был так уверен! Меня еще тогда эта Клеефельд приветствовала свистом своего пневмоторакса, а я даже обозлился. А лихорадить меня начало с первого же дня, здешний воздух благоприятен не только для лечения болезни, но он также благоприятствует и ее развитию; иногда болезнь дает вспышку, а это, как видно, необходимо,

чтобы вылечиться.

– Увлекательная гипотеза! И гофрат Беренс, вероятно, рассказывал вам о той русской немке, которая в прошлом – нет, в позапрошлом – году прожила у нас пять месяцев? Не рассказывал? А следовало бы. Очень милая дама, русско-немецкого происхождения, замужняя, молодая мать. Она приехала сюда с востока, лимфатичная, малокровная женщина, видимо было и кое-что посерьезнее! Ну-с, живет она у нас тут месяц, жалуется, что плохо себя чувствует. Терпение! Проходит второй месяц, она твердит, что самочувствие ее становится не лучше, а хуже. Ей внушают, что только врач может судить о том, каково ее состояние на самом деле; она же может говорить лишь о своих субъективных ощущениях, а это в счет не идет. Ее легкими довольны. Хорошо, она молчит, лечится и каждую неделю теряет в весе. Наступает четвертый месяц, она во время осмотра падает в обморок. Пустяки, уверяет Беренс, он ее легкими вполне доволен. Но когда на пятый месяц у нее уже нет сил подняться, она пишет об этом мужу на восток, и Беренс получает письмо от него, причем на конверте надпись – «личное», «срочно», я сам видел. Да, теперь Беренс согласен, он пожимает плечами, – оказывается, она не выносит здешнего климата. Бедная женщина была вне себя от горя. Почему ей раньше не сказали, кричит она, все время она это чувствовала, а теперь окончательно себя загубила!.. Будем надеяться, что на востоке, у мужа, она поправилась.

– Замечательно! Вы так хорошо рассказываете, господин Сеттембрини, каждое слово у вас пластично. И над вашим рассказом о девице – помните, которая искупалась в озере, и ей гофрат потом поставил «немую сестру», – над этим рассказом я несколько раз про себя смеялся. Да, чего только не бывает в жизни. Век живи – век учись. Но моя судьба пока еще совершенно неясна. Гофрат как будто нашел у меня какие-то пустяки – старые зарубцевавшиеся очаги, о которых я и не подозревал, при простукивании я сам убедился, что они есть, а теперь, оказывается, где-то обнаружился и свежий очажок, – ха, слово «свежий» при данных обстоятельствах звучит, конечно, несколько странно. Но пока ведь речь идет только об акустических данных, полную уверенность в правильном диагнозе мы получим, только когда я смогу встать и мне сделают просвечивание и рентгеновский снимок. Тогда уж будут налицо все данные для заключения.

– Вы полагаете? А вам известно, что фотографические пластинки иногда показывают пятна, которые принимаются за каверны, а это всего лишь тени, и наоборот, когда в легких действительно что-то есть – снимки не показывают никаких пятен? Мадонна! Ох, уж эти мне негативы! Был здесь один молодой нумизматик, его лихорадило, и так как его лихорадило,

то врачи отчетливо увидели на негативах каверны. Утверждали, будто эти каверны даже прослушиваются! Его лечили от туберкулеза легких, и он умер. А вскрытие показало, что легкие у него были совершенно здоровые, а умер он от каких-то кокков.

– Послушайте, господин Сеттембрини, вы договорились уже до вскрытия! У меня пока дело так далеко еще не зашло!

– Инженер, вы шутник!

– А вы – отчаянный критикан и малOVER, это бесспорно! Вы даже не верите в точные науки. Что, у вас у самих пластинка показывает пятна?

– Да, кое-какие показывает.

– И у вас действительно есть небольшой процесс?

– Да, к сожалению, довольно серьезный, – отозвался господин Сеттембрини и поник головой. Наступило молчание, он стал покашливать. Со своей постели Ганс Касторп разглядывал притихшего гостя. Молодому человеку показалось, что своими двумя столь простыми вопросами он опроверг все теории Сеттембрини и прервал все его рассуждения, даже рассуждения о республике и возвышенном стиле. И он ничего не сделал, чтобы разговор возобновился.

Через некоторое время Сеттембрини, улыбаясь, снова поднял голову.

– А теперь расскажите, как приняла эту весть ваша семья.

– То есть какую весть? О том, что мой отъезд отсюда откладывается? Моя семья? Моя семья, знаете ли, это три дяди – двоюродный дед и его два сына, к которым я скорее отношусь как к двоюродным братьям. Больше у меня никаких родственников нет, я ведь очень рано остался круглым сиротой. Как они приняли эту весть? Да ведь они еще слишком мало знают о моей болезни, не больше, чем я сам. Вначале, когда меня уложили в постель, я написал им, что очень сильно простужен и выехать не могу. А вчера, когда выяснилось, что дело затягивается, я написал вторично и объяснил, что гофрат Беренс, в связи с моим катаром, обратил внимание на легкие и настаивает на продлении моего пребывания здесь, пока все окончательно не выяснится. Вероятно, они приняли это очень хладнокровно.

– А как же ваше место? Вы ведь говорили, что намерены отдаться практической деятельности и уже хотели к ней приступить?

– Да, как практикант-доброволец. Я просил за меня извиниться на верфи – пусть пока не ждут. Пожалуйста, не думайте, что они от этого в отчаянье. Они могут сколько угодно обходиться и без практиканта.

– Отлично! Значит, с этой стороны все в порядке. Флегматичность по всей линии. В вашей стране, наверное, люди вообще флегматики? Но и

энергичны?

– О да, энергичны очень, – сказал Ганс Касторп. Он мысленно представил себе отсюда, издалека, характер своих земляков и решил, что собеседник дал им верную характеристику: вот именно – «флегматики, но энергичны», так оно и есть.

– Следовательно, – продолжал Сеттембрини, – если вам придется задержаться на более продолжительный срок, нам, живущим здесь наверху, вероятно, предстоит познакомиться с вашим дядюшкой – я разумею старика. Уж он-то без сомнения приедет проводить вас?

– Исключено! – воскликнул Ганс Касторп. – Ни при каких обстоятельствах! Его на аркане сюда не затащишь. Мой дядя, знаете ли, апоплексического сложения, у него почти нет шеи. Ему нужно приличное атмосферное давление, и, приехав сюда, он чувствовал бы себя хуже, чем ваша дама с востока... все что угодно могло бы здесь с ним случиться!

– Признаться, я огорчен. Так вы говорите – сложение апоплексическое? К чему тогда и флегматичность и энергия? Ваш дядюшка, верно, богат? И вы тоже богаты? В вашей стране люди вообще богаты.

Ганс Касторп улыбнулся этому писательскому обобщению и потом снова, со своей постели, устремил взгляд вдаль, на родные места, от которых был оторван. Он стал припоминать тамошних людей, попытался дать им оценку со стороны – на расстоянии это было легче и заманчивее.

– Кто богат, а кто и нет. Если нет, то тем хуже. Я? Конечно, я не миллионер, но что мое – то мое, я независим, у меня есть на что жить. Возьмем других, не будем говорить обо мне. Если бы вы сказали: у вас там нельзя не быть богатым, – я бы с вами согласился. В том случае, скажем, когда кто-нибудь не богат или перестает им быть, – тогда беда. «Этот? Да разве у него еще есть деньги?» – спрашивают они... Буквально так и с таким именно выражением лица; я часто слышал эти слова, и видите, как они запомнились? Вероятно, они казались мне все же очень странными, иначе я бы их не запомнил. Как вы думаете? Нет, по-моему, вам, например, как homo humanus'у у нас бы не понравилось; даже мне, – а ведь я там родился, – все это становилось иной раз противно, я потом замечал... а ведь меня лично это не касалось. Если у кого-либо в доме не подают к столу самых лучших и дорогих вин, то к этому человеку не ходят, и его дочери остаются старыми девами. Таковы у нас люди. Вот я здесь лежу, смотрю со стороны, и все это кажется мне отвратительным. Как вы сказали? Флегматики? И вместе с тем энергичны? Хорошо, но что это означает? Жестки, холодны. А что такое жесткость, холодность? Это

жестокость. Самый воздух там внизу жестокий, неумолимый. Когда вот так лежишь и смотришь издали, просто ужас берет.

Сеттембрини слушал и кивал головой. Он еще продолжал кивать, хотя Ганс Касторп уже покончил с критикой и смолк. Тогда итальянец облегченно вздохнул и сказал:

– Я не хочу приукрашивать те своеобразные формы, которые естественная жестокость жизни принимает в нашем обществе. И все-таки упрек в жестокости остается довольно сентиментальным упреком. У себя дома вы едва ли решились бы высказать его – из страха стать смешным в собственных глазах. И вы правильно сделали, что предоставили это тунеядцам. То обстоятельство, что вы теперь выдвигаете его, говорит о некотором отчуждении от жизни, и я бы не хотел, чтобы эта отчужденность в вас укрепилась, ибо тот, кто привыкает ссылаться на нее, легко может совсем пропасть для жизни, утратить связь с той формой действительности, для которой данный человек рожден! Вы понимаете, инженер, что это значит: «пропасть для жизни»? Я-то знаю, мне приходится это наблюдать здесь ежедневно. Самое большее через полгода каждый молодой человек, приезжающий сюда наверх (а сюда приезжают, как правило, только молодые люди), уже не помышляет больше ни о чем, кроме флирта да градусника. А самое большее через год он уже не может и воспринимать никаких иных мыслей, они кажутся ему «жестокими», или, вернее говоря, ошибочными и основанными на невежестве. Вот вы любите слушать всякие истории. Я мог бы привести множество примеров. Я мог бы рассказать о сыне и супруге, прожившем здесь одиннадцать месяцев, мы познакомились с ним. Он был, пожалуй, немного старше вас, да, постарше. Его отпустили как выздоровевшего, для пробы, и он вернулся домой, в объятия близких; там были не дяди, там были мать и жена; и вот он лежал целыми днями с градусником во рту и ни о чем другом знать не хотел. «Вы этого не понимаете, – говорил он. – Надо пожить там наверху, тогда узнаешь, что именно нужно. А у вас тут внизу нет основных понятий». Кончилось тем, что мать заявила: «Возвращайся наверх. Тут тебе больше делать нечего». И он сюда вернулся. Возвратился «на родину», – вы же знаете, те, кто здесь пожил, называют эти места своей «родиной». С молодой женой они стали совсем чужими, у нее, видите ли, не было «основных понятий», и ей пришлось от него отказаться. Она увидела, что «на родине» он найдет себе подругу с одинаковыми «основными понятиями» и останется там навсегда.

Ганс Касторп, казалось, слушал его невнимательно. Он все еще вглядывался в заливающий белую комнату яркий свет, точно в какую-то

даль. Потом с опозданием рассмеялся и сказал:

– Ваш больной назвал эти места родиной? Ну, конечно, в этом есть некоторая сентиментальность, как вы выразились. Да, всяких историй вы знаете немало. А я сейчас думаю о нашем разговоре по поводу холодности и жестокости: эти дни я со всех сторон обдумывал этот вопрос. Видите ли, нужно, вероятно, быть по натуре довольно толстокожим, чтобы так вот, безоговорочно мириться с воззрениями людей там, на равнине, с их вопросами вроде: «А разве у него еще есть деньги?» – и с выражением их лиц, когда они говорят такие вещи. Мне это и раньше казалось чем-то неестественным, хотя я даже не homo humanus, а теперь мне ясно, что всегда поражался этому. Может быть, в таком неприятии сыграло роль скрытое предрасположение к болезни, – я ведь сам слышал эти зарубцевавшиеся очаги, а теперь Беренс нашел у меня новый очажок. И хотя я этого не ожидал, но, в сущности, не очень удивился: здоровым как бык я себя никогда не чувствовал, да и мои родители умерли слишком рано... Я, знаете ли, с детства круглый сирота...

Сеттембрини сделал головой, плечами и руками вежливо-веселый жест, как бы вопрошая: «Ну и что же? А дальше?»

– Вы ведь писатель, – продолжал Ганс Касторп, – литератор; вы должны в таких вещах разбираться, и согласитесь, что при подобных обстоятельствах едва ли возможно такое уж грубо прямолинейное отношение к жизни, при котором жестокость людей представляется совершенно естественной, – да, самых обыкновенных людей, знаете ли, которые вас окружают, смеются, зарабатывают деньги, набивают себе брюхо... Не знаю, так ли я...

Сеттембрини отвесил ему поклон.

– Вы хотите сказать, – подхватил он, – что раннее и неоднократное соприкосновение со смертью создает некое устойчивое душевное состояние, при котором в человеке развивается особая чувствительность и восприимчивость к грубости и беспощадности неразумной земной суеты, скажем – к ее цинизму.

– Вот именно! – воскликнул Ганс Касторп с искренним воодушевлением. – Вы совершенно точно поняли мою мысль и поставили все точки над и, господин Сеттембрини! Да, со смертью! Я же знал, что вы, как литератор...

Сеттембрини простер руку, склонив голову набок, и закрыл глаза – красивая и мягкая поза, призывавшая собеседника умолкнуть и выслушать до конца. В этой позе он как бы замер на несколько мгновений, хотя Ганс Касторп уже смолк и несколько смущенно ожидал его дальнейших слов.

Наконец итальянец снова открыл бархатисто-черные глаза, глаза шарманщика, и продолжал:

– Позвольте! Позвольте мне, инженер, сказать вам и настоятельно подчеркнуть, что единственно-здоровая и благородная, а также – я особенно обращаю ваше внимание – единственно религиозная форма отношения к смерти в том, чтобы видеть и ощущать в ней неотъемлемую часть и некое священное условие жизни, но не что-то противоположное ей, здоровью, благородству, разуму и религии, что-то духовно отличное от жизни, противостоящее и враждебное ей. Древние украшали свои саркофаги символами жизни и зачатия, даже непристойными изображениями – ибо для древнего религиозного сознания священное весьма часто сочеталось с непристойным. Эти люди умели чтить смерть. И смерть достойна почитания как колыбель жизни, как материнское лоно обновления. Но когда ее отторгают от жизни, она становится призраком, страшной личиной – и даже кое-чем похуже... Ибо смерть как самостоятельная духовная сила – это в высшей степени распутная сила, чья порочная притягательность без сомнения очень велика, но влечение к этой силе бесспорно является самым жестоким заблуждением человеческого духа.

Тут Сеттембрини остановился. Высказав столь общую мысль, он решительно умолк. Говорил он не ради пустой болтовни – в его тоне чувствовалась глубокая серьезность: он не дал собеседнику прервать себя и возразить, но, заключая свою речь, понизил голос и как бы поставил точку. И теперь итальянец сидел перед молодым человеком, сомкнув уста, скрестив руки на груди, положив ногу на ногу, и, только чуть покачивая носком башмака, строго глядел на него.

Замолчал и Ганс Касторп. Откинувшись на подложенную под спину подушку и отвернувшись к стене, он слегка барабанил кончиками пальцев по стеганому одеялу. У него было такое чувство, словно ему прочли нравоучение, одернули, даже побранили, и в его молчании сквозила чисто мальчишеская упрямая обида. Пауза тянулась довольно долго.

Наконец Сеттембрини снова поднял голову и сказал улыбаясь:

– А вы помните, инженер, – мы однажды уже вели с вами подобный диспут и, можно сказать, на ту же тему! Мы болтали тогда, если не ошибаюсь, во время прогулки, о болезни и глупости, сочетание которых вы, основываясь на своем глубоком уважении к болезни, объявили парадоксом. Я же назвал это уважение мрачной причудой, которая только бесчестит человеческую мысль, и вы, к моему удовольствию, выразили готовность все же принять во внимание мои доводы. Мы говорили также о

нейтральности и умственной нерешительности молодежи, о ее возможности свободно выбирать, о ее склонности производить опыты с самыми разнообразными точками зрения и о том, что подобные попытки еще нельзя – да и не нужно – рассматривать как окончательную, серьезно продуманную систему взглядов, за которую отвечаешь перед жизнью. Разрешите мне, – Сеттембрини наклонился вперед, поставив рядом ступни и зажав руки между колен, вытянул шею и слегка повернул голову вбок, – разрешите мне и в дальнейшем, – продолжал он, улыбаясь, и в его голосе даже зазвучало легкое волнение, – разрешите мне при ваших поисках и экспериментах оказывать вам некоторую помощь и влиять на вас в должном направлении, если вам будут угрожать пагубные выводы?

– Ну конечно, господин Сеттембрини! – Ганс Касторп, который все еще сидел отвернувшись, поспешил изменить свою упрямую и смущенную позу, перестал барабанить по одеялу, с несколько растерянной и торопливой любезностью обратил лицо к итальянцу и сказал:

– Это слишком великодушно с вашей стороны... И я спрашиваю себя, смогу ли я... То есть окажется ли у меня...

– И притом вполне *sine ресупна*, – вставая, процитировал Сеттембрини слова Беренса. – Да и кто в таких случаях себе враг! – Оба рассмеялись. Они услышали, как открылась первая дверь, вошедший тут же нажал и ручку второй. Оказалось, что это Иоахим, он вернулся после вечернего сидения в гостиной. Увидев итальянца, он покраснел, как перед тем покраснел Ганс Касторп, и его смуглое от загара лицо стало чуть темнее.

– О, у тебя гости, – сказал он. – Ты, должно быть, очень рад! А меня задержали. Уговорили сыграть партию в бридж – они называют это бриджем, – продолжал он, покачав головой, – а на поверку оказалось совсем другое. Я выиграл пять марок...

– Только смотри, чтобы игра не стала для тебя приятным пороком, – заметил Ганс Касторп. – Гм, гм... А господин Сеттембрини так хорошо помог мне скоротать время... впрочем, это выражение совсем сюда не подходит, оно скорее подходит для вашего так называемого бриджа, который вовсе не бридж. Господин Сеттембрини вел со мной весьма знаменательный разговор... Как порядочный человек я должен был бы приложить все силы, чтобы уехать отсюда, – раз у вас дело уже дошло до такого бриджа. Но ради того, чтобы почаще слушать господина Сеттембрини и пользоваться, как говорится, его помощью, я почти готов пожелать, чтобы температура у меня держалась бесконечно, и я бы тут у вас застрял... В конце концов мне еще поставят «немую сестру», чтоб я не жульничал...

– Повторяю, инженер, вы шутник, – сказал итальянец и любезнейшим образом откланялся.

Когда кузены остались одни, Ганс Касторп вздохнул.

– Ну и педагог! – заявил он. – Педагог-гуманист, этого у него не отнимешь. Он все время старается воздействовать на тебя то разными историями, то отвлеченными рассуждениями. И в конце концов начинаешь говорить с ним о таких вещах!.. Никогда не подумал бы, что о них можно говорить или хотя бы понять их, и если бы я встретился с ним там, на равнине, я действительно их не понял бы, – добавил он.

В это время Иоахим обычно оставался посидеть у Ганса Касторпа, жертвуя тридцатью или сорока пятью минутами своего вечернего лежания. Иногда они играли на обеденном столике в шахматы, – Иоахим принес их снизу. Потом, собрав свои пожитки и сунув в рот термометр, Иоахим уходил на свой балкончик, измерял себе в последний раз температуру, это же делал и Ганс Касторп, а в окутанной ночным мраком долине, то далеко, то близко, звучала танцевальная музыка и доносилась сюда, наверх. В десять кончалось вечернее лежание на балконах; слышно было, как возвращается к себе Иоахим, как возвращается супружеская пара, сидящая за «плохим» русским столом... И Ганс Касторп повертывался на бок, ожидая, когда придет сон.

Ночь была самой трудной частью суток, ибо Ганс Касторп часто просыпался и нередко лежал долгие часы без сна – то ли не совсем нормальная температура поддерживала в нем возбуждение, то ли вполне горизонтальный образ жизни влиял на его способность и желание спать. Зато часы дремоты были полны пестрых и весьма живых сновидений, которые он потом вспоминал, когда снова начиналась бессонница. И если тщательное распределение дня и его раздробленность придавали ему быстротечность, то и ночные часы, с их неразличимым однообразием, действовали так же. А когда приближалось утро, было интересно наблюдать, как понемногу редет и светлеет мрак и выступает комната из ночной темноты, как обозначаются и сбрасывают покровы сумрака предметы, а за окнами набухает тусклый рассвет или радостно разгорается заря; не успеешь опомниться – и вот уже пришла минута, когда массажист решительным стуком в дверь возвещает о том, что обычный дневной распорядок вступил в свои права.

Ганс Касторп при отъезде не захватил с собой календаря, поэтому не всегда представлял себе, какое же сегодня число. Время от времени он осведомлялся об этом у двоюродного брата, хотя и тот иной раз не мог дать уверенного ответа. Все же воскресные дни, особенно те, когда бывали

концерты, – а они имели место два раза в месяц, и молодой человек прослушал здесь не один такой концерт, – воскресные дни служили как бы ориентиром; во всяком случае, было ясно, что уже наступил сентябрь, и даже более того, что он наполовину уже прошел. С тех пор как Ганса Касторпа уложили в постель, пасмурная и холодная погода в долине сменилась чудесными летними днями, они держались долго и стойко; Иоахим каждое утро появлялся опять в белых брюках, и Ганс Касторп не мог подавить горького томления своей души и своих молодых мышц оттого, что приходится упускать такие великолепные деньки. Однажды он даже заявил вполголоса, что это «позор» так терять даром время, но потом, желая утешить себя, добавил: если бы даже он свободно располагал собой, то едва ли смог бы использовать эти дни больше, чем сейчас, ибо на опыте убедился, насколько ему вредно много ходить. Все же некоторую возможность наслаждаться теплом и светом давала широко распахнутая балконная дверь.

Но к концу назначенного ему постельного режима погода опять резко изменилась. Ночью стало холодно и мглисто, в долине поднялась сырая метель, и в комнате повеяло сухим теплом парового отопления. Так же было и в тот день, когда Ганс Касторп, во время утреннего обхода врачей, напомнил гофрату, что сегодня истекают три недели, как его уложили, и попросил разрешения встать.

– Какого черта, разве вы уже отлежали свой срок? – удивился Беренс. – Ну-ка, покажите: действительно, вы правы. Господи, как время-то летит! Ну, у вас ничего особенно не изменилось. Что? Вчера была нормальная? Да, до шести часов вечера. Что ж, тогда и я не буду придираюсь и возвращу вас человеческому обществу. Встаньте, человеке, и ходите! Разумеется, в предписанных и дозволенных границах. На днях мы сделаем вам рентген. Запишите! – бросил он, выходя, доктору Кроковскому, ткнув через плечо своим громадным пальцем в сторону Ганса Касторпа и посмотрев на бледного ассистента налитыми кровью, слезящимися синими глазами. И Ганс Касторп покинул «стойло».

И вот он, в пальто с поднятым воротником и в калошах, опять сопровождал двоюродного брата до скамейки у водостока и обратно, не преминув обсудить по пути вопрос о том, сколько же еще гофрат заставил бы его проваляться в постели, не заяви он, что свой срок отлежал сполна. А Иоахим, открыв рот, словно хотел воскликнуть «ах», сделал жест горестного недоумения.

Боже мой, я вижу!

Прошла целая неделя, пока сестра фон Милендонк записала Ганса Касторпа на просвечивание. А он не торопил ее. Санаторий «Берггоф» оживился, врачи и персонал были заняты по горло. За последние дни приехали новые пациенты: два русских студента с пышной шевелюрой, в черных косоворотках и без каких-либо признаков нижнего белья; голландская чета, которую посадили за стол Сеттембрини; горбатый мексиканец, пугавший своих сотрапезников отчаянными приступами удушья, – во время этих приступов длинные руки астматика вцеплялись, точно клещи, в его соседей, будь то мужчина или дама, те звали на помощь, а он держал их словно в тисках, заражая своим ужасом. Короче говоря, столовая была почти полна, хотя зимний сезон начинался только с октября. Здоровье Ганса Касторпа не внушало особых опасений и едва ли давало ему право требовать к себе особого внимания. Фрау Штер, например, невзирая на всю свою глупость и невежество, все-таки была, без сомнения, гораздо более тяжело больна, чем он, уж не говоря о докторе Блюменколе. И нужно было не иметь никакого понятия о рангах и дистанциях, создаваемых болезнью, чтобы вести себя иначе. Поэтому Ганс Касторп держался с непритязательной скромностью, тем более что это соответствовало духу данного учреждения. На легко больных здесь не очень-то обращают внимание, – он в этом убедился из многих разговоров. О них отзывались с презрением, на них смотрели свысока, ибо здесь были приняты иные масштабы, – и смотрели свысока не только те, кто были в чине тяжело и очень тяжело больных, но и те, кого болезнь затронула лишь слегка; правда, они этим как бы выражали пренебрежение к самим себе, зато, подчиняясь здешним масштабам, становились на защиту более высоких форм самоуважения. Черта вполне человеческая.

– Ах, этот! – говорили они друг о друге. – Да у него, собственно говоря, ничего нет, он, пожалуй, и права не имеет тут находиться: даже на одной каверны не найдено... – Таков был дух, царивший в «Берггофе», – своего рода аристократизм, который Ганс Касторп приветствовал из врожденного преклонения перед всяким законом и порядком. Таковы были местные нравы. Притом со стороны путешественников не слишком культурно – высмеивать взгляды и обычаи народов, оказывающих им гостеприимство; а считаться достойными уважения могут самые разнообразные черты народного характера. Даже по отношению к Иоахиму

Ганс Касторп держался с известной почтительностью и бережностью – и не потому, что тот здесь прожил дольше и служил ему в этом новом для него мире как бы водителем и чичероне, – нет, именно потому, что двоюродный брат был бесспорно болен «тяжелее», чем он сам. При таких условиях вполне понятно, что больные стремятся извлечь из своего состояния всевозможные преимущества и даже перехватывают в этом отношении через край, лишь бы попасть в число аристократов или хотя бы приблизиться к ним. Если за столом соседи осведомлялись о его температуре, Ганс Касторп тоже невольно прибавлял несколько десятых к показаниям своего градусника, и не мог не чувствовать себя польщенным, когда ему грозили пальцем, словно он ужасно напроказил. Но если он даже и привирал, то все-таки оставался по сути дела особой невысокого ранга, и ему подобало быть прежде всего терпеливым и сдержанным.

Молодой человек вернулся к тому образу жизни, который вел здесь в течение первых трех недель – уже знакомому, правильно и точно распределенному, – и дело пошло на лад с первого же дня, словно никакого перерыва и не было. В самом деле – перерыв был ничтожен, Ганс Касторп явственно ощутил это при первом же его появлении за столом. Правда, Иоахим, всегда подчеркивавший значение подобных знаков внимания, позаботился о том, чтобы перед прибором восставшего с одра болезни стоял букетик цветов.

Однако в приветствиях сотрапезников было весьма мало торжественности. Они едва ли чем отличались от прежних, которым предшествовала разлука не на три недели, а на три часа, и не столько из равнодушия к этому скромному и милому юноше или потому, что его товарищи по болезни были поглощены только собой, то есть интересовались только своим телом, сколько потому, что его продолжительное отсутствие не дошло до их сознания. Да и сам Ганс Касторп без труда последовал их примеру, ибо чувствовал себя на обычном месте между учительницей и мисс Робинсон совершенно так же, как если бы сидел здесь не три недели назад, а только вчера вечером.

А раз даже сидевшие с ним за одним столом не очень-то обратили внимание на то, что он, после некоторого отсутствия, появился снова, можно ли было ждать этого от сидевших за другими столами? Там буквально никто этого не заметил – кроме одного Сеттембрини; после завтрака он подошел к Гансу Касторпу и с дружеской шутливостью приветствовал его. Правда, Ганс Касторп отметил еще одно исключение, но мы оставляем это на его совести. Он убеждал себя, будто Клавдия Шоша заметила его появление: как только она вошла, по обыкновению с

опозданием и хлопнув дверью, она устремила на него взгляд своих узких глаз, с которым встретился его взгляд, и, едва опустившись на место, еще раз повернула голову и посмотрела на него с улыбкой, совершенно такой же, как три недели назад, когда он шел на осмотр к врачу. И столь бесцеремонным было ее движение, бесцеремонным по отношению и к нему и к остальным пациентам, что он не знал, следует ему возликовать или увидеть в этом пренебрежение и рассердиться. Во всяком случае, его сердце судорожно сжалось от этих ее взглядов, которые, по его мнению, самым головокружительным и потрясающим образом опровергали факт его светского незнакомства с ней и как бы наказывали за ложь, – оно сжалось почти мучительно, едва звякнула застекленная дверь, ибо Ганс Касторп ждал этой минуты, затаив дыхание.

Следует, хотя бы с некоторым опозданием, отметить, что во внутреннем отношении Ганса Касторпа к сидевшей за «хорошим» русским столом пациентке произошли немалые перемены: стремление его чувств и скромного духа к этой особе среднего роста, с мягкой крадущейся походкой и киргизскими глазами, короче говоря, его влюбленность (мы пользуемся этим выражением, хотя оно пришло «оттуда», с низменности, и могло бы сложиться впечатление, что песенка «О, как меня волнует...» здесь все же у места), – его влюбленность за время уединения весьма выросла. Образ Клавдии витал перед ним и ранним утром, среди полумрака, из которого нерешительно выступала комната, и в густеющих вечерних сумерках (в тот час, когда к нему, озаренный внезапным светом, вошел Сеттембрини, этот образ рисовался ему особенно отчетливо, почему молодой человек при виде гуманиста и покраснел); в отдельные минуты рассеченного на части строгим распорядком, укороченного дня он вспоминал ее рот, ее скулы, ее глаза, цвет, форма и разрез которых томили душу, ее поникшие плечи, манеру держать голову, шейные позвонки над вырезом блузки, очертания ее плеч, словно просветленных тончайшим газом; и если мы умолчали о том, что именно благодаря этому занятию пролетали так безболезненно часы его лежания, – мы сделали это из сочувствия к тревогам, мучившим его совесть, несмотря на тот ужас счастья, который вызывали подобные образы и воспоминания.

Да, с ними были связаны ужас, потрясение и надежда на что-то неясное, беспредельное и захватывающее, на радость и страх, которые не имели названия, но от которых сердце юноши – сердце в буквальном, физическом смысле слова – порой сжималось так нестерпимо, что он невольно подносил одну руку к груди, а другую ко лбу (заслоняя ею глаза) и шептал:

– Боже мой!

В его голове жили мысли и зачатки мыслей, которые, собственно, и придавали этим образам и воспоминаниям их опасную сладость, – мысли о небрежности и бесцеремонности мадам Шоша, о том, что она больна, о ее подчеркнутой и усиленной болезнью телесности, о ее как бы оплотневшем существе, – все это отныне по приговору врачей предстояло изведать и Гансу Касторпу. Постиг он также ту странную свободу, благодаря которой мадам Шоша могла повертываться к нему и улыбаться, выказывая явное пренебрежение к тому обстоятельству, что они, в светском смысле этого слова, незнакомы, словно они являются существами, не принадлежащими ни к какому определенному обществу, и что нет даже необходимости разговаривать друг с другом... Именно это его и испугало – в том же смысле, в каком он испугался в кабинете Беренса, когда отвел взор от торса Иоахима и торопливо заглянул ему в глаза, – с той только разницей, что в основе его тогдашнего испуга лежали жалость и тревога, здесь же дело было совсем в другом.

И вот опять в замкнутом пространстве потекла своим чередом берггофская жизнь, многообещающая и строго размеренная. Ганс Касторп, в ожидании рентгена, продолжал вести ее совместно с добряком Иоахимом, причем час за часом делал в точности тоже, что и двоюродный брат; и это соседство, вероятно, было для него благотворно. Пусть оно являлось лишь соседством двух больных, оно было проникнуто какой-то почти воинской доблестью. Иоахим, хоть и незаметно для себя, уже готов был найти удовлетворение в покорности этой лечебной повинности, усмотреть в ней замену того долга, который он стремился выполнять внизу, на равнине, и сделать ее своей новой профессией, – Ганс Касторп был не так глуп, чтобы не заметить этого. Все же он ощущал сдерживающее и обуздывающее влияние этого соседства на сугубо «штатский» склад своей натуры, может быть это соседство, пример Иоахима и его надзор и были тем, что удерживало юношу от необдуманных поступков и опрометчивых действий. Ибо он видел, как мужественно борется честный Иоахим с некоей, ежедневно подступающей к нему апельсиновой атмосферой, где были, кроме того, круглые карие глаза, маленький рубин, неудержимая, мало обоснованная смешливость и, на первый взгляд, здоровая, пышная грудь; а то благоразумие и честность, с какими Иоахим избегал этой атмосферы и уклонялся от ее влияния, производили на Ганса Касторпа сильное впечатление, держали его в узде добропорядочности и не позволяли, выражаясь образно, «попросить карандаш» у узкоглазой пациентки; а он был бы очень даже готов это сделать, если бы не столь дисциплинирующее

соседство.

Иоахим никогда не говорил о хохотушке Марусе, поэтому Ганс Касторп не позволял себе разговоров и о Клавдии Шоша. Он вознаграждал себя тем, что тайком обменивался замечаниями с учительницей, сидевшей за столом справа от него, причем своим поддразниванием старой девы по поводу ее слабости к некоей больной особе с гибкой фигурой, заставлял бедняжку краснеть, а сам, подражая достойной манере старика Касторпа, упирался подбородком в свой воротничок. Кроме того, он настойчиво требовал от нее все новых достоверных сведений о деталях личной жизни мадам Шоша, о ее происхождении, муже, возрасте, о серьезности ее болезни. Он хотел знать, есть ли у нее дети.

– Ну конечно нет, какие там дети. И зачем такой женщине дети? Вероятно, ей строжайшим образом запрещено иметь их, а с другой стороны – что это были бы за дети? – И Ганс Касторп не мог с этим не согласиться.

– Да и потом, пожалуй, уже поздно, – добавил он с неожиданной деловитостью. – Иногда, в профиль, черты мадам Шоша кажутся уже резковатыми. Ведь ей, пожалуй, за тридцать?

Но фрейлейн Энгельгарт возмутилась. Это Клавдии-то за тридцать? От силы – двадцать восемь. Что касается профиля, то она попросту запрещает своему соседу говорить такие вещи. У Клавдии Шоша профиль совсем юный, мягкий и прелестный, хотя, конечно, своеобразный, не то что у какой-нибудь здоровой дурынды. В наказание фрейлейн Энгельгарт тут же добавила, что – она знает это наверняка – мадам Шоша частенько посещает некий господин, ее соотечественник, он живет в курорте; она принимает его под вечер у себя в комнате.

Удар был нанесен метко. Несмотря на все старания Ганса Касторпа, лицо его судорожно исказилось: не помогли никакие «вот оно что» и «подумать только», которыми он отозвался на эту новость; и в этих словах тоже была какая-то искаженность. И так как Ганс Касторп был не в силах отнестись к существованию упомянутого соотечественника с подобающей легкостью, хотя вначале и старался сделать вид, будто это его ничуть не трогает, он то и дело возвращался к этому знакомству, расспрашивая ее дрожащими губами.

– Что ж он, еще молодой человек?

– Молодой и интересный, судя по всему, что мне говорили, – ответствовала учительница; сама она его не видела и судить не может.

– Болен?

– Кажется, очень легко!

Нужно надеяться, продолжал Ганс Касторп язвительно, что на нем

больше белья, чем на его соотечественниках, которые сидят за «плохим» русским столом, а фрейлейн Энгельгарт, опять-таки желая почувствительнее наказать его, сочла нужным заявить, что в наличии белья она не сомневается. Тогда он признал, что необходимо узнать, какого характера это знакомство, и пусть она непременно выяснит подоплеку столь частых визитов соотечественника. Однако, вместо того чтобы сообщить желанные сведения, она через несколько дней рассказала нечто совсем новое. Оказывается, кое-кто пишет портрет Клавдии Шоша, известно ли это Гансу Касторпу, – спросила учительница. А если нет, то может не сомневаться, – она узнала это из самых достоверных источников. Клавдия уже давно здесь, в санатории, позирует одному человеку – и кто же этот человек? Гофрат Беренс! Она почти ежедневно ходит к нему на квартиру и позирует.

Эта новость взволновала Ганса Касторпа еще больше, чем все предшествующие. И он стал то и дело отпускать по этому поводу вымученные шутки: ну, конечно, сказал он учительнице, всем известно, что гофрат пишет маслом, – чего же фрейлейн Энгельгарт хочет, это ведь не запрещено, каждый может, пожалуйста. Значит, она ходит к гофрату на квартиру, к вдовцу? Надеюсь, хоть фрейлейн Милендонк присутствует на сеансах?

– Она, вероятно, очень занята.

– Должно быть, и Беренс занят не меньше, чем старшая сестра, – ответил Ганс Касторп. Но хотя вопрос, казалось, был исчерпан, молодой человек отнюдь не собирался забыть о нем и без конца расспрашивал о всевозможных частностях: что это за портрет, какого формата, только ли головной или во весь рост; осведомлялся и о времени сеансов, хотя фрейлейн Энгельгарт ничего не могла сказать ему о таких подробностях и лишь утешала обещаниями в дальнейшем все разузнать.

После такой новости температура у Ганса Касторпа подскочила до 37,7. Но еще больше, чем визиты, которые наносились мадам Шоша, мучили и тревожили его те, которые наносила она сама. Частная, личная жизнь мадам Шоша, независимо от ее содержания, и так уже начала вызывать в нем боль и тревогу, – насколько же эти чувства обострились, когда до него дошли слухи и о содержании этой жизни! Правда, считалось вполне возможным, что отношения между русским гостем и его соотечественницей самые простые и невинные; но с некоторых пор Ганс Касторп склонялся к тому, что простота и невинность – не что иное, как втирание очков, и ни он сам, ни другие не могли его убедить, будто это писание портрета – в данном случае единственная форма отношений

между молодцевато ораторствующим вдовцом и узкоглазой вкрадчивой молодой особой. Вкус, который выказал гофрат при выборе модели, слишком уж совпадал со вкусами самого Ганса Касторпа, чтобы он поверил в простоту и невинность, хотя синие щеки гофрата и его выпученные глаза с красными жилками, пожалуй, и не давали оснований для таких подозрений.

Одно открытие, случайно сделанное Гансом Касторпом в ближайшие дни, подействовало на него несколько иначе, хотя дело касалось опять-таки совпадения чужого вкуса с его собственным.

Слева от кузенов и неподалеку от боковой застекленной двери, за поперечным столом, где были места фрау Заломон и прожорливого подростка в очках, сидел еще один пациент, родом из Мангейма, как узнал Ганс Касторп, лет тридцати, лысеющий, с кариозными зубами и запинаящейся речью – тот самый, который в часы вечернего общения между пациентами с успехом играл на рояле, притом чаще всего «Свадебный марш» из «Сна в летнюю ночь». Ходили слухи, что он очень религиозен, – случай, впрочем, нередкий среди больных здесь наверху и вполне понятный. Утверждали, будто бы он каждое воскресенье бывает в церкви, в деревне Давос, а во время лежания читает благочестивые книги с изображением чаши или пальмовых ветвей на обложке, И вот Ганс Касторп как-то заметил, что взгляд этого человека устремлен туда же, куда и его собственный, и не отрывается от гибкой фигуры мадам Шоша, притом с навязчивым упорством и каким-то прямо собачьим смирением. Заметив это один раз, Ганс Касторп стал невольно то и дело перехватывать его взгляды. По вечерам он видел мангеймца среди больных в карточной комнате, откуда тот уныло и самозабвенно предавался созерцанию пленительной, хотя и несколько потрепанной болезнью особы, сидевшей в маленькой гостиной на диване рядом с кудлатой Тамарой (так звали девушку-насмешницу) и болтавшей с Блюменколем, а также с сутулым узкогрудым господином, ее соседом по столу; Ганс Касторп замечал, как мангеймец с трудом отводит взгляд, топчется по комнате, а потом, скосив глаза и горестно выпятив верхнюю губу, медленно повертывает голову и через плечо снова смотрит в ту же сторону. Видел, как тот, сидя в столовой, краснеет и изо всех сил старается держать глаза опущенными, а потом, когда хлопает застекленная дверь и мадам Шоша крадется к своему месту, все же поднимает их и впивается в нее взглядом. Не раз замечал он, что бедняга, окончив трапезу, нарочно становился между «хорошим» русским столом и застекленной дверью, ожидая, когда мадам Шоша, не обращавшая на него ни малейшего внимания, пройдет совсем рядом с ним; и тогда он

пожирал ее глазами, полными бесконечной грусти.

Таким образом, и это открытие только усилило волнения Ганса Касторпа, хотя жалостная влюбленность мангеймца не могла встревожить его в том же смысле, в каком тревожили свидания Клавдии Шоша с гофратом Беренсом, человеком, столь превосходившим его и возрастом, и яркостью своей личности, и положением в обществе. К мангеймцу Клавдия была совершенно равнодушна; если бы дело обстояло иначе, это не ускользнуло бы от настороженной проницательности Ганса Касторпа, да и не ревность жалила его душу. Но он изведal все ощущения, какие испытывает человек, упоенный страстью, когда видит ее извне, в других, когда эта страсть вызывает в нем самую странную смесь отвращения и чувства какого-то сообщничества. Но мы не можем все это подробно исследовать и разбирать досконально, если хотим двигаться вперед. Во всяком случае, когда прибавились еще наблюдения над мангеймцем, бедный Ганс Касторп почувствовал, что при его теперешнем состоянии это уже слишком.

Так прошла неделя, отделявшая Ганса Касторпа от просвечивания. Он не представлял себе, что она все же пройдет, но вот однажды утром, за первым завтраком, старшая сестра (у нее опять вскочил ячмень – не мог же это быть тот самый; видимо, причины столь невинного, но уродливого недомогания крылись в особенностях ее организма), – старшая сестра передала ему приказ явиться после обеда в лабораторию, и он понял, что неделя действительно прошла. Гансу Касторпу предложено было зайти туда за полчаса до чая вместе с двоюродным братом, ибо, пользуясь случаем, врачи решили сделать рентгеновский снимок и с Иоахима – его последний снимок, вероятно, устарел.

Поэтому кузены сократили двухчасовое послеобеденное лежание на полчаса, ровно в половине четвертого спустились «вниз» по каменной лестнице в так называемый подвальный этаж и сидели теперь рядышком в маленькой приемной, находившейся между кабинетом врача и лабораторией для просвечивания: Иоахим, которому ничего нового не предстояло, – совершенно спокойно, а Ганс Касторп – слегка волнуясь и с интересом, ибо до сих пор никто еще не заглядывал во внутреннюю жизнь его организма. Они были не одни. Войдя, они увидели, что в приемной уже сидят несколько больных, держа на коленях истрепанные иллюстрированные журналы: молодой швед богатырского сложения – его место в столовой было за столом Сеттембрини; когда он приехал в апреле, то был настолько плох, что его даже не хотели принимать, а теперь он прибавил восемьдесят фунтов и намеревался, ввиду полного

выздоровления, покинуть санаторий; потом какая-то дама, сидевшая за «плохим» русским столом, хилая особа с еще более хилым, длинноносым и некрасивым мальчиком, которого звали Сашей. Было ясно, что эти люди ждут дольше, чем кузены, и их вызвали на более раннее время; должно быть, с рентгеном произошла какая-то задержка, и чай придется пить холодным.

В лаборатории шла работа. Слышался голос гофрата, отдававшего распоряжения. В половине четвертого с минутами дверь наконец открылась – ее открыл ассистент-техник, – и был впущен счастливчик, богатырь швед, а находившегося там больного, видимо, выпустили в другую дверь. Дело пошло быстрее. Через десять минут из коридора донеслись энергичные шаги окончательно выздоровевшего скандинава, этой ходячей рекламы курорта и, в частности, санатория «Берггоф»; затем впустили русскую мать и Сашу.

Когда входил швед, Ганс Касторп заметил, что в лаборатории царит такой же полумрак, вернее – искусственный полусвет, как и в аналитическом кабинете Кроковского на другом конце здания. Окна были завешены, дневной свет в комнату не проникал, и горело несколько электрических лампочек. Но в ту минуту, как в лабораторию входили Саша и его мать, а Ганс Касторп смотрел им вслед, дверь, ведущая из коридора в приемную, отворилась, и вошел следующий пациент, очевидно, слишком рано, ибо произошла задержка, и этим пациентом оказалась мадам Шоша.

Да, в приемной вдруг оказалась именно Клавдия Шоша. Ганс Касторп был поражен, он узнал ее и почувствовал, что кровь отхлынула у него от лица, нижняя челюсть отвисла и рот вот-вот раскроется. Клавдия появилась совершенно неожиданно, словно зашла мимоходом, – только что ее здесь не было, и вдруг она очутилась в одной комнате с кузенами. Иоахим бросил быстрый взгляд на двоюродного брата, а потом не только опустил глаза, но и взял со стола иллюстрированный журнал, который уже просмотрел, и заслонился им. У Ганса Касторпа не хватило решимости сделать то же самое. Бледность на его лице сменилась легким румянцем, и сердце бурно заколотилось.

Мадам Шоша уселась в стоявшее возле двери в лабораторию небольшое кресло с круглой спинкой и словно обрубленными початками ручек, откинулась назад, легким движением заложила ногу на ногу и стала смотреть прямо перед собой, причем взгляд ее глаз, глаз Пшибыслава, от сознания, что за ней наблюдают, нервно скользнул в сторону, и они стали чуть косить. На мадам Шоша был белый свитер и синяя юбка, в руках она держала книгу, взятую, как видно, из библиотеки. Она сидела, слегка

постукивая каблучком.

Не прошло и полутора минут, как она изменила позу, посмотрела вокруг, поднялась и с таким видом, словно не знала, как ей быть и у кого справиться, – заговорила. Она обратилась с каким-то вопросом именно к Иоахиму, хотя он, казалось, был погружен в иллюстрированный журнал, а Ганс Касторп сидел без дела; ее губы слагали слова, голос звучал из белого горла – он не был низким, а чуть резковатым, с приятной хрипотой; Ганс Касторп знал этот голос, знал давно, однажды он слышал его совсем рядом, а именно в тот день, когда тот же голос ответил ему: «С удовольствием. Только после урока непременно верни». Тогда слова прозвучали более непринужденно и решительно; теперь, хотя это был все тот же голос, слова казались растянутыми и ломкими, точно говорившая, в сущности, не имела права на них и это были чужие слова; Ганс Касторп уже несколько раз замечал за ней такую манеру говорить, и делала это она с выражением особого превосходства и вместе с тем радостного смирения. Опустив одну руку в карман своей шерстяной кофточки, другую поднеся к затылку, мадам Шоша спросила:

– Простите, а на какое время вам назначено?

Иоахим покосился на кузена, не вставая щелкнул каблучками и ответил:

– На половину четвертого.

Она продолжала:

– А мне – на три сорок пять. В чем же дело? Уже четыре. Сейчас кто-то вошел туда, не правда ли?

– Двое, – отозвался Иоахим. – Их очередь была перед нами. Видимо, произошла какая-то заминка. И вот все передвинулись на полчаса.

– Как неприятно! – сказала она и нервно потрогала косы.

– Весьма! – согласился Иоахим. – И мы ждем уже почти полчаса.

Так беседовали они, и Ганс Касторп слушал точно во сне: Иоахим разговаривает с мадам Шоша, а это почти то же, как если бы он сам с ней разговаривал, хотя вместе с тем и совсем другое. Это «весьма» оскорбило Ганса Касторпа, ответ кузена при данных обстоятельствах показался ему дерзким и во всяком случае чересчур холодным. Но в конце концов Иоахим мог себе позволить такой ответ, он вообще мог с ней говорить и, пожалуй, хотел даже подразнить кузена этим вызывающим «весьма», – примерно так же, как сам он, Ганс Касторп, невесть что разыгрывал перед Иоахимом и Сеттембрини, когда на вопрос, долго ли он намерен пробыть здесь, самоуверенно ответил: «Три недели». Обратилась Клавдия все же к Иоахиму, хотя он и закрылся журналом, – обратилась, вероятно, потому, что Иоахим прожил здесь дольше и был ей более знаком; сказывалась,

вероятно, и другая причина: эти двое могли общаться в самых общепринятых формах, вплоть до словесной, между ними не было того неистового, глубокого, грозного и таинственного, что возникло между нею и Гансом Касторпом. Если бы вместо нее здесь дожидалась некая кареглазая особа с рубиновым колечком и апельсинными духами, беседу пришлось бы вести ему, Гансу Касторпу, и тогда он тоже сказал бы «весьма» независимо и просто, каким было и его отношение к ней. «Да, весьма неприятно, уважаемая фрейлейн! – сказал бы он тогда, может быть даже решительно вынул из бокового кармана носовой платок и высморкался. – Придется и вам потерпеть. Мы не в лучшем положении». И тогда Иоахим подивился бы его развязности, но, вероятно, не испытывал бы особого желания оказаться на его месте. Нет, в данном случае не завидовал Иоахиму и Ганс Касторп, хотя не он, а двоюродный брат разговаривал с Клавдией Шоша. Он не мог не признать, что она поступила правильно, обратившись к Иоахиму; значит, она считается с создавшимся положением, осознает его и показывает это... Сердце его забилося.

В независимом тоне, с каким добряк Иоахим разговаривал с мадам Шоша, Гансу Касторпу почудилась даже затаенная враждебность, и мысль о причинах этой враждебности невольно заставила его улыбнуться. Клавдия сделала попытку пройтись по комнате; однако места не хватило, поэтому она тоже взяла со стола какой-то журнал и вернулась с ним к своему креслу с ручками-обрубками. А Ганс Касторп сидел и созерцал ее, причем, подражая деду, уперся подбородком в воротничок и в самом деле стал похож на него до смешного. Так как мадам Шоша снова заложила ногу на ногу, под синей суконной юбкой четко обрисовалось ее колено и вся стройная линия ноги. Клавдия была не выше среднего роста, – Ганс Касторп считал, что такой рост для женщины самый естественный и привлекательный, – однако довольно длиннонога и в бедрах не широка. Теперь она сидела, не откинувшись на спинку кресла, а наклонившись вперед и опершись скрещенными руками о колено перекинутой ноги; спина ее ссутулилась, плечи опустились, сзади резко выступили шейные позвонки, под плотно обтягивающим ее свитером обозначился даже позвоночный столб, грудь, не столь высокая и пышная, как у Маруси, а небольшая и почти девичья, оказалась стиснутой с обеих сторон. Вдруг Ганс Касторп вспомнил, что ведь и она ждет здесь рентгена, что гофрат писал ее портрет; он воспроизводил ее внешний облик на полотне с помощью масла и красящих веществ. А теперь он в полумраке направит на нее световые лучи, и они обнажат перед ним внутреннюю картину ее тела. При этой мысли Ганс Касторп отвернулся, на его лице появилось

выражение добродетельной и достойной омраченности, ибо даже наедине с собой он считал необходимым напустить на себя эти чувства.

Им недолго пришлось ждать втроем в приемной. Видимо, там, за дверью лаборатории, с Сашей и его матерью не слишком церемонились и постарались на них сэкономить упущенное время. Техник в белом халате снова распахнул дверь, Иоахим, вставая, бросил журнал на стол, и Ганс Касторп, правда, не без внутреннего колебания, направился следом за ним. Тут в нем шевельнулись рыцарские чувства, а также соблазн все-таки заговорить с мадам Шоша и уступить ей очередь, заговорить, может быть, даже по-французски, если это ему удастся; и про себя он судорожно стал подбирать нужные слова и строить фразы. Но он не знал, в ходу ли здесь такого рода любезности и не является ли прием в порядке строгой очередности более благородным, чем рыцарские расшаркивания. Иоахим должен был это знать, и так как он не выразил никакого намерения пропустить даму вперед, хотя двоюродный брат и устремил на него вопрошающий и многозначительный взгляд, Гансу Касторпу ничего не оставалось, как проследовать за ним в лабораторию мимо мадам Шоша, которая только бегло посмотрела на него, не разгибаясь.

Он был настолько поглощен тем, что оставил позади, этими волнующими событиями последних десяти минут, что, войдя в лабораторию, не мог сразу опомниться. В искусственном полумраке он не различал ничего или почти ничего. В ушах все еще звучал приятно хрипловатый голос мадам Шоша, которая говорила: «В чем же дело?.. Сейчас кто-то вошел туда... Как неприятно...» И от звуков этого голоса по его телу пробежал сладостный озноб. Он увидел ее обтянутое суконной юбкой колено, позвонки, выступающие на склоненной шее, под короткими прядками выбившихся из косы рыжеватых завитков, и снова по спине пробежала дрожь.

Гофрат Беренс стоял спиной к двери, перед каким-то шкафом, или встроенными полками, и рассматривал черноватую фотопластинку, держа ее против тусклого света, лившегося с потолка. Двоюродные братья прошли мимо него в глубь комнаты, причем техник обогнал их и начал готовить аппарат для просвечивания. Их поразил странный запах: казалось, воздух комнаты насыщен чем-то вроде отстоявшегося озона. Полки, выступавшие между двумя окнами с опущенными черными шторами, как бы делили лабораторию на две неравные части. В полумраке можно было все же различить самые разнообразные физические приборы, вогнутые стекла, распределительные доски, измерительные приборы, а также ящик на подвижном штативе, напоминавший фотоаппарат,

стеклянные диапозитивы, стоявшие рядами на полках; трудно было понять, где находишься – в ателье фотографа, в темной камере для проявления, в мастерской изобретателя или в магическом кабинете технолога.

Иоахим начал тут же раздеваться и обнажил тело до пояса. Техник, местный житель, еще не старый, румяный и плотный малый, предложил Гансу Касторпу сделать то же. «Так будет побыстрее, – добавил он, – сразу же потом и пойдете». В то время как Ганс Касторп снимал жилет, из меньшей половины комнаты вышел Беренс.

– Ага! – сказал он. – Да это наши Диоскуры! Касторп и Поллукс^[75]... Прошу воздержаться от всяких выражений боли! Подождите, сейчас мы вас обоих увидим насквозь! Вы, Касторп, как будто боитесь открыть нам свое нутро? Не беспокойтесь, все это делается вполне эстетично. Вы еще не видели моей частной галереи? – И, схватив Ганса Касторпа за руку, он потащил его к рядам темных пластинок, позади которых включил лампочку. Они тут же осветились, и на них обозначились изображения. Ганс Касторп увидел самые разнообразные части человеческого тела: руки, ноги, коленные чашки, плечи, верхние и нижние части бедра и таза. Но живые округлые формы этих частей человеческого тела намечались только в виде смутных призрачных контуров, лишь как туман и бледное сияние окружали они отчетливо, резко и определенно проступавшую основу – скелет.

– Очень интересно! – сказал Ганс Касторп.

– Да, это, конечно, очень интересно! – отозвался гофрат. – Весьма полезное наглядное пособие для молодых людей. Световая анатомия, понимаете ли, победа новой эпохи. Вот женское предплечье. Сразу угадаешь по его миловидности. Такой вот ручкой они обнимают нас в часы нежных свиданий! – И он рассмеялся, причем вздернулся уголок его верхней губы с подстриженными усиками. Ганс Касторп повернулся и посмотрел туда, где все готовилось для просвечивания Иоахима.

Просвечивание делали как раз у тех встроенных полок, перед которыми стоял гофрат, когда они вошли. Иоахим сидел на чем-то вроде сапожной табуретки, перед какой-то доской, прижавшись к ней грудью и обхватив ее руками, а техник особыми движениями, какими месят тесто, стал выправлять его позу – надавил на плечи и прижал плотнее к доске, помассировал спину. Потом зашел за камеру, наклонившись вперед и широко расставив ноги, стал там, точно фотограф, проверил фокус, выразил свое удовлетворение и предложил Иоахиму сделать глубокий вдох и задержать воздух, пока все не кончится. Согнутая спина Иоахима распрямилась и так и осталась. В это же мгновение техник проделал у

распределительной доски все, что требовалось. И вот в течение двух секунд действовали чудовищные силы, которые надо было пустить в ход, чтобы пронизать материю, токи в тысячи и сотни тысяч вольт, кажется так, – старался припомнить Ганс Касторп. Едва их укротили ради определенной цели, как они начали искать себе выход окольными путями. Разряды напоминали выстрелы. У измерительных приборов вспыхивали синие огоньки. Вдоль стены с треском проскальзывали длинные молнии, где-то вспыхнул багровый свет и, словно глаз, уставился с безмолвной угрозой в полумрак лаборатории, а стеклянная колба позади Иоахима налилась чем-то зеленым. Затем все стихло: световые явления прекратились, и Иоахим сделал шумный выдох.

– Следующий осужденный! – сказал Беренс и подтолкнул локтем Ганса Касторпа. – Только не притворяться усталым! Вы бесплатно получите экземпляр, Касторп. И вы сможете показывать на экране своим детям и внукам тайны, скрытые в вашей груди!

Иоахим отошел, техник сменил пластинку. Гофрат Беренс лично дал новичку указания, как нужно сесть и что делать.

– Обнять надо! – заявил он. – Обнять доску! Пожалуйста, можете представлять себе, что это не доска, а нечто другое! И хорошенько прижмитесь грудью, как будто вы при этом испытываете блаженство! Вот так! Вдох! Не шевелиться! И, пожалуйста, повеселее.

Ганс Касторп замер, моргая, набрав полные легкие воздуха. А за его спиной разразилась гроза – треск, трах, ба-бах... Потом все стихло. Объектив заглянул внутрь его тела.

Он поднялся со стула, растерянный и оглушенный всем, что с ним произошло, хотя ни в какой мере не ощутил на себе воздействия тока.

– Молодец, – сказал гофрат. – Теперь мы сами посмотрим.

А Иоахим, уже опытный в этом деле, успел отойти ближе к двери и встал возле какого-то штатива, спиной к какому-то сложному аппарату, позади которого находился до половины наполненный водой баллон с испарительными трубками; перед ним, на высоте груди, висел экран, подвешенный на блоках. Слева от экрана на распределительной доске, среди целого инструментария была ввинчена красная электрическая лампочка. Гофрат, сидевший верхом на табурете перед висячим экраном, включил ее. Плафон погас, и теперь всю сцену озарял только рубиновый свет лампочки. Потом маэстро коротким движением выключил и его; глубокий мрак окутал лаборантов.

– Сначала надо, чтобы глаза привыкли, – раздался в темноте голос гофрата. – Нужны широко раскрытые зрачки, как у кошек, чтобы видеть то,

что мы хотим увидеть. Вы ведь, конечно, понимаете, что так вот, сразу, нашим обычным дневным зрением ничего не разглядишь. Нужно сначала забыть о дневном свете с его веселыми картинками.

– Ну, разумеется, – сказал Ганс Касторп, стоявший позади гофрата, и закрыл глаза: его окружал такой глубокий мрак, что было совершенно все равно, открыты они или закрыты. – Сначала нужно промыть глаза темнотой, чтобы увидеть такие вещи, это же ясно, – продолжал он. – По-моему, даже хорошо и правильно, что мы сначала немного сосредоточимся, так сказать, в безмолвной молитве. Я стою с закрытыми глазами, и мной овладевает какая-то приятная сонливость. Но чем это здесь так пахнет?

– Кислородом, – ответил гофрат. – То, что вы ощущаете в здешнем воздухе, – это кислород. Атмосферический продукт комнатной грозы, понимаете ли... Открыть глаза! – приказал он. – Заклинание начинается! – Ганс Касторп торопливо повиновался.

Он услышал, как повернули рубильник. Яростно взвыл, точно рванувшись куда-то, мотор, но тут же был укрощен и однообразно загудел. Пол под ногами равномерно вздрагивал. Багровый свет лампочки падал вниз длинным лучом и был как взгляд, полный немой угрозы. Где-то раздался треск молнии. И медленно выступил из мрака, бледнея, точно окно на рассвете, молочно-белый четырехугольник экрана, перед которым, раздвинув ноги, упершись кулаками в колени, придвинув вздернутый нос к самому экрану, открывавшему перед зрителем внутреннюю картину человеческого организма, восседал на сапожной табуретке гофрат Беренс.

– Видите, юноша? – сказал он. Ганс Касторп бросил было взгляд через его плечо, однако снова поднял голову и, обращаясь в темноту, туда, где, по его мнению, должны были находиться глаза Иоахима, взгляд которых, вероятно, был мягок и печален, как тогда при осмотре, спросил:

– Ведь ты разрешаешь?

– Пожалуйста, пожалуйста, – благодушно отвечал тот из мрака. И, стоя на содрогавшемся полу, под треск и шум грозно играющих сил, Ганс Касторп нагнулся и стал всматриваться сквозь бледное окно, всматриваться в пустой скелет Иоахима Цимсена. Грудина, сливаясь со спинным хребтом, образовала темный, как бы узловатый столб. Линии ребер, расходясь от грудины, пересекались менее отчетливыми линиями тех же ребер, примыкавших к спинному хребту. Наверху плавно расходились на обе стороны ключицы, и в смутной расплывчатой световой оболочке телесных форм резко и остро проступал костяк его плеч и локтевых костей. Внутри грудной полости было светло, но можно было разглядеть сеть кровеносных сосудов, какие-то темные пятна и, черноватые перепутанные нити.

– Картина ясна, – сказал гофрат. – Приличная худоба, как и полагается молодым военным. Но были у меня тут такие пузатые – прямо непроницаемые, ну ничего не рассмотришь. Сначала надо бы открыть особые лучи, которые пробивали бы такую толщу жира... А с таким вот – чистая работа. Видите – вон грудобрюшная преграда, – продолжал он и показал пальцем на темную дугу в нижней части окна, дуга эта равномерно поднималась и опускалась. – Видите бугорки здесь слева? Вон те возвышения? Это результат плеврита, который он перенес в пятнадцать лет. Дышите глубже! – приказал он. – Глубже! Говорю вам – глубже!

И грудобрюшная преграда Иоахима, вздрагивая, поднялась выше, он старался изо всех сил; верхняя часть легких просветлела, но гофрат все еще был недоволен.

– Мало! Видите железы? Видите спайки? Видите вон там каверны? Отсюда и яды, которыми он опьяняется.

Однако внимание Ганса Касторпа отвлекло что-то похожее на мешок, на бесформенное животное, оно темнело позади расходившихся от грудины ребер и притом правее, если смотреть со стороны наблюдателя; мешок равномерно растягивался и сокращался, напоминая плывущую медузу.

– Видите его сердце? – спросил гофрат, опять сняв свою ручищу с колена и ткнув указательным пальцем в пульсирующий мешок... Боже праведный, Ганс Касторп видел перед собою сердце, честное сердце Иоахима!

– Я вижу твое сердце, – пробормотал он сдавленным голосом.

– Пожалуйста, пожалуйста, – повторил Иоахим и, вероятно, покорно улыбнулся там, в темноте. Гофрат велел им замолчать и оставить свои сентиментальности. Он пристально изучал пятна и линии, черные линии в грудной полости, а его сонаблюдатель не мог оторвать взгляда от могильного остова и скелета Иоахима, от нагого костяка, от этого тощего, как жердь, memento.^[76] И он почувствовал страх и благоговение.

– Да, да, я вижу, – повторил он несколько раз. – Боже мой, я вижу! – Он как-то слышал об одной женщине, родственнице Тинапелей, – она давно умерла, – которая обладала, или вернее, была обременена мучительным даром: если человеку надлежало вскоре умереть, он представал ее глазам в виде скелета. Таким же увидел теперь Ганс Касторп и честного Иоахима, хотя это произошло лишь с помощью физико-оптической науки и через ее посредство, так что еще ничего не предвещало и ничего за этим не крылось, тем более что он получил от Иоахима совершенно определенное разрешение. И все-таки он почему-то только сейчас понял, как много невеселого было в судьбе его ясновидящей тетки.

Глубоко взволнованный тем, что увидел, вернее – тем, что он видел это, Ганс Касторп ощутил в душе жало тайных сомнений: действительно ли за этим ничего не кроется, действительно ли допустимо такое рассматривание человеческого тела в содрогающемся, потрескивающем мраке; и он почувствовал дразнящую жажду подглядеть сокровенные тайны жизни и смерти и вместе с тем растроганность и благоговение.

Но через несколько минут он сам уже стоял у позорного столба, вокруг бушевала гроза, а Иоахим, тело которого снова замкнулось, одевался. Гофрат опять всматривался в молочного цвета квадрат; на этот раз перед ним раскрылось тело Ганса Касторпа, И, судя по отдельным словам, отрывочным восклицаниям и ругательствам, которые бормотал гофрат, можно было предположить, что развернувшаяся перед ним картина вполне подтверждает его догадки. Он был настолько любезен, что, уступив настойчивым просьбам пациента, разрешил ему посмотреть через экран еще и на собственную руку. Ганс Касторп увидел то, что ожидал увидеть, но что, однако, видеть людям не предназначено, да он никогда и не думал, что предназначено: ведь он заглянул в собственную могилу. Благодаря силе световых лучей, предвосхитивших его разложение, Ганс Касторп увидел облекавшую его плоть распавшейся, истаявшей, обращенной в призрачный туман, а в ней – тщательно вычерченный костяк правой руки, и на одном из пальцев этой руки – свободно висевший черным кружком перстень с печаткой, полученный от деда, устойчивый предмет земного бытия; человек украшает им свое тело, а этому телу суждено под ним истаять, и перстень освобождается и переходит к другой плоти, которая опять будет некоторое время носить его. Глазами своей тинапелевской родственницы взглянул он на столь знакомую часть своего тела, глазами, проникающими насквозь, предвидящими, и впервые за свою жизнь понял, что умрет. Лицо у него сделалось таким, каким оно бывало, когда он слушал музыку, – глуповатым, сонливым и благоговейным, а голова с полуоткрытым ртом склонилась на плечо. Гофрат сказал:

– На призрак смахивает, а? Да, кое-что от призраков в этом есть.

Потом остановил бушевавшие силы. Пол перестал вздрагивать, световые явления прекратились, магическое окошко опять потонуло во мраке. Зажегся плафон. И пока Ганс Касторп торопливо одевался, гофрат Беренс поделился с молодыми людьми своими наблюдениями, применяясь к уровню понимания этих непосвященных. Что касается Ганса Касторпа, сказал он, то оптические данные настолько подтвердили акустические, что большего чести медицины не могла бы и требовать. Стали видны старые и новые пораженные места, от бронхов довольно далеко в глубь легких

протянулись так называемые «тяжи», «тяжи с узелками». Ганс Касторп потом сам проверит это по диапозитиву, который ему, как сказано, будет скоро вручен. Итак, спокойствие, терпение, подобающее мужчине самообладание, измерять температуру, есть, лежать, ждать, а сейчас идти пить чай. Затем Беренс повернулся к кузенам спиной. Они вышли из лаборатории. Следуя за Иоахимом, Ганс Касторп оглянулся. В эту минуту техник впускал мадам Шоша.

Свобода

Как же все это представлял себе молодой Ганс Касторп? Или ему казалось, что те семь недель, которые он, следуя предписанию врачей, бесспорно уже провел среди пациентов здесь наверху, были всего лишь семью днями? Или, наоборот, у него возникло такое чувство, что он живет в «Берггофе» дольше, гораздо дольше, чем прожил на самом деле? Он задавал этот вопрос и молча, самому себе, и вслух, Иоахиму, но не мог прийти ни к какому решению. Должно быть, верно было и то и другое: если оглянуться назад, то время, прожитое здесь, ощущалось им как неестественно короткое и вместе с тем неестественно долгое, не ощущалось оно только таким, каким было в действительности, – при том условии, что ко времени применимо слово «естественно» и что его связь с понятием «действительность» закономерна.

Во всяком случае, уж у дверей стоял октябрь, он вот-вот наступит. Гансу Касторпу было нетрудно сообразить это самому, да и больные, к чьим разговорам он прислушивался, напоминали ему о том же.

– А вы знаете, через пять дней опять первое число, – говорила Гермина Клеефельд двум молодым людям из своего кружка – один был студент Расмуссен, другой – губастый юноша по фамилии Гэнзер. В этот день больные толпились между столами, среди запахов кушаний, болтали и медлили с послеобеденным лежанием.

– Да, первое октября, я видела календарь в конторе. Уже во второй раз встречаю октябрь в этом увеселительном заведении. Вот и лету конец, поскольку его можно назвать летом, – оно обмануло, как обманывает вся жизнь в общем и целом. – Она вздохнула половиной своего легкого и, покачав головой, подняла к потолку затуманенные глупостью глаза.

– Веселей, Расмуссен, – воскликнула она затем и хлопнула сотоварища по сутулому плечу. – Где ваши острые словечки?

– Я знаю их очень мало, – отозвался Расмуссен, и его руки повисли на уровне груди, точно плавники. – Но и те не получаются, я всегда чувствую ужасную усталость.

– Ни одна собака не согласится продолжать такую жизнь, – проговорил Гэнзер сквозь зубы. Все трое рассмеялись и пожали плечами.

Однако поблизости оказался и Сеттембрини; выходя из столовой, он держал, как обычно, во рту зубочистку и сказал Гансу Касторпу:

– Не верьте им, инженер, не верьте, когда они бранят санаторий! Они

все это делают, без исключения, хотя чувствуют себя здесь лучше, чем дома. Ведут жизнь лодырей и еще требуют, чтобы их жалели, заявляют о своем праве на горечь, иронию, цинизм! В этом увеселительном заведении! А что, разве это не увеселительное заведение? И притом в самом сомнительном смысле слова! «Обманывает», заявляет эта особа; в этом увеселительном заведении ее, видите ли, жизнь обманывает! Но отпустите-ка ее вниз, на равнину, и она, без сомнения, будет вести себя так, чтобы как можно скорее вернуться сюда наверх. Ах да, еще ирония! Остерегайтесь процветающей здесь иронии, инженер! Остерегайтесь вообще этой интеллектуальной манеры! Если ирония не является откровенным классическим приемом ораторского искусства, хоть на мгновение расходится с трезвой мыслью и напускает туману, она становится распушенностью, препятствием для цивилизации, нечистоплотным заигрываньем с силами застоя, животными инстинктами, пороком. Так как атмосфера, в которой мы живем, видимо, весьма благоприятствует пышному расцвету этого болотного растения, смею надеяться или опасаться, что вы меня поймете.

Меньше двух месяцев тому назад, когда Ганс Касторп еще жил внизу, на равнине, слова итальянца были бы для него лишь звуком пустым, однако пребывание здесь наверху сделало его не только более восприимчивым в сфере интеллекта, но и более разборчивым в своих симпатиях, а это, может быть, еще важнее. Ибо, хотя он в глубине души и радовался, что Сеттембрини, несмотря на все, продолжает и теперь еще с ним беседовать в прежнем духе, учит его, предостерегает и пытается оказывать влияние, – Ганс Касторп в своей понятливости дошел до того, что стал критически относиться к словам итальянца или хоть в какой-то мере удерживался от того, чтобы с ними тут же соглашаться. «Вон что, – думал про себя молодой человек, – он говорит об иронии в точности как и о музыке, не хватало еще, чтобы он и иронию объявил политически неблагонадежной, – а именно с той минуты, когда ирония перестает быть откровенным и классическим приемом назидания. Но ирония, которая ни на мгновение не расходится с трезвой мыслью, что же это, с позволения сказать, за ирония, если уж на то пошло? Сухая материя, прописная истина!»

Так бывает неблагоприятна молодежь в тот период, когда формируется ее личность. Ее одаряют, а она опорочивает полученные дары.

Однако выразить свое несогласие в словах казалось ему все же слишком самонадеянным. Он ограничился возражениями по поводу Гермины Клеефельд, ибо находил суждения Сеттембрини на ее счет несправедливыми или, по некоторым причинам, хотел, чтобы они казались

ему несправедливыми.

– Но ведь эта девушка больна! – ответил он. – Она действительно больна, тяжело больна, и у нее есть все основания, чтобы отчаиваться. Чего вы, собственно, от нее хотите?

– И болезнь и отчаяние – это нередко тоже особые формы распушенности.

«А Леопарди? – подумал Ганс Касторп. – Ведь он явно отчаялся даже в науке и прогрессе? А сам Сеттембрини, господин школьный учитель? Он тоже болен и постоянно возвращается сюда наверх. Кардуччи он доставил бы мало радости». Вслух же Ганс Касторп сказал:

– Как вы добры! Девушка может в любой день отправиться на тот свет, а вы это называете распушенностью! Тогда уж объяснитесь точнее. Если бы вы сказали: болезнь является иногда результатом распушенности, это было бы еще понятно...

– Вполне понятно, – перебил его Сеттембрини. – Клянусь честью, вы были бы довольны, если бы я этим и ограничился.

– Или если бы вы сказали: болезнь иногда служит оправданием для распушенности, с этим я тоже мог бы еще согласиться.

– Grazie tanto!^[77]

– Но утверждать, что болезнь – просто-напросто особая форма распушенности, то есть не возникла в результате распушенности, а сама – лишь особый вид распушенности? Это же парадокс!

– О, прошу вас, инженер, не передедргивайте! Я презираю парадоксы, я ненавижу их! Отнесите все, что я высказал вам насчет иронии, и к парадоксальности, скажу даже больше! Парадокс – ядовитый цветок квиетизма, обманчивое поблескивание гнивающего духа, вот уж это – величайшая распушенность! А вообще я констатирую, что вы опять берете болезнь под свою защиту.

– Нет, но вы вот утверждаете очень интересную вещь – прямо отдает Кроковским и его понедельничными рассуждениями. Он тоже считает, что болезнь – явление вторичное.

– Он не вполне чистоплотный идеалист.

– Что вы имеете против него?

– Именно это.

– Вы плохого мнения о психоанализе?

– Когда как! И очень плохого, и очень хорошего, инженер, то и другое.

– Что вы имеете в виду?

– Психоанализ хорош, если он – орудие просвещения и цивилизации, хорош, поскольку он расшатывает глупые взгляды, уничтожает врожденные

предрассудки, подрывает авторитеты, – словом, хорош, когда он освобождает, утончает, очеловечивает и делает рабов зрелыми для свободы. И он вреден, очень вреден, поскольку тормозит деяние, подтачивает корни жизни оттого, что не в силах дать ей форму. Такой анализ может стать делом весьма не аппетитным, столь же не аппетитным, как смерть, с которой он, собственно говоря, и связан, – он сродни могиле и ее подозрительной анатомии...

«Вот оно – рыканье льва», – подумал Ганс Касторп, как думал обычно, когда Сеттембрини высказывал какое-либо педагогическое суждение. Но вслух он лишь заметил:

– Мы недавно занимались в нашем подвале световой анатомией. По крайней мере так ее называл Беренс, когда нас просвечивали.

– А!.. Вы уже прошли и эту стадию? Ну и что же?

– Я видел скелет своей руки, – ответил Ганс Касторп, стараясь вызвать в памяти ощущения, овладевшие им в ту минуту. А вы когда-нибудь видели свой?

– Нет, меня совершенно не интересует мой скелет. И каково же врачебное заключение?

– Он обнаружил тяжи, тяжи с узелками.

– Вот чертов приспешник!

– Вы когда-то уже так называли гофрата Беренса. Что вы под этим понимаете?

– Я выразился еще очень мягко, могу вас уверить!

– Нет, вы несправедливы, господин Сеттембрини! Я допускаю, что и у него есть свои слабости. Его манера говорить в конце концов и меня раздражает; иной раз в ней чувствуется что-то насильственное, особенно когда вспомнишь, что он пережил глубокое горе – похоронил здесь наверху жену. А все-таки это заслуженный и уважаемый человек, можно сказать – благодетель страждущего человечества! Я на днях встретил его, когда он шел с операции, – он делал резекцию ребер, не то сгибал, не то ломал. Он возвращался с тяжелой, нужной работы – такой мастер своего дела – и произвел на меня в эту минуту очень сильное впечатление. Он был еще весь разгорячен и в виде награды самому себе закурил сигару. Мне прямо завидно стало.

– Это с вашей стороны очень благородно. Ну, а сколько же времени вам отбывать наказание?

– Определенного срока он не назначил.

– Тоже неплохо. Итак, давайте пойдём лежать. Займем свои места.

Они простились перед 34-м номером.

– А вы идете на свою крышу, господин Сеттембрини? Должно быть, веселее лежать с другими, чем в одиночку. Вы беседуете? Есть интересные люди?

– Ах, сплошь парфяне и скифы!

– Вы хотите сказать – русские?

– Русские – мужчины и женщины, – ответил Сеттембрини, и уголок его рта дрогнул. – До свиданья, инженер.

Это было сказано с подчеркнутой многозначительностью, не оставлявшей места для сомнений. Ганс Касторп вошел в свою комнату ошеломленный. Знает ли Сеттембрини насчет его чувств? Может быть, итальянец в педагогических целях наблюдал за ним и проследил пути, по которым устремлялся взор Ганса Касторпа? Ганс Касторп разозлился и на себя и на Сеттембрини за то, что не смог владеть собой и вызвал его на этот иронический намек. И пока он собирал свои письменные принадлежности, чтобы захватить их на балкон, так как больше тянуть было нельзя и письмо домой – третье по счету – следовало написать сегодня же, он продолжал сердиться и бурчать себе под нос всякие нелестные эпитеты по адресу этого хвастуна и резонера, который сует нос не в свое дело, а сам заигрывает на улице с девушками и совсем забросил свои писания, на этого шарманщика, который бестактными намеками прямо-таки отбил у него охоту к дальнейшему! Однако зимние вещи получить из дому нужно, деньги, белье, обувь, – словом, все, что он взял бы с собой, если бы знал, что едет сюда не на три летних недели, а... а на пока еще неопределенный срок и во всяком случае захватит часть зимы, а при тех представлениях о времени, которых придерживаются «у нас здесь наверху», может быть проведет и всю зиму. Вот об этом, во всяком случае о возможности этого, и следовало сообщить домой. Теперь Гансу Касторпу предстояло «тем внизу» рассказать всю правду и уже не морочить голову ни себе, ни им.

В таком духе он им и написал, с помощью той самой техники, которой при нем не раз пользовался Иоахим, а именно – лежа в шезлонге, вечным пером и на дорожном бюваре, который он держал, прислонив к высоко поднятым коленям. На бланке санатория – в ящике стола лежал целый запас этих бланков – он и написал Джемсу Тинапелю, так как этот дядя был Гансу Касторпу ближе двух остальных, прося его обо всем сообщить консулу. Ганс Касторп рассказал о неприятном инциденте с его здоровьем, о подтвердившихся опасениях, о требовании врачей провести здесь часть зимы, а может быть и всю зиму; ибо такие случаи, как у него, подчас упорнее не поддаются лечению, чем те, которые выражаются в более пышных и острых формах, поэтому нужно решительно взяться за лечение

и раз навсегда покончить с болезнью. С этой точки зрения он почитает за счастье и большую удачу то обстоятельство, что случайно попал сюда наверх и вынужден был подвергнуться врачебному осмотру; иначе он еще долго оставался бы в неведении относительно своей болезни, и она сказала бы потом в гораздо более неприятной форме. Что касается предположительного срока лечения, то пусть не удивляются, если ему придется провозиться со своим здоровьем всю зиму и он вернется на равнину не раньше, чем Иоахим. Понятия о времени здесь другие, чем принятые для поездок на курорты и морские купанья: месяц – это, так сказать, мельчайшая единица времени и, взятый в отдельности, не имеет никакого значения.

Было прохладно, он писал в пальто, закутавшись в одеяло, его руки покраснели. Иногда он отрывался от бумаги, которую покрывал вереницами благоразумных и убедительных рассуждений, и окидывал взглядом знакомый пейзаж, едва видный сквозь мглу: длинную долину с нагромождением вершин у ее устья, которые, казалось, были покрыты сегодня бледным глянцем, и множеством светлых селений на ее дне, иногда вспыхивавших в лучах солнца, с ее склонами, частью покрытыми суровым лесом, частью лугами, где паслись коровы и откуда доносился перезвон их колокольчиков. Он писал с чувством все возрастающей легкости и уже не мог понять, почему так боялся этого письма. В процессе писания ему самому становилось ясно, насколько убедительны его доводы, с которыми домашние полностью должны будут согласиться. Молодой человек его круга в данных обстоятельствах попросту делает что-то для себя, принимает вполне разумные меры и пользуется удобствами, предназначенными для таких, как он. Это обычно и полагается делать. Вернись он домой, после того как он описал бы свое самочувствие, его, без сомнения, опять отправили бы сюда наверх. Затем он перечислил все, что ему нужно, а в заключение попросил регулярно переводить ему необходимую сумму – 800 марок в месяц, хватит за глаза.

Потом поставил свою подпись. Итак, с этим покончено. Третье письмо домой было написано с расчетом на большие сроки, не по исчислениям времени, существовавшим внизу, на равнине, а по тем, которые были приняты здесь наверху: письмо это закрепляло за Гансом Касторпом свободу. Вот то слово, которое он употребил – не буквально, нет, он про себя не произнес даже первого слога, но ощутил всю широту его смысла, как уже ощущал не раз за свое пребывание в «Берггофе», причем смысл этот имел очень мало общего с тем, какой вкладывал в понятие «свобода» Сеттембрини; и тогда на него нахлынула волна уже знакомого страха и

возбуждения, и грудь его при вздохе содрогнулась.

От писания письма кровь прилила к голове, щеки пылали. Ганс Касторп взял Меркурия со столика и измерил себе температуру, словно этот случай непременно надо было использовать. Меркурий поднялся до 37,8.

«Вот видите?» – сказал мысленно Ганс Касторп. И добавил в виде постскриптума: «Письмо меня все-таки утомило. Градусник показал 37,8. Я вижу, что в ближайшее время мне следует жить как можно спокойнее. Прошу извинить меня, если буду писать реже». Не вставая, поднял руку к небу, ладонью наружу, как держал ее за экраном. Но небесный свет оставил ее жизненную форму неприкосновенной, от его ясности материя сделалась только темнее и непрозрачнее, и лишь внешние контуры стали просвечивать алым. Это была его живая рука, такой он привык ее видеть, держать опрятной, привык пользоваться именно ею, а не каким-то неведомым скелетом, представшим ему на экране; аналитическая бездна, которая перед ним тогда разверзлась, снова закрылась.

Капризы Меркурия

Октябрь пришел, как обычно приходят новые месяцы – вполне скромно и неслышно, без всяких знамений и примет, этакое тихое подкрадывание, которое может легко ускользнуть от внимания, если оно не бодрствует. В действительности время не делится на отрезки, при наступлении нового месяца или года не разражается гроза, не гремят трубы и даже приход нового столетия отмечают только люди стрельбой из пушек и трезвоном колоколов.

Для Ганса Касторпа первый день октября ничем не отличался от последнего дня сентября: он был такой же холодный и неприветливый, последующие – тоже. При лежании на воздухе приходилось надевать зимнее пальто и прибегать к двум верблюжьим одеялам не только вечером, но и днем; руки, державшие книгу, становились влажными и коченели, хотя щеки и пылали сухим жаром. Поэтому Иоахим испытывал сильное искушение воспользоваться своим спальным мешком и отказался от него, только чтобы раньше времени не изнежить себя.

Однако через несколько дней, когда первая половина месяца была уже на исходе, все вдруг изменилось и настало запоздавшее лето, притом столь роскошное, что люди просто диву давались. Недаром Ганс Касторп слышал не раз, как расхваливали октябрь в здешних местах; почти две с половиной недели над горами и долинами сияло безоблачное небо, один день превосходил другой ясностью небесной лазури, и солнце жгло с такой нестерпимой силой, что каждый был вынужден снова извлечь легчайшие летние одежды – муслиновые платья и полотняные брюки, которые были уже заброшены, и даже большой парусиновый зонт без ручки – он прикреплялся к подлокотнику шезлонга с помощью хитроумного приспособления в виде рейки с несколькими отверстиями, – даже этот зонт служил в середине дня недостаточной защитой от палящего солнца.

– Хорошо, что мне удалось тут застать такую погоду, – сказал Ганс Касторп кузену. – Ведь мы иной раз ужасно дрогли, а теперь кажется, будто зима уже прошла и впереди – долгое лето.

Он был прав. Очень немного говорило об истинном положении вещей, да и эти признаки были едва заметны. Помимо нескольких посаженных на территории курорта кленов, которые доживали свою летнюю жизнь и уже давно малодушно растеряли листву, здесь больше не росло лиственных деревьев, которые могли бы придать ландшафту черты,

отвечающие действительному времени года, и лишь двуполая альпийская ольха, меняющая свои мягкие иглы, как листья, была обнажена по-осеннему. В основном же местность украшали одни вечнозеленые хвойные леса, то высокоствольные, то низкорослые, во все равно стойкие по отношению к зиме, которая, не имея четких временных границ, могла здесь шуметь своими снежными метелями весь год; и только по богатству ржаво-красных оттенков в лесах можно было, несмотря на жгучее летнее солнце, догадаться, что год близится к концу. Правда, если взглянуться в луговые цветы, то и они неслышно говорили о том же. Среди них уже не встречалось ни похожих на орхидеи кукушкиных слезок, ни синеющих водосборов, которые, когда Ганс Касторп приехал сюда, еще цвели на горных склонах; исчезла и дикая гвоздика; остались только горечавка и низкорослые бессмертники, это показывало, что в недрах раскаленного воздуха таится резкая свежесть, холодок, который вдруг прохватывал лежащего на балконе пациента, словно ледянящий озноб – пылающего жаром больного.

И так как Ганс Касторп не вел жизнь человека, который является хозяином своего времени, следит за его течением, отсчитывает его единицы, исчисляет их и дает им названия, то он и не заметил, как неслышно подошел десятый месяц; только физические ощущения воспринимались им: солнечный зной и затаенная в нем и под ним струя ледящего холодка, – впечатление, для него новое по своей силе и даже побудившее его к кулинарному сравнению: это напоминает ему, заявил он Иоахиму, *omelette en surprise*^[78], в которой под взбитой яичной пеной оказывается мороженое. Он нередко говорил совсем неожиданные вещи, притом отрывисто и скороговоркой, как человек, которого знобит, хотя тело у него пылает. А помимо этого был молчалив, даже замкнут; ибо хотя его внимание и было обращено на внешний мир, но лишь на одну его точку, все остальное, люди и предметы, виделось ему как бы сквозь хмельной туман, порожденный его же мозгом; наверное, и гофрат Беренс, и доктор Кроковский объявили бы такой туман продуктом растворяющихся ядов, как говорил себе и сам затуманенный, хотя такое признание не вызывало в нем ни сил, ни малейшей охоты покончить с опьянением.

Ибо хмель этот привлекателен сам по себе, и меньше всего желает захмелевший отрезветь, трезвость ему ненавистна; он отталкивает от себя все впечатления, ослабляющие его силу, не допускает их до себя, лишь бы сохранить это состояние.

Ганс Касторп знал, да и сам нередко отмечал, что мадам Шоша в профиль выглядит хуже, черты лица у нее резковаты, оно не так уж молодо.

И что же? Теперь он избегал разглядывать ее профиль, буквально закрывал глаза, и если она в отдалении или вблизи поворачивалась к нему боком, он прямо-таки страдал от этого. Почему же? Ведь его здравый смысл должен был бы с радостью воспользоваться случаем и сказать свое веское слово. Но чего можно требовать... И он даже побледнел от восхищения, когда Клавдия в эти чудесные дни опять явилась ко второму завтраку в белом кружевном матине, которое носила обычно в теплую погоду, – в нем она бывала особенно прелестной, – явилась, как всегда грохнув дверью и с опозданием, улыбаясь подняла руки, одну повыше, другую пониже, и повернулась лицом к сидящим в столовой, как бы представляясь им. А он был не столько восхищен ее привлекательностью, сколько самым фактом этой привлекательности, ибо факт этот усиливал блаженный туман, царивший в его сознании, хмель, который был сладостен сам по себе, почему захмелевший и стремился найти для него оправдание и дальнейшую пищу.

Моралист типа Лодовико Сеттембрини назвал бы такое отсутствие воли прямо-таки распущенностью, «особой формой распущенности». Ганс Касторп не раз вспоминал его чисто литературные словоизлияния по поводу связанного с болезнью «отчаянья»; итальянец никак не мог этого понять или делал вид, что не может. Ганс Касторп смотрел на Клавдию Шоша, на ее поникшую спину, вытянутую вперед шею; видел, что она неизменно является к столу с большим опозданием, притом без всяких поводов и причин, просто из-за своего неряшества и отсутствия воли к порядку, видел, как она в результате того же недостатка хлопает каждой дверью, через которую входит или выходит, катает хлебные шарики, а иногда грызет заусенцы, – и в нем возникала немая и смутная догадка, что, если она больна – а она, конечно, была больна, и почти безнадежно, ведь сколько раз жила она здесь подолгу, – что ее болезнь, пусть не всецело, но все же в значительной мере имеет моральные корни. И, как сказал Сеттембрини, эта болезнь не причина или следствие «распущенности», а и есть сама эта распущенность. Он вспомнил пренебрежительную мину, с какой гуманист говорил о «парфянах и скифах», в чьем обществе вынужден был проводить часы лежания, мину, выражавшую естественное и непосредственное, не нуждающееся в доказательствах презрение и неприятие, которые были так хорошо знакомы самому Гансу Касторпу раньше, в те дни, когда он, сидевший за столом очень прямо, возмущался до глубины души хлопаньем дверью, не чувствовал ни малейшего искушения погрызть заусенцы (хотя бы потому, что взамен ему была дарована «Мария Манчини»), горячо негодовал по поводу невоспитанности

мадам Шоша и не мог не ощутить своего превосходства, когда услышал, как эта узкоглазая иностранка пытается изъясняться на его родном языке.

Но в душе Ганса Касторпа произошли глубокие перемены, и теперь он почти не испытывал этих ощущений; его скорее раздражал итальянец, столь надменно отзывавшийся о «парфянах и скифах», – и относилось это даже не к сидевшим за «плохим» русским столом, не к этим студентам, которые отличались слишком густой шевелюрой и отсутствием белья и неумолимо дискутировали на своем чуждом и непонятном языке, – они, видимо, только им и владели, – причем бескостность этого языка напоминала ему грудную клетку, лишенную ребер, как ее недавно описывал гофрат Беренс: нет, нравы и манеры этих людей действительно могли вызвать у гуманиста чувство превосходства. Они ели с ножа и неопишимо пачкали в туалете. Сеттембрини уверял, что один из них, студент-медик последнего семестра, обнаружил полное невладение латынью, например, он не знал, что такое *vasum*^[79], и Ганс Касторп готов был допустить, судя по собственным наблюдениям, что фрау Штер не лжет, когда рассказывает за столом, будто супруги из 32-го номера принимают по утрам массажиста, лежа в одной постели.

Пусть все это правда, говорил себе Ганс Касторп, но ведь недаром же существует деление на «хороший» и «плохой» стол, и можно только удивляться, когда некий пропагандист республиканского строя и прекрасного стиля надменно и трезво, – главное, трезво, хотя у самого жар и голова затуманена, – называет сидящих за тем и за другим «парфянами и скифами», не желая делать никакой разницы. Ганс Касторп отлично понимал, что кроется под этой огульной насмешкой, становилась ему ясной и связь, существовавшая между болезнью мадам Шоша и ее «небрежностью». Но тут вот какая загвоздка, заявил он однажды Иоахиму: начинаешь с возмущения и высокомерия, а потом вдруг в это врезается что-то совсем другое, не имеющее никакого отношения к критической способности суждения, и – конец всяким педагогическим воздействиям, никакое красноречие, никакие республиканские проповеди на тебя уже не действуют. Однако, зададим мы вопрос, – вероятно, в том же смысле, как и Лодовико Сеттембрини, – что же именно врезается, что парализует и сводит на нет критические суждения, что отнимает у человека право на них и даже побуждает его самого отречься с нелепым восторгом от этого права? Мы спрашиваем не о термине – он известен каждому, мы хотим знать, каковы моральные особенности подобного явления, хотя, откровенно говоря, не надеемся получить достаточно мужественного ответа. Что касается Ганса Касторпа, то эти особенности сказались в том, что он не

только отрекся от всяких критических суждений, но и сам приступил к соответствующим опытам, подражая манерам некоей особы, которая все это в нем вызвала. Он решил узнать, что ощущаешь, когда сидишь за столом не прямо, а опустив плечи и согнув спину, и нашел, что такая поза дает большое облегчение тазовым мышцам. Затем попробовал, проходя в дверь, не притворять ее аккуратно за собой, а предоставить ей захлопнуться, причем и это оказалось очень удобным и как будто даже вполне естественным. Оно соответствовало чему-то, что таилось в пожимании плечами, которым Иоахим встретил его когда-то на вокзале; и с этим же он сталкивался потом здесь наверху очень часто.

Проще говоря, оказалось, что наш путешественник по уши влюблен в Клавдию Шоша, – мы еще раз пользуемся этим словом, ибо, как нам кажется, в достаточной мере предотвратили возможность его лжетолкований. Итак, сущность его влюбленности отнюдь не исчерпывалась приятно-благодарной грустью в духе вышеупомянутой песенки. Скорее это была особая, довольно рискованная и неприкаянная разновидность подобного рода замороженности, в которой озноб и жар сочетаются как у больного лихорадкой или как сочетаются мороз и зной в октябрьский день в высокогорной местности. Этой разновидности как раз и недостает благодушия, чтобы связать воедино составляющие ее крайности. С одной стороны, его влюбленность была устремлена с непосредственностью, от которой молодой человек бледнел и лицо его судорожно кривилось, на колено мадам Шоша, на линию ее бедра, на ее спину, изгиб шеи, на предплечья, сдавливавшие маленькую грудь, – словом, на ее плоть, на это столь небрежное тело, чью телесность болезнь невероятно усиливала и подчеркивала, на это тело, ставшее под влиянием болезни как бы телесным вдвойне; с другой стороны, его влюбленность была чем-то ускользающим и необычайно широким, она была мыслью, нет, грезой, пугающей, безгранично влекущей грезой молодого человека, который на свой вполне определенный, хотя и бессознательно заданный вопрос услышал в ответ лишь глухое молчание. Развивая нашу повесть, мы, как и любой человек, считаем себя вправе иметь собственные домыслы и высказываем предположение, что Ганс Касторп едва ли продлил бы свое пребывание здесь наверху сверх намеченного срока даже на один день, если бы его скромной душе открылся в глубинах времен хоть какой-то удовлетворительный ответ на вопрос о смысле и целях его служения жизни.

Что касается остального, то влюбленность дарила его всеми страданиями и радостями, какие подобное состояние чувств приносит

человеку повсюду и при всех условиях. Боль проникает вглубь, в ней, как и во всякой боли, есть что-то позорное, и сопровождается она таким потрясением нервной системы, что дух захватывает и даже у взрослого мужчины на глазах выступают горькие слезы. Но и радостей, надо отдать справедливость, было немало, и хотя их мог дать любой пустяк, потрясали они не меньше, чем страдания. Почти каждая минута берггофского дня могла принести их. Например, приближаясь к столовой, Ганс Касторп замечает позади себя предмет своих грез. Событие совершенно ясное и в высшей степени простое, но вызывает оно в его душе такой восторг, что вот-вот выступят слезы на глазах. Она совсем близко, их глаза встречаются, его и ее серо-зеленые, узкие, по-азиатски чуть раскосые, и их очарование проникает в его существо до мозга костей. Он почти теряет сознание, но и бессознательно слегка отступает в сторону, чтобы пропустить ее вперед. С полуулыбкой она вполголоса произносит «мерси» и, пользуясь его приглашением, этим самым обычным актом вежливости, проскальзывает мимо него в столовую. А он стоит, еще овеянный ветерком ее прохождения, ошалев от счастья этой встречи и от того, что одно слово «мерси», произнесенное ее устами, сказано прямо и непосредственно ему. Потом он следует за ней, почти шатаясь сворачивает вправо, к своему столу, и, опустившись на стул, с блаженством замечает, что и Клавдия, усаживаясь, оглядывается на него и, как ему кажется, тоже размышляет о встрече перед дверью. О волшебное приключение! О радость, торжество и безграничное ликование! Нет, никогда бы Ганс Касторп не испытал такой опьяняющей, немислимой радости, если бы это была встреча с какой-нибудь цветущей дурындой, которой бы он там внизу, на равнине, законно, мирно и с видами на будущее, как поется в той песенке, подарил свое сердце. С лихорадочной подтянутостью приветствует он учительницу, она все видела, и румянец алеет у нее даже сквозь пух на щеках, а он на скверном английском языке начинает осаждать мисс Робинсон и несет такой бредовый вздор, что эта почтенная особа, отнюдь не искушенная в каких-либо восторгах, даже отстраняется и разглядывает его с искренним беспокойством.

Второй случай: заходящее солнце ярко озаряет больных, ужинающих за «хорошим» русским столом. Дверь на веранду и окна задернуты шторами, все же где-то осталась щель, и через нее пробивается нежаркий, но ослепительный алый луч и падает как раз на лицо мадам Шоша, занятой разговором с сутулым соотечественником, своим соседом справа; она заслоняет лицо рукой. Солнце мешает ей, однако не очень; никто этим не интересуется, да и сама пострадавшая едва ли осознает, что оно слепит ей глаза. Но Ганс Касторп видит все это через зал и тоже некоторое время

только наблюдает за этой сценой. Затем вдруг отдает себе отчет в том, что происходит, прослеживает путь луча, устанавливает место, откуда он падает. Оказывается – через сводчатое окно справа в углу, между дверью на веранду и «плохим» русским столом, очень далеко от места мадам Шоша и почти так же далеко от Ганса Касторпа. И тогда он решается. Не проронив ни слова, он встает, держа в руке салфетку и лавируя между столами, проходит наискось через зал, плотно сдвигает кремовые занавеси, так что края заходят друг на друга, бросает взгляд через плечо и, убедившись, что доступ вечернему лучу закрыт и мадам Шоша от него избавлена, возвращается с равнодушным видом на свое место: просто внимательный молодой человек, который сделал то, что было нужно, так как никто другой об этом не подумал. Немногие обратили на него внимание, но мадам Шоша сразу почувствовала облегчение и обернулась, причем так и осталась сидеть, пока Ганс Касторп не дошел до своего стола и, садясь, не посмотрел на нее; тогда она поблагодарила его взглядом и приветливой удивленной улыбкой, то есть скорее выставила вперед голову, чем кивнула. Он ответил поклоном. Сердце его замерло, как будто совсем перестало биться. Лишь позднее, когда все давно кончилось, оно снова заколотилось, и только тут он заметил, что Иоахим сидит, уставившись в свою тарелку; и также лишь позднее вспомнил, что фрау Штер толкнула доктора Блюменколя в бок и, втихомолку посмеиваясь, попыталась обменяться многозначительными взглядами с сидящими за ее столом и за другими...

Мы описываем будничные мелочи, но и будничное становится необычным, если возникает на основе необычного. Между ними бывали минуты напряженности, которая потом благотворно разрешалась, – и если даже не между ними (вопрос о том, насколько все это затрагивало мадам Шоша, мы оставляем открытым), то во всяком случае – для чувств и воображения Ганса Касторпа. В эти ясные дни большая часть пациентов выходила после обеда на веранду перед столовой и, разбившись на группы, четверть часика грелась на солнышке. Тогда бывало очень шумно, и выглядело все примерно как на концертах духовой музыки, которые давались через воскресенье. Абсолютно праздные, пресытившиеся мясными и сладкими кушаньями молодые люди, к тому же слегка возбужденные лихорадкой, болтали, шутили, строили глазки. Фрау Заломон из Амстердама усаживалась у балюстрады, причем ее усердно теснил коленями с одной стороны губастый Гэнзер, с другой – великан швед; хотя он и выздоровел окончательно, но еще ненадолго продлил свое пребывание в санатории, чтобы закрепить достигнутое. Фрау Ильтис, видимо, вдовствовала, так как с недавних пор стала показываться в обществе

«жениха», личности, впрочем, меланхолической и незначительной, присутствие которой ничуть не мешало ей принимать ухаживания капитана Миклосича, мужчины с горбатым носом, нафиксатуаренными усами, гордо выпяченной грудью и свирепым взглядом. Тут были дамы самых разнообразных национальностей из общей галереи для лежания, причем среди них мелькали и новые лица, появившиеся только с 1 октября, – Ганс Касторп едва ли даже знал их фамилии, – а также кавалеры типа господина Альбина; семнадцатилетний юнец с моноклем, розоволицый молодой голландец в очках, страдавший манией обмениваться почтовыми марками; несколько греков, напомаженных, с миндалевидными глазами, склонных во время трапез к излишествам; два неразлучных фата, прозванных «Макс и Мориц»^[80], по слухам – необыкновенно предприимчивые молодые люди... Горбатый мексиканец, – он не знал ни одного из представленных здесь языков, и его лицо напоминало лицо глухого; с комическим проворством непрерывно фотографировал он собравшихся и перетаскивал свой штатив из конца в конец террасы. Иногда появлялся гофрат и показывал свой фокус с завязыванием шнурков на ботинках. И одиноко бродил среди толпы религиозный мангеймец, и его бесконечно грустный взор, к негодованию Ганса Касторпа, тайком устремлялся к небезызвестной цели.

Чтобы вернуться к примерам «напряженности и разрешения», приведем еще один случай. Ганс Касторп сидел однажды у стены дома на лакированном садовом стуле и весьма оживленно беседовал с Иоахимом, которого, хотя тот упорствовал, все же увлек на террасу, а перед ними у балюстрады курила сигарету мадам Шоша, окруженная соседями по столу. Ганс Касторп говорил именно для нее, чтобы она слышала. А она стояла к нему спиной... Читателю ясно, что мы описываем вполне определенный случай. Однако, при взвинченности Ганса Касторпа, разговора с одним кузеном для него было недостаточно, и он тут же свел знакомство еще с одной пациенткой – и с кем же? С Герминой Клеефельд. Он как будто мимоходом обратился к этой молодой особе, представился сам и представил Иоахима, тоже пододвинул ей лакированный стул, и все это потому, что, беседуя втроем, легче было порисоваться. Помнит ли Гермину, спросил он, как чертовски она его тогда напугала, при их первой встрече во время утренней прогулки? Да, это именно его она приветствовала таким ободряющим свистом. И она достигла цели, он сознается, его тогда словно обухом по голове хватила, может спросить кузена. Ха-ха! Это здорово, свистеть пневмотораксом и пугать безобидных путешественников! Но он заявляет в своем справедливом гневе, что это кощунство и святотатство... И в то время как Иоахим, сознавая свою подсобную роль, сидел опустив

глаза, и даже Клеефельд, по невидящим и рассеянным взглядам Ганса Касторпа, постепенно поняла, что тоже служит лишь средством для достижения определенной цели, и обиделась, Ганс Касторп то хорохорился, то жеманничал, щеголял пышными фразами, старался говорить красивым голосом и в конце концов добился того, чего хотел. Слыша эту неестественную декламацию, мадам Шоша обернулась и взглянула ему в лицо – но лишь на одно мгновение. Ее Пшибыславовы глаза почему-то скользнули вниз по его фигуре – он сидел закинув ногу на ногу – и с выражением глубокого равнодушия, почти презрения, именно презрения, остановились на его желтых ботинках; потом она опять холодно отвела глаза, может быть, с глубоко затаенной усмешкой.

Это был тяжелый, очень тяжелый удар! Ганс Касторп еще продолжал в течение нескольких минут что-то лихорадочно лопотать; но когда он вполне уяснил себе смысл этого взгляда на его ботинки, то вдруг смолк чуть не на полуслове и погрузился в мрачное отчаяние. Обидевшись и заскучав, Клеефельд ушла. Иоахим не без раздражения заметил, что можно бы теперь и полежать. Убитый горем, кузен ответил побелевшими губами, что да, можно.

После этого случая Ганс Касторп целых два дня жестоко страдал, ибо за это время не произошло ничего, что могло бы пролить бальзам на его пылавшую рану. Почему этот взгляд? Почему, во имя пресвятой троицы, такое презрение? Или она смотрит на него как на какого-то приехавшего снизу дуралея, чья восприимчивость к болезням ограничивается невинными пустяками? Как на простака с равнины, самого заурядного малого, который живет там внизу, как все, смеется, набивает себе пузо и зашибает деньгу – этакого первого ученика в школе жизни, стремящегося лишь к скучнейшим преимуществам чести? Что он для нее? Ветреный юнец, заехавший погостить на три недели и чуждый ее кругу? Но разве он уже не произнес обет на основании своего «влажного очажка», разве он не допущен и не включен в общину «наших» тут наверху и разве нет у него за плечами стажа в добрых два месяца? Разве, наконец, Меркурий еще вчера вечером не поднялся у него до 37,8? Но именно тут-то и таилась главная причина его страданий! Дело в том, что Меркурий выше не поднимался! Жестокая подавленность последних дней вызвала в физической природе Ганса Касторпа охлаждение, отрезвление и спад лихорадочной напряженности; это, к его горькому стыду, выразилось в очень низкой, едва повышавшейся температуре, и он терзался от сознания, что его горе и печаль могли только еще больше отдалить его и от самой Клавдии, и от ее жизни.

Третий день принес ему сладостное облегчение, принес тут же, с утра. Осеннее утро было яркое, сияющее и свежее, луга заткало серовато-серебристой изморозью, солнце и ущербная луна стояли в небе почти на одинаковой высоте. Двоюродные братья поднялись раньше, чем обычно, чтобы в честь чудесного дня несколько удлинить предписанную утром прогулку и пройти дальше по той лесной дороге, которая вела к скамье и водостоку. Иоахим, у которого кривая температуры, к его радости, тоже опустилась, высказался за освежающее отступление от правил, и Ганс Касторп не возражал.

– Мы же выздоровели, – сказал он, – отлихорадили, обеззаражены и почти готовы для возвращения на равнину. Почему бы не порезвиться как жеребята?

И вот они пустились в путь, оба без шляп, ибо Ганс Касторп, дав обет, с божьей помощью подчинился здешним нравам и стал ходить с непокрытой головой, хотя вначале возражал против этого обычая, уверенный в своем знании общепринятых форм и приличий. Но не успели они пройти небольшую часть красноватой дороги и, преодолев крутой подъем, добраться примерно до того места, где некогда новичок встретился с отрядом пневматиков, как увидели идущую довольно далеко впереди мадам Шоша; она была во всем белом, белый свитер, белая фланелевая юбка, даже белые башмаки. Словом, Ганс Касторп сразу узнал ее; на рыжеватых волосах играло утреннее солнце. Иоахим заметил ее, только когда почувствовал, как кто-то сбоку толкает и тянет его; это ощущение было вызвано тем, что Ганс Касторп, который сначала едва передвигал ноги и, кажется, готов был совсем остановиться, вдруг прибавил ходу, почти побежал.

Такое подстегивание показалось Иоахиму крайне неуместным и раздражающим, его дыхание участилось, и он стал покашливать. Но это не трогало Ганса Касторпа, он неудержимо рвался к цели, его дыхательные органы, казалось, работали превосходно, и так как Иоахим наконец уразумел, в чем дело, он лишь насупился и пошел рядом – не мог же он допустить, чтобы кузен бежал один впереди него.

Чудесное утро придало бодрость молодому Гансу Касторпу. В период уныния его душевные силы незаметно пришли в равновесие, и перед ним, сияя, вставала уверенность, что близка минута, когда опала, которой он подвергся, будет снята. Он стремился вперед и продолжал тащить за собой задыхавшегося рассерженного Иоахима, и у поворота, там, где подъем кончался и дорога вела вдоль лесистого склона, они почти нагнали мадам Шоша. Тогда Ганс Касторп снова умерил темпы: выполняя свое намерение,

он не желал иметь вид запыхавшийся и ошалевший. И вот, за поворотом дороги, между горным склоном и откосом, под сенью порыжевших елей, сквозь ветви которых падали солнечные блики, это произошло и было подобно чуду: Ганс Касторп, шедший по левую сторону от Иоахима, наконец догнал обаятельную пациентку, мужественной поступью проследовал мимо нее и в то мгновение, когда, поравнявшись с ней, огибал ее справа, отвесил ей поклон, хотя был без шляпы и, проговорив вполголоса «доброе утро», почтительнейше (почему, собственно, почтительнейше?) приветствовал ее. И она ответила; приветливо, ничуть не удивившись, мадам Шоша кивнула и также пожелала ему доброго утра на его родном языке, причем глаза ее улыбались, – и это уже было совсем другое, по существу своему другое, чем тот взгляд на его башмаки, это было блаженство, удача, поворот к лучшему, к самому лучшему, что-то беспримерное и почти непостижимое, это была спасение.

Точно на крыльях, ослепленный безрассудной радостью, унося как драгоценный дар ее поклон, ее слова, ее улыбку, поспешил Ганс Касторп вперед, рядом с обиженным Иоахима, который шел молча, отвернувшись от него, и смотрел вниз, под откос. Все это в глазах Иоахима было неуместной проделкой, пожалуй даже предательством, изменой, что Ганс Касторп отлично понимал. Правда – это не совсем то, что попросить у совершенно незнакомого человека карандаш: напротив, было бы, вероятно, просто неприлично пройти мимо дамы, с которой живешь под одной крышей уже несколько месяцев, прямым, как палка, и не выразить ей своего почтения. К тому же Клавдия совсем на днях в приемной даже заговорила с ними. Поэтому пусть Иоахим лучше помолчит. Все же Ганс Касторп знал, по какой еще причине Иоахим молчит так упорно и идет отвернувшись, тогда как сам он столь неудержимо, столь буйно счастлив, что его проделка удалась. Нет, тот, кто на равнине самым законным, приятнейшим образом и с видами на будущее подарил бы свое сердце какой-нибудь цветущей девице и имел бы успех, не мог бы чувствовать себя счастливее, чем он, урвавший и закрепивший в миг удачи такой пустяк... Поэтому через некоторое время он с размаху ударил кузена по плечу и сказал:

– Послушай, что это с тобой? Такая чудесная погода! Давай спустимся потом в курорт, там у них, наверно, музыка, подумай! Может быть, оркестр играет «Ты помнишь утро, погляди: цветок приколот на груди» из «Кармен». Какая муха тебя укусила?

– Никакая, – ответил Иоахим. – Но у тебя страшно горит лицо, боюсь, что твоему снижению пришел конец!

Так оно и оказалось. Позорное остывание организма Ганса Касторпа было побеждено приветствием, которым он обменялся с Клавдией Шоша, и, говоря по правде, он этому-то и обрадовался.

Иоахим угадал: Меркурий опять поднялся! Когда Ганс Касторп, вернувшись с прогулки, обратился к показаниям градусника, выяснилось, что у него ровнехонько 38.

Энциклопедия

Если некоторые намеки Сеттембрини и раздражали Ганса Касторпа, – удивляться им не приходилось, да он и права не имел протестовать против влечения гуманиста к педагогическому надзору. Слепому было ясно, как обстоит дело, и сам Ганс Касторп не прилагал никаких усилий к тому, чтобы сохранить свой секрет: известное прямодушие и своеобразное благородство не позволяли ему таить свои чувства. Если уж говорить начистоту – то этим он выгодно отличался от своего лысоватого сотоварища, от влюбленного мангеймца с его вкрадчивыми манерами. Мы хотели бы напомнить и подчеркнуть, что тому состоянию, в каком находился Ганс Касторп, присуще нетерпеливое стремление обнаружить свои чувства, желание сознаться и признаться в них, слепая одержимость самим собой и жажда заполнить своей личностью весь мир – тем более непонятная для нас, трезвых людей, чем меньше во всем этом смысла, разума и надежды. Как именно такой человек выдает себя – определить трудно, вероятно, он и не может ничего сказать или сделать, не выдавая себя, особенно в обществе, где, как уже заметил некий наблюдательный ум, интересуются только двумя вещами: температурой, во-первых, и температурой, во-вторых, или, говоря иными словами, с кем в данном случае генеральная консульша Вурмбрандт из Вены вознаграждает себя за непостоянство капитана Миклосича: с окончательно выздоровевшим великаном шведом или с прокурором Паравантом из Дортмунда, а может быть, и с обоими вместе. Ибо всем было доподлинно известно, что узы, связывавшие в течение нескольких месяцев упомянутого прокурора и фрау Заломон из Амстердама, согласно любовной договоренности расторгнуты, и фрау Заломон, следуя вкусам своего возраста, обратилась к представителям более юного поколения и взяла под свое крылышко губастого Гэнзера, сидевшего за столом Клеефельд, или, как выразилась на своем канцелярском жаргоне и притом довольно образно фрау Штер, – «подшила его к делу»; посему прокурору был предоставлен выбор – или биться из-за генеральной консульши со шведом, или мирно договориться с ним.

Итак, эти любовные тяжбы, столь распространенные среди берггофского общества, особенно среди больной молодежи, и в которых, видимо, главную роль играли переходы с балкона на балкон (мимо стеклянных стенок, у самой балюстрады), – эти отношения всех

интересовали, они были как бы главным элементом здешней атмосферы, хотя и это не выражает полностью того, что мы подразумеваем. У Ганса Касторпа сложилось впечатление, что основной вопрос о любви, которому во всем мире придается столь важное значение, – выражается ли то шуткой, или в серьезной форме, – здесь приобретает особую тональность, смысл, вес, и это так ново, так значительно, что и самый вопрос выступает в совершенно новом свете, если не грозном, то пугающем своей новизной.

Указывая на это, мы тоже меняем тон и выражение лица и подчеркиваем: если об известных отношениях говорили легко и шутливо, то по тем же самым тайным причинам, по которым о них так говорят повсюду, но это отнюдь не доказывает, что сами по себе такие отношения являются чем-то шуточным и легкомысленным, а в сфере, которую мы изображаем, это все еще серьезнее, чем в других. Ганс Касторп считал, что достаточно разбирается в этих основных отношениях, над которыми так любят подшучивать, и может быть, раньше и был вправе так считать. Теперь он увидел, что, живя на равнине, весьма мало в них разбирался, вернее – пребывал в наивном неведении; но здесь прежде всего его личный опыт – особенности этого опыта мы не раз старались вскрыть, – исторгавший у него в иные минуты возглас «Боже мой!», все же помог ему понять и ощутить особый акцент неслыханного, фантастического и безымянного, который для всех и каждого здесь наверху казался неотделимой чертой таких отношений. Нельзя сказать, чтобы и тут над ними не подшучивали. Но еще сильнее, чем внизу, эта манера подсмеиваться носила отпечаток чего-то поверхностного, в ней слышался зубовой скрежет и задыханье, она служила слишком прозрачной завесой для скрывающегося за ней, или, вернее, нескрываемого горя. Ганс Касторп вспоминал, как побледнело и пошло пятнами лицо у Иоахима, когда в первый и единственный раз его кузен позволил себе, по обычаям равнины, безбидно пошутить по поводу Марусиной пышнотелости. Вспоминал и ледяную бледность, покрывшую его собственное лицо, когда он спас мадам Шоша от светившего ей в глаза вечернего солнца, и о том, что не раз и раньше замечал ту же бледность на лицах многих больных, как правило – на двух одновременно, например на лице фрау Заломон и молодого Гэнзера в те дни, когда между ними лишь началось сближение, которое фрау Штер определила так метко. Словом, он вспоминал обо всем этом и понял, что при данных обстоятельствах было бы не только чрезвычайно трудно не «выдать» себя, но что и стараться не стоило. Короче говоря, Ганс Касторп не испытывал желания сдерживать и прятать свои чувства не только из благородства и прямоты – на него влияла вся та атмосфера, в которой

он жил.

Если бы Иоахим с первого же дня не подчеркнул особую трудность заводить здесь знакомства, трудность, вызванную главным образом тем, что оба кузена образовали в обществе пациентов как бы отдельную партию и миниатюрную группу, что стремившийся в армию Иоахим только и думал о том, как бы поскорее выздороветь, и решительно был против более тесного соприкосновения и общения с братьями по недугу, – если бы не все это, Ганс Касторп воспользовался бы гораздо шире возможностями с благородной щедростью и размахом открыть перед людьми свои чувства. Во всяком случае, однажды вечером, в гостиную, Иоахим застал его в обществе Гермины Клеефельд, ее двух соседей по столу – Гэнзера и Расмуссена, а также юноши, носившего монокль и длинный ноготь; Ганс Касторп с бесспорно лихорадочным блеском в глазах на все лады превозносил Клавдию Шоша, ее своеобразные и необычайные черты. А слушатели переглядывались, подталкивали друг друга и хихикали.

Иоахим от всего этого прямо-таки страдал; однако виновника всеобщей веселости ничуть не затрагивало, что его чувство разоблачено, может быть он считал, что, оставаясь скрытным и незаметным, он не добьется для себя никаких прав. Все догадывались о его влюбленности, в этом он не сомневался; а злорадство, которым сопровождалась догадка, считал неизбежным. Не только сидевшие за его столом, но и за соседними, то и дело посматривали на него и смаковали, как он то краснеет, то бледнеет, когда, уже после начала трапезы, застекленная дверь распаивалась и с грохотом захлопывалась; он же, напротив, был доволен, ему казалось, что если его волнение привлекает всеобщее внимание, значит окружающие как бы признают и одобряют его чувство, и это послужит поддержкой для его неясных и безрассудных надежд; он испытывал при этом даже ощущение счастья. Дело дошло до того, что больные стали нарочно собираться вместе, лишь бы понаблюдать за ослепленным любовью молодым человеком. Происходило это чаще всего после обеда, на террасе, или в воскресенье, перед конторкой портье, где больные получали почту, так как в эти дни ее не разносили по комнатам. Стало уже широко известно, что есть тут один безумец – совсем голову потерял, все по лицу прочесть можно, – и вот они собирались кучками поглазеть на него – фрау Штер, фрейлейн Энгельгарт, Клеефельд, ее подруга с лицом тапира, неизлечимый господин Альбин, молодой человек с ногтем и еще кое-кто из членов этого сообщества, и все стояли и смотрели на Ганса Касторпа, опутив углы рта и сопя. А на его лице блуждала улыбка, полная самозабвения и страсти, щеки пылали тем же румянцем, как и в первый

вечер приезда, в глазах был тот же блеск, который вспыхнул в них, когда он впервые услышал кашель австрийца, и взоры Ганса Касторпа были обращены все в ту же сторону...

В сущности, Сеттембрини поступил очень благородно: однажды, невзирая ни на что, он подошел к Гансу Касторпу, желая затеять с ним разговор и осведомиться о его самочувствии; но остается под вопросом, способен ли был тот оценить человеколюбивую непредвзятость и свободу от предрассудков, которые сказались в этом поступке Сеттембрини. Дело происходило в воскресенье, после обеда. Больные толпились в вестибюле перед конторкой портье и протягивали руки за письмами. Иоахим был также среди них. Ганс Касторп не подошел; все с тем же выражением лица стоял он позади, стараясь добиться хотя бы одного взгляда от Клавдии Шоша – она, вместе с соседями по столу, тоже ожидала неподалеку, пока народу у конторки поубавится. В это время, когда здесь вперемежку толпились больные всех рангов, перед молодым человеком открывались богатые возможности, почему Ганс Касторп особенно любил час выдачи писем и ждал его с нетерпением. Неделю назад, подойдя к конторке, он очутился так близко от мадам Шоша, что она нечаянно даже толкнула его и, слегка повернув к нему голову, сказала «pardon», а он, благословляя свою порожденную лихорадкой находчивость, не растерявшись, ответил:

– Pas de quoi, madame!^[81]

Какое счастье, думал он, что каждое воскресенье после обеда в вестибюле неукоснительно раздают почту! После того случая он, можно сказать, проглотил неделю, с нетерпением ожидая через семь дней возвращения того же часа, а ждать – значит обгонять, значит чувствовать время и настоящее не как дар, а как препятствие, значит, отвергая их самостоятельную ценность, упразднить их, духовно как бы через них перемахнуть. Говорят, что, когда ждешь, время тянется. Но вместе с тем – и это, пожалуй, ближе к истине – оно летит даже быстрее, ибо ожидающий проглатывает большие массы времени, не используя их и не живя ради них самих. Можно было бы сказать, что человек, занятый одним лишь ожиданием, подобен обжоре, пищеварительный аппарат которого прогоняет через себя массы пищи, не перерабатывая ее и не усваивая ее питательных и полезных элементов. И эту мысль можно было бы продолжить: как непереваренная пища не укрепляет сил человека, так же не делает его более зрелым и время, проведенное в пустом ожидании. Правда, в действительности чистого, пустого ожидания не бывает.

Итак, неделя была проглочена, снова наступило воскресенье и время раздачи писем, причем казалось, что все еще длится тот самый час,

который был неделю назад. И Ганс Касторп продолжал, волнуясь, ждать благоприятного случая: ведь каждый миг таил и нес в себе возможности завязать светское общение с мадам Шоша, – возможности, от которых сердце то замирало, то бурно колотилось, хотя он ничего не делал, чтобы эти возможности обратились в действительность. На его пути стояли препятствия частью военного, частью гражданского характера: с одной стороны, влияло присутствие честного Иоахима, а также чувства чести и долга, жившие в самом Гансе Касторпе, с другой стороны – помехи эти коренились в какой-то подсознательной уверенности, что обычные светские отношения с Клавдией Шоша – цивилизованные отношения, когда говорят друг другу «вы», отвешивают поклоны и стараются изъясняться по-французски, – что такие отношения не нужны, не желательны, что они «не то»... И вот он стоял и смотрел, как она разговаривает смеясь – в точности так же некогда смеялся, разговаривая, Пшибыслав на школьном дворе; при этом она довольно широко раскрывала рот, а ее раскосые серо-зеленые глаза над широкими скулами так суживались, что оставались только щелки. Это ее отнюдь не красило, но «какая есть, такая есть», для влюбленного эстетические суждения разума столь же мало убедительны, как и моральные.

– Вы тоже ожидаете почту, инженер?

Так мог говорить только один человек, нарушитель его радостей. Ганс Касторп вздрогнул и круто обернулся к стоявшему перед ним улыбающемуся Сеттембрини. Он улыбался той же пронизательной и тонкой улыбкой гуманиста, какой некогда приветствовал вновь прибывшего Ганса Касторпа возле скамьи у водостока, а молодой человек, как и тогда, почувствовал себя пристыженным. Но сколько бы он ни старался в своих сновидениях оттеснить «шарманщика», потому что тот «мешал» – человек бодрствующий все же лучше грезящего, и эта улыбка вызвала в нем не только стыд и отрезвление: глядя на нее, он понял, что нуждается в помощи, и ощутил благодарность за нее. Он сказал:

– Ну что вы, какая там почта, господин Сеттембрини! Я же не посланник! Может быть, случайно придет открытка кому-нибудь из нас. Мой кузен как раз справляется.

– А мне этот хромой бес уже выдал мою скромную корреспонденцию, – ответил Сеттембрини и поднес руку к боковому карману своего неизменного ворсистого сюртука. – Не скрою, мне пишут об интересных вещах, о вещах, имеющих большое значение, и литературное и социальное. Речь идет об одном энциклопедическом издании, и некое гуманитарное учреждение оказывает мне честь,

приглашая участвовать в нем... Словом, прекрасная работа.

Сеттембрини смолк.

– А как у вас? – спросил он после паузы. – Как ваши дела? Насколько, скажем, продвинулся процесс вашей акклиматизации? Вы ведь в конце концов не так уж давно живете среди нас, чтобы этот вопрос был снят с повестки дня?

– Благодарю вас, господин Сеттембрини; как и раньше, некоторые трудности остаются. И боюсь, что они останутся до последнего дня. Есть люди, которые так и не могут здесь привыкнуть, меня двоюродный брат предупредил, как только я приехал. Но ведь привыкаешь даже к тому, что не можешь привыкнуть.

– Сложный процесс, – рассмеялся итальянец, – странный способ обретать у нас права гражданства. Конечно, молодежи все дается легче. Она не привыкает и все-таки пускает корни.

– И потом здесь же в конце концов не сибирский рудник.

– Нет, конечно. О, вы предпочитаете восточные сравнения. Вполне понятно. Азия затопляет нас. Куда ни глянешь – всюду татарские лица. – И Сеттембрини украдкой посмотрел через плечо. – Чингисхан, – продолжал он, – снега и степи, волчьи глаза в ночи и водка, кнут, Шлиссельбург и христианство. Следовало бы здесь, в вестибюле, воздвигнуть алтарь Палладе Афине, пусть защитит нас. Видите, там впереди какой-то Иван Иванович без белья спорит с прокурором Паравантом. Каждый уверяет, что он стоит впереди в очереди за письмами. Не знаю, кто из них прав, но, мне кажется, богиня должна быть на стороне прокурора. Правда, он осел, но хоть знает латынь.

Ганс Касторп расхохотался, чего Сеттембрини никогда не позволял себе. Его даже нельзя было представить себе хохочущим: дальше проницательной и сухой усмешки, кривившей уголок рта, у него дело не шло. Он долго смотрел на смеющегося Ганса Касторпа, потом спросил:

– А свой снимок вы получили?

– Снимок я получил! – с важностью подтвердил Ганс Касторп. – Совсем недавно. Вот он. – И полез в боковой карман.

– А! Вы носите его в бумажнике. Как удостоверение личности, паспорт или членский билет. Очень хорошо! Покажите-ка! – И Сеттембрини поднял к свету небольшую, окантованную черной бумагой, стеклянную пластинку, держа ее между большим и указательным пальцами левой руки – жест здесь наверху очень принятый и обычный. Когда он разглядывал пластинку, лицо его с миндалевидными глазами слегка подергивалось, нельзя было понять почему – то ли от напряжения, чтобы получше рассмотреть снимок,

то ли по другим причинам.

– Да, да, – сказал он наконец. – Вот вам ваше удостоверение личности, большое спасибо. – И он протянул пластинку владельцу, протянул как-то боком, через собственный локоть и отвернув лицо.

– А вы видели тяжи? – спросил Ганс Касторп. – И узелки?

– Вы знаете, – неохотно ответил Сеттембрини, – как я отношусь к таким вещам. И знаете, что пятна и затемнения внутри нас чаще всего имеют чисто физиологическую природу. Я перевидал сотни снимков, очень похожих на ваш, поэтому вопрос о том, насколько они являются удостоверением именно вашей личности, до известной степени предоставляется решить рассматривающему. Я, конечно, сужу как непосвященный, но непосвященный с многолетним опытом.

– А ваш собственный снимок дает худшую картину?

– Да, несколько худшую... Впрочем, я знаю наверное, что вершители наших судеб основывают свои диагнозы не только на таких вот картинках... И вы что же – намерены зимовать у нас?

– Боже мой! Ну конечно. Я начинаю привыкать к мысли, что вернусь вниз только вместе с моим кузенком.

– То есть привыкаете к тому, что не можете... Вы формулируете это очень остроумно. Все необходимое вы, надеюсь, получили? Теплую одежду, зимнюю обувь?

– Получил, господин Сеттембрини. Все в полном порядке. Я написал родственникам, и наша экономка выслала мне вещи спешной почтой. Теперь я подготовлен к зиме.

– Тем лучше. Но послушайте, вам же нужен спальный мешок, меховой мешок – о чем мы думаем! Это дополнительное лето – коварная штука: за час может наступить настоящая зима. А ведь вам предстоит провести здесь самые холодные месяцы...

– Да, спальный мешок, разумеется, необходим, – согласился Ганс Касторп. – Я уже подумывал о нем, придется нам с кузенком в ближайшие дни спуститься в местечко и купить такой мешок. Правда, он потом уж ни на что не понадобится. Но ради четырех-шести месяцев купить все-таки стоит...

– Стоит, стоит... Инженер, – вполголоса пробормотал Сеттембрини, подойдя ближе к молодому человеку, – знаете, просто жуть берет, когда вы так швыряетесь месяцами! Жуть потому, что это же противоестественно и чуждо вашей природе, вся беда – в переимчивости вашего возраста! Ах, эта чрезмерная переимчивость молодежи! Она приводит в отчаянье воспитателей, ибо прежде всего устремляется на отрицательное. Не

повторяйте того, что говорят все вокруг вас, а высказывайте суждения, какие подобает иметь при европейских формах жизни! В здешней атмосфере, между прочим, слишком много Азии – не даром тут так и кишит типами из московитской Монголии. Вон те люди, – и Сеттембрини показал подбородком через плечо на толпившихся в вестибюле больных, – не ориентируйтесь вы в душе на них, останавливайте себя, не позволяйте себе заражаться их взглядами, напротив, – противопоставляйте им свою сущность, свою более высокую сущность, и свято берегите то, что для вас, сына Запада, божественного Запада, сына цивилизации, по натуре и по происхождению свято, например – время! Эта щедрость, это варварское безудержное расточение времени – чисто азиатский стиль, – может быть, поэтому сынам Востока так и нравится здесь. Вы не заметили, что когда русский говорит «четыре часа», это все равно что кто-нибудь из нас говорит «один»? Разве небрежность этих людей в отношении времени не связана с безмерностью пространства, которое занимает их страна? Там, где много пространства, много и времени – не даром про них говорят, что это народ, у которого есть время и который может ждать. Мы, европейцы, не можем. У нас слишком мало времени, так же как слишком мало пространства в нашей благородной и столь изящно поделенной части света, мы вынуждены хозяйничать экономно и стремиться использовать и то и другое, использовать, слышите, инженер! Возьмите в виде прообраза хотя бы наши большие города, эти центры, эти очаги цивилизации, эти котлы, где кипит человеческая мысль! И так же как там земля все дорожает и расточение пространства становится все более невозможным – в той же мере – заметьте это себе – дорожает и время. *Carpe diem!*^[82] – это сказал столичный житель! Время – дар богов, поймите это, инженер, – дар богов, данный человеку, чтобы он использовал его, использовал ради человеческого прогресса.

Все эти немецкие выражения, как они ни были трудны для его «средиземного» языка, Сеттембрини произнес удивительно отчетливо, благозвучно, можно сказать – даже пластично. Ганс Касторп отвечал на эти речи лишь коротким, деревянным и неловким полупоклоном, словно ученик, внимающий назиданию строгого учителя. Да и что мог бы он возразить? Эта речь, это *privatissimum*^[83], которое Сеттембрини произнес совершенно частным образом, повернувшись спиной к остальным и почти шепотом, носило слишком конкретный и серьезный, слишком несветский характер, чтобы человек тактичный позволил себе высказать хотя бы одобрение. Не говорят же учителю: как вы удачно это выразили. Правда,

раньше Ганс Касторп иногда позволял себе такие ответы – отчасти для того, чтобы сохранить в глазах общества видимость равенства; однако гуманист еще ни разу с такой настойчивостью не подчеркивал нарочитую педагогичность своих высказываний; поэтому ничего не оставалось, как выслушать его увещания, теряясь, как школьник, которому прочли строгую мораль.

Впрочем, Сеттембрини, видимо, продолжал размышлять о сказанном и тогда, когда замолчал. Он все еще стоял совсем близко к Гансу Касторпу, так что тот даже слегка откинулся назад: черные глаза итальянца были устремлены на лицо молодого человека, но их пристальный взгляд казался невидящим и погруженным в себя.

– Вы страдаете, инженер! – заговорил он снова. – Вы страдаете, как заблудившийся человек, – это ясно каждому. Но даже ваше отношение к страданию должно быть отношением европейца, а не азиата, ибо Восток слишком мягок и склонен к болезни, а потому здесь так щедро и представлен... Сочувствие и бесконечное терпенье – вот его способ относиться к страданию. А это не может, не должно быть вашим способом!.. Мы говорили о моей корреспонденции... Видите ли, тут... Или еще лучше – пойдете!.. Здесь невозможно... Удалимся отсюда... Пройдем вон туда... Я открою вам такие вещи, которые... Пойдете! – И, повернувшись, он потащил Ганса Касторпа из вестибюля в первую от входа комнату, которая служила читальней и кабинетом и сейчас пустовала. В этой комнате был светлый потолок, покрытые дубовой панелью стены, несколько книжных шкафов, посередине – стол с подшивками газет, в нишах сводчатых окон – письменные принадлежности, вот и все. Сеттембрини подошел к одному из окон, Ганс Касторп последовал за ним. Дверь осталась открытой.

– На этих бумагах, – начал итальянец, торопливо выхватив из отвисшего бокового кармана своего сюртука объемистый, уже вскрытый конверт и перебирая его содержимое – несколько печатных текстов и листок, написанный от руки, – на этих бумагах оттиснуто по-французски: «Интернациональный союз содействия прогрессу». Мне прислали это из Лугано, там есть филиал союза. Вы хотите узнать его принципы, его цели? Изложу в двух словах. «Лига содействия прогрессу», делая вывод из эволюционного учения Дарвина, утверждает, что глубочайшим и естественным призванием человечества является самосовершенствование. А отсюда следует, что долг каждого, кто хочет следовать этому естественному призванию, – деятельно участвовать в человеческом прогрессе. Многие отозвались на призыв Лиги; во Франции, Италии,

Испании, Турции и даже в Германии у нее немало членов. Я тоже имею честь состоять в их списках. Сейчас разработана на научной основе грандиозная программа реформ, охватывающая все возможности совершенствования, которые в наше время даст человеческий организм. Изучаются проблемы оздоровления нашей расы, испытываются методы борьбы с вырождением, которое является, бесспорно, одним из следствий развивающейся индустриализации. Далее Лига ставит себе целью открытие народных университетов, преодоление классовой борьбы с помощью всех тех социальных улучшений, которые могут способствовать этому, и, наконец, путем развития международного права она надеется добиться прекращения войн и столкновений одного государства с другим. Как видите, стремления Лиги благородны и всеобъемлющи.

Выход в свет нескольких интернациональных журналов свидетельствует о ее деятельности – это ежемесячные обзоры, которые на трех или четырех языках, принятых для международных сношений, увлекательно рассказывают о прогрессивном развитии культурной части человечества. В различных странах основаны местные группы, они должны с помощью дискуссионных вечеров и воскресных празднеств назидать и просвещать людей в духе идеалов человеческого прогресса. Но прежде всего Союз стремится помочь своими материалами прогрессивным политическим партиям всех стран... Вы слушаете меня, инженер?

– Разумеется! – горячо отозвался ошеломленный Ганс Касторп; при этих словах он испытал такое чувство, словно поскользнулся, но все-таки удержался на ногах.

Сеттембрини, казалось, был удовлетворен.

– Вероятно, для вас все это совершенно ново и поразительно?

– Да, должен сознаться, я впервые слышу об этих... этих задачах.

– О, если бы, – негромко воскликнул Сеттембрини, – если бы вы услышали о них раньше! Но, может быть, и сейчас еще не поздно. Вот этот печатный материал... Хотите знать, о чем тут говорится?.. Слушайте дальше. Весною в Барселоне было созвано торжественное общее собрание Союза – вам известно, что этот город славится особым интересом к идеям политического прогресса? Конгресс продолжался неделю, со всякими банкетами и торжествами. Боже мой, как мне хотелось туда поехать, принять участие в совещаниях! Но этот плут гофрат запретил мне поездку под угрозой смерти, и, что поделаешь, я испугался смерти и не поехал. Вы, конечно, представляете, в каком я был отчаянье от этой злой шутки, которую со мной сыграл мой нездоровый организм. Нет ничего мучительнее, когда органическая, животная сторона нашего существа

мешает нам служить разуму. Тем живее моя радость по поводу этого письма от бюро в Лугано... Вам очень хочется знать содержание? Охотно верю! Несколько коротких информации... «Союз содействия прогрессу», памятуя о своей основной задаче, состоящей в достижении счастья для всего человечества, другими словами – в том, чтобы победить человеческие страдания при помощи целеустремленного социального труда, а в дальнейшем и окончательно их искоренить, – памятуя также о том, что эта величайшая задача может быть разрешена только с помощью социологической науки, конечная цель которой – создание совершенного государства, – Союз решил приступить к выпуску в Барселоне многотомного издания, назвав его «Социология страданий», в котором все человеческие страдания будут приведены в систему с исчерпывающей полнотой и ясностью, классифицированы и распределены по родам и видам! Вы спросите: какой смысл в этих родах, видах и системах! А я отвечу: порядок и отбор – первый шаг к познанию, ибо страшнее всего тот враг, который неведом. Необходимо вывести человеческий род из примитивной стадии страха и терпеливой тупости и направить его по пути целеустремленной деятельности. Надо разъяснить ему, что бороться с теми или иными явлениями можно, лишь предварительно познав их причины и устранив их, и что почти все страдания отдельной личности вызваны заболеваниями социального организма. Хорошо! Вот в этом и состоит задача «Социальной патологии». Примерно в двадцати томах словарного формата она перечислит и опишет все случаи человеческих страданий, какие только можно установить, – от самых личных и интимных до больших групповых конфликтов, до страданий, проистекающих из классовой борьбы и международных столкновений, укажет на те химические элементы, из многообразного смешения и сочетания которых возникают решительно все человеческие страдания, и, руководствуясь идеей достоинства и счастья всего человечества, это издание во всяком случае даст ему в руки те средства и мероприятия, которые помогут устранить самые источники страданий. Признанные специалисты из европейского ученого мира, врачи, экономисты, психологи примут участие в работе над этой энциклопедией страдания, а главная редакционная коллегия в Лугано явится как бы резервуаром, в который будут стекаться соответствующие статьи. Я читаю в ваших глазах вопрос о том, какая же роль во всем этом предназначена мне? Дайте мне кончить! Это грандиозное издание не обойдет и художественные произведения, поскольку их предмет – именно страдание человека. Поэтому предусмотрен отдельный том, в котором для утешения и назидания будут помещены обзор и краткий

анализ всех шедевров мировой литературы, где изображен тот или иной конфликт; вот та задача, которая в этом письме возлагается на вашего покорного слугу.

– Что вы говорите, господин Сеттембрини! Тогда разрешите от души поздравить вас! Это же замечательно и, как мне кажется, прямо создано для вас. Меня нисколько не удивляет, что Лига обратилась именно к вам. Как вы должны радоваться, что можете содействовать искоренению человеческих горестей!

– Работа эта очень большая, – задумчиво сказал Сеттембрини, – подходить к ней нужно осмотрительно и много для нее читать. Что касается художественного творчества, – продолжал он, словно теряясь взглядом в дали того многообразия, которое ему предстояло охватить, – то оно избирает, почти как правило, тему страдания, и даже произведения второго и третьего разряда занимаются им. Ну, да это все равно или даже тем лучше. Сколь ни всеобъемлюща поставленная передо мной задача, она во всяком случае такого рода, что я на крайний случай могу справиться с ней и в этой проклятой дыре, хотя хочу надеяться, что все же не буду вынужден заканчивать ее здесь. Чего нельзя сказать, – продолжал он, снова подойдя к Гансу Касторпу и понизив голос почти до шепота, – чего нельзя сказать об обязанностях, которые природа возложила на вас, инженер. Вот куда я метил, вот относительно чего хотел предостеречь вас. Вы знаете, с каким восхищением я отношусь к вашей профессии, но так как она – профессия практическая, а не интеллектуальная, то вы, в отличие от меня, можете заниматься ею только, живя там, внизу. Лишь на равнине можете вы быть европейцем, активно, согласно своим возможностям побеждать страданье, служить прогрессу, использовать время. Я только для того и рассказывал вам о выпавшей мне на долю задаче, чтобы вы вспомнили о вашей, чтобы вы очнулись и выправили свои понятия, которые здесь вследствие определенных атмосферических влияний начали путаться. Я настойчиво взываю к вам: будьте верны себе! Будьте горды и не поддавайтесь тому, что вам чуждо. Бегите из этого болота, с этого острова Цирцеи^[84], вы недостаточно Одиссей, чтобы безнаказанно пребывать на нем! Скоро вы будете ходить на четвереньках, вы уже склоняетесь к земле и готовы пасть на передние конечности, скоро вы захрюкаете – берегитесь!

Произнося эти поучения, гуманист настойчиво покачивал головой. Потом смолк, опустив глаза, сдвинув брови. Теперь уж невозможно было отделаться шутливым и уклончивым ответом, как отделялся не раз Ганс Касторп, хотя на миг ему показалось, что так можно бы ответить и сейчас. Но и он стоял, опустив глаза. Затем пожал плечами и тоже вполголоса

спросил:

– Что же я должен сделать?

– Я уже говорил вам.

– То есть – уехать?

Сеттембрини молчал.

– Вы хотите сказать, что я должен уехать домой?

– Я вам посоветовал это в первый же вечер, инженер.

– Да, и тогда я мог уехать, хотя считал неразумным сразу сложить оружие только потому, что здешний воздух оказался немного не по мне. Но ведь за это время положение вещей изменилось, за это время меня осмотрели врачи, и гофрат Беренс прямо заявил, что уезжать домой не имеет смысла – мне все равно очень скоро пришлось бы вернуться, а если там, внизу, дело пойдет такими же темпами, то мое легкое очень быстро полетит к черту.

– Знаю, и теперь у вас в кармане лежит ваше удостоверение личности.

– Да, но с какой иронией вы это говорите... Со справедливой иронией, совершенно не двусмысленной, а наоборот, с той, которая является откровенным и классическим ораторским приемом, – видите, я запоминаю ваши слова. Но можете ли вы теперь, когда уже есть вот этот снимок, получены данные просвечивания и известен диагноз гофрата, можете ли вы взять на себя ответственность и все-таки рекомендовать мне уехать домой?

Сеттембрини на миг заколебался. Потом выпрямился, поднял голову, устремил твердый взгляд черных глаз на Ганса Касторпа и ответил с не лишенной театральности, эффектной решимостью:

– Да, инженер. Я беру на себя эту ответственность.

Но выпрямился и Ганс Касторп. Он крепко сдвинул каблуки и также посмотрел в упор на Сеттембрини. Это уже была схватка, и Ганс Касторп дал отпор. Воздействие некоего лица, находившегося поблизости, «укрепляло» его. Тут был педагог, а там – узкоглазая женщина. Он даже не извинился за свои слова, не добавил: «Не обижайтесь на меня», он ответил:

– Очевидно, в отношении себя мы более осторожны, чем в отношении других. Вы-то ведь не пренебрегли запрещением врачей и не поехали на конгресс в Барселону! Вы боитесь смерти и остались здесь.

Это замечание до известной степени зачеркивало внутреннюю позу, которую принял Сеттембрини. Он улыбнулся не без усилия и сказал:

– Я умею ценить находчивый ответ, хотя ваша логика весьма близка к софистике. Мне противно спорить, хотя здесь это принято, о том, кто болен тяжелее. Я не могу участвовать в этом омерзительном состязании, иначе я бы возразил вам, что болен гораздо серьезнее, чем вы, к сожалению,

настолько серьезно, что могу только искусственно и с помощью небольшого самообмана поддерживать в себе надежду когда-нибудь вернуться вниз, в свой прежний мир. И в ту минуту, когда выяснится полная неуместность моих надежд, я распрощаюсь с этим учреждением и проведу остаток дней в этой долине, просто сняв у кого-нибудь комнату. Это будет весьма печально, но область моей работы – наиболее свободная и интеллектуальная, поэтому такая жизнь не мешает мне служить до последнего вздоха интересам человечества и бороться с духом болезни. Я уже обращал ваше внимание на разницу, которая существует в этом отношении между вами и мной. Слушайте, инженер, вы не из тех людей, которые могут, живя здесь, отстаивать лучшую часть своего существа, я понял это с первой же нашей встречи. Вы упрекнули меня за то, что я не поехал в Барселону. Я подчинился запрету, чтобы раньше времени себя не разрушить. Но я сдался вовсе не с безоговорочной покорностью, мой дух самым решительным образом и с гордым негодованием протестовал против власти моего жалкого тела. Не знаю, просыпается ли в вас этот протест, когда вы подчиняетесь требованиям здешних властей, или вы, наоборот, следуете зову своего тела и слишком охотно поддаетесь его губительным влечениям.

– А почему вы так против тела? – торопливо перебил его Ганс Касторп и изумленно посмотрел на него своими голубыми глазами с покрасневшим белком. У него прямо голова закружилась от собственной дерзости, и это было заметно. «Что я говорю? – ужаснулся он про себя. – Это же просто чудовищно! Но раз уж я объявил войну, то, пока буду в силах, не дам ему взять верх надо мной. Конечно, он в конце концов меня одолеет, но все равно, кое-что я на этом выиграю. Я раздражаю его». И добавил, поясняя свои слова: – Вы ведь гуманист? Как же вы можете порицать человеческое тело?

Сеттембрини улыбнулся, на этот раз непринужденно и самоуверенно.

– Что вы имеете против психоанализа! – процитировал он слова Ганса Касторпа, склонив голову на плечо. – Вы осуждаете психоанализ? Я всегда готов держать перед вами ответ, инженер, – продолжал он и отвесил поклон, описав рукой полукруг у своих ног, – особенно когда ваши возражения остроумны. Вы парируете удары довольно элегантно. Гуманист ли я? Ну, конечно. И вам не удастся обвинить меня в склонности к аскетизму. Да, я утверждаю, что и люблю человеческое тело, так же как утверждаю, что и люблю форму, красоту, свободу, радость и наслаждение, как защищаю «этот мир», интересы жизни, а не сентиментальное бегство от нее, защищаю классицизм, а не романтику. Полагаю, что моя позиция

совершенно ясна. Но есть одна сила, один принцип, перед которым я преклоняюсь, которому отдаю мое высшее и глубочайшее почитание и любовь; эта сила, этот принцип – дух. И хотя мне претит, когда противопоставляют телу некое сомнительное, лунно-струнное виденье или привиденье, именуемое «душой», – но в антитезе тела и духа я считаю, что тело воплощает в себе злое, дьявольское начало, ибо тело – это природа, а природа, противопоставленная духу, разуму, – повторяю! – зла, мистична и зла. «Вы ведь гуманист». Да, конечно, ибо я друг человека, как был им Прометей, я поклонник человечества и его благородства. Однако благородство это заключено в духе, в разуме, и вы будете совершенно неправы, выдвинув против меня упрек в христианском обскурантизме...

Ганс Касторп сделал протестующий жест.

– ...Будете неправы, выдвинув этот упрек только потому, что гуманизм в своей благородной гордости однажды объявил прикованность духа к телесности, к природе, унижением и позором. Согласно преданию великий Плотин^[85] говорил, что ему стыдно иметь тело; знаете вы об этом? – Сеттембрини задал вопрос столь настоятельно, что Ганс Касторп вынужден был признаться: нет, в первый раз слышит. – Так передает Порфирий^[86]. Абсурд, если угодно. Но абсурдное с точки зрения духа и есть самое благородное, поэтому не может, в сущности, быть более убогого возражения, чем упрек в абсурдности, там, где дух противостоит природе, утверждает свое достоинство и отказывается уступать ей... Вы слышали о Лиссабонском землетрясении?

– Нет... Разве было землетрясение? Я тут газет не читаю...

– Вы не поняли меня. Кстати, очень жаль и показательно для данного заведения, что вы, живя здесь, не находите нужным читать газеты. Но вы не поняли меня: явление природы, о котором я говорю, произошло не теперь, а примерно полтора века назад...

– Ах, вот что! Позвольте – верно! Я читал, что в ту ночь Гете, лежа в своей спальне, в Веймаре, сказал слуге...^[87]

– Да я не о том... – прервал его Сеттембрини, закрыв глаза и досадливо помахав смуглой ручкой. – Вы смешиваете две катастрофы и имеете в виду Мессинское землетрясение. А я говорю о землетрясении, постигшем Лиссабон в тысяча семьсот пятьдесят пятом году.

– Тогда простите.

– Так вот, Вольтер был возмущен.

– То есть... как это – возмущен?

– Взбунтовался, да. Он не хотел признать грубый рок и грубый факт,

не желал перед ними отступать. Он протестовал во имя духа и разума против столь возмутительного бесчинства природы, в жертву которому были принесены три четверти цветущего города и тысячи человеческих жизней... Вы удивлены? Вы улыбаетесь? Удивляться можете, но улыбку я беру на себя смелость запретить вам: отношение Вольтера в данном случае показывает, что он был прямым потомком древних галлов, которые расстреливали небо из своих луков^[88]... Видите, инженер, вот вам и враждебность духа к природе, гордое недоверие к ней, возвышенное упорство в отстаивании своего права на критику и самой природы, и ее злой, противной разуму силы. Ибо она – сила, и принимать ее, мириться с ней, – заметьте, внутри самого себя мириться с ней, – значит быть рабом. Вот вам и та гуманность, которая вовсе не впадает в противоречие с самой собой и отнюдь не возвращается к христианскому ханжеству, если она видит в телесности злой и враждебный принцип. Противоречие, которое вы здесь усматриваете, такого же порядка, как и в моем отношении к психоанализу: «Что я имею против психоанализа?» Да ничего, когда он служит делу воспитания, освобождения и прогресса... И все, если я чувствую в нем отвратительный привкус могилы. Так же и с телом. Его нужно чтить и защищать, когда речь идет об его эмансипации и красоте, о свободе ощущений, о счастье, о наслаждении. И его следует презирать, поскольку оно является началом тяжести и косности, противостоит движению к свету, становится воплощением болезни и смерти, поскольку его специфический принцип есть принцип извращенности, принцип разложения, сладострастия и стыда...

Последние слова Сеттембрини проговорил, придвинувшись совсем близко к Гансу Касторпу, почти беззвучно и очень быстро, чтобы скорее закончить свою мысль. Но тут пришло избавление: держа в руках две открытки, на пороге читальни появился Иоахим.

Литератор умолк, и та ловкость, с какой он тут же изменил выражение лица, придав ему светскую непринужденность, оказала свое действие и на его ученика, если так можно назвать Ганса Касторпа.

– А вот и вы, лейтенант! Вы, верно, ищете вашего кузена – прошу прощения! Мы тут затеяли разговор, по-моему – даже немного поспорили. Он неплохо парирует, ваш кузен, и отнюдь не безобидный противник, если его задеть за живое.

[89]

Ганс Касторп и Иоахим Цимсен в белых брюках и синих визитках сидели после обеда в саду. Был один из хваленых октябрьских дней, жаркий и легкий, радостный и вместе с тем жестковато-терпкий, с по-южному синим небом над долиной, где между поселками еще сочно зеленели иссеченные тропинками выгоны, а на мохнатых лесистых склонах паслись коровы, и до сидевших доносился перезвон их колокольчиков – жестяной и мирный, однообразно певучий перезвон; ничем не заглушаемый, он плыл в тихом, разреженном и пустом воздухе, усиливая торжественное настроение, царящее обычно в высокогорных местностях.

Кузены сидели на скамье в конце сада, перед полукругом молодых елок. Место это находилось в северо-западной части обнесенной оградой площадки, возвышавшейся метров на пятьдесят над долиной и служившей как бы подножием для санаторской усадьбы. Оба молчали. Ганс Касторп курил. Втайне он сердился на кузена за то, что Иоахим не пожелал после обеда присоединиться к обществу на веранде, а перед тем как начать послеобеденное лежание потащил, вопреки его воле и охоте, в тишину сада. Со стороны Иоахима это было деспотизмом. Ведь они же все-таки не сиамские близнецы. Они могут и разлучаться, если их желания не совпадают. И Ганс Касторп здесь не для того, чтобы развлекать Иоахима, он сам – пациент. Поэтому он дулся и мог спокойно продолжать дуться, так как с ним была его «Мария Манчини». Засунув руки в карманы пиджака и вытянув ноги в коричневых башмаках, он курил длинную матово-серую сигару; началась только первая стадия курения, то есть еще не был стряхнут пепел с ее тупого кончика. Ганс Касторп держал сигару между губ, слегка опустив ее книзу, и вдыхал, после сытного обеда, ее аромат. Теперь он опять испытывал всю полноту удовольствия, доставляемого сигарой. Пусть его привыкание здесь наверху свелось лишь к тому, что он привык к непривыканию, – в отношении химизма желудка и нервных тканей его сухих и склонных к кровотечениям слизистых оболочек приспособление все же, видимо, произошло: незаметно для него самого, за эти шестьдесят-семьдесят дней к нему постепенно полностью вернулась способность наслаждаться этим столь искусно изготовленным растительным зельем, которое могло и вызывать возбуждение и оглушать. И он радовался возвращению этой способности. А моральное

удовлетворение еще усиливало физическое блаженство. За то время, что он лежал в постели, он сэкономил часть привезенного с собой запаса в двести штук, и кое-что у него осталось. Кроме того, он просил Шаллейн, вместе с бельем и зимней одеждой, прислать ему еще пятьсот штук этого бременского изделия, чтобы быть уже вполне обеспеченным. Сигары лежали в красных лакированных ящичках, украшенных золотыми изображениями глобуса, многочисленных медалей и окруженного флагами выставочного павильона.

Молодые люди вдруг заметили гофрата Беренса, идущего по саду. Сегодня он обедал в общей столовой, и все видели, как он сел за стол фрау Заломон и сложил перед тарелкой свои ручищи. Потом, видимо, побыл с больными на террасе, поговорил с кем-нибудь на личные темы, показал тем, кто еще не видел, фокус с завязываньем шнурков. И вот теперь он не спеша шел по усыпанной гравием дорожке, без медицинского халата, во фраке в мелкую клетку, сдвинув цилиндр на затылок и тоже с сигарой во рту: она была очень черная, и, затягиваясь, он выпускал густые клубы белесого дыма. Его голова, его лицо с синевато-багровыми щеками, вздернутым носом, влажными синими глазами и острой бородкой казались маленькими в сравнении с длинной, слегка сутулой, словно надломленной фигурой и огромными руками и ногами. Он, должно быть, нервничал, а увидев кузенов, заметно вздрогнул и даже как будто смутился, так как ему надо было непременно пройти мимо них. Но приветствовал он их, как обычно, бодро и витиевато, на этот раз строкой из Шиллера: «Смотри-ка, Тимофей, смотри!» – и пожеланиями благословенного обмена веществ, причем не дал им подняться, когда они хотели из уважения к нему встать.

– Сидите, сидите, и, пожалуйста, без церемоний. Я человек скромный. Да вам и не полагается, ведь вы пациенты, и тот и другой. От вас этого не требуется. Не возражайте, такова ситуация.

И он встал перед ними, держа сигару между указательным и средним пальцем правой ручищи.

– Ну, как травка, Касторп? Хороша? Покажите-ка, я ведь знаток и любитель. Пепел хорош: что это за красивая смуглянка?

– «Мария Манчини», господин гофрат, Postre de Banquet^[90] из Бремена. Стоит девятнадцать пфеннигов штука, просто даром, но букет – вы такого за эту цену нигде не найдете. «Суматра-Гаванна», верхний лист светлый, как видите. Я очень к ним привык. Смесь средней крепости, весьма пряная, но язык не раздражает. Любит, чтобы не стряхивали пепел как можно дольше, я стряхиваю от силы два раза. Конечно, и у нее бывают свои капризы, но контроль при производстве, видимо, весьма тщательный,

ибо качества «Марии» необыкновенно устойчивы и курится она очень ровно. Разрешите вам предложить?

– Благодарю, мы ведь можем обменяться.

И они вынули свои портсигары.

– У этой есть порода, – сказал гофрат, протягивая сигару своей марки. – Темперамент, знаете ли, плоть и кровь. «Санкт-Феликс-Бразиль», я всегда был верен этому типу. Уносит все заботы, обжигает, как водка, а под конец в ней чувствуется что-то огненное. При сношениях с ней рекомендуется некоторая сдержанность, нельзя курить одну за другой, мужская сила этого не выдерживает. Но уж лучше один раз хватить как следует, чем целый день сосать водяные пары...

Они вертели в пальцах подарки, которыми обменялись, ощупывали с видом знатоков стройные тельца сигар; казалось, в косых, слегка приподнятых, точно ребра, и местами чуть отстающих верхних листьях, в сети их жилок, которые как будто пульсировали, в слегка шероховатой коже, в игре света на их краях и поверхностях таится подобие чего-то органического, живого.

Ганс Касторп выразил вслух эту мысль.

– Такая сигара точно живая. Она точно дышит. Дома мне как-то взбрело в голову держать «Марию» в герметическом жестяном ящике, чтобы предохранить от сырости. И можете себе представить – она умерла. Примерно через неделю она погибла – в ящике лежали какие-то кожистые трупы.

И они принялись обмениваться опытом – как лучше хранить сигары, особенно импортные, которые гофрат предпочитал всем прочим. Он бы всегда курил только крепкие «Гаванны», заявил Беренс, но, к сожалению, он их плохо переносит: две маленькие «Генри Клей», которыми он как-то в обществе слишком увлекся, по его словам, едва его в гроб не вогнали.

– Курю я их как-то за кофе – две подряд, – начал он рассказывать, – и никаких сомнений у меня не возникает. Но докурил и невольно спрашиваю себя – что же это со мной творится? Какое-то странное состояние, совершенно необычное, никогда в жизни ничего подобного не испытывал. Домой я добрался с большим трудом, а когда добрался – тут уж меня совсем скрутило. Ноги ледяные, знаете ли, холодный пот по всему телу, лицо побелело как мел, с сердцем – черт знает что, пульс то нитевидный, едва прощупывается, то бац, бац, мчится опрометью, а в голове такое возбуждение, понимаете ли... Словом, я был уверен, что отплясался. Я говорю – отплясался, потому что именно это слово тогда пришло мне на ум, чтобы охарактеризовать мое состояние. Ведь было мне, собственно

говоря, очень весело... Я чувствовал даже какую-то праздничную приподнятость, хотя вместе с тем испытывал невероятный страх, вернее – весь я был во власти страха... Но ведь страх и праздничная приподнятость не исключают друг друга. Парнишка, которому предстоит впервые взять девчонку, тоже боится, и она боится, и все-таки они тают от блаженства. Я тоже чуть не растаял: грудь ходуном ходит, ну, думаю, сейчас я упляшу отсюда. Но тут Милендонк взяла меня в оборот и нарушила мое настроение. Пошли холодные компрессы, растирания щетками, укол камфоры, – словом, она сохранила мою жизнь для человечества.

Ганс Касторп, на правах пациента, продолжал сидеть, подняв голову и глядя на Беренса; мысль молодого человека усиленно работала, это было видно по его лицу; он заметил, что синие влажные глаза гофрата, по мере того как он рассказывал, начали слезиться.

– А ведь вы иногда пишете красками, господин гофрат, – вдруг сказал он.

Гофрат отступил с притворным изумлением.

– Да что вы? Как это вы догадались, юноша?

– Прошу прощения. Я случайно слышал разговор... А сейчас вспомнил.

– Ну, тогда я и отпираться не стану. У всех у нас есть слабости. Бывает! Иногда пишу. Anch'io sono pittore^[91], как говорил некий испанец.

– Пейзажи? – снисходительно и словно мимоходом спросил Ганс Касторп. В данную минуту такой тон казался ему допустимым.

– Сколько угодно! – ответил гофрат смущенно и хвастливо. – И пейзажи, и натюрморты, и животных – отважный витязь ни перед чем не отступает.

– Но не портреты?

– Иногда случается и портреты. А вы что – хотите заказать мне свой?

– Ха-ха! Вовсе нет! Но с вашей стороны было бы очень любезно, если бы вы при случае показали нам ваши произведения.

Иоахим, с удивлением смотревший на двоюродного брата, поспешил заверить гофрата, что, конечно, он окажет им большую любезность.

Беренс был польщен, он был в восторге и необыкновенно воодушевился. Он даже покраснел, и, казалось, слезы, стоявшие в его глазах, сейчас польются по-настоящему.

– Да пожалуйста! – воскликнул он. – С величайшим удовольствием! Хоть сейчас, если вам интересно! Идемте, идемте в мою хижину, я угощу вас кофе по-турецки! – Он схватил молодых людей за руки, поднял со скамьи и, повиснув между ними, повел по усыпанной гравием дорожке к

своей квартире, которая, как им было известно, находилась совсем рядом, в юго-западном флигеле берггофского дома.

– Я ведь и сам когда-то пробовал свои силы в этой области, – заявил Ганс Касторп.

– Что вы говорите? И по-настоящему? Маслом?

– Нет, нет, дальше нескольких акварелей дело не пошло. Так, корабль, видик на море, словом, ребячество. Но я очень люблю смотреть картины и потому осмелился...

Эти слова несколько успокоили Иоахима, встревоженного столь неожиданным любопытством кузена: поэтому-то Ганс Касторп – больше для него, чем для гофрата – и сослался на свои собственные попытки заняться живописью. Гофрат и его гости дошли до флигеля: здесь не было роскошного портала с фонарями по бокам, как на той стороне здания, где находился главный подъезд. Две закругленных ступеньки вели к дубовой двери, которую гофрат отпер ручкой-ключом, висевшей среди его огромной связки ключей. При этом его пальцы дрожали; нет, он решительно нервничал. Они вошли в прихожую с вешалкой, и Беренс водрузил на нее свой цилиндр. Открыв стеклянную дверь в коридорчик, который был отделен этой дверью от остальной части здания и куда выходили с обеих сторон комнаты этой небольшой частной квартирki, он позвал горничную и отдал ей соответствующие распоряжения. Затем, игриво и витиевато ободряя своих гостей, распахнул перед ними одну из дверей справа.

В квартире было несколько комнат, обставленных в банальнейшем стиле буржуазных квартир, с окнами на долину, все – проходные и разделенные не дверями, а только портьерами: столовая в «старонемецком» стиле, кабинет с письменным столом, над которым висела студенческая шапочка и две скрещенных рапиры, с пушистым ковром, книжными шкафами и диваном, затем «курительная» в «турецком» стиле. Во всех комнатах стены были увешаны творениями кисти гофрата, и гости вежливо устремили на них свои взоры, готовые всем восхищаться. Здесь было много портретов почившей супруги гофрата – и писанных маслом, и просто фотографических карточек, стоявших на письменном столе. Эта несколько загадочная блондинка многократно была изображена в воздушных струящихся одеждах, руки ее были сложены на левом плече, но не крепко, а так, что кончики пальцев лишь слегка соприкасались, глаза либо воздеты к небу, либо опущены долу и спрятаны под длинными косыми стрелками ресниц: только прямо перед собой, на зрителя, не смотрела покойница ни на одном портрете.

В большинстве же своем это были горные пейзажи, горы, покрытые

снегом или зеленью еловых лесов, горы, окутанные дымкой высоты, и горы, резкие сухие очертания которых четко выступали на темно-синем небе, – явное влияние Сегантини^[92]. Затем хижины альпийских пастухов, пузатые коровы, стоявшие или лежавшие на залитом солнцем лугу, поднос с овощами и ошипанной курицей, свернутая сизая шея которой свешивалась вниз, типы горцев и многое еще в том же роде. Все это было написано в манере какого-то беспардонного дилетантизма, лихо наляпанными мазками, причем нередко казалось, что краску выдавливали прямо из тюбика на холст, так что она потом долго не сохла, – при грубых ошибках этот прием иной раз помогает. Точно на выставке ходили кузены вдоль стен, рассматривая плоды творчества хозяина, а он время от времени уточнял какой-нибудь сюжет, но больше молчал и, наслаждаясь их вниманием, с горделивым смущением мастера останавливал взгляд то на одном, то на другом произведении, на котором останавливались взгляды гостей. Портрет Клавдии Шоша висел в кабинете, между окон, – Ганс Касторп узнал ее еще в дверях, хотя портрет имел лишь отдаленное сходство с оригиналом. Но он нарочно не смотрел туда и удерживал Иоахима и гофрата в столовой, сделав вид, что восхищен видом зеленой долины Зергиталь с синеватыми глетчерами на заднем плане; затем, по собственному почину, решительно перешел в «турецкий» кабинет, который тоже тщательно осмотрел и похвалил. И далее занялся изучением той стены гостиной, где была дверь, время от времени призывая Иоахима высказать свое одобрение. Наконец он обернулся и спросил с обдуманной нерешительностью:

- А... ведь знакомое лицо?
- Узнаете? – с радостной готовностью подхватил Беренс.
- Ну, конечно, ошибиться невозможно, это та дама за «хорошим» русским столом, у нее еще французская фамилия...
- Верно, Шоша. Очень приятно, что вы нашли сходство.
- Удивительное! – врал Ганс Касторп, не столько от неискренности, сколько от сознания, что не будь у него рыльце в пушку, он так и не узнал бы, кто на портрете изображен, – как не узнал бы и Иоахим, добрый, обманутый Иоахим, ибо двоюродный брат перехитрил его; но сейчас после тумана, который напустил Ганс Касторп, Иоахим прозрел, окончательно прозрел.
- Да, вон оно что, – неслышно проговорил он и принял участие в рассматривании портрета. Двоюродный брат все же вознаградил себя за то, что Иоахим оторвал его от общества на веранде.

Это был поясной портрет, сделанный в полупрофиль, немного меньше

чем в натуральную величину; изображенная на нем женщина была декольтирована, прозрачная ткань прикрывала пышными складками плечи и грудь, портрет был вставлен в широкую черную рамку, обведенную у самого холста золотой полоской.

Мадам Шоша казалась лет на десять старше, как бывает обычно на дилетантских портретах, когда художник гонится за характерностью. В лице было чересчур много красного, нос совсем не удался, цвет волос был передан неверно – какой-то слишком соломенный, – рот кривился, художник так и не уловил общей прелести этого лица, или ему не удалось передать ее, он слишком огрубил его основные черты; в целом это была довольно посредственная мазня и, как портрет, имела лишь отдаленное отношение к оригиналу. Но Ганс Касторп не углублялся в вопрос о сходстве, связь этого куска холста с личностью мадам Шоша была для него вполне убедительна, портрет должен был быть похож. Если Клавдия сама позировала для гофрата, в этих вот комнатах, этого было достаточно, и он с волнением повторил:

– Ну, вылитая мадам Шоша!

– Полноте! – запротестовал гофрат. – Это была адова работа, и я вовсе не воображаю, будто выполнил ее хоть сколько-нибудь удовлетворительно, хотя у нас было чуть не двадцать сеансов, – но подите справьтесь с такой необычной физиономией. Думаете, ее легко схватить с этими гиперборейскими скулами и глазами, как трещинки на кислом тесте. Ничего подобного. Верно выпишешь детали – проворонишь целое. Настоящая головоломка. Вы мадам Шоша знаете? Может быть, ее следовало писать не с натуры, а по памяти! Знаете вы ее?

– Да нет, так, слегка, как всех тут знаешь...

– Ну, я-то ее знаю, больше изнутри, знаю, так сказать, то, что под кожей, понимаете ли, со стороны артериального кровяного давления, упругости тканей, деятельности лимфатических сосудов, тут я в ней довольно хорошо разбираюсь по вполне понятным причинам. А вот то, что на поверхности тела, оказалось потруднее. Вы видели, как она ходит? Ну вот, у нее лицо такое же, как походка. Крадется, словно кошка. Возьмите, например, глаза – я имею в виду не цвет, хотя тут тоже своя загвоздка, а как они поставлены, разрез. Что ж, ответите вы, разрез глаз узкий, косой. Но это вам только кажется. Вы ошибаетесь, все дело в эпиканте – это особенность строения лица, присущая некоторым расам; она состоит в том, что, при плоской переносице, избыток кожи чуть прикрывает вместе со складкой века уголок глаза. Натяните кожу у переносицы – и вы увидите совершенно такой же глаз, как и наш. Просто пикантная мистификация –

впрочем, не очень почетная, ибо по сути дела эпикант – образование атавистическое, и этот излишек кожи скорее мешает зрению.

– Значит, вот оно что, – сказал Ганс Касторп. – А я и не знал, но меня давно интересовало, в чем тут штука с такими глазами.

– Надувательство, обман, – подтвердил гофрат. – И если вы их изобразите просто косыми и узкими – вы пропали. Нужно создать впечатление узости и раскосости теми же средствами, какими его создает природа, – вызвать иллюзию с помощью иллюзии, а для этого, конечно, необходимо знать, что такое эпикант. Знание вообще делу не мешает. Взгляните на кожу, на кожу ее тела. Как она сделана, по-вашему, живо или нет?

– Необыкновенно, – заявил Ганс Касторп, – кожа написана необыкновенно живо. Мне кажется, я никогда еще не видел, чтобы кожа была так написана. Различаешь даже поры. – И он слегка провел ребром ладони по декольте на портрете, которое рядом со слишком резкими красными тонами лица особенно выделялось своей подчеркнутой белизной, как те части тела, которые обычно бывают скрыты, и, преднамеренно или нет, вызывало представление о наготы; во всяком случае, эффект этот достигался довольно грубыми средствами.

И все-таки похвала Ганса Касторпа была справедливой. В шелковистой, как будто отсвечивающей белой коже нежной, но не худой груди, тонувшей в голубоватых складках прозрачной ткани, было много естественности; видимо, художник выписывал ее с большим чувством; однако, не в ущерб известной пленительности, которую ей придало это чувство, ему удалось изобразить кожу с научной точностью и живой осязаемостью. Он воспользовался как бы зернистым строением холста и особенно там, где слегка намечались ключицы, сделал так, что шероховатая поверхность ткани проступала сквозь масляную краску; это и помогало воспроизвести кожный покров с его естественными неровностями. Не была забыта и родинка, чуть слева, там, где груди расходятся и между двумя холмиками словно просвечивает сеть голубоватых жилок. Чудилось, что от взгляда зрителя по этой наготы пробегает едва уловимый трепет чувственности, или, если выразиться смелее, чудилось, что ощущаешь легкую влагу пота, незримые испарения жизни, исходившие от этой плоти, и что если прижаться к ней губами, то услышишь не запах лака и краски, а запах человеческого тела. Впрочем, мы описываем лишь впечатления Ганса Касторпа; но пусть он искал и жаждал именно таких впечатлений, все же следует самым серьезным образом подчеркнуть, что декольте мадам Шоша заслуживало гораздо большего внимания, чем все висевшие в этой комнате,

раскрашенные гофратом полотна.

Беренс, засунув руки в карманы и раскачиваясь с носка на каблук, созерцал свою работу вместе с гостями.

– Я рад, коллега, – начал он, – я рад, что вы все это отметили. Очень хорошо, и ничуть не вредит, если знаешь, что находится под эпидермой, и можешь изобразить то, чего не видно, короче говоря: если имеешь отношение к природе не только как лирик, ну, например, если ты, кроме всего прочего, еще и врач, физиолог, анатом, и знаешь также кое-что насчет тайн dessous^[93], это очень может пригодиться и дает определенные преимущества. Над этой телесной оболочкой поработала и наука, вы можете проверить под микроскопом правильность ее органического строения. Перед вами не только слизистые и роговые слои верхнего кожного покрова, но и находящаяся под ними основная кожная ткань с ее потовыми железами, кровеносными сосудами и сосочками, а еще глубже – жировой слой, так сказать, подкладка, основа, которая с помощью множества жировых клеток и создает пленительные женские формы. Но ваши дополнительные знания и ваши домыслы тоже влияют. Все это словно водит вашей рукой, проникает в изображение, ничего этого как будто и не видно, а оно придает вашей работе убедительность.

Ганс Касторп, слушая эти слова, был весь огонь и пламя, его лоб пылал, глаза блестели, он не знал, что ответить, ибо хотел сказать слишком многое. Прежде всего он решил, что с плохо освещенного простенка портрет необходимо перевесить на более подходящее место, затем надо непременно поддержать гофрата в его рассуждениях о строении кожи, ибо они живо интересовали молодого человека, а в-третьих, попытаться высказать собственную, чрезвычайно дорогую ему и многообещающую философскую мысль. Уже взявшись руками за портрет, чтобы его снять, он торопливо заговорил:

– Конечно, конечно! Это очень правильно и очень важно. Я хочу сказать... То есть вы, господин гофрат, сказали... нужно не одно отношение к природе, а... что было бы хорошо, если бы, кроме лирического, – кажется, вы так выразились, – кроме отношения художника, существовало бы и другое, – словом, если бы можно было смотреть на вещи и с другой точки зрения, например, с точки зрения медицины. Это необыкновенно верно... Извините, господин гофрат, я хочу сказать, это потому так потрясающе верно, что ведь на самом-то деле, по сути-то никаких различных подходов и точек зрения нет, речь идет об одном и том же, все дело – в разновидностях, то есть в оттенках и вариантах того же общего интереса, причем и занятия живописью являются лишь частью и особой

формой выражения этого общего интереса, если можно так выразиться. Да, простите, я хочу снять эту картину, она здесь совсем в темноте, я повешу ее сейчас над диваном, и вы увидите, насколько это будет лучше... Так вот, я хотел сказать: ведь чем занимается медицина как наука? Разумеется, я в этом деле полный профан, но она же занимается человеком! А юриспруденция? Законодательство? Судопроизводство? Тоже человеком. А языкознание, с которым чаще всего связана преподавательская деятельность? А богословие? Церковное право? Пастырское служение? Все они связаны с человеком, все это только разные стороны одного и того же важного... главного интереса, а именно – интереса к человеку, – словом, все это гуманитарные профессии, и если кто хочет отдаться им, то прежде всего изучает древние языки, что называется, ради формального образования. Вы, может быть, удивлены, что я так об этом говорю, ведь я всего-навсего реалист, техник. Но я совсем недавно, во время лежания, думал: как это, знаете ли, удивительно, как замечательно устроено на свете, что в основу любой гуманитарной профессии положен момент формообразующий, идея формы, прекрасной формы, – это вносит что-то благородное, что-то большее, и, кроме того, известное чувство и... какую-то учтивость... А тогда интерес становится даже чем-то вроде стремления к галантности. То есть я, вероятно, говорю совсем не то, но из этого видно, как духовное и прекрасное сочетаются друг с другом, да, собственно, всегда и были одним: словом – наука и искусство едины, и занятия искусствами тоже сюда относятся, ну, как пятый факультет, что ли, он не что иное, как гуманистическая профессия, разновидность гуманистического интереса, поскольку его главная тема и предмет внимания опять-таки человек, и тут уж вы обязаны согласиться. Я ведь рисовал только море и корабли, когда в юности пробовал свои силы, но самым привлекательным жанром в живописи был и будет для меня портрет, ибо его непосредственный предмет – сам человек, поэтому я вас сразу и спросил, господин гофрат, работаете ли вы и в этой области... Разве тут не лучше ему будет, если я его сюда повешу?

Беренс и Иоахим смотрели на него с удивлением, спрашивая себя, что это за импровизация и неужели ему не стыдно. Но Ганс Касторп был слишком увлечен и не смущался. Он держал портрет, приложив его к стене, и требовал, чтобы ему ответили: да, здесь он будет гораздо лучше освещен. В эту минуту горничная принесла на подносе кипяток, спиртовку и кофейные чашки. Гофрат пригласил их в кабинет и сказал:

– Тогда вы должны интересоваться не столько живописью, сколько скульптурой... Конечно, света тут больше. Если вы считаете, что он

выдержит такое освещение... Я разумею, пластикой, ибо она имеет дело с человеком и только с ним. Как бы у нас вода не выкипела!

– Совершенно верно, пластикой, – согласился Ганс Касторп, когда они переходили в другую комнату; он забыл снова повесить портрет или отставить его: он прихватил его с собой в кабинет и нес, опирая о бедро. – Разумеется, какая-нибудь греческая Венера или Атлет... в них гуманистическое начало, бесспорно, выражено яснее всего, и, если вдуматься, это, видимо, и есть самое подлинное гуманистическое искусство.

– Ну, что касается маленькой Шоша, то она более подходящий объект для живописи, боюсь, что Фидий^[94] или тот, другой... как его, ну, с иудейским окончанием... они бы нос отворотили от такой физиономии... Что вы делаете, что это вы тащите на своей ляжке?

– Спасибо, пожалуйста, не беспокойтесь... Я поставлю его пока вот здесь, у ножки стула, он тут отлично постоит. Но ведь греческие скульпторы мало интересовались головой, их прежде всего привлекало тело, как раз в этом, может быть, и сказывался гуманизм... Так, значит, женские пластические формы – это прежде всего жир?

– Жир! – решительно ответил гофрат, открыл стенной шкаф и вынул оттуда все необходимое для приготовления кофе – турецкую мельницу в виде трубки, кипятильник с длинной ручкой, двойной сосуд для сахара и молотого кофе, все это медное. – Пальмитин, стеарин, олеин, – продолжал он, насыпая кофейные зерна из жестяной коробки в мельницу, и стал вертеть ручку. – Видите, господа, я все делаю сам, с начала до конца, и кофе становится вдвое вкуснее. А вы думали, амброзия?

– Да нет, я и раньше знал. Но как-то чудно, когда слышишь это от другого, – ответил Ганс Касторп.

Они уселись в углу, между дверью и окном, за низким бамбуковым столиком с восточным орнаментом; на столик поставили кофейный прибор и принадлежности для курения, Иоахим устроился рядом с Беренсом на оттоманке с множеством шелковых подушек, Ганс Касторп – в клубном кресле на колесиках; портрет мадам Шоша он прислонил к его ножке. На полу лежал пестрый ковер. Гофрат Беренс ложечкой насыпал кофе и сахару в кофейник с ручкой, залил водой и дал ему вскипеть на пламени спиртовки. Кофе поднялся коричневой пеной над двойным сосудом, и когда кузены его испробовали – он оказался крепким и сладким.

– Впрочем, и ваши, – сказал Беренс, – и ваши пластические формы, поскольку о них можно судить, конечно, тоже жир, хотя и не в такой мере, как у женщин. У нашего брата мужчин жир обычно составляет одну

двадцатую общего веса тела, а у женщин – одну шестнадцатую. Не будь у нас этой самой подкожной клетчатки, были бы мы просто-напросто сморчками. С годами он исчезает, и тогда появляются всем известные и весьма неэстетичные морщины. У женщин эта ткань толще и жирнее всего на груди, на животе и на бедрах, словом, на всех местах, которые являются соблазном для сердца и руки. На ступнях она тоже жирная, и они боятся щекотки.

Ганс Касторп взял в руки и стал рассматривать кофейную мельницу в виде трубки. Мельница, а также весь прибор были скорее индийского или персидского происхождения, чем турецкого. На это указывал стиль гравировки по меди, при которой блестящие плоскости особенно выделялись на матовом фоне. Молодой человек разглядывал орнамент, но не сразу понял, что на нем изображено. А когда понял – невольно покраснел.

– Да, это посуда для одиноких мужчин, – сказал Беренс. – Поэтому я, знаете ли, и держу ее под замком. Иначе моя кухонная фея может себе глаза проглядеть. Вам, надеюсь, вреда не будет. Это подарок одной пациентки, египетской принцессы, она оказала нам честь и прожила тут годик. Видите, на каждой вещи повторяется тот же мотив. Занятно, правда?

– Да, замечательно, – ответил Ганс Касторп. – О, нет, мне-то, конечно, ничего... Можно даже, если угодно, увидеть в этом что-то серьезное и торжественное, хотя кофейный прибор, пожалуй, и не совсем подходит... Ведь древние, кажется, изображали нечто подобное на своих гробницах. Для них непристойное и священное в известном смысле составляли одно.

– Ну, что касается принцессы, – заметил Беренс, – то она, по-моему, больше интересовалась первым. У меня от нее остались еще превосходные папиросы – экстра, подаются только в самых торжественных случаях. – Он извлек из стенного шкафа пестрейшую коробку и открыл ее. Щелкнув каблуками, Иоахим заявил, что воздержится. Ганс Касторп вынул из коробки и закурил необычно длинную, толстую папиросу с изображением золотого сфинкса; папироса действительно оказалась превосходной.

– Расскажите нам, пожалуйста, если можно, еще что-нибудь о человеческой коже, господин гофрат, – обратился он к Беренсу. Он снова взял в руки портрет мадам Шоша, поставил к себе на колени и принялся рассматривать его, откинувшись на спинку стула и держа во рту папиросу. – Не обязательно о жировом слое, теперь мы уже знаем, что это такое. А вообще о человеческой коже, которую вы так хорошо изображаете.

– О коже? Разве вы интересуетесь физиологией?

– Очень! Я и раньше чрезвычайно интересовался ею. Человеческое

тело всегда как-то особенно занимало мои мысли. И я уже не раз спрашивал себя – а может быть, мне следовало стать врачом... В некотором смысле это было бы для меня очень подходящей профессией. Ведь кто интересуется телом, интересуется и болезнями этого тела, то есть именно ими, разве не так? Впрочем, дело не в этом, мало ли кем еще я мог стать! Я бы мог, например, стать священником.

– Да что вы?

– У меня много раз возникало чувство, что тут-то я был бы в своей стихии!

– Почему же вы стали инженером?

– Случайно. Меня толкнули на это более или менее внешние причины.

– Да, так насчет кожи... что же мне рассказать вам о вашем чувствительном покрове... Это ведь ваш внешний мозг, понимаете? С точки зрения генетико-онтологической он совершенно того же происхождения, что и аппарат, связанный с так называемыми высшими органами чувств и находящийся у вас в мозгу: дело в том, что центральная нервная система – это, к вашему сведению, всего лишь легкое видоизменение наружного слоя кожи, у низших животных вообще еще нет различия между системами центральной и периферийной, они обоняют запах и воспринимают вкус через кожу, у них, да будет вам известно, существует только кожная восприимчивость, – что, вероятно, совсем не плохо, если поставить себя на их место. Но у высокодифференцированных существ, как мы с вами, кожа притязает только на ощущение щекотки, она всего-навсего играет роль органа защиты и предупреждения, зато с дьявольской бдительностью оберегает тело от всего, что может угрожать ему – она даже выдвигает щупальцы, а именно – волосы, волоски на теле, которые являются просто ороговевшими клетками кожи и возвещают о приближении чего-либо еще до того, как оно прикоснется к самой коже. Между нами, я допускаю, что защитная и охраняющая роль кожи простирается не только на тело... Вам известно, почему вы краснеете и бледнеете?

– Довольно смутно.

– Ну, говоря по правде, вполне точно и мы этого не знаем, по крайней мере в тех случаях, когда краснеют от стыда. Вопрос этот окончательно еще не выяснен, ибо по сей день в сосудах не обнаружено наличия расширяющих мышц, которые приходят в действие благодаря вазомоторным нервам. Почему, собственно, у петуха набухает гребень, – или какие там еще приводятся классические примеры, – это остается, так сказать, в области загадок, тем более что речь идет о психических

воздействиях. Мы допускаем, что связи между корой большого головного мозга и центральной сосудистой системой осуществляются в головном мозгу и при известного рода раздражениях, когда, например, вам становится ужасно стыдно, эта связь начинает действовать, нервы сосудов влияют на сосуды лица, они расширяются, наполняются кровью, и вы становитесь похожи на индюка и от прилившей к лицу крови почти ничего не видите. А в других случаях, когда вам бог знает что предстоит, может быть что-то чудесное, но опасное, кровеносные сосуды кожи сжимаются, кожа бледнеет, холодеет и стягивается, и тогда вы от волнения становитесь похожи на труп, тени под глазами делаются свинцовыми, нос белеет и заостряется. Но сердце, под действием симпатического нерва, барабанит что есть мочи.

– Значит, вот как это происходит... – проговорил Ганс Касторп.

– Примерно так. Это, знаете ли, реакции. Но известно, что любые реакции и рефлексы имеют искони одну цель, поэтому мы, физиологи, готовы допустить, что и эти явления, сопровождающие психические аффекты, в сущности тоже своего рода средства защиты – они такие же защитные рефлексы, как, например, гусиная кожа. Вы представляете, каким образом у вас появляется гусиная кожа?

– Тоже не вполне.

– Это особое действие сальных желез, выделяющих смазку для кожи, этакую белковую жировую секрецию, правда не слишком аппетитную, но она поддерживает гладкость кожи, чтобы кожа от сухости не трескалась и не шелушилась и чтобы она была приятна на ощупь. Трудно представить себе, как можно было бы прикасаться к человеческой коже, если бы не эта холестериновая смазка. В сальных железах есть маленькие органические мышцы, которые могут приподнимать железы, и когда это происходит, вы чувствуете себя, как тот мальчишка, на которого принцесса вылила ведро воды с пескарями: ваша кожа становится шершавой, точно терка, а если раздражение очень сильное, то приподнимаются и волосяные мешочки – у вас встают волосы на голове и волосы на всем теле, как у дикобраза, который защищается, и тогда вы понимаете, что это за ощущение, когда говорят – «мороз по коже подирает».

– О, я уже не раз это испытывал, – заявил Ганс Касторп. – Меня мороз по коже подирает даже довольно часто и в самых различных случаях. Но удивительнее всего то, что железки приподнимаются от столь разных причин. Когда проводят грифелем по стеклу, появляется гусиная кожа, и когда слушаешь особенно прекрасную музыку – тоже, а когда я во время конфирмации причащался, у меня непрерывно было такое чувство, будто

по телу бегают мурашки и вскакивают пупырышки. Просто удивительно, сколько поводов существует для того, чтобы эти маленькие мышцы пришли в движение.

– Да, – отозвался Беренс, – раздражение есть раздражение. А на содержание этого раздражения телу в высшей степени наплевать. Что пескари, что причастие – сальные железы все равно приподнимаются.

– Господин гофрат, – начал Ганс Касторп, глядя на портрет, который держал на коленях. – Вот к чему мне еще хотелось вернуться. Вы говорили перед тем о внутренних процессах – об обращении лимфы и других... Что тут происходит? Очень хотелось бы узнать об этом побольше, например, насчет обращения лимфы, если бы вы были так добры... меня это очень интересует...

– Охотно верю, – отозвался Беренс. – Ведь лимфа – это тончайший, интимнейший и нежнейший из всех элементов в деятельности организма, – вам, вероятно, что-то в этом роде и мерещилось, когда вы спросили. Вечно говорят о крови и ее тайнах^[95], называют ее особым соком. Но вот лимфа – это, знаете ли, действительно всем сокам сок, квинтэссенция, молоко крови, драгоценнейшая жидкость – при усиленном питании жирами она действительно становится похожей на молоко. – И он точно и образно принялся описывать, как кровь, эту театральную пурпуровую жидкость, создаваемую дыханием и пищеварением, насыщенную газами и отходами организма, жирами, белками, железом и солями, – как эту жидкость с температурой в тридцать восемь градусов сердце словно насосом нагнетает в сосуды, и она поддерживает во всем теле обмен веществ и животное тепло, одним словом – саму жизнь и жизненные процессы, причем кровь соприкасается с клетками не непосредственно, но давление, под которым она находится, заставляет ее выделять некий экстракт, некий молочный сок, он, словно пот, проникает через стенки сосудов, всасывается в ткани, распространяется повсюду и заполняет в качестве жидкой составной части тканей каждую щелку, напрягая и растягивая эластичную клетчатку. В этом и состоит напряжение тканей, так называемый тургор, а тургор в свою очередь заставляет лимфу, после того как она ласково омыла клетки и обменялась с ними веществом, возвращаться в лимфатические сосуды, *vasa lymphatica*, и обратно в кровь в день ее поступает до полутора литров. Гофрат описал трубчатую и всасывающую систему лимфатических сосудов, рассказал о грудном молочном протоке, собирающем лимфу из ног, живота, груди, из одной руки и одной половины головы, о нежных фильтрующих органах, находящихся во многих точках лимфатических сосудов – о так называемых лимфатических железах, расположенных на

шее, под мышками, возле локтевых суставов, в коленной чашке и в других интимных и нежных частях тела.

– Тут могут появиться вздутия, – продолжал Беренс, – но ведь с этого мы и начали: утолщения лимфатических желез ну, скажем, в коленных чашках, в суставах рук и в других местах – опухоли водяночного типа, – для всего этого всегда есть свои причины, хотя и нельзя сказать, чтобы возвышенные. При некоторых условиях может также возникнуть подозрение на туберкулезную закупорку лимфатических сосудов.

Ганс Касторп молчал.

– Да, – сказал он вполголоса после паузы, – я действительно мог бы с успехом сделаться врачом. Грудной проток... Лимфатические сосуды ног... Как это интересно! Но что же такое тело? – воскликнул он с внезапно прорвавшимся волнением. – Что такое плоть? Что такое человеческое тело? Из чего состоит оно? Скажите нам, господин гофрат, скажите сегодня же. Скажите раз навсегда и вполне точно, чтобы мы знали!

– Из воды, – ответил Беренс. – Значит, вас интересует и органическая химия? В огромной своей части – из воды, вот из чего состоит человеческое тело и тело гуманистов тоже. Ни больше, ни меньше. И незачем по этому поводу особенно волноваться. Причем твердым веществам отведено лишь двадцать пять процентов, из которых двадцать составляют обыкновенный белок, или протеины, если хотите, чтобы это звучало поблагороднее; а к ним добавьте немножко жира и солей. Вот, пожалуй, и все.

– Ну, а белок? Это что такое?

– Он состоит из ряда элементов: углерода, водорода, азота, кислорода, серы. Иногда и фосфора. Да вы, оказывается, необыкновенно любознательны! Некоторые виды белков связаны и с угольными гидратами, то есть с виноградным сахаром и крахмалом. К старости тело становится жестким, происходит это потому, что в соединительной ткани, знаете ли, накапливается коллаген, клей, важнейшая составная часть костей и хрящей. Ну, что же вам еще рассказать? В нашей мышечной плазме содержится особый белок, миозиноген, после смерти он переходит в мышечный фибрин и вызывает окоченение трупа.

– Так, так, окоченение трупа, – бодро подхватил Ганс Касторп. – Отлично, отлично. А потом начинается, так сказать, всеобщий анализ и разложение, могильная анатомия.

– Ну, само собой. Впрочем, вы удачно выразились. Этот процесс приобретает все более широкий характер. Мы, так сказать, растекаемся в пространстве. Подумайте, столько воды! А прочие составные части тоже

ведь не стойки: когда исчезает жизнь, они при гниении распадаются на более простые соединения, неорганические.

– Гниение, разложение, – сказал Ганс Касторп, – насколько мне известно, это ведь сгорание, соединение с кислородом.

– Совершенно верно. Окисление.

– Ну, а жизнь?

– Тоже. То же самое, юноша. Она тоже окисление. Ведь жизнь в основном это всего-навсего кислородное сгорание клеточного белка. Отсюда и то приятнейшее животное тепло, которого иногда у нас бывает слишком много. Н-да, жизнь – это умирание, обманывать себя нечего – происходит une destruction organique^[96], как выразился один француз с присущим его нации легкомыслием. Этим жизнь и пахнет. А если все это нам представляется иным, то судим мы пристрастно.

– И если интересуешься жизнью, – сказал Ганс Касторп, – то ведь тем самым интересуешься и смертью, правда?

– Ну, некоторая разница все-таки есть. Жизнь – это когда, несмотря на обмен веществ, форма сохраняется.

– А зачем она сохраняется? – спросил Ганс Касторп.

– Зачем? Послушайте-ка, а ведь в вашем вопросе весьма мало гуманизма.

– Форма – это же педантизм.

– Сегодня вы что-то необыкновенно смелы. Прямо отчаянный какой-то. Но я лично отступаю... – сказал гофрат. – У меня начинается хандра... – И он прикрыл глаза своей ручищей. – На меня, знаете ли, иной раз находит. Вот я выпил с вами кофе, посидел с большим удовольствием, а потом – это со мной бывает – вдруг найдет... Уж вы меня, господа, извините. Мне было чрезвычайно приятно, очень, очень интересно...

Кузены вскочили: им очень совестно, заявили они, что они так долго... господина гофрата... Он стал успокаивать их, заверять. Ганс Касторп поспешил отнести портрет мадам Шоша в соседнюю комнату и водворить на прежнее место.

Возвращаясь к себе, они уже не пошли через сад. Беренс указал им, как добраться, не выходя из дома, и проводил до застекленной двери. При этом внезапно охватившем его настроении его затылок казался еще круче, он усиленно моргал слезящимися глазами, а неровные усики над искривленной шрамом губой как-то жалобно перекосились.

Когда они шли лестницами и коридорами, Ганс Касторп сказал:

– Согласись, что моя идея была очень удачной.

– Во всяком случае, хоть какое-то разнообразие, – отозвался Иоахим. –

И высказались по самым разнообразным вопросам, это верно. У меня даже голова кругом пошла. А теперь надо скорее полежать, хоть двадцать минут, до чая осталось очень мало. Ты, может быть, считаешь, что настаивать на этом, с моей стороны, педантично, ты ведь сейчас в таком бесшабашном настроении. Но для тебя это в конце концов все-таки не столь важно, как для меня.

Изыскания

И вот случилось то, что и должно было случиться, хотя еще недавно Гансу Касторпу и не снилось, что он будет при этом присутствовать: наступила зима, здешняя зима. Для Иоахима она не была новостью – когда он приехал сюда, то еще застал прошлую, она еще и не думала сдавать; но Ганс Касторп побаивался ее, хотя обстоятельно к ней подготовился. Кузен старался его успокоить.

– Да ты не думай, что она такая уж свирепая, – говорил он, – прямо арктическая. И холод чувствуешь гораздо меньше, так как воздух сухой и не бывает ветра. Если хорошенько укутаться, можно до поздней ночи лежать на балконе и не озябнешь. Здесь играет роль особая смена температур: выше границы туманов, в более высоких областях, становится теплее, раньше этого не знали. Уж скорее бывает холодно, когда идет дождь. Но у тебя есть теперь спальный мешок, да тут и подтапливают, когда становится совсем уж неумоготу.

Впрочем, ни о каких внезапных нападениях зимы и лютой стуже и речи не могло быть, зима подошла очень мягко и вначале мало чем отличалась от иных дней в разгаре лета, ибо ненастье бывало и тогда. Несколько дней подряд дул южный ветер, солнце жгло, долина стала как будто короче и теснее, а массивы Альп при выходе из нее казались более близкими и будничными. Но затем небо заволокло тучами, они тянулись толпой от Пиц Мишеля и Тинценхорна на северо-восток; долина потемнела, тяжело полил дождь. Потом он словно помутнел, стал белесовато-серым, пошел уже вперемежку со снегом, в конце концов начал падать только снег, в долине закрутилась метель, и так как это продолжалось очень долго и температура соответственно упала, то снег растаял не весь, и хотя был мокрый, но остался лежать, долина облеклась в тонкий влажный, лишь местами белый покров, и рядом с ним лесистые склоны казались особенно черными; в столовой трубы отопления стали чуть прогреваться. Начался ноябрь, близился день поминовения усопших – все это было не ново. Такая погода бывала и в августе, и люди здесь наверху давно отвыкли считать, что на снег имеет право только зима. Всегда, в любую погоду он был перед глазами, хотя бы вдалеке, ибо неизменно поблескивали его наносы и остатки в щелях и складках скалистой Ретиконской цепи, как будто закрывавшей вход в долину, и величественные горные гиганты на юге приветствовали вас в неизменных

снежных уборах. Похолодание и снегопады продолжали чередоваться. Низко нависло над долиной бледно-серое небо, оно словно растворялось, осыпаясь хлопьями, которые падали беззвучно и непрерывно, с какой-то чрезмерной, слегка тревожной щедростью, и с каждым часом воздух становился все холоднее. Однажды утром, когда Ганс Касторп проснулся, в его комнате оказалось семь градусов тепла, а на следующий день – всего пять. Начались морозы, и хотя они держались в известных границах, но все-таки держались. Сначала морозило только ночью, затем и днем, с утра до вечера, притом упорно, лишь с небольшими перерывами, а снег валил и на четвертый, и на пятый, и на седьмой день. Выросли огромные сугробы, стало даже трудно ходить. Тогда расчистили дорожку, ведущую к скамье у водостока, подъездную аллею, по которой спускались в долину, и всюду прорыли тропинки. Тропинки были узенькие, при встречах никак не разминешься, приходилось отступать в сторону и проваливаться в снег по колено. Внизу, по улицам курорта, целый день ездил, уминая снег, особый каток, запряженный лошадью, которую вел под уздцы человек, а между курортом и так называемой деревней, то есть северной частью поселка, совершал рейсы санный дилижанс, напоминавший старинную почтовую карету; спереди у нее был лемех, отбрасывавший в сторону груды снега. Особый мир, тесный, высокогорный и уединенный мир тех, что жили «здесь наверху», казалось, подбит белым пухом и одет в белый мех, не было ни столба, ни тумбы без нахлобученной белой шапки, ступени берггофского подъезда исчезли, они превратились в покатую скользкую плоскость, на ветках сосен лежали тяжелые смешные подушки, время от времени они съезжали и рассыпались снежной пылью, которая потом тянулась как облако или белый туман между деревьями. Горы, обступившие долину, были одеты снегом, у подножий он казался жестко-белым, а на причудливых отрогах, вздымавшихся выше границы лесов, лежал мягким, пухлым покровом. Было сумеречно, солнце проступало сквозь дымку тусклым пятном. Но от снега исходил отраженный мягкий блеск, какое-то молочное свечение, придававшее особую красоту природе и людским лицам, хотя под белыми и цветными шапками носы и были красны от холода.

В столовой, за всеми семью столами, только и говорили о приходе зимы – этого главного сезона в здешних местах. Рассказывали, что понаехало множество спортсменов и туристов, в гостиницах «деревни» и «курорта» все занято. Утверждали, что слой выпавшего снега достигает шестидесяти сантиметров, это идеально для лыжного спорта. Идет усиленная работа по прокладке бобслейной санной дороги по северо-

западному склону Шацальпа в долину, в ближайшие дни состоится открытие, если, конечно, фен не подстроит каверзу. Пациенты радостно ожидали той веселой суеты, которую здесь поднимут приехавшие снизу здоровые люди, ожидали обычных спортивных праздников и состязаний, надеясь, вопреки запрету, побывать на них, потихоньку удрав от обязательного лежания. Появилось нечто новое, как узнал Ганс Касторп, вид спорта, изобретенный Севером, – «skikjoring», при котором бегуны, стоя на лыжах, правили упряжкой лошадей. Уж это непременно надо посмотреть! Говорили и о рождестве.

Рождество! Нет, о нем Ганс Касторп еще не думал. Легко ему было говорить и писать, что, следуя требованию врачей, он вынужден пробыть здесь всю зиму. Но как теперь оказывалось, это означало, что он проведет здесь и рождество, и в этой мысли было что-то пугающее, хотя бы уже потому – но и не совсем потому, – что он этот праздник еще ни разу не проводил на чужбине, а всегда только на родине, в кругу семьи. Что ж! С богом! Ничего не поделаешь! Он же не мальчик, Иоахим с этим ведь тоже мирится и подчиняется без всякого нытья, да и потом – где и в каких только условиях люди не встречали рождество!

Все же ему казалось, что говорить о празднованье рождества до поста рановато: ведь осталось еще добрых полтора месяца. Но их во время разговоров в столовой как-то проглатывали и зачеркивали. Хотя Ганс Касторп уже научился проделывать подобные фокусы, он еще не привык к столь размашистому стилю в обращении со временем, к какому привыкли более давние обитатели санатория. Такие этапы в прохождении года, как праздник рождества, видимо, представлялись им трамплинами и трапециями, с которых можно было совершать вольтижировку через пустые отрезки времени. У всех у них был жар, усиленный обмен, они жили повышенной и убыстренной телесной жизнью – может быть, в конце концов очи потому и гнали время так быстро да еще такими большими массами. Он не удивился бы, если бы оказалось, что для них и рождество уже позади, и они уже говорят о встрече Нового года, о карнавале. Однако подобная несолидность и легкомыслие не допускались в берггофской столовой. Дальше рождества не шли, оно давало достаточно поводов для всяких планов и споров. Усердно обсуждался общий подарок, который, следуя обычаю, вручался в сочельник шефу санатория, гофрату Беренсу, – подписка уже началась. По рассказам тех, кто жил здесь больше года, ему на прошлое рождество подарили чемодан, теперь предлагали новый операционный стол, мольберт, меховую куртку, качалку, стетоскоп из слоновой кости с инкрустациями; а Сеттембрини, когда обратились к нему,

посоветовал поднести имеющее выйти в свет лексикографическое издание, которое будет называться «Социология страданий»; однако его поддержал только книгопродавец, недавно посаженный за стол Клеефельд. Договориться с русскими оказалось трудновато. Пациенты разделились на два лагеря. Москвиты заявили, что самостоятельно сделают Беренсу подарок. Фрау Штер кипятилась с утра до вечера. Дело в том, что она имела неосторожность выложить деньги за фрау Ильтис, всего десять франков, а та «забыла» их вернуть. – Она, видите ли, «забыла»! – повторяла фрау Штер на все лады с самыми разнообразными интонациями, причем все они должны были выражать негодование и полное недоверие к такой забывчивости, которая решительно не поддавалась никаким колкостям и намекам на «плохую память»; но уж кто-кто, а она, фрау Штер, на них не поскупилась. Обманутая не раз заявляла, что готова, если на то пошло, подарить этой Ильтис ее долг. – Но выходит, что я плачу и за себя, и за нее, – возмущалась она. – Что ж, пусть, не мне будет стыдно! – Наконец фрау Штер все же изобрела выход и поведала о нем за столом, вызвав всеобщее оживление: она принудила администрацию санатория выплатить ей эти деньги и поставить их в счет фрау Ильтис. Таким образом ей все же удалось перехитрить недобросовестную должницу, и прямой убыток был по крайней мере возмещен.

Снег перестал. Небо местами очистилось; сине-серые тучи ушли, проглянуло солнце, и на ландшафт легли голубоватые тени. Потом окончательно разъяснилось. Наступили морозные солнечные дни, и в середине ноября твердо установилась чистая блистающая зима. С балконов открылась великолепная панорама: словно напудренные стояли леса, мягко белели засыпанные пухлым снегом ущелья, сверкала озаренная солнцем долина, и над ней синело сияющее небо. А вечером, когда всходила почти полная луна, мир казался волшебным-прекрасным. Всюду – алмазный блеск, хрустальное мерцанье; леса стояли ярко-белые и густо-черные; части неба, далекие от луны, были темны и затканы звездами; на блещущую снежную поверхность ложились резкие, четкие, густые тени от домов, деревьев, телеграфных столбов, и они казались плотней и осязаемее самих предметов. Спустя два-три часа после захода солнца мороз достигал семи-восьми градусов. Мир застыл в ледяной чистоте, и его природная неопрятность как бы замерла, скованная сном, подобным волшебному очарованию смерти.

Ганс Касторп до поздней ночи задерживался на своем балкончике, вглядываясь в замороженную зимой долину, – гораздо дольше, чем Иоахим, обычно уходивший к себе в десять, самое позднее – в начале

одиннадцатого. Замечательный шезлонг с тройным тюфячком и валиком для головы был придвинут к деревянным перилам, на которых белел подушками снег; подле шезлонга, на столике, горела электрическая лампочка, лежала стопка книг и ждал стакан жирного молока вечернего удоя, которое полагалось пить всем обитателям «Берггофа», – его в девять часов разносили по комнатам; Ганс Касторп для вкуса обычно добавлял туда еще немного коньяку. Он уже пустил в ход все имевшиеся в его распоряжении средства защиты от холода, весь аппарат. Он был упрятан по самую шею в застегнутый на пуговицы спальный мешок, своевременно приобретенный в одном из магазинов курорта, а поверх мешка укрыт двумя одеялами из верблюжьей шерсти, подвернутыми согласно всем требованиям ритуала. Кроме зимнего костюма, на нем была меховая куртка, на голове – вязаная шапка, на ногах – фетровые сапоги, а на руках – плотные теплые перчатки, не предохранявшие, однако, его пальцы от окоченения.

Он оставался на воздухе очень долго, иногда до полуночи (плохой русской четы уже давно не было на соседнем балконе), привлеченный волшебством зимней ночи, тем более что порой в ее тишину вплеталась музыка, игравшая в долине до одиннадцати часов и звучавшая то издалека, то ближе; но главным образом его удерживали здесь вялость и возбуждение, которые овладевали им одновременно: вялость тела, нежелание двигаться и деятельное возбуждение мозга, который под влиянием новых захватывающих познаний, увлекших молодого человека, никак не мог успокоиться. Зимняя погода ослабляла Ганса Касторпа, мороз требовал от его организма напряжения и усилий. Он много ел, усердно поглощал обильные яства берггофских трапез, во время которых за ростбифом с гарниром мог последовать еще жареный гусь, – поглощал с особым аппетитом, который, как оказалось, у больных особенно разыгрывался зимой, и это считалось в порядке вещей. Кроме того, молодым человеком нередко овладевала сонливость, так что он и днем и в лунные вечера вдруг засыпал над толстыми книгами, стараясь их одолеть – о них мы еще скажем подробнее, – а проведя несколько минут в дремоте, продолжал свои изыскания. Оживленная болтовня с Иоахимом – никогда на равнине не замечал он за собой такой склонности к болтовне, торопливой, возбужденной и подчас даже рискованной, – оживленная болтовня с Иоахимом во время обязательных прогулок по снегу очень утомляла его: у него появились головокружения и дрожь во всем теле, ему чудилось, будто он пьян или оглушен, голова пылала. С наступлением зимы кривая его температуры поднялась, и гофрат Беренс уже поговаривал об инъекциях,

которые применял обычно, когда высокая температура упорно держалась, – их регулярно делали двум третям пациентов, в том числе и Иоахиму. Но Ганс Касторп считал, что это повышенное образование тепла в его теле, вероятно, имеет связь с тем внутренним возбуждением и беспокойством, которые в эти сверкающие ночи удерживали его в шезлонге до столь позднего часа, а книги, увлекавшие его, только подтверждали это предположение.

Следует отметить, что в галереях для лежания и на отдельных балконах интернационального санатория «Берггоф» читали немало, главным образом – новички и «краткосрочные», ибо те, кто жил здесь много месяцев или даже много лет, давно уже научились без помощи каких-либо развлечений или умственных занятий торопить время и убивать его с помощью особых виртуозных внутренних приемов; они даже заявляли, что только бездарные тупицы цепляются ради этого за книги. Если держишь одну какую-нибудь книгу на коленях или возле себя на столике, этого вполне достаточно. Санаторская библиотека, состоявшая из книг на самых различных языках и особенно из иллюстрированных изданий, была немногим богаче библиотечки, какую можно найти в приемной любого зубного врача. Пациенты обменивались также романами, взятыми из библиотеки курорта. Время от времени появлялась книга или номер журнала, которые пациенты рвали друг у друга из рук, и даже те, кто уже давно не читал, с лицемерной флегматичностью старались завладеть ими. В то время пациенты зачитывались одной книжицей, пущенной в ход господином Альбином; она была очень плохо издана и называлась «Искусство обольщения». Это был перевод с французского, слишком близкий к оригиналу, – сохранен был даже синтаксис, что придавало рассуждениям автора особую вычурную пикантность и игривость; в ней развивалось философия плотской любви и сладострастия в духе светского и жизнерадостного язычества. Фрау Штер буквально проглотила брошюру и нашла ее «упоительной». Фрау Магнус, та, что «теряла белок», восторженно ее одобрила. Супруг-пивовар признал, что из этой книжки все же почерпнул кое-что и для себя, но очень сожалел, что ее прочла фрау Магнус, ибо от такого рода писаний женщины только становятся безнравственными и у них возникают нескромные представления о любви. Отзыв пивовара еще больше разжег в публике желание прочесть книгу. Между двумя дамами, прибывшими в октябре и лежавшими обычно на нижней галерее – фрау Редиш, супругой польского промышленника, и некоей фрау Гессенфельд из Берлина, однажды после обеда разыгралась весьма недостойная сцена, даже с насильственными действиями, ибо

каждая из этих дам утверждала, что теперь ее очередь получить книжку; Ганс Касторп слышал все со своего балкона, причем дело завершилось истерикой одной из них, – это могла быть и Редиш и Гессенфельд; в конце концов разъяренную даму водворили в ее комнату. Молодежь завладела трактатом раньше, чем более зрелое поколение. Они изучали его группами, после ужина, в чьей-нибудь комнате. Ганс Касторп видел, как юноша с ногтем передал в столовой брошюру только что прибывшей легкобольной девице Френцхен Оберданк, маменькиной дочке, белокурой, с гладким пробором, на днях доставленной сюда мамашей.

Может быть, существовали исключения, может быть, некоторые больные и заполняли часы обязательного лежания серьезной умственной работой и плодотворно изучали какую-либо науку, хотя бы для того, чтобы не терять связи с жизнью на равнине или придать ходу времени некоторую утяжеленность и глубинность, чтобы оно не оставалось чистым временем, то есть просто ничем. Может быть, кроме Сеттембрини, с его жаждой искоренять страдания, и честного Иоахима, с его учебниками русского языка, были и еще пациенты в том же роде, если не среди посетителей столовой, что казалось действительно невероятным, то среди лежащих больных и «морибундусов» – Ганс Касторп готов был это допустить. Что касается лично его, то «Ocean steamships» уже ничего нового ему дать не могли, поэтому, когда он просил прислать из дому все необходимое для зимнего сезона, он выписал и некоторые книги по инженерным наукам и по своей прямой специальности – технике кораблестроения. Однако эти труды лежали забытые – за счет других, связанных с совсем другой областью, но предметом которых молодой Ганс Касторп глубоко заинтересовался. Это были книги по анатомии, физиологии и биологии на разных языках – немецком, французском, английском; однажды их доставил в санаторий книжный магазин курорта, – видимо, Ганс Касторп заказал их, и даже на свой страх и риск, молчком, во время прогулки, которую случайно совершил вниз, в поселок, без Иоахима (он был как раз назначен не то на инъекцию, не то на взвешивание). Поэтому Иоахим очень удивился, увидев эти книги в руках у двоюродного брата. Они стоили дорого – научные труды вообще стоят дорого, – цена еще была проставлена на внутренней стороне обложки или на суперобложках. Он спросил, почему Ганс Касторп, если уж он заинтересовался такими книгами, не попросил у гофрата – у того, наверно, большой выбор, и он охотно дал бы их почитать. Но Ганс Касторп возразил, что хочет иметь собственные, ведь и читаешь совсем по-другому, когда книга твоя; потом он любит делать пометки и подчеркивать карандашом. С тех пор Иоахим слышал, как Ганс Касторп, лежа на своем

балконе, часами разрезает сброшюрованные листы.

Книги оказались претяжелыми, их было трудно держать в руках, и Ганс Касторп ставил их стоймя, так что они упирались нижним краем ему в грудь или в живот. Они давили, но он готов был терпеть; приоткрыв рот, водил он глазами сверху вниз по ученым страницам, озаренным розоватым светом прикрытой абажуром настольной лампочки, хотя она была почти не нужной – так ярко светила луна; во время чтения голова его опускалась до тех пор, пока подбородок не упирался в грудь, и тогда читающий останавливался и, прежде чем снова поднять голову и глаза к началу следующей страницы, медлил несколько мгновений – не то в полузадумчивой дремоте, не то в полудремотном раздумье. Он читал, он пытался проникнуть в глубь открывавшихся перед ним вопросов, а над хрустально сверкавшей высокогорной долиной месяц совершал свой размеренный путь, – читал об организованной материи, о свойствах протоплазмы, этой чувствительной субстанции, которая удерживается в своеобразном неустойчивом состоянии бытия между развитием и распадом, о ее способности придавать многообразие первичным, но существующим до сих пор основным формам вещества, читал с тревожным интересом о жизни и ее святой и нечистой тайне.

Что же такое жизнь? Мы этого не знаем. Поскольку она жизнь, она осознает себя, но не знает, что она такое. Сознание, как чувствительность к раздражениям, бесспорно в какой-то мере уже пробудилось на самых низших и простейших ее этапах; но невозможно было связать первое появление осознанных процессов с каким-либо определенным моментом всеобщей или индивидуальной истории сознания, поставить, например, появление сознания в связь с возникновением какой-либо нервной системы. Низшие формы животных лишены нервной системы, а тем более – головного мозга, однако никто не решился бы отрицать их способности воспринимать раздражения. Кроме того, можно было приглушить жизнь, как таковую, а не только деятельность создаваемых ею чувствительных к раздражениям органов, и не только нервы. Можно было на время убить чувствительность всякой одаренной жизнью материи как в мире растительном, так и в мире животном, подвергнуть яички и семенные нити действию наркоза – хлороформа, хлоралгидрата, морфия. Итак, сознание оказывалось просто функцией организованной живой материи, и при усилении своей активности эта функция обращалась против ее собственного носителя – становилась стремлением исследовать и объяснить породивший ее феномен, обнадеживающим и безнадежным стремлением всего живого к самопознанию, к тому, чтобы природа рылась

в самой себе – в конечном счете, совершенно тщетно, так как природа не может претвориться в познание, жизнь сама не может уловить последние глубины живого.

Что же такое жизнь? Никто этого не знает. Никому неведома та точка сущего, в которой она возникла и зажглась. Но начиная с этого мгновения ничто в сфере жизни уже не являлось непосредственно данным или мнимо опосредствованным. Однако сама жизнь казалась чем-то непосредственно данным. И если о ней что-либо и можно было сказать, то лишь следующее: ее строение должно быть столь высокоразвитым, что в мире неорганической материи мы не найдем ничего, хотя бы отдаленно напоминающего жизнь. Расстояние, отделяющее амебу ложноножку от позвоночных, было ничтожным и несущественным в сравнении с тем, что лежало между простейшими явлениями жизни и той природой, которая не заслуживала даже названия мертвой, так как была неорганической. Ибо смерть являлась лишь логическим отрицанием жизни: но между жизнью и неорганической природой зияла пропасть, и исследователи делали тщетные попытки перекинуть мост через нее, старались заполнить эту пропасть всякими теориями, однако она заглатывала их без следа, и ни глубина, ни ширина ее от этого не уменьшались. Чтобы найти хоть какое-то связующее звено, стали допускать противную здравому смыслу гипотезу о бесструктурной жизненной материи, о неорганизованных организмах, которые будто бы возникали в белковом растворе сами собой, подобно тому как в маточном растворе образуется кристалл; а вместе с тем органическая дифференцированность оставалась предпосылкой и выражением всякой жизни, и нельзя было указать ни на одно живое существо, которое не было бы обязано своим появлением на свет родителям. Поэтому ликование, которым было встречено извлечение из глубочайших морских недр первичной слизи, оказалось преждевременным. Выяснилось, что за протоплазму приняли осадки гипса. Но, чтобы не прийти к признанию чуда, – ибо жизнь, строящаяся из тех же веществ, что и неорганическая природа, и распадающаяся на те же вещества, что и она, была бы явным чудом, – пришлось допустить первичное самозарождение, то есть возникновение органической природы из неорганической, что также было бы чудом. Поэтому ученые продолжали придумывать всякие промежуточные ступени и переходы, допускать существование организмов, стоявших ниже всех нам известных, но имевших в свою очередь еще более ранних предшественников, свидетелей еще более древних попыток природы создать жизнь, а именно – пробий, которые были обречены оставаться невидимыми – их не мог уловить самый сильный микроскоп, – а

воображаемое их возникновение относили за счет синтеза белковых соединений.

Итак, что же такое жизнь? Тепло, тепловой продукт сохраняющей форму изменчивости, лихорадка материи, сопровождающая процесс непрерывного распада и восстановления белковых молекул, построенных с неустойчивой прихотливостью и неустойчивой сложностью.

Это было бытие того, что, собственно, не могло быть бытием, оно, в этом процессе лихорадочного разложения и обновления, со сладостной неизбежностью словно мучительно балансировало на точке бытия. Оно не было материальным и не было духом, а чем-то промежуточным, феноменом, несомым материей, подобным радуге над водопадом или пламени. Но, не будучи материальным, этот феномен был чувственным до сладострастия и до отвращения, полным бесстыдства материи, ставшей самоощущающей и воспринимающей раздражения, некоей распутной формой бытия. Как будто в целомудренном холоде мирового целого зашевелилось что-то тайно ощущающее, началось украдкой какое-то любострастное и нечистоплотное всасывание пищи и ее извержение, какое-то экскреторное выдыхание углекислоты и гадких веществ неведомого происхождения и неведомых свойств. И вот вследствие постоянного выравнивания неустойчивости возникло некое разрастание, которое держали в узде присущие ему законы развития, некое развертывание и формирование чего-то набухающего, состоящего из воды, белка, солей и жиров: мы называем это плотью, и она достигла формы, высокого образа, красоты, хотя в ней и осталось начало чувственности и вожделения. Ибо эта форма и эта красота не были ни плодом духа, как в произведениях поэтических и музыкальных, ни порождением нейтрального, снедаемого духом вещества, в своей невинности облекшего дух в осязаемый материал, ибо таковы форма и красота в изобразительных искусствах. Скорее эта форма и красота возникли и образовались из какой-то неведомым образом пробудившейся для вожделения субстанции, из самой органической материи, растленно-страстной и властной, из пахучей плоти...

И вот в эти минуты, когда молодой Ганс Касторп покоился в сбереженном мехом и шерстью животном тепле своего тела и смотрел на поблескивающую замерзшую долину, ему среди сумрака морозной ночи, озаренного блеском мертвых созвездий, предстал образ самой жизни. Он парил где-то в пространстве, далекий и все же осязаемо близкий, плоть, тело, матово-белое, липкое, источающее запахи и испарения; Ганс Касторп видел его кожу со всей ее естественной неопрятностью и изъязнениями, пятнами, сосочками, трещинками и желтизной, видел, что она местами

зернистая и шелушится, местами покрыта первичным пухом, как бы струившимся потоками и завитками. Словно вне этой стужи неживого мира стояло оно, слегка откинувшись назад, в облаке своих испарений: голова была увенчана чем-то холодноватым, роговым, пигментированным – особым продуктом кожи; закинув руки и прижав их к затылку, смотрел этот образ на Ганса Касторпа из-под опущенных век, глаза вследствие особого кожного образования казались чуть раскосыми, а губы были приоткрыты и слегка вывернуты; тело опиралось на одну ногу, так что резко выступали очертания бедра, колено другой, слегка отставленной ноги, только касавшейся земли пальцами, доверчиво прижималось к колену первой. Так, с улыбкой, стояло перед ним это тело, немного боком, грациозно откинувшись назад, выдвинув поблескивающие локти, стояло в парной симметрии своего сложения, своих телесных особенностей: впадинам подмышек, с их резкими испарениями, соответствовала в мистическом треугольнике ночь его лона, так же как глазам – отверстие рта с его алым эпителием, а розовым бутонам груди – продолговатый пупок. От воздействия центральной нервной системы и двигательных нервов, связанных со спинным мозгом, живот и грудная клетка поднимались и опускались, плевроперитональная область вздувалась и опадала, воздух, согретый и увлажненный слизистой оболочкой дыхательных путей и насыщенный выделениями, проходил между губ после того, как содержащийся в нем кислород соединился в воздушных клетках легких с гемоглобином крови, что было необходимо для внутреннего дыхания организма. Перед Гансом Касторпом было живое тело с таинственной соразмерностью его членов, питаемых кровью, пронизанных системой нервов, вен, артерий, волосяных и лимфатических сосудов, с его костяком, состоящим из наполненных мозгом трубчатых костей, а также из лопаточных, позвонковых и основных, которые, возникнув из первичной опорной субстанции, из студенистой ткани, затем окрепли с помощью известковых солей и клея, чтобы это тело носить со всеми его капсулями, смазанными суставными сумками, связками и хрящами, с его более чем двумя сотнями мышц, центральными системами органов питания, дыхания, восприятия раздражений и ответа на них, с его защитными кожными покровами, серозными пазухами и железами, богатыми выделениями, с его сложными трубчатыми и складчатыми внутренними поверхностями, соединявшимися с внешней средой особыми отверстиями, и он понимал, что это «я» представляет собой жизненное единство высокого порядка, чрезвычайно отличное от тех простейших существ, которые дышат, питаются и даже думают всей поверхностью своего тела; что это единство

построено из мириадом таких мельчайших органических систем, которые возникли из одной и размножились путем неустанного деления, образовали различные служебные комбинации и союзы, обособлялись, самостоятельно развивались дальше и породили формы, обусловившие их дальнейший рост и способствовавшие ему.

Это представшее ему тело, это отдельное существо и живое «я» оказывалось чудовищной множественностью дышащих и питающихся особей, индивидов, которые вследствие своего органического строения и формы, предназначенной для специальной цели, настолько утратили свое бытие как существа, наделенные каким-то подобием «я», свою свободу и живую непосредственность, до такой степени сделались всего лишь анатомическими элементами, что назначение иных свелось только к чувствительности в отношении света, звука, тепла, прикосновения, у иных осталась способность, сжимаясь, менять свою форму или вырабатывать желудочный сок, иные стали годны лишь для опоры тела, иные, в силу одностороннего развития, – лишь для выработки секретов или для размножения. Но встречались и такие объединенные органические множественности, предназначенные быть носителями высшего «я», такие случаи, когда все эти низшие формы особей, образующие более высокие единства, были только слегка и весьма ненадежно сцеплены между собой. Изучая все это, Ганс Касторп размышлял над такими явлениями, как колонии клеток, полуорганизмы, водоросли, отдельные клетки которых, обладающие лишь студенистой оболочкой, часто расположены далеко друг от друга, однако являются все же многоклеточными образованиями, но, будучи спрошены, не смогли бы ответить, что они собой представляют – колонию или единое существо, и вынуждены были бы при таком самоопределении удивительнейшим образом колебаться между «я» и «мы». В этих случаях природа создала нечто среднее между высокосоциальными объединениями бесчисленных особей, образующих ткани и органы некоего высшего порядка, и свободным обособленным бытием этих простейших существ. Таким образом, многоклеточный организм оказывался только одной из форм циклического процесса, с помощью которого себя выражает жизнь и который представляет собой круговорот, идущий от рождения к рождению. Акт оплодотворения, половое слияние двух клеточных тел, лежал в основе каждой сложной особи, так же как с него начинались ряды поколений обособленных существ, и он без конца повторялся. Этот акт отсутствовал у множества поколений, не нуждавшихся в нем, ибо они размножались путем непрерывного деления; но наступала минута, когда потомки, возникшие внеполовым путем, испытывали вновь побуждение к

половому соитию, и таким образом круг замыкался. Многообразное живое государство клеток, появившееся на свет в результате слияния ядер двух родительских клеток, объединяло в себе многие поколения клеточных особей, образовавшихся внеполовым путем; его рост состоял в их размножении; и все начиналось сначала, когда снова образовывались половые клетки – элементы, необходимые для продолжения рода; они находили путь к слиянию, возрождающему жизнь.

Поставив объемистый труд по эмбриологии на грудную клетку, молодой исследователь мысленно наблюдал за развитием организма с той минуты, когда семенная нить, одна из многих и в данном случае первая, подгоняя себя, точно бичом, движениями своего жгутика, наталкивалась головкой на студенистую оболочку яйца и проникала в зачаточный бугорок, который протоплазма яичной коры открывала при его приближении. Невозможно было придумать более причудливых гримас и фарсов, спокойно допускаемых природой при отклонениях от обычной формы этого процесса. Существовали животные, у которых самец паразитировал в кишечнике самки; у других самец запускал нечто вроде руки через гортань самки внутрь ее тела, чтобы там оставить свое семя, после чего самка откусывала и выплевывала ее, а рука самостоятельно убегала прочь на пальцах, одурачивая науку, которая, давая ей греко-латинские названия, долго полагала, что ее надо считать самостоятельным живым существом. Ганс Касторп внимал спорам овистов и анималькулистов^[97]. Одни утверждали, что яйцо – это уже вполне сложившийся лягушонок, щенок или ребенок, и семя служит всего-навсего для того, чтобы пробудить в нем способность роста; другие – что семенная нить – это готовый прообраз живого существа, с головой, руками и ногами, а яйцо является для него только питательной средой; наконец они согласились признать и за клеткой яйца и за клеткой семени, возникших первоначально из одинаковых эмбриональных клеток, одинаковые заслуги. Он видел, как постепенно одноклеточный организм оплодотворенного яйца превращается в многоклеточный, сморщивается и делится, видел, как клетки, сливаясь, образуют тонкую слизистую оболочку, как зародышевый пузырь вдавливаясь, становится полым и принимает форму кубка, а тот начинает служить для всасывания и переваривания пищи. Так возникал зачаток кишечника, праживотное, гастрюла, изначальная форма всякой животной жизни, изначальная форма всякой выражаемой плотью красоты. Оба эпителия, внешний и внутренний, эктодерма и энтодерма, оказывались примитивными органами, из которых потом возникали, путем втягивания и выпячивания, железы, ткани, органы чувств, придатки. Полоска внешнего

зародышевого листа утолщалась, свертывалась, как бы образуя желоб, потом ее края смыкались, возникала нервопроводящая трубка и становилась позвоночником, головным мозгом. И когда зародышевая слизь уплотнялась, превращаясь в волокнистую ткань, и отвердевала хрящами, вследствие того что студенистые клетки вместо муцина вырабатывали клейковину, он видел, как в определенных местах клетки соединительной ткани притягивают к себе из омывающих их соков известковые соли и жиры и претворяют их в костное вещество. И вот человеческий зародыш, скрючившись, покоился в чреве матери, хвостатый, решительно ничем не отличаясь от зародыша свиньи, у него была огромная кишка, бесформенные, подобные обрубкам конечности, зародыш зачатком лица склонялся к пупку; и наука, чьи представления о человеке были суровы и отнюдь для него не лестны, изображала его развитие как беглое повторение истории целого зоологического периода. У него временно были жабры, как у ската. На основе тех стадий развития, через которые он проходил, было дозволено, даже необходимо воссоздать не слишком человеческий образ зрелого человека доисторических времен. Кожа его была снабжена сокращающимися мышцами для защиты от насекомых и покрыта густыми волосами, поверхность обонятельной слизистой оболочки очень велика, подвижные уши, принимавшие живое участие в мимике лица, гораздо лучше улавливали звуки, чем теперь. В те времена глаза его были защищены еще третьим, мигающим веком и находились по обе стороны головы, причем имелся еще третий глаз, во лбу, – его рудиментарной формой является в нашем мозгу шишковидная железа; этот глаз, очевидно, предназначался для того, чтобы оберегать человека от нападения сверху. Кроме того, у этого человека был очень длинный кишечник, множество коренных зубов, звуковые мешки для рева помещались в гортани, а мужские половые железы находились в полости живота.

Анатомия препарировала перед нашим исследователем все части человеческого тела и, совлекши с них кожу, показала лежащие на поверхности и глубинные мышцы, сухожилия и связки бедра, ноги, руки – плеча и локтя, – научила его латинским названиям, которыми медицина, эта ветвь гуманитарных знаний, галантно и даже благородно их обозначила; она дала ему проникнуть вглубь, вплоть до скелета, строение которого привело его к новым точкам зрения, – среди них было и признание единства всего человеческого, а также взаимной связи и замкнутости в этом единстве всех дисциплин. Тут в Гансе Касторпе самым неожиданным образом возникло воспоминание о собственном ученом звании, или, вернее, о прежней своей профессии, представителем которой, при встречах

здесь наверху, он отрекомендовался (доктору Кроковскому и господину Сеттембрини). Так как приходилось изучать какую-нибудь науку, а какую – ему было, в общем, довольно безразлично, – то он и изучал в высших учебных заведениях кое-что по части статики гибких опор, нагрузок и конструкций с точки зрения экономного использования механических материалов. Было бы, конечно, наивным считать, что инженерная наука, законы механики могут быть приложены и к органической природе, но столь же необоснованным было бы и утверждение, что никакой связи между ними не существует. Они просто в ней повторялись, и она их подтверждала. Принцип полого цилиндра, например, осуществлялся в строении длинных трубчатых костей таким образом, что при строжайшем минимуме твердого вещества они вполне отвечали максимальным статическим нагрузкам. Ганс Касторпа учил тому, что тело, которое построено лишь из стержней и скреп конструкционного материала в соответствии с предъявленными ему требованиями растяжения и давления, может выдерживать такую же нагрузку, как и сплошное тело из того же материала. Так же и при образовании трубчатых костей можно было наблюдать, как, одновременно с уплотнением вещества на их поверхности, внутренние части, ставшие с точки зрения механики ненужными, превращались в жировые ткани и костный мозг. Берцовая кость оказывалась как бы подъемным краном, при конструировании которого органическая природа, придавая определенное направление костным «балкам», следовала с абсолютной точностью тем же кривым растяжения и давления, которые Ганс Касторп так аккуратно вычерчивал, когда надо было дать графическую схему этого столь известного механизма. Он с удовлетворением констатировал этот факт, ибо так велик был его интерес, что у него установилась уже трехсторонняя связь с бедренной костью или с органической природой: лирическая, анатомическая и техническая; и эти три вида связей, говорил он себе, в сфере человеческого бытия едины, они являются как бы вариантами одного и того же настойчивого стремления, тремя отраслями гуманитарной науки...

И все-таки роль протоплазмы оставалась необъяснимой, казалось, жизни запрещено постигать самое себя. Сущность большинства биохимических процессов была не только неизвестна, но они, по своей природе, оставались недоступными взору исследователя. Ведь почти ничего не было известно о строении и образовании того живого единства, которое мы называем «клеткой». Какой смысл определять составные части мертвых мышц, если живые не поддавались химическому исследованию? Достаточно было тех изменений, которые вызывали окоченение трупа,

чтобы признать бесплодным всякое экспериментирование. Никто не знал, что такое обмен веществ, никто не разбирался в существовании деятельности нервной системы. Каким особенностям обязаны вкусовые вещества своим вкусом? В чем причина того, что разнообразные ароматические вещества возбуждают определенные группы нервов? И что такое пахучесть? Специфические запахи людей и животных были основаны на испарениях каких-то веществ, определить которые не удавалось. Состав секрети, называемой потом, тоже не был вполне выяснен. Железы, выделявшие его, порождали запахи, игравшие, без сомнения, немалую роль у млекопитающих, а их значение для человека не было точно установлено. Физиологическая роль некоторых, видимо важных, частей человеческого тела была окутана мраком, уже не говоря о слепой кишке, которая оставалась загадкой, – у кроликов она обычно оказывалась наполненной кашицеобразным веществом, но как оно оттуда выходит и как возобновляется – было неизвестно. А что такое белое и серое вещество головного мозга, зрительный бугор, связанный со зрительным нервом, или серые прослойки «моста»? Вещество головного и спинного мозга настолько легко подвергалось разрушению, что нельзя было даже надеяться когда-нибудь открыть его строение. Вследствие чего при засыпании приостанавливалась деятельность коры большого головного мозга? Что мешало самоперевариванию желудка у живого человека? Ведь оно же иногда наблюдалось у трупов? На это следовал ответ: жизнь, особая сопротивляемость живой протоплазмы – и при этом делали вид, будто не замечают, что это объяснение мистическое. Теория столь обычного явления, как лихорадка, была полна противоречий. При усиленном обмене повышалось в теле и образование тепла. Но почему же это, как в других случаях, не компенсировалось теплоотдачей? Зависело ли прекращение потоотделения от сжатия кожных пор? Однако подобный факт можно было установить только при лихорадочном ознобе, ибо обычно кожа была скорей горячей. «Горячка» показывала, что именно в центральной нервной системе коренятся причины повышенного обмена и того состояния кожи, которое называют ненормальным, ибо не знают, как определить его иначе.

Но что все это незнание в сравнении с растерянностью, возникающей у исследователя перед такими явлениями, как память, и особенно та более отдаленная и удивительная память, которую мы называем передачей по наследству приобретенных качеств? Полная невозможность уловить хотя бы намек на механическое объяснение этой деятельности клеточной ткани была ясна. Семенную нить, передававшую яйцу сложнейшие индивидуальные и родовые особенности отца, можно было увидеть только

в микроскоп, и недостаточно было самого сильного увеличения, чтобы она предстала не как однородное тело и можно было бы определить ее происхождение; ибо у любого животного она имела такой же вид, как и у всех остальных. Эти особенности ее структуры заставляют признать, что с клеткой дело обстоит совершенно так же, как и с более сложным телом, которое она строит; что, следовательно, и она сама уже представляет собой более сложный организм, состоящий в свою очередь из живых делящихся телец и индивидуальных живых единств. Итак, приходилось идти от якобы мельчайшего к еще более мелкому и по необходимости разлагать элементарное на еще более простые элементы. Подобно тому как царство животных, бесспорно, состояло из различных видов животных, животное-человеческий организм также состоял из целого животного царства клеток, принадлежащих тоже к разнообразным видам, а в состав каждой клетки в свою очередь входило многообразное животное царство более элементарных живых единств, размеры которых находятся за пределами видимости в микроскоп, и они самостоятельно росли, самостоятельно множились, следуя закону, по которому каждая может создавать только себе подобную, и, подчиняясь принципу разделения труда, сообща служили организации более высокого порядка.

Это были гены, биобласты, биофоры^[98]. Гансу Касторпу было интересно познакомиться с их именами в эти морозные ночи. И он с интересом спрашивал себя, как же будет обстоять дело с элементарной природой при дальнейшей разработке этого вопроса. Если они являлись носителями жизни, то должны были быть организованы, ибо жизнь опирается на организованность; а в таком случае они не могли быть элементарными, – ведь организм не элементарен, он сложен. Это были живые единства, стоявшие ниже живого единства клетки и органически ее построившие. А если так, то какими бы непредставимо малыми они ни оказались, они сами должны были быть «построены», и именно органически, согласно единому принципу жизни; ибо понятие живого единства отождествлялось с построением этого единства из меньших, низших единств, то есть живых единств, организованных для более высоких форм жизни. Пока при делении получались органические единства, обладавшие характерными особенностями жизни, то есть способностью ассимиляции, роста и размножения, этому делению не было положено границ. И пока речь шла о живых единствах, нельзя было говорить серьезно о единствах элементарных, ибо понятие всякого единства включало в себя *ad infinitum*^[99] и понятие о единствах

подчиненных, образующих его; таким образом, чего-то, что уже было жизнью, но еще элементарной, существовать не могло.

Однако, хотя это и противоречило логике, нечто подобное все же должно было существовать, ведь от идеи о первоначальном зарождении, то есть о возникновении жизни из того, что не обладало жизнью, нельзя было просто отмахнуться, и ту пропасть, которую тщетно пытались преодолеть во внешней природе, пропасть, отделявшую живое от безжизненного, надо было заполнить или перекинуть через нее мост – в органических глубинах природы. Когда-нибудь деление должно было привести к «единствам», которые, будучи составными, но еще неорганизованными, являлись посредствующим звеном между живым и неживым; это были группы молекул, образующие переход от чистой химии к упорядоченной жизни. Однако, дойдя до химической молекулы, исследователь оказывался на краю новой пропасти, гораздо более загадочной, чем разрыв между органической и неорганической природой, – а именно пропасти между материальным и нематериальным. Ведь молекула состояла из атомов, а величину атома даже нельзя было назвать исключительно малой. Атом был даже не малым, а настолько крошечным, древним и преходящим комочком чего-то невещественного, еще невещественного, но уже подобного веществу, – комочком энергии, что едва ли мог мыслиться как нечто почти материальное или еще почти нематериальное, а скорее как что-то переходное и пограничное между материальным и нематериальным. Так возникала проблема иного первичного рождения, гораздо более загадочного и фантастического, чем проблемы органической материи, а именно – первичного рождения вещества из невещественного. И действительно – перекинуть мост через пропасть между материальным и нематериальным казалось еще более важным, чем между органической и неорганической природой. Должна была существовать химия нематериального, невещественных соединений, из которых возникло вещество, подобно тому как возникли организмы из неорганических соединений; и, может быть, атомы – это пробии и монеры^[100] материи, по природе своей они уже вещественны и все же еще невещественны. Но когда доходишь до определения «даже не мал», масштабы теряются; «даже не мал» – это все равно что «чудовищно велик», а приближение к атому оказывалось, без преувеличения, действительно роковым, ибо в миг последнего деления и дробления материальной частицы внезапно раскрывался астрономический космос!

Атом оказывался заряженной энергией космической системой, в которой космические тела вращались вокруг некоего центра, подобного

солнцу, и через эфирное пространство которой со скоростью световых лет проносились кометы, а сила притяжения центрального небесного тела не давала им сойти с их эксцентрических путей. И это было не только сравнением, так же как мы не просто ради сравнения называем многоклеточные существа «колонией клеток», или «государством» клеток; город, государство, социальную общину, организованные по принципу разделения труда, не только можно было уподобить органической жизни – они в точности повторяли ее. Так отражался в сокровеннейших недрах природы, в ее отдаленных глубинах макрокосмический звездный мир, чьи скопления, россыпи, группы, фигуры, побледневшие от лунного света, плыли над головой закутанного в одеяла адепта и над сверкавшей замерзшей долиной. И разве нельзя было допустить, что некоторые планеты атомной солнечной системы, эти несметные множества и млечные пути солнечных систем, из которых построена материя, – что на том или другом из этих микрокосмических небесных тел существуют условия, подобные нашим земным, давшим земле возможность стать очагом жизни? Молодому адепту с несколько возбужденными нервами и «сверхнормальным» интересом к человеческой коже, обладающему также некоторым опытом в области запретного, это не только не казалось абсурдом, а даже до навязчивости правдоподобной гипотезой, построением ума, логически чрезвычайно убедительным. Ведь «ничтожная» величина микрокосмических звездных тел – возражение весьма шаткое, ибо масштабы «большого» и «малого» оказались непригодными с той минуты, когда открылся космический характер мельчайших частиц вещества, исчезла и устойчивость понятий внешнего и внутреннего. Мир атома – это было нечто внешнее, и очень вероятно, что наша планета, на которой мы живем, с точки зрения органической представляла собой нечто глубоко внутреннее.

Разве некий исследователь с дерзостью мечтателя не говорил о животных «млечного пути», о космических чудовищах, чья плоть, кости и мозг состоят из солнечных систем?^[101] Но если это так, думал Ганс Касторп, то в ту минуту, когда воображаешь, что дошел до самого конца, все начинается опять сначала! Может быть, в глубине глубин своей сущности он сам, молодой Ганс Касторп, уже не раз, а сотни раз лежал вот так на балконе, тепло укутанный, глядя на высокогорье, озаренное лунной морозной ночью, и с окоченевшими пальцами и горящим лицом, охваченный медико-гуманистическим пылом, изучал телесную жизнь?

Патологическая анатомия, которую он держал несколько боком, чтобы на нее падал красноватый свет настольной лампочки, разъяснила ему –

текст книги сопровождался к тому же иллюстрациями – сущность паразитических костных образований и инфекционных опухолей. Это были особые формы тканей, очень крупные, их вызывало вторжение инородных клеток в организм, оказавшийся к ним восприимчивым – быть может, восприимчивым в результате некоей распушенности, – но предоставлявший им благоприятные условия для развития. Паразит не только питался за счет окружающих тканей: как и в любой клетке, в нем происходил обмен веществ и создавались органические соединения, которые оказывались для организма, на котором он жил, необычайно ядовитыми и непреодолима губительными. Люди все же научились изолировать и концентрировать извлеченные из некоторых микроорганизмов токсины, и просто удивительно, каких малых доз этих токсинов, принадлежащих просто к ряду белковых соединений, было достаточно, чтобы, введя их в кровь животного, вызвать все признаки опаснейшего отравления и неотвратимой гибели. Внешним показателем этой зараженности является разрастание тканей, патологическая опухоль, как реакция клеток на раздражение, вызванное внедрившимися между ними бациллами. Образовывались узелки с просыпанное зерно, состоявшие из клеток, подобных клеткам слизистых оболочек, и между ними или в них-то и гнездились бациллы, причем некоторые клетки были необычайно богаты протоплазмой, имели несколько ядер и разрастались до гигантских размеров. Однако это излишество очень скоро приводило к смерти, ибо ядра чудовищных клеток начинали сморщиваться и распадаться, а протоплазма свертывалась и гибла; раздражение распространялось на соседние клетки, воспалительный процесс усиливался, захватывал близлежащие кровеносные сосуды; к больному месту начинали собираться белые кровяные тельца, процесс опасного для жизни свертывания продолжался. А тем временем растворенные бактериальные яды уже давно отравляли нервную систему, температура организма поднималась очень высоко, и он, с бурно вздымающейся грудью, так сказать, брел неверным шагом навстречу своему распаду.

Поскольку патология, то есть наука о болезнях, делала особое ударение на болезнях тела, подчеркивала телесность, а тем самым и чувственность, болезнь представлялась Гансу Касторпу особой распутной формой жизни. А жизнь? Чем являлась она? Может быть, она тоже лишь инфекционное заболевание материи? Может быть, и то, что мы называем первичным рождением материи, было также всего лишь неправомерным разрастанием нематериального, вызванным каким-то раздражением? Первый шаг ко злу, к чувственности и к смерти, бесспорно, следовало

искать в том моменте, когда, вызванное щекоткой неведомой инфильтрации, впервые произошло уплотнение духовного, его патологическое разрастание, которое, будучи наполовину наслаждением, наполовину самозащитой, оказалось первой ступенью, ведущей к вещественности, переходом от нематериального к материальному; это и было грехопадением. А второй момент первичного рождения, возникновение органической природы из неорганической, оказался только дурным повышением телесности до сознания, так же как болезнь организма является лишь хмельным повышением, непристойным подчеркиванием телесности. Жизнь была еще одним неизбежным шагом на этом опасном пути духа, утратившего свое достоинство, тепловым рефлексом стыда пробужденной чувствительности материи, оказавшейся сладострастно восприимчивой к возбуждителям.

Книги были грудой навалены на столике под лампой, одна лежала около шезлонга, на полу, покрытом циновкой, а та, которую Ганс Касторп изучал последней, лежала у него на животе, давила и очень мешала дышать, однако кора его головного мозга не отдавала соответствующим мышцам приказ снять ее. Он дочитал страницу донизу, его подбородок уперся в грудь, веки над простодушными голубыми глазами опустились. Он увидел перед собой образ представшей ему жизни, цветущую стройность членов, несомую плотью красоту. Женщина отвела руки от затылка и простерла их вперед, причем на внутренней стороне, под нежной кожей локтевого сгиба выступили сосуды, две голубоватые ветви вен, – и эти руки были невыразимо сладостны. И вот она наклонилась, наклонилась к нему, наклонилась над ним, он ощутил ее органическое благоухание, почувствовал острые толчки ее сердца. Что-то горячо и нежно обвило его шею, и в то время как Ганс Касторп, изнемогая от блаженства и ужаса, положил свои руки на ее предплечья, туда, где зернистая кожа, обтягивавшая мышцы, была так благодатно свежа, – она впилась в его губы, и он ощутил влагу ее поцелуя.

Хоровод мертвецов

Вскоре после рождества умер аристократ-австриец... Но до этого все же пришло рождество, два праздничных дня, а если прибавить сочельник, то и три; Ганс Касторп ждал их с некоторым страхом и сомнением, спрашивая себя, как они будут здесь отмечаться, а оказалось – самые обыкновенные дни – с утром, полднем и вечером, с неважной погодой (слегка таяло), они так же, как другие, начались и кончились; только внешне слегка приукрашенные и выделенные, в течение положенного срока жили они в умах и сердцах людей и, оставив после себя некоторый след иных, чем в будни, впечатлений, отошли сначала в недавнее, а затем и в далекое прошлое. На праздники приехал к гофрату сын, его звали Кнут. Он жил у отца в боковом флигеле; это был красивый юноша, но и у него уже слишком круто выдавался затылок. Присутствие молодого Беренса тотчас сказалось: дамы стали вдруг необыкновенными хохотуньями, капризницами и франтихами, а в их разговорах беспрестанно мелькали упоминания о встречах с Кнутом то в саду, то в лесу, то в курзале. Впрочем, к нему самому нагрянули гости: в долину явилась группа его товарищей по университету, шесть-семь студентов, они поселились в местечке, но столовались у гофрата. Кнут примкнул к ним, и все они дружным табунком бродили по окрестностям. Ганс Касторп избегал этих молодых людей и, при случае, вместе с Иоахимом уклонялся от встречи, не чувствуя никакого желания знакомиться. Целый мир отделял его, члена общины живших здесь наверху, от этих юношей, которые пели, лазали по горам и размахивали палками: он знать о них не хотел. Кроме того, большинство были, видимо, северяне, среди них могли оказаться и его земляки, а Ганс Касторп просто боялся своих земляков, он не раз представлял себе возможность того, что в «Берггофе» вдруг объявятся какие-нибудь гамбуржцы – город этот, по словам Беренса, неизменно поставляет санаторию солидный контингент пациентов. Может быть, среди тяжелобольных или «морибундусов», которые не показывались, и был кто-нибудь из Гамбурга. Но выходил из своей комнаты только один коммерсант с ввалившимися щеками, он две-три недели обедал за столом фрау Ильтис, и говорили, что он из Куксхафена. Глядя на него, Ганс Касторп радовался, во-первых, тому, что здесь так трудно заводить знакомство с сидящими за другими столами, а во-вторых, – что его родной край так велик и так много в нем различных местностей. Однако гамбуржец был настолько ко всему равнодушен, что

Ганс Касторп перестал бояться возможности появления здесь наверху его земляков.

Итак, сочельник близился, он стоял на пороге и на следующий день наступил... Правда, было время, когда до него оставалось еще шесть недель, и Ганс Касторп удивлялся, как это люди уже говорят о рождестве: не скоро оно еще будет! Если подсчитать, то до него еще остался срок, который он первоначально предполагал прожить здесь, плюс три недели, проведенные в постели. И все-таки ему тогда представлялось, что это уйма времени, особенно первые три недели, а вот время, равное по счету, – те же шесть недель, – теперь казалось ничтожным, почти ничем, и сидевшие в столовой пациенты были правы, относясь к нему пренебрежительно. Шесть недель – это даже меньше, чем в неделе дней; но и этот вопрос бледнел перед другим: что же такое неделя? Небольшой кругооборот от понедельника до воскресенья, и потом опять, начиная с понедельника? Достаточно было непрерывно вопрошать о ценности и значении следующей, более мелкой единицы, чтобы понять, какой ничтожный результат дает сумма этих единиц, простое сложение, ибо само это действие являлось вместе с тем и очень сильным сокращением, сжатием, сведением на нет складываемых величин. Чем были сутки, считая хотя бы с минуты, когда садишься обедать, и до нового наступления той же минуты спустя двадцать четыре часа? Ничем, хотя это были все же двадцать четыре часа. Чем был один час, проведенный, скажем, в шезлонге, на прогулке или за столом, – занятия, которыми исчерпывались возможности провести эту единицу времени? Опять-таки ничем. Но о сумме слагаемых, где каждое – ничто, едва ли можно говорить всерьез. Вопрос еще осложнялся, если дело доходило до крайне малых величин: ведь те шестьдесят секунд, помноженные на семь, которые проходили, когда человек держал во рту градусник, чтобы продолжить кривую своей температуры, были, напротив, весьма живучи и весомы, они расширялись прямо-таки до маленькой вечности, образовывали в высшей степени прочные пласты в призрачных порханиях большого времени...

Праздник едва ли мог особенно нарушить распорядок жизни берггофских обитателей. Уже за несколько дней у правой поперечной стены столовой, неподалеку от «плохого» русского стола, была водружена рослая елка, и ее аромат, иногда пробивавшийся сквозь запахи обильных яств, достигал сидевших за семью столами пациентов, и тогда иные задумывались. Придя ужинать 24 декабря, все увидели, что елка пестро разукрашена: золотой и серебряный дождь, стеклянные шары, позолоченные шишки, маленькие яблочки в сеточках, всевозможные

конфеты, разноцветные восковые свечи, которые горели весь ужин и еще после ужина. По слухам, и в комнатах лежащих больных горели елочки, у каждого своя. За последние дни по почте приходило множество посылок. Получили посылки из далекой родины на равнине и двоюродные братья – все было очень аккуратно запаковано, и они в своих комнатах разбирали подарки. Там оказались принадлежности туалета, выбранные с большой тщательностью, галстуки, изящные изделия из кожи и никеля, праздничное печенье, орехи, яблоки, марципаны; кузены растерянно созерцали эти припасы, спрашивая себя, когда же они все это съедят. Ганс Касторп знал, что его посылку собирала Шаллейн и купила подарки лишь после того, как деловито обсудила их с дядями. К подаркам было приложено письмо от Джемса Тинапеля, в плотном конверте для частной корреспонденции, но написанное на машинке. Дядя, от имени консула и своего лично, слал поздравления с праздником и пожелания скорейшего выздоровления, причем, руководствуясь чисто практической целесообразностью – чтобы не писать еще раз в виду предстоящего окончания года, – заодно поздравил его и с наступлением нового; так же, впрочем, сделал и сам Ганс Касторп, поздравив консула Тинапеля с праздником рождества, когда, еще лежа в постели, отправил ему рапорт о состоянии своего здоровья.

Елка в столовой сияла, потрескивала, благоухала и поддерживала в умах и сердцах присутствующих сознание праздничности этих минут. Все принарядились, мужчины облеклись в парадные костюмы, женщины надели драгоценности, которые для них, быть может, выбирал любящий супруг там, в странах на равнине. Клавдия Шоша тоже сменила принятый в высокогорных местностях шерстяной свитер на вечернее платье, которое было, однако, в несколько своеобразном национальном духе: светлое, вышитое, с кушаком, оно напоминало русскую народную одежду, или балканскую, вернее – это был болгарский стиль, платье было осыпано золотыми блестками, широкие складки придавали ее фигуре какую-то непривычную мягкую полноту, оно удивительно гармонировало с ее «татарской физиономией», как выражался Сеттембрини, особенно с ее глазами, которые он называл «волчьи огоньки в степи». За «хорошим» русским столом было особенно весело: там хлопнула первая пробка от шампанского, но потом его пили почти за всеми столами. За столом кузенов шампанское заказала двоюродная бабушка для своей внучки и для Маруси, но угощала им и всех остальных. Меню было самое изысканное, в заключение подали ватрушки и конфеты, а после них – еще кофе с ликерами; время от времени загоралась ветка, ее кидались тушить, и начинался отчаянный визг и неумеренная паника.

Сеттембрини, одетый как обычно, в конце праздничного ужина подсел ненадолго со своей неизменной зубочисткой к столу кузенов, подразнил фрау Штер, потом завел разговор о сыне плотника и учителе человечества, воображаемый день рождения которого сегодня празднуют. А жил ли он на самом деле – неизвестно. Но то, что тогда родилось и начало свое непрерывное, победное шествие, продолжающееся и по сей день, – это идея ценности каждой отдельной души, а также идея равенства – словом, тогда родилась индивидуалистическая демократия. За это он и осушил бокал, который ему пододвинули. Фрау Штер нашла его манеру говорить о таких вещах «двусмысленной и бездушной». Она поднялась, несмотря на протесты, а так как все и без того уже переходили в гостиные – ее примеру последовали и другие.

В этот вечер совместное пребывание обитателей санатория было осмысленным и оживленным благодаря вручению подарков гофрату, который зашел на полчаса вместе с Кнутот и Милендонк. Церемония эта состоялась в гостиной с оптическими аппаратами. Русские, выступившие самостоятельно, поднесли что-то серебряное – огромную круглую тарелку с выгравированной посередине монограммой Беренса – вещь, явная бесполезность которой сразу же бросалась в глаза. На шезлонге, – дар остальных пациентов, – можно было по крайней мере лежать, хотя на нем не имелось еще ни одеяла, ни подушки, а всего лишь натянутый холст. Все же у шезлонга было передвижное изголовье, и Беренс, чтобы посмотреть, насколько он удобен, тут же улегся на него, зажав под мышкой ненужную тарелку, закрыл глаза и начал храпеть, как лесопилка, заявив, что он Фафнир, охраняющий сокровище^[102]. Все ликовали. Очень смеялась этому представлению и мадам Шоша, причем глаза ее сузились, а рот приоткрылся, в точности – так по крайней мере казалось Гансу Касторпу – как у Пшибыслава Хиппе, когда он смеялся.

Сейчас же после ухода шефа все сели за карты. Русские пациенты удалились, по своему обычаю, в маленькую гостиную. Несколько человек окружили елку в столовой, они смотрели, как гаснут огарки в металлических гильзах подсвечников, и лакомились сладостями, висевшими на ветвях. За столами, уже накрытыми для первого завтрака, сидели, подперев голову руками, некоторые больные, далеко друг от друга, в разных позах, молча, замкнувшись в себе.

Первый день рождества был туманный и сырой. Беренс заявил: мы сидим в тучах, туманов здесь наверху не бывает. Но тучи или туман – все равно ощущалась резкая сырость. Снег, лежавший на земле, начал таять, сделался пористым и липким. Лицо и руки на открытом воздухе зябли

мучительнее, чем в солнечную морозную погоду.

Праздничный день был отмечен тем, что вечером слушали музыку, настоящий концерт с рядами стульев и печатными программами – его устроила фирма «Берггоф» для живущих здесь наверху. Это был «вечер песни», который дала жившая тут постоянно и зарабатывавшая свой хлеб уроками профессиональная певица с двумя медалями, – они висели у нее сбоку под декольте бального платья; но руки, худые, точно палки, и голос, типичный глухой голос, слишком ясно говорили о печальных причинах ее постоянного проживания в горах. Она пела:

Везде с собой ношу я
Мою любовь.

Пианист, аккомпанировавший ей, тоже был здешним жителем... Мадам Шоша сидела в первом ряду, однако, воспользовавшись антрактом, удалилась, и Ганс Касторп с этой минуты мог со спокойной душой слушать музыку (это была, несмотря ни на что, все же настоящая музыка) и во время исполнения следить за текстом песен, напечатанным в программах. Некоторое время с ним рядом сидел Сеттембрини, но вскоре тоже исчез, сделав несколько едких и пластичных замечаний по поводу глухого бельканто местной певицы и насмешливо выразив свое удовольствие оттого, что здесь сегодня вечером царит столь приятное и уютное единение душ. По правде сказать, Ганс Касторп почувствовал облегчение, когда ушли оба – и узкоглазая женщина и педагог: теперь он мог беспрепятственно отдать все свое внимание песням. «Как хорошо, – подумал он, – что во всем мире, даже в исключительных положениях, вероятно даже в полярных экспедициях, люди занимаются музыкой!»

Второй день рождества отличался от обычного воскресения и от просто будничного дня только одним: где-то в сознании жила мысль, что вот сегодня второй день праздника; а когда миновал и он – рождество уже отошло в прошлое, или, вернее, опять стало далеким будущим – целый год отделял от него обитателей «Берггофа»; до того, как оно вернется, опять следуя кругообороту времени, снова оставалось двенадцать месяцев – в конце концов только на семь месяцев больше того срока, который здесь уже прожил Ганс Касторп.

Но сейчас же после этого рождества, еще до Нового года умер аристократ-австриец. Кузены узнали о его смерти от Альфреды Шильдкнехт, так называемой сестры Берты, ходившей за бедным Фрицем

Ротбейном, – она мимоходом и по секрету сообщила им об этом. Ганс Касторп был очень огорчен – с одной стороны, потому что кашель австрийца оказался одним из первых впечатлений, полученных им здесь наверху и вызвавших в нем, как он полагал, впервые тепловой рефлекс и жар лица, потом так и не оставлявший его, с другой, – по причинам морального, мы сказали бы даже – духовного порядка. Он надолго задержал Иоахима в коридоре, беседуя с диаконисой, которая с благодарностью цеплялась за эту возможность поговорить и обменяться мнениями. Просто чудо, сказала она, что австриец дотянул до праздника. Давно известно, какой он был выдержанный, но чем он дышал под конец – совершенно непонятно. Правда, он уже много дней существовал только на кислороде: за один вчерашний день ему дали сорок баллонов по шесть франков штука. Это стоило хороших денег, господа сами понимают, и притом нельзя забывать, что его супруга, на руках у которой он потом и скончался, осталась совершенно без средств. Иоахим не одобрил такую расточительность: зачем мучить человека, искусственно продлевать его жизнь таким дорогим способом, если дело все равно безнадежно! Конечно, покойного нельзя винить за то, что он извел зря столько дорогого газа, поддерживающего жизнь, ведь его заставляли дышать им... А вот ухаживающим следовало быть благоразумнее – пусть идет себе с богом своим неизбежным путем, не надо его задерживать, каково бы ни было материальное положение близких, и тем более – если оно плохое. У живых тоже есть свои права и так далее. Но Ганс Касторп решительно возразил: Иоахим стал рассуждать прямо как Сеттембрини, без всякой почтительности и бережности к страданию. Ведь австриец умер, и тут конец всему, уже ничем не выразишь ему своего внимания, а умирающего надо чтить, любые расходы – только дань уважения, на этом он, Ганс Касторп, настаивает. Во всяком случае, нужно надеяться, что Беренс в последнюю минуту не накричал на него и не разбранил без всякого пиетета! Не было повода, отозвалась Шильдкнехт. Правда, австриец под конец все-таки сделал нелепую попытку улизнуть и хотел соскочить с постели; но довольно было легкого намека на полную бесцельность такого предприятия, и он раз и навсегда от него отказался.

Ганс Касторп с особым участием говорил об умершем. Он делал это наперекор принятой здесь системе утаивания и умалчивания, ибо презирал эгоистическое стремление пациентов во что бы то ни стало ничего не знать, не видеть и не слышать и решил действительно против этого бороться. За столом он попытался навести разговор на смерть австрийца, но встретил столь единодушный и категорический отпор, что почувствовал стыд и

негодование. Фрау Штер даже нагрубила ему. Что это? Разве о таких вещах говорят? – возмущенно накинулась она на него. Где он воспитывался? В доме установлен такой порядок, персонал всячески оберегает пациентов, старается, чтобы они оставались в стороне от подобных историй, и вдруг является какой-то молокосос и начинает рассуждать о них вслух, да еще за жарким, да еще в присутствии доктора Блюменколя, с которым то же самое может случиться в любую минуту (последние слова – шепотом). Если это повторится, она вынуждена будет пожаловаться кому следует. Тогда-то обруганный Ганс Касторп решил – и заявил об этом во всеуслышание, – что он лично посетит ушедшего сотоварища и тихо, благоговейно побудет у его ложа, воздав ему тем самым последнюю почесть; он уговорил и Иоахима последовать его примеру.

Через посредство сестры Альфреды они получили разрешение зайти в комнату покойного – она находилась в первом этаже, под их комнатами. Встретила их вдова, маленькая блондинка, растрепанная, измученная бессонными ночами; она прижимала к губам платок и куталась в толстое драповое пальто с поднятым воротником, так как в комнате было очень холодно. Отопление выключили, и дверь на балкон стояла открытой. Вполголоса сказали ей молодые люди все, что полагается говорить в таких случаях, а затем, следуя ее скорбному жесту, приблизились к постели усопшего, ступая на цыпочки и при каждом шаге почтительно наклоняясь вперед; потом остановились у смертного одра, каждый в соответствующей его характеру позе: Иоахим – по-военному сдержанно, опустив голову и как бы отдавая честь, Ганс Касторп – непринужденно, глубоко задумавшись, скрестив руки на груди и склонив голову набок; на лице его было примерно такое же выражение, с каким он слушал музыку. Голова австрийца лежала высоко на подушках, а тело, этот плод долгого развития и вместилище многообразных кругооборотов рождения жизни, казалось плоским, как доска, оттого что ноги выступали под одеялом. Там, где были колени, лежала гирлянда цветов, торчавшая из нее пальмовая ветвь касалась больших, желтых, костлявых рук, сложенных на впалой груди. Желтой и костлявой была и лысая голова, и лицо с горбатым носом, торчащими скулами и рыжеватыми кустистыми усами, густота которых еще подчеркивала серые провалы щетинистых щек. Веки были неестественно плотно сомкнуты – видимо, глаза ему зажали, а не закрыли, невольно подумал Ганс Касторп: это называлось отдать последнюю дань, хотя делалось больше для живых, чем для умершего, закрывать их нужно было тут же после смерти – если процесс образования миозина в мышцах уже начался, это становилось невозможным, мертвец лежал и неподвижно

таращил глаза; чтобы создать впечатление, будто австриец задремал, ему и закрыли глаза своевременно.

Ганс Касторп уже имел опыт в этих делах, многое было ему знакомо, и он чувствовал себя здесь в своей стихии; но, несмотря на свою искушенность, стоял у ложа с благоговением.

– Как будто спит, – сказал он из сострадания, хотя на самом деле слишком ясна была разница. И затем, как подобало, вполголоса, начал разговор с вдовой покойного, спросил о течении болезни ее супруга, о его последних днях и минутах, об отправке тела в Кернтен, выразив этим сочувствие и показав свою осведомленность как в области медицины, так и в вопросах духовно-нравственного порядка. Вдова, говорившая с австрийским произношением – тягуче и в нос – и временами всхлипывавшая, удивлялась, что столь молодые люди принимают такое горячее участие в чужом горе; Ганс Касторп ответил, что ведь они сами больны, что же касается его лично, то ему в очень раннем возрасте уже приходилось стоять у смертного одра близких, он круглый сирота и к смерти, так сказать, привык. А какую он выбрал профессию, осведомилась она. Он ответил, что был инженером.

– Почему «был»?

Был, поскольку его болезнь и еще не выясненные сроки пребывания здесь наверху самым решительным образом вторглись в его планы; и, может быть, это даже послужит поворотным пунктом в его жизни, кто знает. (Тут Иоахим испуганно и испытующе взглянул на него.) А его двоюродный брат? Он намерен быть внизу на равнине военным, готовится стать офицером.

– О, – отозвалась она, – военное ремесло – тоже профессия, которая приучает к серьезности, солдат должен помнить, что, при известных условиях, может близко соприкоснуться со смертью, и хорошо сделает, если будет приучать себя к ее виду.

Она отпустила молодых людей со словами благодарности, и ее приветливая сдержанность не могла не вызвать уважения, тем более при таком горе, а главное – при огромном счете за кислород, оставшемся после супруга. Кузены поднялись к себе. Ганс Касторп был, видимо, доволен визитом и полученными впечатлениями, которые вызвали у него духовный подъем.

– Requiescat in pace^[103], – произнес он. – Sit tibi terra levis. Requiem aeternam dona ei, Domine.^[104] Видишь ли, когда речь идет о смерти, или об умерших, или когда обращаются к умершим, то пользуются латынью, в

таких случаях она опять становится официальным языком, люди чувствуют, что смерть – это все-таки особое дело, и в честь смерти говорят по-латыни не из гуманистической куртуазности, язык умерших – это, понимаешь ли, не латынь образованных людей, ее дух – совсем другой, он, если можно так выразиться, даже нечто противоположное такой латыни. Это латынь священная, латынь монахов, средневековье, она похожа на глухое, заунывное пенье, которое звучит точно из-под земли. Сеттембрини она бы совсем не понравилась, она не для гуманистов, республиканцев и таких педагогов, как он, у нее другая духовная настроенность, другая духовная направленность, чем все направленности, существующие на свете. Мне кажется, необходимо уяснить себе, каковы эти различные духовные направленности, или, вернее, духовные настроенности; есть благочестивая и есть вольная, у каждой свои преимущества, но вольную, то есть сеттембриниевскую, я не могу принять только по одной причине: она присвоила себе все формы человеческого достоинства, а это уже крайность. Ведь и другая является носителем этого достоинства и дает самые широкие возможности для благородства, сдержанности и возвышенных форм поведения, пожалуй даже больше, чем «вольная», хотя внимание первой прежде всего устремлено на человеческую слабость и греховность, мысль о смерти и тленности бытия играет в ней важную роль. Ты видел когда-нибудь в театре «Дон-Карлоса»? Помнишь сцену при испанском дворе, когда входит король Филипп весь в черном, с орденом Подвязки и Золотого руна и медленно снимает шляпу, очень похожую на наши котелки, – он поднимает ее кверху и говорит: «Чело покройте, гранды», или что-то в этом роде – и нельзя не признать, это звучит как-то очень степенно, тут и речи не может быть о какой-либо развязности и распущенных нравах, совсем напротив; королева же говорит: «Иначе было в моей Франции»; конечно, для нее это все слишком чопорно и солидно, ей хотелось, чтобы было повеселей, побольше человеческого! Но что такое «человеческое», обо всем можно сказать, что оно человеческое! По-моему, испанская богобоязненность и торжественно-смирненная размеренность – очень почтенное выражение того же «человеческого», а с другой стороны, словами «все это – человеческое» можно оправдать любую распущенность и расхлябанность.

– Тут я с тобой согласен, – сказал Иоахим. – Я, конечно, тоже не выношу расхлябанности и распущенности, дисциплина безусловно необходима.

– Да, ты говоришь это как военный, и я допускаю, что на военной службе такие вещи понимают. Вдова была совершенно права, что ваша

профессия приучает к серьезности и что всегда надо быть готовым иметь дело со смертью. Вы носите мундир, он хорошо сидит и опрятен, у него стоячий воротник, и это придает вам известную осанку. А потом у вас иерархия и послушание, вы церемонно отдаете друг другу честь – все это в испанском духе, благочестиво и по существу мне нравится. Надо бы, чтоб и среди нас, штатских, больше было этого духа, в наших нравах, в нашем поведении, мне это ближе, я считаю это более уместным. На мой взгляд, мир и жизнь таковы, что следовало бы всем носить черное, накрахмаленные брыжи, а не наши воротнички, и обращаться друг с другом истово, сдержанно, строго соблюдая форму и в неизменных помыслах о смерти – так, по-моему, было бы лучше, нравственнее. Видишь ли, это еще одна из ошибок Сеттембрини – самомнение, что ли... Хорошо, что разговор зашел об этом. Он не только воображает, что присвоил себе все виды человеческого достоинства, но и все виды морали – с его пресловутой «практической работой для жизни», прогрессивными воскресными празднествами (как будто именно в воскресенье не о чем и подумать, кроме прогресса) и систематическим «искоренением страданий», и помочь этому должен словарь; впрочем, ты об этом не знаешь, но мне он в порядке поучения рассказал... да, что хочет их систематически искоренять с помощью словаря. А если мне именно это кажется аморальным, что тогда? Ему я, конечно, этого не скажу, он же меня в порошок сотрет своими пластическими речами, да еще заявит: «Предостерегаю вас, инженер!» А думать по-своему мне все-таки хочется: «Сир, даруйте же свободу мысли!»^[105] Я хочу тебе кое-что сказать, – закончил он. (Они уже были в комнате Иоахима, и тот стал собирать все нужное для лежания.) – И скажу тебе, что я решил: вот мы живем здесь дверь в дверь с умирающими людьми, с величайшим горем и страданием, и не только притворяемся, будто это нас совершенно не касается, но нас и со стороны оберегают, нас щадят, лишь бы мы никак с этим не столкнулись и ничего такого не заметили. Австрийца они тоже тайком унесут отсюда, пока мы ужинаем или завтракаем. И я считаю это безнравственным. Помнишь, как Штериха разъярилась только от того, что я упомянул о его смерти? Это уж просто дурость какая-то, и если она настолько невежественна, что воображает, будто слова «тише, тише, словно мыши» – из «Тангейзера»^[106], как выяснилось на днях за столом, – то она все-таки могла бы иметь побольше душевной чуткости и другие – тоже. И вот я решил впредь уделять больше внимания тяжелобольным и «морибундусам» санатория, мне и самому это пойдет на пользу – наше сегодняшнее

посещение уже подействовало на меня в каком-то смысле благотворно. Бедняга Рейтер из двадцать седьмой комнаты, которого я в первые дни после своего приезда как-то увидел через раскрытую дверь, наверняка давно уже ушел *ad penates*, и его потихоньку убрали отсюда – у него и тогда уже были какие-то чересчур большие глаза. Но есть другие, в санатории все комнаты заняты, в пополнении нет недостатка, а сестра Альфреда, или «старшая», или даже сам Беренс, конечно, помогут нам установить связь с тем или другим больным, я думаю, это будет нетрудно. Допустим, приближается день рождения какого-нибудь «морибундуса», и мы узнали об этом – это же всегда можно узнать. Ну вот! И мы посылаем ему или ей, смотря по тому, кто это, горшок цветов – в знак внимания от двух неведомых коллег «с сердечными пожеланиями скорейшего выздоровления»; слово «выздоровление» всегда вежливо и уместно. Потом наши фамилии будут, конечно, названы, и он или она, как бы они ни были слабы, передадут нам через дверь дружеский привет, а может быть пригласят зайти на минутку, и мы, до того, как он или она отойдет в вечность, еще обменяемся с ними несколькими человеческими словами. Вот как я себе это представляю. Ты не согласен? Что касается меня, то я решил твердо.

Однако Иоахим не нашел особых возражений против такого плана.

– При здешних порядках это, правда, не принято, – заметил он, – ты таким образом, раз уж тебе пришла охота, отчасти нарушаешь их. Но мне думается, в виде исключения Беренс, вероятно, не откажет. А потом ты можешь сослаться на свой интерес к медицине.

– Да, между прочим, и на него, – сказал Ганс Касторп, ибо его желание было подсказано довольно сложными побуждениями; протест против здешних эгоистических нравов был только одним из них. Наряду с этим в нем жила потребность, чтобы за ним признали право на серьезное отношение к страданию и смерти, на уважение к ним; и он надеялся, что при большей близости к тяжелобольным и умирающим эта потребность будет удовлетворена, а общение с ними укрепит его, создаст как бы противовес всевозможным оскорблениям, которым его чувства подвергались здесь на каждом шагу, каждый день и час, причем некоторые суждения Сеттембрини, в связи с этим, как бы подтверждались, что очень огорчало молодого человека. За примерами было недалеко ходить: если бы спросили Ганса Касторпа, он, может быть, прежде всего указал бы на тех обитателей санатория «Берггоф», которые, как они сами признавались, вовсе не были больны, и поселились здесь по собственной охоте, под официальным предлогом легкого нездоровья, на самом же деле – только

ради собственного удовольствия или потому, что им нравился режим для больных; взять хотя бы уже упоминавшуюся нами вскользь вдову Гессенфельд, весьма бойкую особу, которая до страсти любила со всеми держать пари. Она держала пари с мужчинами по любому поводу: какая завтра будет погода, приедут ли новые больные, какие подадут кушанья, какое будет результат общего обследования, сколько кому назначат месяцев, кто из чемпионов бобслейных, санных, конькобежных и лыжных состязаний победит, чем кончится роман, завязавшийся между таким-то и такой-то, и еще на множество совершенно нелепых и неинтересных вещей, держала эти пари на шоколад, шампанское, икру, которые потом торжественно уничтожались в ресторане, на деньги и билеты в кинематограф и даже на поцелуй – она поцелует или ее поцелуют, словом, этой своей страстью она вносила немало сумбура и оживления в санаторскую столовую; но возня с пари была молодому Гансу Касторпу очень не по душе, одно присутствие суетливой дамы уже казалось ему оскорбительным для достоинства этой обители страданий.

Ибо он в душе честно старался оберегать ее достоинство и отстаивать его даже перед самим собой, хотя это было очень трудно после почти полугодового пребывания среди живущих здесь наверху. Постепенно ему открывалось многое в их жизни и поступках, нравах и взглядах, что отнюдь не способствовало его добрым намерениям. Достаточно было вспомнить двух тощих фатишек семнадцати и восемнадцати лет, прозванных «Макс и Мориц»: их вечерние отлучки ради покера или кутежа с дамами служили постоянной пищей для сплетен. Вскоре после Нового года, то есть через неделю (не следует забывать, что пока мы ведем этот рассказ, время в своем неслышном течении неудержимо стремится вперед), за завтраком распространился слух, будто массажист, придя к ним утром, увидел, что оба лежат на своих постелях совершенно одетые в измятых выходных костюмах. Ганс Касторп смеялся, как и все; но если этот смех и посрамлял его добрые намерения, то все же история с «Максом и Морицем» была еще пустяком по сравнению с тем, что вытворял адвокат Эйнхуф из Ютербога; сей сорокалетний мужчина с острой бородкой и руками, густо заросшими черным волосом, – он с некоторых пор сидел за столом Сеттембрини вместо исцелившегося шведа, – не только каждую ночь приходил в санаторий пьяный в стельку, но однажды оказался не в силах даже подняться к себе в комнату и был найден лежащим на лужайке. Кроме того, адвокат слыл опасным соблазнителем, и фрау Штер просто пальцем показывала на некую молодую даму, – впрочем, на равнине дама была уже помолвлена, – которую видели в совершенно непоказанное время

выходящей из комнаты Эйнхуфа в накинутой на плечи шубке, под которой ничего не было, кроме панталон-реформ. А это уже был скандал, не только в смысле нарушения морали вообще: Ганс Касторп считал этот случай особенно скандальным с точки зрения своих духовных стремлений и оскорбительным лично для себя. Сюда прибавилось еще то, что он уже не мог думать об адвокате, не вспоминая при этом о Френцхен Оберданк, маменькиной дочке с гладко причесанными на пробор волосами, которую всего две-три недели назад доставила сюда мамаша, весьма почтенная провинциальная дама. Тотчас по приезде, после первого обследования, заболевание Френцхен Оберданк признали легким, но тут или была допущена ошибка, или ее случай оказался именно тем, когда здешний воздух прежде всего способствовал не исцелению, а развитию болезни; а может быть, молодая девица запуталась в каких-нибудь переживаниях и интригах, и это повредило ей – во всяком случае, через месяц после приезда она, вернувшись с нового врачебного обследования, вошла в столовую и, подбросив вверх свою сумочку, звонким голосом воскликнула: «Ура, я остаюсь здесь на целый год!» Весь зал разразился в ответ гомерическим хохотом. Но через две недели стало известно, что адвокат Эйнхуф поступил с Френцхен как негодяй. Впрочем, оставляем это выражение на нашей совести или, во всяком случае, на совести Ганса Касторпа, ибо для тех, кто распространял этот слух, он не казался такой уже необыкновенной новостью, чтобы стоило употреблять столь сильные выражения. Пожимая плечами, эти люди давали понять, что ведь в таких делах всегда участвуют двое и едва ли что-нибудь могло произойти без желания и согласия обеих сторон. Такова была по крайней мере в отношении данного случая моральная позиция фрау Штер.

Каролина Штер была невыносима. И если Гансу Касторпу кто-нибудь мешал в его искренних духовных усилиях, то именно эта женщина, ее характер и повадки. Достаточно было ее постоянных, вызванных невежеством обмолвок! Она говорила «агонья» вместо предсмертная борьба; «аховый», когда хотела упрекнуть кого-нибудь в нахальстве, а по поводу астрономических явлений, вызывающих затмение солнца, несла уже несусветную чушь. Про снежные сугробы она заявила, что в них большая «потенция», и однажды вызвала глубочайшее удивление Сеттембрини, который потом долго не мог опомниться, сообщив ему, что читает взятую из библиотеки книжку по его части, а именно «Бенедетто Ченелли в переводе Шиллера»^[107]. Она любила ходячие выражения и обороты речи, которые своей пошлостью и затасканностью действовали Гансу Касторпу на нервы, вроде: «прелестно!» или «какой ужас!». А так

как выражение «восторг» вместо «блестяще» или «отлично», долгое время бывшее в моде среди публики, наконец, утратило свою силу, prostituteровалось и стало выхолощенным, а потому – устаревшим, она вцепилась в другое слово – «роскошь» и по любому поводу, всерьез и в насмешку непременно говорила «роскошь», касалось ли это санного пути, пирога или ее собственной температуры, и это было непереносимо. К тому же она страстно и сверх всякой меры обожала сплетни. Если она рассказывала, что фрау Заломон надела сегодня самое дорогое кружевное белье, ведь она же идет на обследование к врачам и кокетничает перед ними шикарным исподним, – это хоть могло быть в каком-то смысле правдой. Гансу Касторпу и самому казалось, что процедура осмотра, независимо от результатов, доставляет дамам удовольствие, и они для этого кокетливо одеваются. Но когда фрау Штер уверяла, будто фрау Редиш из Познани, у которой предполагали туберкулез спинного мозга, раз в неделю в течение целых десяти минут марширует совершенно голая перед гофратом Беренсом, неправдоподобие такого утверждения можно было сравнить только с ею неприличием; однако Штериха упорно стояла на своем, хотя трудно было понять, откуда у бедной женщины такой пыл, уверенность и напор, когда ее собственное здоровье доставляет ей немало забот, так что на нее даже время от времени находила малодушная и плаксивая тревога, вызванная ее якобы возрастающей вялостью или возрастающей температурной кривой. В столовую она тогда являлась всхлипывая, жесткие раскрасневшиеся щеки были залиты слезами, закрыв лицо платком, она с рыданиями сообщала, что Беренс грозит уложить ее в постель, а она желает знать, что он сказал за ее спиной насчет ее здоровья и в каком она состоянии, да, она хочет смотреть правде в глаза! К своему ужасу, она однажды заметила, что ее кровать обращена к двери не изголовьем, а изножьем, и в результате этого открытия дошла чуть не до истерических судорог. Окружающие не сразу поняли причину ее ярости и ужаса – в частности, не мог в этом разобраться и Ганс Касторп. Ну и что ж? Что из этого? Почему кровати не стоят так, как она стоит сейчас? Но боже мой, неужели он не понимает?.. Она же стоит «ногами вперед»! И фрау Штер в отчаянье подняла такой крик, что пришлось немедленно переставить кровать, хотя теперь свет падал ей в глаза, и она стала хуже спать.

Все это было несерьезно и очень мало отвечало духовным запросам Ганса Касторпа. Ужасная сцена, которая разыгралась в эти дни за столом, произвела на молодого человека особенно тягостное впечатление. Недавно приехавший больной, учитель Попов, худой и тихий человек, – учителя

посадили вместе с его тоже худой и тихой невестой за «хорошим» русским столом, – оказался эпилептиком, и в самый разгар трапезы с ним случился жесточайший припадок: с нечеловеческим демоническим воплем – этот вопль не раз описывался – рухнул он на пол, рядом со своим стулом, и начал, судорожно извиваясь, бить вокруг себя руками и ногами. Дело еще осложнялось тем, что как раз подавали рыбу, и Попов мог, при таких судорогах, подавиться рыбьей костью. Началось нечто неопишное. Женщины, и прежде всего фрау Штер, хотя ей не уступали дамы Заломон, Редиш, Гессенфельд, Магнус, Ильтис, Леви и прочие, пришли, каждая на свой лад, в такое волнение, что иные начали неистовствовать не хуже самого Попова. Отовсюду доносились пронзительные крики, всюду видны были судорожно зажмуренные глаза, раскрытые рты, неестественно изогнувшиеся торсы. Только одна предпочла тихий обморок. Так как этот бурный инцидент произошел в минуты всеобщего жеванья и глотанья, некоторые стали давиться пищей. Часть сидевших за столами обратилась в бегство, кинувшись к ближайшим выходам, а также к дверям на веранду, хотя на дворе стояла сырая и холодная погода. Но в этом происшествии, помимо его ужаса, чувствовалась еще примесь чего-то непристойного, и всем невольно вспомнились некоторые утверждения доктора Кроковского, высказанные в его последней лекции. Дело в том, что в истекший понедельник этот психоаналитик, рассуждая о любви как болезнетворной силе, коснулся падучей; пользуясь то поэтическими образами, то беспощадно точной научной терминологией, он принялся доказывать, что эта болезнь, в которой доаналитическое человечество видело и священный, даже пророческий дар, и дьявольскую одержимость, является как бы эквивалентом любви, мозговым оргазмом, короче говоря, он изобразил ее в столь подозрительном свете, что те, кто его слушал, увидели в припадке Попова как бы наглядную иллюстрацию к его докладу, некое бурное самообнаружение, загадочный скандал, поэтому в тайном побеге дам сказались даже некоторая стыдливость. В столовой находился сам гофрат, и он, с помощью Милендонк и нескольких молодых, нерастерявшихся пациентов, вытащил в вестибюль находившегося в экстазе Попова, тело которого было сведено судорогой; его лоб посинел, на губах выступила пена. Врачи, старшая сестра и остальной персонал еще долго возились с учителем, все не приходящим в себя, и наконец унесли его на носилках. Однако прошло очень немного времени, и Попов уже снова благодушествовал вместе со своей невестой за «хорошим» русским столом и как ни в чем не бывало доедал обед!

Ганс Касторп, видевший это происшествие, держался с испуганной

почтительностью, по и оно серьезно не затронуло его, бог ему судья! Правда, Попов мог подавиться куском рыбы, но ведь не подавился же, и хотя был в беспамятстве, ярости и исступлении – тайком, наверно, все-таки остерегался. А теперь вон он сидит и доедает обед, словно и не буйствовал только что, как бешеный или человек, допившийся до чертиков; напротив, он очень бодр и, наверное, уже ничего не помнит. Да и весь его облик был не таков, чтобы поддержать в Гансе Касторпе уважение к страданию. Невеста только усиливала впечатление от царивших здесь наверху легкомыслия и распущенности, с которыми он то и дело сталкивался; все же он твердо решил с ними бороться, сблизившись с тяжелобольными и «морибундусами», хотя это и противоречило местным нравам.

Недалеко от кузенов, на том же этаже, лежала тяжелобольная, совсем молоденькая девушка, Лейла Гернгросс, которой, по словам сестры Альфреды, предстояло скоро умереть. За десять дней у нее было четыре очень сильных горловых кровотечения, и сюда наверх приехали родители, в надежде увезти ее живой. Но это было, видимо, невозможно: гофрат заявил, что бедную маленькую Гернгросс трогать нельзя. Девочке этой было всего лет шестнадцать-семнадцать. Ганс Касторп решил, что вот как раз подходящий случай для осуществления его плана с горшком цветов и пожеланиями выздоровления. Правда, до дня рождения Лейлы было далеко, да она, если верить человеческому предвидению, и не дотянула бы до него, – по справкам, наведенным Гансом Касторпом, этот день рождения должен был наступить только весной, – но он решил, что отсутствие официального повода не должно служить препятствием для задуманного им акта милосердной галантности. Во время одной из предобеденных прогулок в местечко он зашел вместе с кузеном в цветочный магазин и, вдыхая всей грудью тяжелое благоуханье сырой земли и цветов, выбрал красивый куст гортензий и послал умирающей молоденькой девушке, не указывая от кого и лишь приложив карточку, на которой написал: «От двух коллег по санаторию с сердечными пожеланиями скорейшего выздоровления!» Все это он делал радостно, приятно взволнованный царившим в магазине ароматом растений и влажным теплом, от которого, после уличного холода, слезились глаза; а сердце его усиленно билось при мысли о необычности, смелости и значительности совершаемого им втайне человеколюбивого поступка, которому он в душе придавал глубоко символическое значение.

У Лейлы Гернгросс не было отдельной сестры, больная находилась под непосредственным наблюдением фрейлейн фон Милендонк и врачей, но Альфреда часто забегала к ней; она-то и сообщила молодым людям о

том впечатлении, которое произвело на молодую девушку их внимание. Лейла, безнадежно замкнутая тяжелой болезнью в круг все тех же однообразных впечатлений, обрадовалась, как дитя, привету чужих людей. Гортензии стояли возле ее кровати, девочка ласкала их взглядами и гладила руками, заботилась о том, чтобы цветок поливали, и даже во время жесточайших приступов кашля не отрывала от него измученного взгляда. Родители, майор в отставке Гернгросс и его жена, тоже были крайне тронуты и обрадованы, и так как они в санатории никого не знали и даже не могли строить предположений о том, кто же все-таки прислал цветы, Шильдкнехт, как она сама потом проговорила, не в силах была утерпеть, раскрыла тайну анонима и назвала кузенов. Она же передала им от всей семьи Гернгросс приглашение зайти, чтобы познакомиться и поблагодарить их; и вот через день оба молодых человека, следуя за диаконисой, вошли на цыпочках в комнату больной.

Умиравшая оказалась прелестной белокурой девчуркой с голубыми, как незабудки, глазами; несмотря на то что она потеряла очень много крови и едва дышала какими-то остатками легочной ткани, Лейла производила впечатление хрупкого, но не жалкого создания. Она поблагодарила молодых людей и принялась болтать с ними глуховатым, но приятным голосом. На ее щеках появился розовый отблеск и уже не сходил с них. Ганс Касторп объяснил свой поступок так, как следовало в присутствии родителей, и слегка извинился; он говорил вполголоса, с взволнованной и нежной почтительностью. Еще немного – а такое желание у него возникло – и он опустился бы перед постелью девушки на одно колено; во всяком случае, он долго сжимал в своей руке руку Лейлы, хотя эта горячая ручка была не только влажной, а мокрой, ибо бедняжка обливалась потом. Из ее тела непрерывно выделялось столько воды, что оно давно бы сморщилось и высохло, если бы потери эти не восстанавливались: девушка жадно поглощала лимонад, полный графин которого стоял на ее ночном столике. Хотя родители и были глубоко удручены, они любезно поддерживали недолгую беседу, расспрашивая о личных обстоятельствах кузенов и касаясь других тем, как это принято в культурном обществе. Достаточно было посмотреть на майора, широкоплечего, низколобого здоровяка с топорщившимися усами, и становилось совершенно ясно, что этот богатырь органически неповинен в предрасположении и восприимчивости дочери к болезни. Виновницей, вероятно, была жена, маленькая женщина – выраженный тип чахоточной, к тому же, видимо, угнетенная тем, что дочь получила именно от нее плохую наследственность. Когда у Лейлы минут через десять появились признаки усталости, или, вернее, чрезмерного

возбуждения (щеки ее разгорелись еще сильнее, незабудковые глаза лихорадочно заблестели), кузены, которым сестра Альфреда бросила многозначительный взгляд, поспешно распрощались. Фрау Гернгросс проводила их до двери и горячо начала обвинять себя, чем Ганс Касторп был глубоко взволнован; она, она одна во всем виновата, сокрушалась маленькая женщина, только от нее могла унаследовать болезнь ее бедная девочка, муж тут не виноват, он совершенно ни при чем. Да ведь и у нее самой, это могут подтвердить многие, легкие были только слегка затронуты, и болела она совсем недолго, еще когда была девушкой. А потом она справилась с недугом, выздоровела, врачи ее уверили в этом – ей так хотелось выйти замуж, очень хотелось, хотелось жить, и это удалось. Она была вполне здорова, когда вышла за своего дорогого мужа, а уж он крепок, как дуб, и со своей стороны никогда и не думал о возможности такой болезни. Но хотя организм отца здоров и крепок, а все-таки его кровь не пересилила, и беда стряслась. И вот в ребенке опять вскрылось то страшное, давно забытое, с чем давно покончено, и девочка не может справиться, она погибнет, а она, мать, победила болезнь, и теперь настал более безопасный возраст; но ее несчастное дорогое дитя умрет, врачи не дают никакой надежды, и во всем виновата она и ее прошлое.

Молодые люди пытались ее утешить и говорили о том, что возможен еще благополучный исход. Однако майорша только всхлипывала и опять принялась их благодарить за все, за все, за гортензии и за то, что они своим посещением хоть немного развлекли и порадовали бедную девочку. Ведь она лежит, бедняжка, совсем одна и мучается, а другие ее сверстницы веселятся и радуются жизни, танцуют с красивыми молодыми людьми, ведь, несмотря на болезнь, танцевать-то все-таки хочется. Они принесли с собой хоть немного солнышка, боже мой, наверное уж напоследок... Эти гортензии были для нее точно успех на балу, а возможность поболтать с такими двумя видными кавалерами – вроде невинного маленького флирта, она, мать, сразу это заметила.

Однако последнее замечание матери задело Ганса Касторпа, тем более что майорша произнесла «флирт» неправильно, то есть не на английский лад, а на немецкий, и это его очень раздражило. Кроме того, никакой он не «видный кавалер», а навестил маленькую Лейлу из чувства протеста против царящего здесь эгоизма и из соображений духовно-медицинского характера. Словом, ему не очень понравился оборот, который дело приняло в конце их визита, поскольку майорша подошла к этому не так, как следовало, но все же он был оживлен и доволен тем, что выполнил свое намерение. Два впечатления его поразили и остались в его душе и в

памяти: аромат земли в цветочном магазине и прикосновение влажных ручек Лейлы. И так как начало было уже положено, он сговорился с сестрой Альфредой на тот же день о посещении еще одного ее больного – а именно Фрица Ротбейна, который неимоверно скучал в обществе своей сиделки, хотя, если все признаки не обманывали, ему осталось жить очень недолго.

Сколько добрейший Иоахим ни отговаривался, ему тоже пришлось пойти. Напор Ганса Касторпа и его сердобольная предприимчивость были сильнее, чем неохота кузена; Иоахим только молчал и опускал глаза, это был единственный способ выразить свой протест, иначе его обвинили бы в недостатке христианских чувств. Ганс Касторп отлично это видел и умело использовал. Понимал он, и почему двоюродный брат противится его планам как военный. Ну и что же, если такие начинания вливали в него бодрость, давали счастье, приносили пользу? Надо было просто перешагнуть через это молчаливое сопротивление. Он обсудил с ним, можно ли и молодому Фрицу Ротбейну прислать или принести цветы, хотя бедный «морибундус» мужчина. Уж очень Гансу Касторпу хотелось это сделать: ведь цветы в этих случаях так подходят; опыт с лиловой изящной гортензией чрезвычайно ему понравился; поэтому он решил, что пол пациента роли не играет, раз больной в предсмертном состоянии, и для подношения цветов здесь тоже не нужно никакого празднества, разве с умирающими не надо обходиться так, словно каждый день – их день рождения? Итак, кузены снова посетили цветочный магазин, где пахло теплом, землей и цветами, и прибыли к господину Ротбейну с букетом, состоявшим из только что опрыснутых водою роз, гвоздик и левкоев, следом за Альфредой, возвестившей о приходе молодых людей.

Тяжелобольной, которому едва можно было дать двадцать лет, уже лысоватый, уже седеющий, с восковым измученным лицом, большерукий, большеносый, ушастый, был тронут чуть не до слез и горячо благодарил за участие и развлечение – он от слабости и в самом деле всплакнул, когда здоровался с кузенами и увидел букет, но почти тут же заговорил, хотя почти беззвучно, о европейской цветочной торговле и ее все растущем размахе, о гигантском экспорте садоводств в Ницце и Каннах, о вагонах, груженных цветами, и почтовых посылках, которые ежедневно идут во все концы света, об оптовой торговле Парижа и Берлина и о снабжении цветами России. Ведь он был коммерсантом, и, пока был жив, его интересы не шли дальше этой сферы. Отец, имевший в Кобурге фабрику кукол, отправил сына для дальнейшего образования в Англию, – так рассказывал больной шепотом, – там-то он и заболел. Его лихорадочное состояние

приняли за тиф и стали лечить соответствующим образом, то есть посадили на строжайшую диету, потому-то он так и ослабел. Здесь наверху ему разрешили есть, и он начал есть; в поте лица своего старался он, сидя в постели, питаться как можно лучше. Но оказалось, что поздно, его кишечник, увы, тоже поражен болезнью, и напрасно ему посылают из дому копченые языки и шпик, он их уже не переносит. А теперь Беренс телеграммой вызвал из Кобурга его отца, и тот едет сюда; дело в том, что врачи решили применить крайние меры, они намерены испробовать резекцию ребер, хотя он слабеет с каждым днем и шансов на успех становится все меньше. Ротбейн рассказывал обо всем этом шепотом, но весьма обстоятельно и к вопросу об операции подходил с чисто деловой точки зрения – видно было, что, пока он жив, он иначе и не будет ни к чему относиться. Самое дорогое при этой операции, шептал он, это анестезия спинного мозга, все обойдется в тысячу франков, ведь вопрос идет о целой грудной клетке – от шести до восьми ребер; так спрашивается – стоит ли игра свеч. Беренс уговаривает его, ясно, что это в интересах врача, но едва ли в интересах самого Ротбейна, и, может быть, разумнее спокойно умереть, сохранив в целости все свои ребра.

Трудно было что-либо ему посоветовать. Кузены высказали мнение, что надо принять в расчет и то, какой гофрат искуснейший хирург. Сошлись на том, чтобы отложить этот вопрос до приезда старика Ротбейна, – его ждут со дня на день, пусть он и решит. При прощании Фриц опять всплакнул; слезы странно не вязались с сухой деловитостью его мыслей и суждений и были только результатом слабости. Он просил молодых людей еще раз навестить его, и они охотно обещали, но повидать его уже не пришлось, ибо в тот же вечер прибыл фабрикант кукол, на другое утро была сделана операция, и после нее Фриц уже не мог принимать гостей. А через два дня, когда Ганс Касторп и Иоахим случайно проходили мимо комнаты Ротбейна, они увидели, что в ней производится уборка. Сестра Альфреда успела покинуть санаторий «Берггоф», ее срочно вызвали в другое лечебное заведение, к другому «морибундусу»; и она, закинув за ухо шнурок пенсне и со вздохом подхватив свой чемоданчик, перекочевала туда, ибо это было единственное, что ей могла предложить жизнь.

Опустевшая, освободившаяся комната, с нагроможденными друг на друга столами и стульями, с распахнутыми настежь двойными дверями и в которой, как ты замечаешь, направляясь в столовую или на прогулку, производится уборка, – зрелище красноречивое, но столь привычное, что оно уже почти ничего не говорит идущему мимо, особенно если ты сам

въехал в такую же «освободившуюся» и прибранную комнату и к ней привык. Иной раз знаешь, кто именно жил в этой комнате, и тогда невольно задумываешься; так было и в этот раз и неделю спустя, когда Ганс Касторп увидел, что комната маленькой Гернгросс пуста и в ней производится уборка. Его разум сначала отказался понять смысл царившей там хлопотливой деятельности. Он остановился перед дверью, растерянный, пораженный, и вдруг увидел проходившего по коридору гофрата.

– А вот я стою и смотрю, как убирают, – сказал Ганс Касторп. – Здравствуйте, господин гофрат, значит, маленькая Лейла...

– Н-да, – ответил Беренс и пожал плечами. После паузы, когда рассеялось впечатление, вызванное этим жестом, он добавил: – А вы успели, так сказать, под занавес, еще скоренько поухаживать за ней по всем правилам? Мне нравится, что вы, относительно крепкий молодой человек, немножко сочувствуете моим бедным легочным свистунчикам в клетках. Благородная черта, нет, нет, не спорьте, будем справедливы, это действительно благородная черта в вашем характере. Можно вас время от времени знакомить с тем или другим? У меня ведь тут еще немало сидит чижиков, – если это вас интересует. Вот хотя бы сейчас – хочу заглянуть к своей «передутой». Пойдем? Я просто представлю вас, как сочувствующего товарища по несчастью.

Молодой человек ответил, что гофрат точно прочел его мысли и предложил именно то, о чем Ганс Касторп хотел сам попросить. Он с благодарностью воспользуется разрешением и присоединится к нему. Но кто же такая эта «передутая», и в каком смысле понимать подобное прозвище?

– Буквально, – ответил гофрат. – В прямом смысле слова, без всяких метафор. Да она сама вам расскажет. – Сделав несколько шагов, они оказались перед ее комнатой. Гофрат вошел через двойную дверь, сказав, чтобы его спутник подождал. При появлении Беренса в комнате раздался сдавленный, но звонкий и веселый смех и чья-то речь, которая тут же оборвалась, так как дверь захлопнулась. Смехом же был встречен и сочувствующий гость, когда через несколько минут, позванный Беренсом, вошел в комнату, и тот представил его белокурой даме, с любопытством смотревшей на него голубыми глазами; опираясь на подложенные под спину подушки, она полусидела в постели, каждую минуту беспокойно смеясь рассыпающимся, очень высоким серебристым смехом, и при этом задыхалась, словно удушье возбуждало ее, как щекотка. Впрочем, она смеялась, вероятно, и той витиеватой галантностью, с какой гофрат ей представил гостя, а когда врач уходил, крикнула вслед – прощайте, спасибо,

до свидания, помахала рукой, шумно вздохнула, рассыпала серебро своего смеха и прижала руки к вздымавшейся под батистовой сорочкой груди, продолжая все время судорожно перебирать ногами. Ее звали фрау Циммерман.

Ганс Касторп знал ее в лицо. Она перед тем некоторое время сидела за столом фрау Заломон и прожорливого подростка и постоянно смеялась. Потом исчезла, но молодой человек тогда не обратил на это внимания. Может быть, уехала, решил он, заметив ее исчезновение. И вот она здесь, и ее почему-то прозвали «передутая». Он ждал объяснения этого прозвища.

– Ха-ха-ха, – сыпала она, точно ее щекотали, и грудь ее бурно вздымалась. – Ужасно смешной этот Беренс, невероятно смешной и занятный человек, сума сойти можно, умереть со смеху! Садитесь же, господин Кастен, господин Карстен, или как там ваша фамилия, у вас она такая смешная, ха-ха, хи-хи, извините меня, пожалуйста! Садитесь вон на тот стул в ногах постели, но разрешите мне шевелить ногами, я никак не могу... ха-а, – задыхалась она, открыв рот и снова рассыпаясь смехом, – никак не могу перестать...

Она была довольно хорошенькая: резковатые, но правильные и приятные черты, чуть насмешливый двойной подбородок, хотя губы с синеватым оттенком, так же как и кончик носа, бесспорно свидетельствовали о затрудненности дыхания. Ее руки, приятно худые и красиво выступавшие из кружевных обшлагов ночной сорочки, также ни минуты не оставались в покое. Шея у нее была девичья, с глубокими впадинами под хрупкими ключицами, грудь, все время порывисто и беспокойно вздымавшаяся от смеха и удушья, тоже казалась нежной и молодой. Ганс Касторп решил, что и ей непременно пошлет или принесет красивые цветы из экспортирующих за границу садоводств Ниццы и Канн, влажные и благоухающие. Он с некоторым трудом присоединился к бурной и судорожной веселости фрау Циммерман.

– Итак, вы навещаете здесь тяжелобольных? – спросила она. – Как занятно и любезно с вашей стороны, ха, ха, ха, ха! Но представьте, я вовсе не была тяжелобольной, то есть совсем даже нет, еще недавно не была, ни чуточки... пока со мной недавно... эта история... Послушайте, это, наверное, самое смешное, что вам за всю вашу жизнь приходилось... – И, то ловя губами воздух, то заливаясь смехом, она рассказала, что с ней приключилось.

Сюда она приехала слегка больной, но все-таки больной – иначе она бы не приехала, – может быть, и не так уж легко больной, но, во всяком случае, скорее легко, чем тяжело. Пневмоторакс, это недавнее, однако

быстро ставшее популярным изобретение хирургической техники, в ее случае дало блестящие результаты. Операция вполне удалась, здоровье и самочувствие фрау Циммерман все улучшалось, ее мужу – она была замужем, но бездетна – обещали, что месяца через три-четыре она сможет вернуться домой. И вот, чтобы развлечься, она поехала в Цюрих – никаких других причин, кроме желания развлечься, у нее не было. И она отлично развлекалась, но при этом решила, что ей необходимо опять поднадуться, и доверила это дело одному тамошнему врачу. Очень милый и занятный молодой человек, ха-ха-ха, ха-ха-ха, но что же случилось? Он ее передул. Этого не назовешь иначе, этим словом все сказано. Он перестарался, видно не очень был опытен, словом: передутая, то есть с одышкой и спазмами сердца – ха! хи, хи, хи! – вернулась она сюда наверх, а Беренс зверски разбранил ее и сейчас же загнал в постель. И вот теперь она серьезно больна – не безнадежно, нет, – но исковеркана, изуродована, ха-ха-ха... Почему у него такое выражение лица? Такое странное? И она, тыча в него пальцем, так хохотала над его лицом, что даже лоб у нее посинел. Но смешнее всего был Беренс, заявила она, с его гневом и грубостью – она уже заранее хохотала над тем, как он ее встретит, когда заметила, что ее передули. «Вашей жизни угрожает непосредственная опасность», – заорал он на нее без всяких обиняков и церемоний, такой медведь, ха-ха-ха, хи-хи-хи, извините, пожалуйста.

Оставалось непонятным, почему она так рассыпчато смеялась над словами гофрата – только из-за их «грубости» или из-за того, что она ему не поверила, или, хоть и поверила – ведь поверить она все же должна была, – но ее положение, само по себе, то есть смертельная опасность, в которой она находилась, – представлялось ей таким уж невыразимо комичным? У Ганса Касторпа осталось впечатление, что вероятнее второе, и она действительно только по своему легкомыслию и глупости своего птичьего ума щебечет, хихикает и заливается, и он очень этого не одобрил. Цветы он все же ей послал, но увидеть вторично смешливую фрау Циммерман ему не пришлось: продержавшись еще несколько дней на кислороде, она в самом деле умерла в объятиях своего супруга, которого вызвали телеграммой; дурища необыкновенная, добавил от себя гофрат, от которого Ганс Касторп узнал о ее смерти.

Но еще до этого овладевший Гансом Касторпом дух предприимчивого участия помог ему, при содействии гофрата и медицинского персонала, завязать дальнейшие знакомства с тяжелобольными пациентами, а Иоахиму пришлось повсюду сопровождать его. Так он вместе с Гансом Касторпом посетил сына «Tous-les-deux», – второго, этот был жив, а в комнате первого

уже давно прибрали и покурили H₂SO. Потом мальчика Тедди, недавно прибывшего сюда наверх из «Фридрицианума» – закрытого учебного заведения, где его настигла болезнь в очень тяжелой форме. Затем русского немца, Антона Карловича Ферге, служащего страхового общества, добродушного страдальца. А также злосчастную и все-таки желавшую нравиться фрау Малинкрод; Ганс Касторп послал ей цветы, как и остальным, и в присутствии Иохима даже несколько раз кормил ее кашей... Постепенно пошли слухи об их деятельности, их стали называть самаритянами и братьями милосердия. Сеттембрини однажды заговорил с Гансом Касторпом на эту тему.

– Черт побери, инженер, я слышу о вас удивительные вещи. Вы пустились в благотворительность? Хотите оправдаться добрыми делами?

– Пустяки, господин Сеттембрини, и говорить-то не о чем. Мы с кузеном...

– Оставьте вашего кузена в покое! Если говорят о вас обоих, то, конечно, все дело в вас. Лейтенант – человек почтенный, но простая натура, без всяких затаенных опасностей, воспитателю он не доставит особых трудностей. И вы меня не убедите, будто руководящую роль играет он. Более важную, но и более опасную играете вы. Если можно так выразиться, вы трудное дитя нашей жизни, и о вас постоянно надо заботиться. Впрочем, вы ведь мне разрешили заботиться о вас.

– Ну, конечно, господин Сеттембрини, раз и навсегда. С вашей стороны это очень любезно. А «трудное дитя нашей жизни» – удачно сказано. Что только писателям не придет в голову! Не знаю, имею ли я право что-нибудь вообразить о себе по поводу такого титула, но звучит он очень хорошо, должен признать. Да, а вот я уделяю некоторое внимание «детям смерти», вы, видимо, это и имеете в виду. Когда есть время, я – ни в какой мере не в ущерб лечению – посещаю тяжело и серьезно больных, понимаете ли, тех, кто здесь не для забавы и болел не от распушенности, тех, кто умирает.

– Но ведь написано: «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов»^[108], – заметил итальянец.

Ганс Касторп воздел руки, как бы желая сказать – мало ли что написано – пишут и так и наоборот, поэтому трудно найти истинное и следовать ему. Шарманщик, конечно, в оппозиции, этого следовало ожидать. Но если Ганс Касторп, как и прежде, готов был выслушивать его, находить его теории заслуживающими внимания и ради опыта поддаваться его педагогическому воздействию, все же отсюда еще очень далеко до того, чтобы ради каких-то педагогических воззрений отказаться от сближения с

тяжелобольными, несмотря на мамашу Гернгросс с ее разговорами о «невинном маленьком флирте», на будничную расчетливость бедняги Ротбейна и глупое хихиканье «передутый», ибо это сближение все еще представлялось Гансу Касторпу полезным и весьма значительным.

Сына «Tous-les-deux» звали Лауро. Он тоже получил цветы, благоухающие землей фиалки из Ниццы, «от двух сочувствующих коллег по санаторию, с сердечными пожеланиями скорейшего выздоровления», и так как эта анонимность стала уже пустой формальностью и решительно каждый знал, от кого эти дары, то, встретив однажды в коридоре обоих кузенов, к ним обратилась сама «Tous-les-deux», – черно-бледная мать мексиканка, чтобы поблагодарить их; с помощью нескольких, как будто шелестящих слов, а главное – выразительно скорбных жестов и мимики пригласила она их лично принять благодарность от ее сына – *de son seul et dernier fils qui allait mourir aussi*.^[109] Они тут же и зашли. Лауро оказался удивительным красавцем: горящие глаза, орлиный нос с раздувающимися ноздрями, великолепный рот, над которым пробивались черные усики, – но при этом держался с таким напыщенным драматизмом, что гости – Ганс Касторп не меньше, чем Иохим Цимсен – были рады, когда дверь в комнату больного за ними наконец закрылась. Ибо в то время как сама «Tous-les-deux» в своей тяжелой кашемировой шали и черном шарфе, завязанном под подбородком, с поперечными морщинами, пересекающими узкий лоб, и невероятными мешками под глазами, черными, как агат, ходила из угла в угол, согнув колени, горестно скривив рот, и, время от времени приближаясь к сидевшим у кровати, повторяла, как попугай, свое трагическое «Tous les de, vous comprenez, messies... Premièrement l'un et maintenant l'autre...»^[110] – в это время красавец Лауро, тоже по-французски, грассируя и шелестя, разглагольствовал с нестерпимой высокопарностью на ту тему, что он хочет умереть как герой, *comme heros*, а *l'espagnol*, подобно брату, *de meme que son fier jeune frere Fernando*^[111], который тоже умер как испанский герой; при этом Лауро жестикулировал, разорвал на себе рубашку, чтобы подставить свою желтую грудь разящим ударам смерти, и неистовствовал до тех пор, пока не закашлялся, так что на его губах выступила прозрачная розовая пена; это положило конец его хвастовству и дало кузенам возможность на цыпочках удалиться.

Они больше не говорили между собой о посещении Лауро, и даже про себя каждый старался не осуждать его. Зато им обоим гораздо больше понравился Антон Карлович Ферге из Петербурга: у него были густые добродушные усы, и так же добродушно торчал его кадык; господин Ферге

лежал в постели, медленно и с трудом поправляясь после того, как ему попытались сделать пневмоторакс, – во время операции он чуть не погиб и был на волосок от смерти. Он получил очень сильный шок, шок плевры, которым иногда сопровождается эта столь модная операция. Но у него шок произошел в особо тяжелой форме, он сопровождался полным коллапсом и глубоким обмороком, словом, все это было так опасно, что операцию пришлось прервать и пока отложить.

Каждый раз, когда Ферге заговаривал об этой истории, он широко раскрывал свои добродушные серые глаза и лицо его становилось серым – вероятно, он действительно пережил страшные минуты.

– И ведь без наркоза, господа. Ну, хорошо, допустим такие, как я, его не переносят, в подобных случаях наркоз возбраняется, это можно понять, и разумный человек с этим мирится. Но ведь местная-то анестезия проникает очень неглубоко, притупляется лишь чувствительность верхних покровов, и пока тебя вскрывают – чувствуешь только, как что-то тебя сдавливает, мнет. Лежишь с закрытыми глазами, чтобы ничего не видеть, ассистент держит тебя справа, старшая – слева. И кажется, будто тело сдавливают, мнут, – это делают надрез и оттягивают края зажимами. А потом слышу я, как гофрат говорит: «Так!» – и в то же мгновение, господа, начинает щупать подреберную плевру каким-то тупым инструментом – он должен быть тупым, чтобы раньше времени не проколоть ее, – да, значит, начинает щупать плевру: он щупает, чтобы найти нужное место, проколоть его, впустить газ, – и вот, как начал он, как начал водить этим инструментом по моей плевре – ах, господа, господа! Тут мне чуть конец не пришел, я едва не умер, ощущение было неопишное. Подреберная плевра, господа, она такая, ее нельзя касаться, нельзя, невозможно ее трогать, она – табу, она прикрыта плотью, изолирована, неприкосновенна раз и навсегда. А он обнажил ее и начал щупать. И мне, господа, стало дурно. Отвратительно, господа, никогда я не думал, что может у человека возникнуть такое трижды подлое, гнусное, унижительное чувство, какого на земле вообще не бывает – разве что в аду! И со мной случился обморок – сразу три обморока – зеленый, коричневый и фиолетовый. Кроме того, в этом обмороке я дышал страшной вонью, шок подействовал на обоняние, господа... нестерпимо воняло сероводородом, – вероятно так пахнет в преисподней, – и, несмотря на все это, я слышал свой смех, хотя задыхался, но так люди не смеются, это был какой-то залиvistый, непристойный, гадкий смех, я в жизни такого не слышал, оттого что когда щупают плевру, вам кажется, господа, будто вас щекочут самым чудовищным, нестерпимым, нечеловеческим образом; вот какой я испытал нестерпимый

стыд и муку, это и есть плевральный шок, да хранит вас от него господь бог.

Антон Карлович Ферге, часто и неизменно бледнея, вспоминал эту подлую историю и ужасно пугался при мысли о ее возможном повторении. А в остальном – Ферге с самого начала заявил, что человек он вполне обыкновенный, всякие «возвышенные» чувства ему чужды, и пусть к нему не предъявляют никаких особых духовных и нравственных требований, также как он сам их ни к кому не предъявляет. Если помнить об этом, то можно было слушать отнюдь не без интереса рассказы о его прошлом – о той жизни, из которой его вырвала болезнь, жизни повсюду разъезжающего агента страхового общества; живя в Петербурге, он изъездил вдоль и поперек всю Россию, осматривал застрахованные фабрики и собирал сведения о клиентах, чье экономическое положение было ненадежно; ибо статистика показывала, что пожары происходили чаще всего на тех промышленных предприятиях, дела которых шли неважно. Поэтому его и посылали, чтобы под тем или иным предлогом обследовать какое-нибудь производство и сообщить банку своего общества о его положении, а общество могло вовремя увеличить страховые взносы или путем перераспределения премий предотвратить значительные потери. Он рассказывал о зимних поездках по этой огромной стране, о том, как, бывало, целую ночь напролет, в страшный мороз, мчался он, лежа в санях, накрытый овчинами, и, проснувшись, видел над сугробами волчьи глаза, горевшие, как звезды. Он возил с собой в ящике замороженную провизию – щи, белый хлеб, а потом, при смене лошадей, эту провизию на станциях оттаивали, причем белый хлеб оказывался совершенно свежим, как будто его сегодня только испекли. Зато плохо бывало, когда в дороге вдруг застигала оттепель: тогда щи, смерзшиеся кусками, таяли и текли.

Таковы были примерно рассказы Ферге; время от времени он, вздыхая, прерывал свое повествование: все это очень хорошо, но только бы опять не потащили его на этот пневмоторакс. В том, что он сообщал, не было ничего возвышенного, но это был фактический материал, и слушали они его с охотой, особенно Ганс Касторп, который считал для себя полезным узнать побольше о русском государстве и его жизни, о самоварах, пирогах, казаках и деревянных церквях с таким множеством куполов-луковок, что они напоминали колонии грибов. Расспрашивал он и о тамошних людях, об их северной, а потому казавшейся ему еще более увлекательной экзотике, об азиатской примеси в их крови, о широких скулах, о монгольско-финском разрезе глаз; он слушал обо всем этом якобы из интереса к антропологии, заставлял Ферге и говорить по-русски: быстрой, нечеткой, страшно чуждой

и бескостной звучала восточная речь в устах Ферге, осененных добродушными усами, речь, лившаяся из его горла с добродушно выступающим кадыком, и Ганса Касторпа все это занимало тем сильнее (но уж такова молодежь), чем более запретной с педагогической точки зрения была та область, в которой он резвился.

Они частенько заходили на четверть часика к Антону Карловичу Ферге. Кроме того, навещали и мальчика Тедди из «Фридрицианума», белокурого, элегантно одетого четырнадцатилетнего подростка с тонкими чертами лица; у него была отдельная сиделка, и он носил белую шелковую пижаму, расшитую шнурками. Тедди был сирота, судя по его собственным словам. В ожидании более серьезной операции, которая ему предстояла, а именно: попытки удалить пораженные части легких, – он иногда, если чувствовал себя лучше, на час вставал с постели и, надев красивый спортивный костюм, присоединялся к обществу пациентов. Дамы охотно с ним заигрывали, а он прислушивался к их разговорам, например, когда обсуждались отношения адвоката Эйнуфа с некоей особой в панталонах-реформ и с Френцхен Оберданк. Потом снова ложился в постель. Так жил элегантный мальчик Тедди со дня на день, причем давал понять, что ничего другого он уже от жизни и не ждет. В пятидесятой комнате лежала тяжелобольная фрау фон Малинкрод; ее звали Натали, глаза у нее были черные, в ушах висели золотые кольца, она любила кокетничать и наряжаться, и вместе с тем она была Иовом и Лазарем вместе взятыми, да еще в женском обличий, до того господь бог обременил ее всякими недугами. Казалось, весь ее организм насквозь отравлен ядами, так как ее непрерывно постигали всевозможные болезни, то вместе, то порознь. Особенно сильно поражена была кожа, покрытая местами экземой, вызывающей мучительный зуд, а иногда язвочки появлялись даже во рту, почему ей и с ложки-то было трудно есть. Один воспалительный процесс сменялся другим – воспаление подреберной плевры, почек, легких, надкостницы и даже мозга, так что фрау Малинкрод наконец теряла сознание, а сердечная слабость, вызванная жаром и болями, постоянно держала ее в страхе и приводила, например, к тому, что во время еды она не могла проглотить кусок как следует: пища застревала в самом начале пищевода. Словом, она жестоко страдала и, кроме того, была совершенно одинока. После того как фрау Малинкрод бросила мужа и детей ради другого мужчины, вернее мальчишки, возлюбленный в свою очередь покинул ее, как она сама сообщила кузенам, и теперь она оказалась бесприютной, хотя и со средствами – муж все же помогал ей. Она без неуместной гордости пользовалась тем, что он, будучи или просто

порядочным, или все еще влюбленным в нее, посылал ей, ибо сама-то она относилась к себе несерьезно и признавала, что да, она просто нечестная и грешная бабенка, и, понимая это, переносила свои страдания, как Иов, с удивительным терпением и выдержкой и с той стихийной силой сопротивления, которая особенно присуща женщинам, побеждала немощи своего смуглого тела и даже ухитрялась с помощью куска газа, которым по каким-то печальным причинам ей приходилось повязывать голову, еще и украсить себя. Она то и дело меняла драгоценности – начиная утром с кораллов и кончая вечером жемчугами. Обрадовавшись цветам, присланным Гансом Касторпом, она приняла этот дар скорее за проявление галантности, чем за акт милосердия, и пригласила молодых людей выпить чаю у ее ложа, причем сама пила его из чашки с носиком: ее пальцы – даже большой – были до первого сустава сплошь унизаны перстнями с опалами, аметистами, смарагдами. Покачивая золотыми кольцами в ушах, она вскоре же поведала кузенам обо всем, что с ней приключилось. Ее муж – порядочный, но нестерпимо скучный человек, дети тоже порядочные и скучные, во всем пошли в отца, она никак не могла проникнуться к ним особо теплыми чувствами, а вот тот, другой, еще совсем мальчишка, с которым она убежала из дому, тот относился к ней с такой удивительной поэтической нежностью... Но родственники хитростью и силой оторвали его от нее, а потом и мальчику, наверно, было противно, что у нее такая болезнь, тогда она как раз проявилась очень бурно, в самых разнообразных формах. Может быть, молодым людям тоже немного противно, – кокетливо осведомилась она – ее женская натура все-таки восторжествовала над экземой, покрывавшей половину ее лица.

Ганс Касторп свысока подумал об этом мальчишке, которому было противно, и выразил свое пренебрежение легким пожатием плеч. Что касается его, то малодушие поэтического юнца произвело на него как раз обратное впечатление и только его подстегнуло; при следующих своих посещениях он даже искал случая оказать злосчастной ффрау Малинкрод маленькие услуги, которые не требовали особой опытности: осторожно вводил ей в рот кашу, если ее подавали, поил из чашки с носиком, когда у нее кусок застревал в горле, помогал переменить положение в постели, – ко всему еще рана, оставшаяся после операции, мешала ей лежать. Он упражнялся в этих деяниях и по пути из столовой и возвращаясь с прогулки, причем говорил Иоахиму: пусть идет дальше, он только забежит на минутку в пятидесятый номер и посмотрит, как там дела, – испытывая при этом блаженное чувство какого-то расширения своего существа и радости от сознания пользы и внутренней значительности своих добрых

дел – правда, втайне к этому примешивалось и некоторое самодовольство от того, что его поведение такое безупречно христианское, хотя христианство это было столь скромным, добродетельным и достойным всяческой похвалы, что против него ничего нельзя было возразить ни с точки зрения воина, ни с точки зрения педагога-гуманиста.

О Карен Карстед мы еще не говорили, но Ганс Касторп и Иоахим приняли в ней особое участие. Она была частной пациенткой гофрата, и он рекомендовал добросердечным кузенам заняться ею. Целых четыре года она жила здесь без всяких средств, завися целиком от бездушных родственников, которые один раз уже взяли ее отсюда, так как ей, дескать, все равно не жить, и только благодаря настояниям гофрата отправили ее обратно. Она жила в «Деревне» – в дешевом пансионе – щупленькая девятнадцатилетняя девушка с гладко причесанными маслянистыми волосами; в ее робких глазах затаился лихорадочный блеск, говоривший о том же, что и болезненный румянец, голос тоже был глухой, но приятный, кончики пальцев облеплены пластырем, так как на них в результате отравления организма появлялись язвочки, и кашляла она почти непрерывно.

Итак, по просьбе гофрата – раз уж вы такие сердобольные юноши – кузены стали уделять ей особое внимание. Началось с присылки цветов, потом они навестили бедняжку Карен на ее балкончике в «Деревне», затем последовал ряд экстраординарных выходов втроем: то на состязания конькобежцев, то на бобслейные гонки. Был самый разгар зимнего спортивного сезона, и в нашей горной долине целую неделю шли празднества, одно сменяло другое, бесконечные увеселения и зрелища, которым кузены уделяли до сих пор лишь случайное и беглое внимание. Иоахим обычно уклонялся от всех местных развлечений. Не ради этого был он здесь, и вообще он здесь не для того, чтобы просто жить и как-то мириться с жизнью, проводя время приятно и разнообразно; нет, его единственная цель – как можно скорее освободиться от ядов болезни, вернуться на равнину и начать службу, настоящую службу, а не лечебную, – это был ведь только суррогат, – хотя и ее нарушения он допускал только с крайней неохотой. Участвовать активно в зимних удовольствиях ему было запрещено, а просто глазеть на них он не желал. Что касается Ганса Касторпа, то он слишком был погружен в интимный и важный факт своей принадлежности к общине больных здесь наверху и слишком серьезно к этому относился, чтобы интересоваться занятиями людей, видевших в этой горной долине только площадку для спорта.

Однако сердечное сочувствие к бедной фрейлейн Карстед привело в

этом смысле к кое-каким переменам – и Иоахим ничего не мог против них возразить, иначе его отношение могли назвать нехристианским. И вот они зашли за больной в ее убогое жилье, вывели на чистый воздух чудесного, прогретого жарким солнцем морозного дня, отправились вместе с ней в сторону английского квартала, названного так из-за находившегося в нем «Отеля д'Англетер», и зашагали по его главной улице с роскошными магазинами; весело звеня, проезжали сани, и прогуливались населявшие курзал и другие шикарные отели прожигатели жизни и тунеядцы со всех концов света, без шляп, в модной спортивной одежде из дорогих красивых материй, бронзовые от зимнего солнца и сияния снега; затем молодые люди и Карен спустились к катку, расположенному в глубине долины, неподалеку от курзала, – летом он служил футбольной площадкой. Послышалась музыка; курортный оркестр играл на эстраде деревянного павильона, в конце ледяного вытянутого прямоугольника, за которым синели покрытые снегом горы. Они взяли билеты, пробрались меж скамей амфитеатра, с трех сторон окружавшего каток, отыскивали свободные места и стали смотреть. Бегуны, легко одетые, в черном трико и куртках, обшитых мехом и галунами, скользили по льду, раскачивались, балансировали, выписывали фигуры, подпрыгивали и кружились. Два виртуоза, мужчина и дама, профессионалы вне конкурса, исполнили номер, во всем свете доступный только им одним, их наградили бурными аплодисментами, а оркестр исполнил туш. В состязании на скорость участвовали шесть молодых людей разных национальностей, они мчались, нагнувшись вперед, заложив руки за спину, время от времени поднося к губам платок; им предстояло шесть раз обежать длинный четырехугольник катка. Звонил колокол, сливаясь со звуками музыки. Минутами трибуны разражались бурными криками восторга или криками, подбадривавшими бегунов. Пестрая толпа окружала кузенов и их подопечную. Тут были белозубые англичане в шотландских шапочках, болтавшие по-французски с резко надушенными дамами, одетыми с головы до ног в разноцветную шерсть, – иные были в брюках; американцы, прилизанные, с маленькими головками, с трубками в зубах и в шубах мехом наружу; русские, бородатые, элегантные, имевшие вид богатых варваров; голландцы с примесью малайской крови, сидевшие попеременно с немцами и швейцарцами; и, наконец, говорившие тоже по-французски и всюду как бы вкрапленные среди других люди неведомых национальностей, вероятно балканцы или левантинцы, представители некоего фантастического мира, – Ганс Касторп явно питал к нему пристрастие, а Иоахим этот мир отвергал как что-то двусмысленное и расплывчатое. В перерывах, дурачась, состязались дети, они ковыляли по

льду – на одной ноге конек, на другой – лыжа, мальчики катали своих дам на лопатах, толкая их впереди себя, бежали с зажженными свечами, и победителем считался тот, кто добегал до цели, держа в руке еще горящую свечу, брали всякие препятствия, на ходу опускали оловянной ложкой картофелины в расставленные на льду лейки. Взрослые восторгались. Они показывали друг другу самых богатых, известных и очаровательных детей: вон дочка голландского мультимиллионера, этот вон – сын прусского принца, а тот двенадцатилетний подросток носит фамилию владельца известной во всем мире фирмы шампанских вин. Бедная фрейлейн Карен тоже восторгалась и кашляла. От радости она всплескивала руками с язвочками на пальцах. Она так благодарна молодым людям!

Кузены сводили ее на бобслейные состязания: идти было недалеко и от «Берггофа», и от квартиры Карен Карстед, ибо санная дорога начиналась на Шацальпе и кончалась в деревне, между поселками западного склона. На горе поставили контрольную будку и сообщали по телефону о каждом выходе саней со старта. Между двумя обледелыми снежными стенами, по гладкой ледяной дорожке, отливавшей на поворотах металлическим блеском, с горы летели, через большие промежутки, плоские сани со спортсменами и спортсменками; они были в костюмах из белой шерсти, на их груди пестрели шарфы различных национальных цветов, и быстро мелькали мимо красные, напряженные лица, на которые падал снег. Зрители тут же фотографировали аварии, когда сани насккивали на стены, перевортывались и вываливали седоков в сугроб. Здесь тоже играла музыка.

Публика помещалась на небольших трибунах или стояла на узкой расчищенной тропинке, которая тянулась вдоль бобслейной ледовой дороги. Местами тропинка шла через деревянные мостики, на них тоже толпились зрители, а «од ними время от времени со свистом проносились сани, переполненные состязавшимися. „Покойники из санатория там, наверху, вероятно, тоже проносятся со свистом под этими мостами, поворот за поворотом, все ниже, в долину“, – подумал Ганс Касторп и высказал свою мысль вслух.

Даже в биоскоп^[112], находившийся на одной из улиц курорта, повели они как-то под вечер Карен Карстед – уж очень большое удовольствие доставляло ей все это. И вот, в душном, спертом воздухе, физически чуждом всем троим, ибо они привыкли дышать только чистейшим, а от этого теснило дыхание и мысли заволакивала какая-то муть, перед ними, мерцая, понеслись обрывки жизни; казалось, ее разрезали на мелкие кусочки, торопливые и ускользающие, и вот они, раскрываясь перед

зрителем и судорожно дергаясь, на миг задерживаются, а потом, трепеща, уносятся прочь, охваченные постоянной тревогой, под нехитрую музыку, которая, разделяя время на такты и звуча в настоящем, возрождала летучие виденья былого и, невзирая на ограниченность своих средств, ухитрялась дать всю гамму торжественности и пышности, неистовства страсти и томного воркованья чувственности, – и все это проходило на экране перед утомленными глазами молодых людей. Это была волнующая повесть о любви и убийствах, она безмолвно разыгрывалась при дворе восточного деспота, мелькали эпизоды, полные великолепия и наготы, властолюбия и фанатической религиозной покорности, жестокости, вожделения, неистового сладострастия, заторможенные устойчивой наглядностью, когда надо было показать мускулатуру на руке палача, – словом, история, созданная желанием угодить тайным вкусам публики, представляющей собой интернациональную цивилизацию. Сеттембрини, с его склонностью к критике, вероятно, резко осудил бы столь антигуманистическое зрелище и с присущей ему откровенной классической иронией бичевал бы такое злоупотребление техникой ради показа античеловеческих образов и представлений, подумал про себя Ганс Касторп и шепотом поделился своими мыслями с двоюродным братом. Наоборот, фрау Штер, которая тоже пришла сюда и сидела неподалеку от них, была поглощена этими картинами; ее побагровевшее неинтеллигентное лицо даже исказилось от упоения.

Впрочем, на кого ни взглянешь – у всех были такие же лица. Но когда, мерцая, мелькнула и погасла последняя картина, завершавшая вереницу сцен, в зале зажегся свет и поле всех этих видений предстало перед публикой в виде пустого экрана – она даже не могла дать волю своему восхищению. Ведь не было никого, кому можно было бы выразить аплодисментами благодарность за мастерство, кого можно было бы вызвать. Актеры, собравшиеся, чтобы сыграть эту пьесу, давно разбрелись кто куда; люди увидели только тени их игры, миллионы на миг зафиксированных картин, на которые разложили их действия, чтобы в любую секунду в мерцающем быстром течении возвратить их стихии времени. В молчании толпы, после того как угасла иллюзия, чувствовался какой-то нервный упадок, какое-то уныние. Руки людей безжизненно лежали на коленях, словно перед ними было ничто. Иные терли глаза, смотрели перед собой отсутствующим взглядом, как будто им было стыдно яркого света и хотелось вернуться в темноту, чтобы опять увидеть то, что жило раньше, увидеть повторенным, пересаженным в свежее время и подкрашенным румянами музыки.

Деспот умер под ножом палача, рот его был разинут, он издавал рев, которого не было слышно. Затем показывали разные картины: вот президент Французской республики, в цилиндре и с орденой лентой через плечо, отвечает на приветствия, стоя в ландо; вот вице-король Индии на бракосочетании какого-то раджи; немецкий кронпринц^[113] во дворе потсдамских казарм; вот сцены из жизни туземцев в деревне Новый Мекленбург^[114], петушиный бой на острове Борнео, голые дикари, играющие на каких-то странных дудках, охота на диких слонов, церемония при дворе сиамского короля, улица с борделями в Японии, где гейши сидят в деревянных клетках. Вот едут по снежной пустыне Северной Азии закутанные самоеды на оленях, русские паломники молятся в Хевроне^[115], преступников бьют в Персии по пяткам. И при всем этом публика присутствовала; пространство было уничтожено, время отброшено назад, «там» и «тогда» превратились в порхающие, призрачные, омытые музыкой «здесь» и «теперь». Молодая марокканка в полосатой шелковой одежде, покрытая украшениями в виде цепочек, запястий и колец, с тугой, полуобнаженной грудью, вдруг выросла до натуральной величины и словно надвинулась на зрителей. Ее широкие ноздри раздувались, глаза блестели радостью животной жизни, лицо было все в движении: она смеялась, показывая белые зубы, одну руку с ногтями светлее, чем кожа, она поднесла к глазам, словно заслоняя их от солнца, другой махала публике. Публика смущенно смотрела в лицо очаровательной тени, которая, казалось, и глядит и не видит, до которой ничей взгляд не доходит, а смех и кивки живут не в настоящем, а «там» и «тогда», и поэтому было бы нелепо отвечать на них. Вследствие этого, как мы уже отмечали, к удовольствию примешивалось чувство какого-то бессилия. Затем призрак исчез и экран стал пустым и светлым, на него точно бросили слово «конец», цикл картин закончился, зрители молча стали выходить из театра, а в дверях теснилась новая публика, жаждавшая посмотреть зрелище, которое должно было повториться.

Вняв уговорам фрау Штер, присоединившейся к ним, они все вместе зашли в кафе курзала, чтобы доставить удовольствие бедняжке Карен, которая, желая выразить свою благодарность, все время держала руки сложенными. Здесь тоже играла музыка. Небольшим оркестриком, с одетыми в красные фраки музыкантами, управляла первая скрипка – не то чех, не то венгерец; он стоял отдельно от оркестрантов, среди танцующих пар, и яростно водил смычком, сопровождая свою игру огненными телодвижениями. За столиками было по-светски оживленно. Подавались

дорогие напитки. Кузены заказали оранжад для себя и своей подопечной, так как было жарко и пыльно, а фрау Штер потребовала ликеру. В эти часы, заявила она, тут еще не настоящее веселье. Танцуют всю только вечером; сюда нахлынут многочисленные пациенты из различных лечебных заведений и «дикие», живущие в отелях и в курзале, и не один тяжелобольной, танцуя, отправился отсюда прямо на тот свет, после того как осушил до дна чашу наслаждений и у него перед финалом в последний раз хлынула горлом кровь *in dulci júbilo*^[116]. Фрау Штер, по своему глубокому невежеству, образовала это *in dulci júbilo* самым невероятным образом: первое слово она взяла из словаря итальянских музыкальных терминов, который имелся у ее мужа, – оно, видимо, являлось искаженным «dolce», второе напоминало что-то вроде «юбилея» или бог весть что в том же роде – кузены одновременно сунули в рот соломинки, торчащие из бокалов, как только услышали эту латынь; но Штериха ничуть не обиделась; напротив, выставив свои заячьи зубы, она с помощью всяких ядовитых намеков попыталась вызнать, каковы отношения между этими тремя молодыми людьми, – одно в них, по ее глубокому убеждению, было ей совершенно ясно: конечно, этой девице очень удобно, при ее мизерных средствах, иметь в качестве покровителей одновременно двух столь галантных рыцарей. Менее понятным представлялось ей отношение к Карен самих рыцарей; но, невзирая на всю свою глупость и неотесанность, она, с чисто женской интуицией, все же нашла какое-то решение этого вопроса, правда – неполное и банальное; ибо она сообразила и язвительно дала понять, что истинным и подлинным рыцарем здесь является именно Ганс Касторп, влечение которого к мадам Шоша было ей известно, а молодой Цимсен только так, на ролях ассистента, и что его двоюродный брат покровительствует этой выдре Карстед, желая хоть как-нибудь вознаградить себя за то, что приблизиться к другой ему никак не удастся; такая догадка была вполне достойна фрау Штер, этой мещанки, и лишена всякой моральной глубины, почему Ганс Касторп и ответил лишь усталым, презрительным взглядом, когда она, пошло его поддразнивая, высказала ее. Дружба с бедняжкой Карен, конечно, служила некоторой заменой и помогала ему забыться, так же как и все его филантропически нравственные начинания. То удовлетворение, которое он испытывал, когда кормил кашей страдалицу Малинкрод, выслушивал повествование господина Ферге об испытанном им адском плевральном шоке или видел, как бедняжка Карен от радости и благодарности всплескивает руками с облепленными пластырем кончиками пальцев, – это удовлетворение хоть и было, конечно, не столь уж непосредственным и бесспорным, но все же

чистым и естественным; оно рождалось из совсем иного духовного строя, нежели тот, от чьего имени Сеттембрини выступал как педагог, однако молодому Гансу Касторпу казалось, что и к этому строю применимы слова *placet experiri*.

Домик, в котором жила Карен Карстед, стоял недалеко от водостока и полотна узкоколейки, по пути в деревню, и кузенам было очень удобно заходить за ней во время обязательной прогулки после первого завтрака. И если они шли этой дорогой в сторону деревни, чтобы выйти на главный проспект, то перед ними высился малый Шьяхорн, за ним справа выступали три зубца, называвшиеся «Зеленые башни», теперь также покрытые ослепительно блестящим на солнце снегом, а еще дальше справа – вершины Дорфберга. На одной четверти его высоты тянулось кладбище «Деревни», окруженное стеной, оттуда, наверно, открывался красивый вид на озеро, почему оно и могло служить целью для прогулок. Однажды они и поднялись туда в чудесное утро – все дни теперь были чудесные: безветренные, солнечные, ярко-синие, жарко-морозные и бело-сверкающие. Кузены, один кирпично-красный, другой бронзовый от загара, были только в костюмах – не таскать же с собой пальто при таком солнце, – молодой Цимсен в спортивной одежде и резиновой обуви для хождения по снегу, Ганс Касторп тоже, но в длинных брюках, так как физически не мог привыкнуть носить короткие. Уже шел февраль нового года. Верно, цифра года изменилась, после того как Ганс Касторп приехал сюда наверх, и уже писалась другая, следующая. На часах мирового времени передвинулась на единицу одна из больших стрелок, – конечно, не самая большая, отмеряющая тысячелетия, – немногие из ныне живых будут присутствовать при этом; а также и не та, которая отмечала столетия или даже десятилетия, нет, не она. Но все же стрелка, отмечающая годы, передвинулась, притом совсем недавно, хотя с тех пор как Ганс Касторп стал жить здесь наверху, года еще не прошло, а всего немногим больше шести месяцев; но теперь она опять стояла неподвижно, как стрелки на некоторых больших часах, передвигающиеся только каждые пять минут. И пока тронется с места эта годовая стрелка, должна еще десять раз передвинуться месячная стрелка, а это в несколько раз больше, чем за все то время, что Ганс Касторп здесь прожил, – февраль не считался, ведь если он уже пришел, то и прошел, что разменено, то и растрчено.

Итак, трое молодых людей однажды отправились на дорфбергское кладбище – ради точности отчета следует упомянуть и об этой прогулке. Инициатива принадлежала Гансу Касторпу, и вначале Иоахим колебался, опасаясь за бедняжку Карен, но потом признал и согласился с тем, что

нелепо играть с ней в прятки и уж так оберегать ее, как себя оберегала трусиха Штер, от всего, что напоминало об exitus'e^[117]. Дело в том, что Карен Карстед еще не предавалась самообману, обычному при последней стадии болезни, но отлично понимала, в каком она состоянии и признаком чего является этот некроз пальцев. Знала она также, что бессердечные родственники не захотят и слышать о такой роскоши, как перевоз ее тела на родину, и что после кончины ей отведут скромное местечко там, наверху, на деревенском кладбище. И, пожалуй, такая прогулка была для нее с моральной точки зрения более подходящей, чем, например, бобслейные состязания и кино; кроме того, посещение лежавших там, наверху, являлось как бы актом товарищеского внимания, если оно не было просто прогулкой или не имело целью осмотр кладбища как местной достопримечательности.

Они медленно поднимались гуськом, так как расчищенная в снегу дорожка давала возможность идти только по-одному, поравнялись с последними, высоко стоящими на склоне вилами, потомвиллы оказались уже под ними, опять открылся знакомый ландшафт во всей его зимней красоте, но более широкий, с чуть сдвинутой перспективой. Он развертывался на северо-восток, в сторону устья долины; открылся и долгожданный вид на озеро, замерзшее в своей лесистой оправе, засыпанное снегом, а за дальним берегом горные склоны как будто сходились и, одна другой выше, вздымались в голубое небо незнакомые вершины. Молодые люди на все это поглядели, стоя в снегу перед каменными кладбищенскими воротами, затем вошли через железную калитку, которая была не заперта, а только притворена.

И здесь были расчищены дорожки, между обнесенными решетками, покрытыми пухлым снегом одинаковыми могильными холмиками, с крестами каменными и металлическими, с небольшими памятниками, которые были украшены медальонами и надписями. Кругом тишина, ни души. Безмолвие, уединенность и покой казались здесь как-то по-особенному глубокими и таинственными, и в их сложный смысл было нелегко проникнуть; маленький каменный ангел или божок, стоявший среди кустов в снежной шапочке слегка набекрень, приложив палец к губам, очень подходил для гения этого места, другими словами – для гения молчания, такого молчания, которое очень отличалось от речи, было ее полной противоположностью, то есть умолканием, не имевшим ничего общего с пустотой и бессодержательностью, – удобный случай для обоих мужчин, чтобы снять шляпы, будь они в шляпах. Но они были без них, Ганс Касторп тоже, поэтому, идя гуськом за Карен Карстед, они почтительно

опустили головы, ступали на цыпочках и слегка наклонялись то вправо, то влево.

Кладбище было неправильной формы, сначала оно тянулось узким прямоугольником к югу, затем расходилось, тоже прямоугольниками, на две стороны; видимо, его много раз вынуждены были расширять и к нему, один за другим, добавлялись участки. И все-таки, казалось, оно опять полно и вдоль ограды, и внутри, где были менее привилегированные места, – Клочка земли свободного не найдешь для новой могилы. Трое пришельцев довольно долго ходили неслышно по узеньким тропкам и переходам между надгробиями, останавливаясь то тут, то там, чтобы прочесть чье-нибудь имя, а также дату рождения и смерти. Памятники и кресты были очень скромны, без всякой пышности. Что касается надписей, то здесь были похоронены люди со всех концов света – встречались фамилии английские, русские и вообще славянские, а также немецкие, португальские и многие другие; однако даты свидетельствовали о хрупкости этих людей, масштабы жизни были очень невелики, время от рождения до смерти почти всегда не превышало двадцати лет – молодежь почти сплошь – зрелых здесь не попадалось, все народ непрочный; отовсюду съехались они в эту долину и перешли окончательно к горизонтальной форме существования.

В этой обители последнего упокоения, где-то среди тесноты надгробий, они увидели местечко длиной как раз с человеческое тело, между двумя могилами с металлическими венками, и невольно все трое приостановились перед ним. Так стояли они, девушка немного впереди своих спутников, и читали горестные надписи на камнях: Ганс Касторп – в непринужденной позе, скрестив руки на груди; его рот приоткрылся, взгляд стал каким-то дремотным; молодой Цимсен – весь подтянувшись и не только строго выпрямившись, но даже слегка откинувшись назад, причем оба с двух сторон одновременно заглянули тайком в лицо Карен Карстед. Но она все-таки заметила их взгляды и продолжала стоять, скромно и смущенно, слегка наклонив голову набок, потом улыбнулась напряженной улыбкой и быстро заморгала.

Вальпургиева ночь

[\[118\]](#)

На днях должно было исполниться семь месяцев жизни Ганса Касторпа здесь наверху, а жизни Иоахима (когда приехал Ганс Касторп, у него было за плечами уже пять) – целых двенадцать, то есть ровно год, круглый годик, круглый в космическом смысле этого слова, ибо с тех пор как маленький, но сильный паровозик ссадил тут Иоахима, земля закончила полный оборот вокруг солнца и вернулась в ту же точку, в какой была тогда. Наступила карнавальная неделя. Пост стоял уже у дверей, Ганс Касторп осведомился у старожилы Иоахима, как тут проводят карнавал.

– Magnifique [\[119\]](#), – отозвался за него Сеттембрини, когда кузены опять как-то встретились с ним на утренней прогулке. – Splendide. [\[120\]](#) Как в Пратере [\[121\]](#) в дни гуляния, вот увидите, инженер! Мы сразу превратимся в блестящих кавалеров и выстроимся в ряд, – продолжал он, сопровождая свои ядовитые слова весьма выразительными движениями рук, плеч и головы. – Что вы хотите, и в maison de sante [\[122\]](#) иной раз бывают балы для безумцев и дураков, я читал... Почему же не может быть здесь? В программу входят всевозможные danses macabres [\[123\]](#), как вы, конечно, себе представляете. К сожалению, некоторая часть прошлогодних участников не сможет явиться – в девять тридцать праздник уже закончится.

– Вы имеете в виду... ах, так! Замечательно! – рассмеялся Ганс Касторп. – Ну и шутник! В девять тридцать – ты слышал, а? Слишком рано, понимаешь, и некоторые прошлогодние участники не смогут часок повеселиться, вот о чем сожалеет господин Сеттембрини. Ха-ха, жуткое дело! Некоторые – то есть именно те, кто за это время окончательно сказали vale [\[124\]](#) своей «плоти». Ты понял мою шутку? Но я страшно заинтригован, – добавил он. – По-моему, правильно, что здесь традиционно отмечают праздники, по мере того как они наступают, и разные этапы года, чтобы избежать сплошного однообразия, а то было бы уж чересчур невыносимо. Праздновали рождество, отметили Новый год, а теперь вот наступила карнавальная неделя. Потом придет вербное воскресенье (крендельки здесь пекут?), потом страстная неделя, пасха и через шесть недель троица, а там, глядишь, и самый длинный день настанет, летний солнцеворот, понимаете ли, и время уже повернет к осени...

– Стоп, стоп, стоп! – воскликнул Сеттембрини, закинув голову и сжав виски ладонями. – Замолчите! Я запрещаю вам до такой степени

распускаться.

– Простите, но ведь я говорю как раз обратное. Впрочем, Беренс, вероятно, все же решится в конце концов на инъекции, чтобы убить во мне яды, у меня ведь все тридцать семь и три, четыре, пять, а то и семь. И не желает снижаться. Я же «грудное дитя жизни», и как был им, так и останусь. К долгосрочным я не принадлежу. Радамант ни разу не набурчал мне на этот счет чего-либо более определенного, но он считает бессмысленным прерывать курс лечения раньше срока, раз я здесь наверху уже так долго и как бы вложил столько времени в это дело. Да если бы он и назначил мне срок? Это все равно не имело бы значения, ведь когда он говорит, например, полгода, то считает в обрез, и надо быть готовым к гораздо большему. Возьмите моего двоюродного брата, он должен был все закончить в начале этого месяца, закончить – то есть выздороветь, но в последний раз Беренс накинул ему еще четыре месяца для окончательной поправки, а что будет тогда? Опять наступит день солнцеворота, как я сказал, вовсе не желая вас рассердить, и время опять пойдет к зиме. Правда, сейчас еще только карнавальная неделя, и, по-моему, очень хорошо и прекрасно, что мы тут все по порядку отмечаем, точно в календаре. Фрау Штер говорила, что у портье можно купить игрушечные трубы?

Так оно и было. Уже во время первого завтрака во вторник на карнавальной неделе – еще никто не успел опомниться, а этот вторник оказался уже тут как тут, – с раннего утра в столовой стали раздаваться звуки карнавальных духовых инструментов – дудок и сопелок. За обедом со стола Гэнзера, Расмуссена и Клеефельд уже запустили серпантин, и многие пациенты, например, круглоглазая Маруся, оказались в бумажных колпаках – их тоже можно было приобрести в конторке хромого портье. Вечером в столовой и гостиных началось такое карнавальное веселье, которое в конце концов... Впрочем, пока только нам одним известно, к чему благодаря предприимчивости Ганса Касторпа привело это карнавальное веселье. Но мы не позволим нашему знанию увлечь нас или отвлечь от подобающей неторопливой обстоятельности и отдадим времени должную дань уважения, не будем забегать вперед – может быть, даже слегка задержим ход событий, ибо разделяем чувство нравственной робости, которое испытывал Ганс Касторп, столь долго оттягивавший наступление некоторых событий.

После обеда все скопом отправились бродить по улицам курорта, чтобы посмотреть на карнавальное оживление. Уже по пути попадались пьеро и арлекины с трещотками, а между пешеходами и маскированными седоками разукрашенных саней, со звоном проносившихся мимо, завязался

бой конфетти.

Когда все сошлись к ужину, за семью столами уже царило весьма приподнятое настроение и было очевидно, что всем хочется продолжить начавшееся веселье в более замкнутом кругу. Сопелки, дудки, а также бумажные колпаки, которыми снабжал портье, были нарасхват, а прокурор Паравант пошел дальше, он выступил инициатором травести, облекся в дамское кимоно, прицепил фальшивую косу – многие завопили, что она принадлежит генеральной консульше Вурмбрандт, – а усы при помощи раскаленных щипцов оттянул вниз и стал совершенный китаец. Не ударила лицом в грязь и администрация. Над каждым из семи столов повесили цветной фонарик в виде полумесяца, внутри которого горела свеча, почему Сеттембрини, проходя мимо стола Ганса Касторпа, по случаю этой иллюминации процитировал с умной и сухой усмешкой стихи:

Пестрят огни, суля забаву,^[125]
Собралось общество на славу, —

и неторопливо проследовал к своему месту, где подвергся обстрелу метательными снарядами в виде маленьких шариков с духами, которые при ударе разбивались и обливали вас благовонной жидкостью.

Словом, с самого начала праздничное настроение чувствовалось решительно во всем. Всюду слышался смех, свисавшие с люстр ленты серпантина раскачивались от движения воздуха, в соусе плавали конфетти; вскоре появилась карлица, она озабоченно пробежала через зал, неся ведро с первой замороженной бутылкой шампанского, его начали пить, смешивая с бургундским, – первым подал пример адвокат Эйнхуф, – а когда к концу ужина выключили верхний свет и в столовой воцарился полумрак – фонарики придали ему что-то от цветного сумрака итальянских ночей, – все пришли в соответствующее настроение, и за столом Ганса Касторпа большой успех имела записка от Сеттембрини (он передал ее через свою ближайшую соседку Марусю, на голове которой красовалась жокейская шапочка из зеленой атласной бумаги); в записке стояло:

Но помните! Гора сегодня чар полна,^[126]
И если огоньком поманит вас она,
То ей вы слепо не вверяйтесь.

Доктор Блюменколь, который чувствовал себя опять очень плохо, со странным выражением лица, или, вернее, выражением губ, пробормотал что-то насчет присланных итальянцем стихов. А Ганс Касторп не хотел остаться в долгу и решил написать на той же бумажке ответ, как сумеет. Он стал шарить по карманам в поисках карандаша, но не нашел, не оказалось карандаша ни у Иоахима, ни у учительницы. Тогда его глаза с покрасневшими белками обратились за помощью на Восток, в левый задний угол столовой, и было видно, как случайно возникшая мысль вызвала столь далеко идущие ассоциации, что он вдруг побледнел и совершенно забыл о своем первоначальном намерении.

Но имелись и другие основания для того, чтобы побледнеть. Мадам Шоша, сидевшая там, позади него, тоже принарядилась, она была в новом платье – во всяком случае, этого он еще не видел на ней – из легкого, темного, почти черного шелка, местами отливавшего золотисто-коричневым, с маленьким девичьим круглым вырезом, так что видны были только шея и начало ключиц, а сзади, когда она наклоняла голову, – один слегка выступающий позвонок под выбившимися из прически завитками волос на затылке; но руки Клавдии были обнажены до плеч – полные, нежные, вероятно прохладные, и такие белые на шелковисто-темном фоне платья, выделявшиеся так умопомрачительно, что Ганс Касторп невольно закрыл глаза и прошептал: «Господи!» Он еще не видел такого платья. Ему были хорошо знакомы бальные туалеты, парадная и признанная, иногда даже предписываемая этикетом форма обнаженности, и притом гораздо более смелая, но никогда она, даже отдаленно, не действовала так ошеломляюще. Заблуждением оказалась былая уверенность бедного Ганса Касторпа в том, что соблазн, непостижимый соблазн этих рук и плеч, которые он уже видел сквозь дымку легкого газа, придававшего их белизне, как он тогда выразился про себя, какую-то «просветленность», – что без этой ткани их соблазн будет не так велик. О заблуждение! Роковой самообман! Окончательная, подчеркнутая и ослепительная нагота этих великолепных рук, принадлежавших отравленному болезнью телу, действовала на него неизмеримо сильнее, чем тогдашняя «просветленность», в ответ на такой соблазн можно было только поникнуть головой и беззвучно повторять: «Господи!»

Через некоторое время пришла другая записка, и в ней стояло:

Какой цветник! Невесты сплошь, [\[127\]](#)
Не сыщешь в мире краше!
И холостая молодежь,

Надежда, гордость наша!

– Bravo, bravo! – закричали вокруг. Уже пили мокко, сервированный в коричневых майоликовых кружечках, а многие принялись за ликеры, например фрау Штер, обожавшая подслащенный спирт. Пациенты вставали со своих мест, собирались группами, ходили от стола к столу, менялись местами. Часть больных уже удалилась в гостиные, другие продолжали сидеть и пить смесь из разных вин. Сеттембрини наконец явился самолично – в руках он держал кофейную чашечку, изо рта торчала зубочистка – и уселся как гость на уголке стола, между Гансом Касторпом и учительницей.

– Горы Гарца^[128], – сказал он, – близ деревень Ширке и Эленд. Разве я наобещал вам слишком много, инженер? Для меня это все-таки шабаш! Но, подождите, возможности нашего остроумия еще не исчерпаны, мы еще не достигли высоты, уже не говоря о конце. Судя по всему, будут еще маскированные. Некоторые лица удалились, это дает основания ждать кое-чего, вот увидите.

И действительно – появились новые ряженые, дамы в мужской одежде, – слишком выпирающие формы придавали им нелепый опереточный вид, усы и бороды были нарисованы жженой пробкой; мужчины были, наоборот, в дамских туалетах, они путались в длинных юбках, например студент Расмуссен, который нарядился в черное платье, осыпанное блестками, и, выставя напоказ прыщеватое декольте, обмахивал бумажным веером грудь и спину тоже. Затем показался нищий, его колени дрожали, он опирался на клюку. Еще кто-то соорудил себе костюм пьеро из нижнего белья и нахлобучил дамскую фетровую шляпу; ряженный так напудрился, что глаза приняли какой-то ненатуральный вид, а губы покрасил кроваво-красной губной помадой. Это был юноша с ногтем. Грек, сидевший за «плохим» русским столом и неизменно выставивший напоказ красивые ноги, расхаживал в лиловых трикотажных кальсонах, в коротком плаще, бумажном жабо и с тростью-шпагой, изображая из себя не то испанского гранда, не то сказочного принца. Все эти костюмы были наспех сымпровизированы тут же после ужина. Фрау Штер уже не могла усидеть на месте. Она исчезла и вскоре вернулась одетая уборщицей, в переднике, с засученными рукавами, ленты ее бумажного чепца были завязаны под подбородком, в руках она держала ведро и швабру, которую тотчас пустила в ход, водя ею под столами и задевая сидящих за ноги.

– «Старуха Баубо – особняком»^[129], – продекламировал Сеттембрини,

увидев ее, и добавил следующий стих в рифму, выговаривая слова особенно четко и пластично. Она услышала, назвала его «заморским петухом» и предложила оставить при себе его «штучки», причем, пользуясь свободой, принятой на маскарадах, назвала на «ты»: этот способ обращения друг к другу установился среди пациентов еще за ужином. Итальянец собрался было ответить, но шум и хохот, донесшийся из вестибюля, помешали ему и привлекли всеобщее внимание.

Окруженные больными, высыпавшими из гостиных, показались две странные фигуры, как видно, только сейчас закончившие переодевание. Одна была одета диаконисой, но ее черный балахон был обшит сверху донизу поперечными белыми полосками. Короткие были расположены очень близко друг от друга, длинные – на большом расстоянии, так что все это напоминало деления на градуснике. Она держала указательный палец левой руки у бледных губ, а правой несла температурную табличку. Вторая маска была вся синяя, насиненные губы и брови, даже лицо и шея были разрисованы синим, на голове сидела сдвинутая на одно ухо синяя вязаная шапка, а сверху, наподобие халата или плаща, был наброшен кусок синего глянцевого полотна, причем фигура казалась пузатой, так как на животе халат был чем-то набит. Присутствующие узнали фрау Ильтис и господина Альбина. На обоих висели кусочки картона с надписями: «Немая сестра» и «Синий Генрих». Раскачиваясь, эта парочка обошла столовую.

Какой они имели успех! Кругом стояло жужжанье голосов и слышались одобрительные возгласы. Фрау Штер, сунув щетку под мышку и упершись руками в колени, заливалась бесцеремонным тупым смехом и нахохоталась всласть под тем предлогом, что она исполняет роль уборщицы. Лишь Сеттембрини оставался серьезным и замкнутым. Он еще решительнее поджал губы, над которыми так красиво загибались усы, после того как бросил беглый взгляд на эту пару, встреченную столь бурным восторгом.

В числе тех, кто снова вышел из гостиных и присоединился к свите «Синего» и «Немой», была и Клавдия Шоша. Вместе с курчавой Тамарой и еще одним соседом, чья грудь казалась особенно впалой, неким Булыгиным, облаченным в парадный костюм, прошла она мимо стола Ганса Касторпа и потом наискосок, к столу юного Гэнзера и Клеефельд; там она остановилась, заложив руки за спину, смеясь узкими глазами и болтая, а ее спутники последовали за аллегорическими призраками и вместе с ними вышли из зала. Мадам Шоша тоже нацепила карнавальный колпак, – он даже не был куплен у портье, а просто сложили лист белой бумаги, как делают треуголки для детей; колпак сидел набекрень и

чрезвычайно шел ей. Темное, золотисто-коричневое шелковое платье не закрывало ног, юбка была с легкими буфами. О руках мы больше говорить не будем. Они были обнажены до самых плеч.

– Внимательно гляди^[130], – услышал словно издалека голос Сеттембрини Ганс Касторп, провожавший ее глазами, когда она устремилась к застекленной двери, чтобы выйти из столовой. – Она – Лилит.^[131]

– Кто? – удивился Ганс Касторп.

Литератор чему-то обрадовался. Он пояснил:

– Первая жена Адама. Берегись...

Кроме них, за столом остался только доктор Блюменколь, он сидел на дальнем конце. Остальные, в том числе и Иоахим, уже перешли в гостиные. Ганс Касторп сказал:

– У тебя сегодня голова набита поэзией и стихами. Что это еще за Лилит? Разве Адам был женат дважды? А я и понятия не имел...

– Так утверждает древнеиудейская легенда. И потом эта Лилит стала привидением, она по ночам является мужчинам и особенно опасна для молодых своими прекрасными волосами.

– Фу, черт! Привидение с прекрасными волосами! Таких штук ты терпеть не можешь, да? Ты являешься и тут же включаешь электрический свет, чтобы, так сказать, вернуть молодых людей на стезю добродетели, верно? – с воодушевлением продолжал Ганс Касторп. Он выпил порядочно винной смеси.

– Знаете что, инженер, бросьте-ка вы это! – властно заявил Сеттембрини, нахмурившись. – Я попрошу вас пользоваться культурной формой обращения, принятой на Западе, во втором лице pluralis^[132]. Вам совершенно не к лицу все эти упражнения!

– Ну как же так? Ведь сейчас карнавал! И сегодня вечером это повсюду принято...

– Да, для безнравственного соблазна. Когда друг друга называют на «ты» совершенно посторонние люди, которым полагается говорить «вы», – это отвратительная дикость, игра в первобытность, распущенность, которую я ненавижу, так как она, в сущности, направлена против цивилизации и прогрессивного человечества – нагло и бессовестно. Я вам тоже не говорил «ты», не воображайте! Я цитировал одно место из шедевра вашего национального поэта. И, следовательно, пользовался лишь условностью поэтической формы...

– А я тоже! Я тоже пользуюсь до известной степени поэтической

формой, – минута представляется мне подходящей, потому я так и говорю. Это вовсе не значит, что мне легко и просто называть тебя на «ты», напротив, приходится даже себя пересиливать, я могу это делать только с разбега, но разбегаюсь охотно, с радостью, от всей души.

– От всей души?

– От всей души, да, можешь мне поверить. Мы ведь так давно живем вместе тут, наверху, – семь месяцев, если ты вспомнишь; правда, в здешних условиях это, конечно, не так уж много, но для жизни внизу, по тамошним понятиям, это огромный срок. И вот мы пробыли семь месяцев вместе, оттого что жизнь свела нас здесь, и виделись почти каждый день и вели интересные разговоры, иногда о таких вещах, в которых я, живя там внизу, ни черта бы не понял. А здесь – даже очень понимал, здесь все это казалось мне очень важным и близким, так что, когда мы спорили, я весь был внимание, вернее, когда ты объяснял то или другое с точки зрения homo humanus'a; ибо я, при моей прежней неопытности, конечно, не мог много привнести от себя и всегда только находил исключительно интересным все, что ты говорил. Благодаря тебе я столько узнал и понял... Насчет Кардуччи – это еще далеко не главное, но, например, насчет связи республики с возвышенным стилем или времени – с человеческим прогрессом; ведь если бы не существовало времени, невозможным бы оказался и прогресс, мир был бы загнивающей трясиной, вонючей лужей... Не будь тебя, разве я узнал бы все это! И я говорю тебе «ты» только так... извини меня, но иначе я не могу, ну просто не в состоянии. Ты сидишь передо мной, и я говорю тебе «ты», и достаточно. Ты не просто человек с каким-то именем, ты – представитель, господин Сеттембрини, и здесь вообще, и для меня – вот ты кто! – заявил Ганс Касторп и стукнул ладонью по столу. – А теперь я хочу тебя поблагодарить, – продолжал он и придвинул свой бокал со смесью шампанского и бургундского к кофейной чашечке Сеттембрини, словно намереваясь с ним чокнуться, – за то, что ты все эти семь месяцев так дружески принимал участие во мне, молодом mulus'e^[133] на меня ведь нахлынуло так много нового, помог мне при моих упражнениях и экспериментах и пытался оказывать на меня воздействие, совершенно sine resupia, отчасти через всякие истории, отчасти абстрактными рассуждениями. Я очень хорошо чувствую, что настала минута поблагодарить за все и попросить прощения, если я был плохим учеником, ведь я «трудное дитя жизни», как ты выразился. Меня очень тронуло, что ты так назвал меня, и как вспомню – опять трогает. Трудное дитя – таким я был и для тебя с твоей педагогической жилкой, ты тогда в первый же день заговорил об этом, – конечно, это тоже одна из связей, которую ты мне

открыл, то есть – между гуманизмом и педагогикой; я мог бы вспомнить еще несколько. Итак, прости и не поминай меня лихом! Пью за тебя, Сеттембрини, будь здоров! Подымаю бокал за твои литературные усилия искоренить человеческие страдания, – закончил он, запрокинув голову, выпил двумя-тремя глотками свой бокал со смесью и встал. – А теперь пойдем к остальным.

– Слушайте, инженер, что это вам взбрело в голову? – спросил итальянец, глядя на него с изумлением и тоже вставая из-за стола. – Прямо какое-то прощание...

– Нет, почему же прощание? – уклонился от прямого ответа Ганс Касторп. Но он не только уклонился фигурально, на словах, но и своим телом, описав торсом дугу в сторону учительницы, фрейлейн Энгельгарт, которая как раз пришла за ними. По ее словам, гофрат в музыкальной комнате собственноручно разливал карнавальный пунш, которым угощала администрация. Пусть они приходят немедленно, если хотят, чтобы им досталось по стаканчику.

И действительно, в середине комнаты перед круглым, накрытым белой скатертью столом стоял гофрат Беренс с разливательной ложкой и, черпая ею из миски, наполнял напитоком, над которым клубился пар, стеклянные кружечки, протянутые теснившимися вокруг него больными. Он тоже придавал своей наружности налет карнавальности: помимо белого халата, в котором он был и сегодня, ибо никогда не прекращалась его деятельность врача, гофрат надел турецкую феску карминно-красного цвета, с черной кисточкой, мотавшейся у него над ухом, и это уже был маскарадный костюм для него: во всяком случае, фески было достаточно, чтобы придать его и без того необычной наружности нечто сказочное и причудливое. Халат только подчеркивал его рост, а если принять во внимание некоторую сутулость и представить себе, что он выпрямится, то он оказался бы даже неестественно высоким, и на таком огромном теле сидела маленькая, пестрая головка с очень своеобразными чертами. Во всяком случае, никогда еще молодому Гансу Касторпу это лицо под шутовской феской не казалось таким удивительным, как сегодня: курносая и плоская, синевато-багровая физиономия, белесые брови, синие слезящиеся глаза навывкате, круто изогнутый рот со вздергивающейся губой и светлые, взъерошенные, кривые усики. Отворачиваясь от пара, клубившегося над миской, он лил длинной струей сладкий пунш-арак в подставленные кружки и с подъемом, как всегда витиевато, нес какую-то чепуху, так что угощение сопровождалось непрерывными взрывами смеха.

– «Над нами главный – Уриан»^[134], – процитировал вполголоса

Сеттембрини, сделав жест в сторону гофрата, но тут его вместе с Гансом Касторпом оттеснили в сторону. Присутствовал здесь и доктор Кроковский. Маленький, крепкий, коренастый, в своем черном люстриновом халате, надетом не в рукава, а внакидку, что придавало халату некоторое сходство с домино, стоял он, держа вывернутой рукой кружечку с пуншем на высоте глаз, и весело болтал с группой масок, где мужчины были переодеты женщинами и наоборот. Началась музыка. Пациентка с лицом тапира сыграла на скрипке – аккомпанировал мангеймец – ларго Генделя, а затем одну из сонат Грига с национальной и несколько салонной окраской. Публика им благожелательно похлопала, в том числе и те, кто собирался играть в бридж, – столы уже были расставлены и за ними сидели пациенты в маскарадных костюмах и в обычных, а рядом стояли бутылки в ведерках со льдом. Двери были раскрыты настежь: в вестибюле тоже толпились люди. Отдельная группа стояла вокруг стола с пуншем и смотрела на гофрата, показывавшего новую веселую игру. Склонившись над столом и закрыв глаза, но откинув голову и желая показать всем, что глаза у него действительно закрыты, он на обратной стороне визитной карточки вслепую выводил карандашом какой-то рисунок: это были контуры свинки, и его ручища изобразила ее без помощи зрения – в профиль, правда не очень жизненно правдиво, а скорее упрощенно и схематично, но все же зрители явно видели контуры свинки, и он нарисовал ее, несмотря на сложность условий. Это был фокус, и проделал он его очень ловко. Узенький глаз находился там, где ему следовало быть, правда, немножко ближе к рыльцу, чем полагалось, но все же примерно на месте; так же обстояло дело и с острым ушком на голове, и с ножками, торчавшими из круглого пузика; а в виде продолжения округленной линии спины аккуратным колечком закручивался хвостик. Когда рисунок был готов, все воскликнули: «Ах!» – и стали проталкиваться к столу, охваченные честолюбивым желанием уподобиться мастеру. Однако и с открытыми-то глазами лишь немногие смогли бы нарисовать свинку, а тем паче – с закрытыми. И что тут появились за уродцы! Между частями тела не было никакой связи. Глазок оказывался где-то вне свинки, ножки – внутри брюшка, которое не было замкнуто, а хвостик закручивался в стороне без всякой связи с основным контуром, как самостоятельная арабеска. Хохотали до упаду. Подходили все новые пациенты. Игроки в бридж тоже заинтересовались и явились посмотреть, держа в руке карты веером. Тому, кто пробовал свои силы, зрители смотрели на закрытые веки, не моргает ли он (ибо некоторые, чувствуя свое бессилие, грешили этим), фыркали и хихикали, видя, как рисующий в своей слепоте делает нелепые промахи, и

приходили в восторг, когда он потом пялил глаза на изображенную им нелепицу. Однако каждый из предательского честолюбия стремился принять участие в состязании. Хотя карточка и была довольно велика, но скоро ее с двух сторон сплошь исчертили, так что неудавшиеся рисунки заходили один на другой. Тогда гофрат вытащил из своего бумажника вторую карточку и пожертвовал играющим, а прокурор Паравант, после усиленного раздумья, попытался нарисовать свинку одним движением, не отрывая карандаша от картона. Но он в своей неудаче превзошел всех остальных: изображенное им не только не имело сходства со свинкой, но решительно ни с чем на свете. Рисунок был встречен громкими возгласами, хохотом, поздравлениями! Принесли из столовой карточки с меню, и несколько дам и мужчин получили возможность одновременно испробовать свои силы; возле участников этого состязания стояли контролеры и наблюдатели, причем каждый из них являлся претендентом на карандаш рисовавшего. Имелось только три карандаша, их буквально рвали друг у друга из рук. Эти карандаши принадлежали больным. А гофрат, наладив новую игру и убедившись, что все ею увлечены, исчез вместе со своим ассистентом.

Стоя в толпе позади Иоахима, Ганс Касторп положил локоть на его плечо, обхватил подбородок одной рукой, а другой уперся в бедро и стал смотреть на очередного рисовальщика. Болтая и смеясь, он заявил, что тоже хочет испытать свои силы, и настойчиво стал требовать карандаш, который наконец получил; но это был уже только огрызок, его приходилось неловко держать двумя пальцами. Ганс Касторп бранил огрызок, подняв к потолку ослепшее лицо, отчаянно бранил и проклинал и при этом размашисто выводил на картоне что-то невероятное; кончилось тем, что карандаш соскользнул с картона на скатерть.

– Это не считается, – разве можно таким... Ну его к черту! – И он швырнул провинившийся огрызок в миску с пуншем. – У кого есть приличный карандаш? Кто мне одолжит? Я хочу еще раз попробовать. Карандаш! Карандаш! У кого есть карандаш? – кричал он, повертываясь то туда, то сюда; он все еще опирался левой рукой о стол, а правой потрясал в воздухе. Но карандаша он не получил. Тогда он повернулся и направился в другой конец комнаты, продолжая требовать карандаш, – направился прямо к Клавдии Шоша, которая, как он заметил, стояла в маленькой гостиной неподалеку от портьеры и оттуда улыбалась, наблюдая за игрой у стола с пуншем.

Вдруг кто-то сзади окликнул его на певучем иностранном языке:

– Eh! Ingegnere! Aspetti! Che cosa fa! Ingegnere! Un po di ragione, sa! Ma

e matto questo ragazzo!^[135] – Но Ганс Касторп заглушил этот голос своим, и все увидели Сеттембрини, который, вскинув над головой вытянутую руку – жест, очень распространенный на его родине, но смысл которого передать в словах довольно трудно – и сопроводив его протяжным «э-э-э», покинул карнавальное общество, а Ганс Касторп опять стоял на школьном дворе, смотрел в голубовато-серо-зеленые глаза с эпикантом, блестевшие над широкими скулами, и говорил:

– Может быть, у тебя найдется карандаш?

Он был смертельно бледен, как в тот день, когда, измазанный кровью, вернулся со своей прогулки в одиночестве и явился на лекцию Кроковского. Реакция нервно-сосудистой системы вызвала полный отлив крови от его молодого лица, оно похолодело, кожа натянулась, нос заострился, под глазами легли свинцовые тени, как у покойника. А симпатический нерв вызвал такое сердцебиение, что о ровном дыхании не могло быть и речи, его сотрясал озноб, и под действием сальных железок все волоски на коже поднялись.

Особа в бумажной треуголке, улыбаясь, разглядывала его с головы до ног, однако в ее улыбке не было и тени сострадания или тревоги, которые должен был вызвать его отчаянный вид. Женскому полу вообще неведомо такое сострадание и такие тревоги перед пожаром страсти – ибо эта стихия женщине ближе, чем мужчине, он по своей натуре гораздо более далек от нее, и если страсть им овладеет, женщина всегда встречает ее насмешкой и злорадством. Впрочем, от сострадания и тревоги он, конечно, с благодарностью отказался бы.

– У меня? – наконец ответила голорукая пациентка на это обращенное к ней «ты». – Да, может быть и найдется. – И теперь в ее голосе и улыбке уже была частица того волнения, какое охватывает людей, когда после долгой немоты между ними наконец зазвучат первые слова, – лукавое волнение, затаившее в себе все, что было перед тем.

– Ты очень честолобив... Ты очень... горяч, – насмешливо продолжала она чуть хриплым, приятно глуховатым голосом и с присущим ей особым экзотическим выговором, непривычно для уха произнося букву «р» и непривычно, слишком открыто букву «е», к тому же делая в слове «честолобив» ударение на втором слоге, так что оно звучало уже совсем по-иностранному, – и принялась шарить в своей кожаной сумочке, заглянула в нее и вытащила из-под носового платка, который извлекла первым, серебряный карандаш, тонкий и хрупкий, изящную безделушку, мало пригодную для серьезной работы. Тот, первый, карандаш был гораздо удобнее и солиднее.

– Voila!^[136] – сказала она, держа карандаш стоймя между большим пальцем и указательным и слегка поводя им перед его глазами.

И так как она и давала ему карандаш и не давала, то он взял его, не беря, то есть протянул руку к карандашу, почти касаясь его, готовый схватить, и переводил взор своих обведенных свинцовой тенью глаз с карандаша на татарское лицо Клавдии. Его бескровные губы были раскрыты, он так и не сомкнул их; не двигая ими, он беззвучно проговорил:

– Вот видишь, я знал, что у тебя есть карандаш.

– Prenez garde, il est un peu fragile, – сказала она. – C'est a visser, tu sais.

^[137]

Их головы склонились над карандашом, и она принялась объяснять его несложную механику: если повернуть винтик, то выдвигался тонкий, как игла, вероятно жесткий и бледный, стерженек графита.

Они стояли близко, склонившись друг к другу. Так как на нем был вечерний костюм и крахмальный воротничок, он мог опираться о него подбородком.

– Любой, лишь бы твой, – сказал он, едва не касаясь ее лба своим и глядя вниз на карандаш, но не двигая губами.

– А ты еще и остришь... – заметила она с коротким смешком, затем выпрямилась и наконец отдала ему карандаш. (Впрочем, бог ведает как он мог остришь, ведь было совершенно ясно, что вся кровь до последней капли отлила от его головы.) – Ну, а теперь иди, спеши, рисуй, нарисуй хорошо, порисуйся. – Пытаясь остришь так же, как и он, она словно стремилась от него отделаться.

– Нет, вот ты еще не рисовала. Пойди порисуй, – сказал он, пропуская букву «п», и отступил, увлекая ее за собой.

– Я? – повторила она снова с изумлением, относившимся, видимо, не только к этому его требованию. С несколько растерянной улыбкой она еще постояла на месте, но потом, повинуясь магнетизирующему жесту, каким он пригласил ее к столу с пуншем, сделала несколько шагов.

Оказалось, что игра уже перестала интересовать публику и кончилась. Кто-то еще рисовал, но зрителей уже не было. Нелепые узоры покрывали карточки, каждый показал свою полную неспособность повторить рисунок Беренса, все отошли от стола, возникло даже обратное течение. Когда исчезновение врачей было замечено, вдруг раздалось приглашение к танцам. Стол тут же отодвинули к стене У дверей читальни и музыкальной комнаты поставили дозорных, с наказом подать определенный сигнал и остановить танцы, если опять появится «старик», Кроковский или «старшая». Один юноша – славянин – бросил руки на клавиатуру

маленького пианино из орехового дерева и с чувством заиграл. Первые пары закружились внутри неправильного круга, который образовали кресла и стулья с усевшейся на них публикой.

Ганс Касторп махнул вслед отплывающему столу, как бы говоря: «До свиданья!» Затем кивком указал на свободные места, замеченные им в маленькой гостиной, в укромном уголке справа за портьерой. Он не произнес при этом ни слова, – может быть, ему казалось, что юноша играет слишком громко. Он подвинул кресло – деревянное, обитое плюшем, так называемое «триумфальное» кресло – для мадам Шоша, на то место, которое указал в своей пантомиме, а себе – скрипучее, плетеное, с закругленными ручками, и сел на него, склонившись к ней, опершись локтями на ручки, держа ее карандаш и запрятав ноги далеко под сиденье. Клавдия полулежала, откинувшись в глубь плюшевого кресла, колени ее были приподняты, но она все же закинула ногу на ногу и покачивала носком; ее щиколотка выступала над краем черной лакированной туфли, туго обтянутая тоже черным шелковым чулком. Впереди них сидели другие пациенты, иногда они вставали, чтобы потанцевать или уступить свое место уставшим. Вокруг было непрерывное движение.

– Ты в новом платье, – сказал он, оглядывая ее, и услышал ответ:

– Новое? А ты разве в курсе моих туалетов?

– Ведь я не ошибся?

– Нет. Это делал Лукачек, здесь в деревне. Многие наши дамы шьют у него. Нравится?

– Очень, – ответил он, еще раз охватив взглядом всю ее фигуру, и опустил глаза. Потом добавил: – Хочешь потанцевать?

– А ты бы хотел? – спросила она, подняв брови и улыбаясь. Он ответил:

– Да уж потанцевал бы, если бы тебе захотелось.

– Ты, оказывается, не такой благоденный, как я думала, – отозвалась она и, так как он пренебрежительно рассмеялся, добавила: – Твой двоюродный брат уже удалился.

– Да, это мой двоюродный брат, – подтвердил он неизвестно зачем. – Я уже раньше заметил, что он ушел. Он, вероятно, лег.

– C'est un jeune homme tres etroit, tres honnete, tres allemand. ^[138]

– Etroit? Honnete? ^[139] – повторил он. – Я понимаю французский лучше, чем говорю. Ты хочешь сказать, что он очень педантичен? Разве ты считаешь нас, немцев, педантами, nous autres Allemands. ^[140]

– Nous cautions de votre cousin. Mais c'est vrai, вы немножко буржуазны.

Vous aimez l'ordre mieux que la liberte, toute l'Europe le sait.^[141]

– Aimer... aimer... Qu'est-ce que c'est! Ca manque de definition, ce mot-la. Один любит, другой владеет, comme nous disons proverbialement^[142], – заявил Ганс Касторп. – Я за последнее время много думал о свободе. То есть мне слишком часто приходилось слышать это слово, и я спрашивал себя, что же оно означает. Je te le dirai en francais, какие у меня по этому поводу возникли мысли. Ce que toute l'Europe nomme la liberte, est peut-etre une chose assez pedante et assez bourgeoise en comparaison de notre besoin d'ordre – c'est ca!^[143]

– Tiens! C'est amusant. C'est ton cousin a qui tu penses en disant des choses etranges comme ca?^[144]

– Нет, c'est vraiment une bonne ame, простая натура, в ней не таится никаких угроз, tu sais. Mais il n'est pas bourgeois, il est militaire.^[145]

– Никаких угроз? – с усилием повторила она. – Tu veux dire: une nature tout a fait ferme, sure d'elle-meme? Mais il est serieusement malade, ton pauvre cousin.^[146]

– Кто это говорит?

– Здесь решительно все знают друг о друге.

– Тебе это сказал гофрат Беренс?

– Peut-etre en me faisant voir ses tableaux.^[147]

– C'est-a-dire: en faisant ton portrait?^[148]

– Pourquoi pas. Tu l'as trouve reussi, mon portrait?^[149]

– Mais oui, extremement. Behrens a tres exactement rendu ta peau, oh vraiment tres fidelement. J'aimerais beaucoup etre portraitiste, moi aussi, pour avoir l'occasion d'etudier ta peau comme lui.^[150]

– Parlez allemand, s'il vous plait!^[151]

– О, я все равно говорю по-немецки, даже когда объясняюсь по-французски. C'est une sorte d'etude artistique et medicale – en un mot: il s'agit des lettres humaines, tu comprends.^[152] Ну как, тебе еще не захотелось танцевать?

– Да нет, это же мальчишество. En cachette des medecins. Aussitot que Behrens reviendra, tout le monde va se precipiter sur les chaises. Ce sera fort ridicule.^[153]

– А ты что – так сильно его считаешь?

– Кого? – спросила она отрывисто и с иностранным произношением.

– Беренса!

– Mais va donc avec ton Behrens!^[154] И потом слишком тесно, чтобы

танцевать. – Et puis sur le tapis...^[155] Лучше посмотрим на танцы.

– Давай посмотрим, – покорно согласился он и, сидя рядом с ней, какой-то особенно бледный, стал смотреть своими голубыми, задумчивыми, как у деда, глазами, на костюмированных пациентов, толпившихся и в гостиной и в читальне. «Немая сестра» прыгала с «Синим Генрихом», фрау Заломон, одетая светским кавалером, во фраке и белом жилете, со вздувшейся на груди манишкой, намалеванными усиками, моноклем и в туфлях на высоченных каблуках, которые нелепо выступали из-под черных штанин, вертелась с пьеро, чьи кроваво-красные губы пылали на белом напудренном лице, а глаза были похожи на глаза кролика-альбиноса. Грек в короткой мантии заносил лиловые трикотажные ноги вокруг декольтированного, поблескивавшего смуглой кожей Расмуссена; прокурор в кимоно, генеральная консульша Вурмбрандт и молодой Гэнзер танцевали даже вдвоем; что касается Штерихи, то она танцевала в обнимку со шваброй, прижимала ее к сердцу и гладила ее щетину, словно это были человеческие волосы, подстриженные ежиком.

– Давай посмотрим, – автоматически повторил Ганс Касторп. Они говорили вполголоса, под звуки пианино. – Будем сидеть и наблюдать точно во сне. Ведь для меня, нужно тебе сказать, все это как сон, вот так сидеть с тобой рядом, – *comme un reve singulierement profond, car il faut dormir tres profondement pour rever comme cela... Je veux dire: C'est un reve bien connu, reve de tout temps, long, eternel, oui, etre assis pres de toi comme a present, voila l'eternite.*^[156]

– Poete! – сказала она. – Bourgeois, humaniste et poete – voila l'Allemand au complet, comme il faut!^[157]

– Je crains que nous ne soyons pas du tout et nullement comme il faut, – ответил он. – Sous aucun egard. Nous sommes peut-etre des трудные дети нашей жизни, tout simplement.^[158]

– Joli mot. Dis-moi donc... Il n'aurait pas ete fort difficile de rever ce reve-la plus tot. C'est un peu tard que monsieur se resout a adresser la parole a son humble servante.^[159]

– Pourquoi des paroles? – сказал он. – Pourquoi parler? Parler, discourir, c'est une chose bien republicaine, je le concede. Mais je doute que ce soit poetique au meme degre. Un de nos pensionnaires, qui est un peu devenu mon ami, Monsieur Settembrini...^[160]

– Il vient de te lancer quelques paroles.^[161]

– Eh bien, c'est un grand parleur sans doute, il aime meme beaucoup a reciter de beaux vers, – mais est-ce un poete, cet homme-la?^[162]

– Je regrette sincerement de n'avoir jamais eu le plaisir de faire la connaissance de ce chevalier.^[163]

– Je le crois bien.^[164]

– Ah! Tu le crois.^[165]

– Comment? C'etait une phrase tout a fait indifferente, ce que j'ai dit la. Moi, tu le remarques bien, je ne parle guere le francais. Pourtant, avec toi je prefere cette langue a la mienne, car pour moi, parler francais, c'est parler sans parler, en quelque maniere, – sans responsabilite, ou comme nous parlons en reve. Tu comprends?^[166]

– A peu pres.^[167]

– Ca suffit... Parler, – продолжал Ганс Касторп, – pauvre affaire! Dans l'eternite, on ne parle point. Dans l'eternite, tu sais, on fait comme en dessinant un petit cochon: on penche la tete en arriere et on ferme les yeux.^[168]

– Pas mal, ca! Tu es chez toi dans l'eternite, sans aucun doute, tu la connais a fond. Il faut avouer que tu es un petit reveur assez curieux.^[169]

– Et puis, – сказал Ганс Касторп, – si je t'avais parle plus tot, il m'aurait fallu te dire «vous».^[170]

– Eh bien, est-ce que tu as l'intention de me tutoyer pour toujours?^[171]

– Mais oui. Je t'ai tutoyee de tout temps et je te tutoierai eternellement.^[172]

– C'est un peu fort, par exemple. En tout cas tu n'auras pas trop longtemps l'occasion de me dire «tu». Je vais partir.^[173]

Он не сразу понял. Потом весь задрожал, растерянно озираясь, словно внезапно пробужденный от сна. Их беседа протекала довольно медленно, так как Ганс Касторп произносил французские слова запинаясь и словно колеблясь. Звуки пианино, на время умолкшие, раздались снова, теперь заиграл мангеймец, он поставил перед собою ноты и сменил юношу славянина. Рядом с ним села фрейлейн Энгельгарт и стала перевертывать ему страницы. Толпа танцующих поредела. Видимо, многие пациенты заняли горизонтальное положение. Впереди никто уже не сидел. В читальне занялись картами.

– Что ты сказала? – спросил упавшим голосом Ганс Касторп.

– Я уезжаю, – повторила она улыбаясь и, видимо, удивленная, что он вдруг точно оцепенел.

– Не может быть, – проговорил он. – Это шутка.

– Вовсе нет. Совершенно серьезно. Я действительно уезжаю.

– Когда?

– Да завтра. Apres diner.^[174]

Ему показалось, что внутри у него произошел обвал. Он спросил:

- Куда же?
- Очень далеко отсюда.
- В Дагестан?
- Tu n'es pas mal instruit. Peut-etre, pour le moment... [\[175\]](#)
- Разве ты выздоровела?
- Quant a sa... поп. [\[176\]](#) Но Беренс считает, что сейчас пребывание здесь мне, пожалуй, уже ничего не даст. C'est pourquoi je vais risquer un petit changement d'air. [\[177\]](#)
- Значит ты вернешься?
- Это вопрос. И главное – вопрос, когда. Quant a moi, tu sais, j'aime la liberte avant tout et notamment celle de choisir mon domicile. Tu ne comprends guere ce que c'est: etre obsede d'independance. C'est de ma race, peut-etre. [\[178\]](#)
- Et ton mari au Daghestan te l'accorde, – ta liberte? [\[179\]](#)
- C'est la maladie qui me la rend. Me voila a cet endroit pour la troisieme fois. J'ai passe un an ici, cette fois. Possible que je revienne. Mais alors tu seras bien loin depuis longtemps. [\[180\]](#)
- Ты думаешь, Клавдия?
- Mon prenom aussi! Vraiment tu les prends bien au serieux les coutumes du carnaval! [\[181\]](#)
- А ты знаешь, насколько я болен?
- Oui – non – comme on sait ces choses ici. Tu as une petite tache humide la dedans et un peu de fièvre, n'est-ce pas? [\[182\]](#)
- Trente-sept et huit ou neuf l'apres-midi [\[183\]](#), – сказал Ганс Касторп. – А ты?
- Oh, mon cas, tu sais, c'est un peu plus complique... pas tout a fait simple. [\[184\]](#)
- Il y a quelque chose dans cette branche de lettres humaines dite la medecine, – сказал Ганс Касторп, – qu'on appelle bouchement tuberculeux des vases de lymph. [\[185\]](#)
- Ah! Tu as moucharde, mon cher, on le voit bien. [\[186\]](#)
- Et toi... [\[187\]](#) Прости, пожалуйста. А теперь позволь мне задать тебе очень важный вопрос и притом по-немецки. Когда я полгода назад отправился после обеда на осмотр... полгода назад... А ты еще оглянулась и посмотрела на меня, помнишь?
- Quelle question! Il y a six mois! [\[188\]](#)
- Ты знала, куда я иду?
- Certes, c'etait tout a fait par hasard... [\[189\]](#)
- Ты узнала от Беренса?

- Toujours ce Behrens!^[190]
- Oh, il a represente ta peau d'une facon tellement exacte... D'ailleurs, c'est un veuf aux joues ardentes et qui possede un service a cafe tres remarquable... Je crois bien qu'il connaisse ton corps non seulement comme medecin, mais aussi comme adepte d'une autre discipline de lettres humaines.^[191]
- Tu as decidement raison de dire que tu parles en reve, mon ami.^[192]
- Soit... Laisse-moi rever de nouveau apres m'avoir reveille si cruellement par cette cloche d'alarme de ton depart. Sept mois sous tes yeux... Et a present, ou en realite j'ai fait ta connaissance, tu me parles de depart!^[193]
- Je te repete, que nous aurions pu causer plus tot.^[194]
- А ты хотела бы этого?
- Moi? Tu ne m'echapperas pas, mon petit. Il s'agit de tes interets, a toi. Est-ce que tu etais trop timide pour t'approcher d'une femme a qui tu parles en reve maintenant, ou est-ce qu'il y avait quelqu'un qui t'en a empeche?^[195]
- Je te l'ai dit. Je ne voulais pas te dire «vous».^[196]
- Farceur. Reponds donc, – ce monsieur beau parleur, cet Italien-la qui a quitte la soiree, – qu'est-ce qu'il t'a lance tantot?^[197]
- Je n'en ai entendu absolument rien. Je me soucie tres peu de ce monsieur, quand mes yeux te voient. Mais tu oublies... il n'aurait pas ete si facile du tout de taire ta connaissance dans le monde. Il y avait encore mon cousin avec qui j'etais lie et qui incline tres peu a s'amuser ici: Il ne pense a rien qu'a son retour dans les plaines, pour se faire soldat.^[198]
- Pauvre diable. Il est, en effet, plus malade qu'il ne sait. Ton ami italien du reste ne va pas trop bien non plus.^[199]
- Il le dit lui-meme. Mais mon cousin... Est-ce vrai? Tu m'effraies.^[200]
- Fort possible qu'il aille mourir, s'il essaye d'etre soldat dans les plaines.^[201]
- Qu'il va mourir. La mort. Terrible mot, n'est-ce pas? Mais c'est etrange, il ne m'impressionne pas tellement aujourd'hui, ce mot. C'etait une facon de parler bien conventionnelle, lorsque je disais «Tu m'effraies». L'idee de la mort ne m'effraie pas. Elle me laisse tranquille. Je n'ai pas pitie – ni de mon bon Joachim ni de moi-meme, en entendant qu'il va peut-etre mourir. Si c'est vrai, son etat ressemble beaucoup au mien et je ne le trouve pas particulierement imposant. Il est moribond, et moi, je suis amoureux, eh bien! – Tu as parle a mon cousin a l'atelier de photographie intime, dans l'antichambre, tu te souviens.^[202]
- Je me souviens un peu.^[203]
- Donc ce jour-la Behrens a fait ton portrait transparent!^[204]

- Mais oui. [\[205\]](#)
- Mon dieu. Et l'as-tu sur toi? [\[206\]](#)
- Non, je l'ai dans ma chambre. [\[207\]](#)
- Ah, dans ta chambre. Quant au mien, je l'ai toujours dans mon portefeuille. Veux-tu que je te le fasse voir? [\[208\]](#)
- Mille remerciements. Ma curiosite n'est pas invincible. Ce sera un aspect tres innocent. [\[209\]](#)
- Moi, j'ai vu ton portrait exterieur. J'aimerais beaucoup mieux voir ton portrait interieur qui est enferme dans ta chambre... Laisse-moi demander autre chose! Parfois un monsieur russe qui loge en ville vient te voir. Qui est-ce? Dans quel but vient-il, cet homme? [\[210\]](#)
- Tu es joliment fort en espionnage, je l'avoue. Eh bien, je reponds. Oui, c'est un compatriote souffrant, un ami. J'ai fait sa connaissance a une autre station, balneaire, il y a quelques annees deja. Nos relations? Les voila: nous prenons notre the ensemble, nous fumons deux ou trois papiros, et nous bavardons, nous philosophons, nous parlons de l'homme, de Dieu, de la vie, de la morale, de mille choses. Voila mon compte rendu. Es-tu satisfait? [\[211\]](#)
- De la morale aussi! Et qu'est-ce que vous avez trouve en fait de morale, par exemple? [\[212\]](#)
- La morale? Cela t'interesse? Eh bien, il nous semble qu'il faudrait chercher la morale non dans la vertu, c'est-a-dire dans la raison, la discipline, les bonnes moeurs, l'honnetete, – mais plutot dans le contraire, je veux dire: dans le peche, en s'abandonnant au danger, a ce qui est nuisible, a ce qui nous consume. Il nous semble qu'il est plus moral de se perdre et meme de se laisser deperir que de se conserver. Les grands moralistes n'etaient point des vertueux, mais des aventuriers dans le mal, des vicieux, des grands pecheurs qui nous enseignent a nous incliner chretienement devant la misere. Tout ca doit te deplaire beaucoup, n'est-ce pas? [\[213\]](#) Великие моралисты вовсе не были добродетельными, они были порочными, искушенными в зле, великими грешниками, и они учат нас по-христиански склоняться перед несчастьем. Все это тебе, наверно, очень не нравится, правда?]

Он молчал. Он сидел все в той же позе, скрестив ноги под скрипучим креслом, наклонившись к лежащей женщине в бумажной треуголке, держал в руке ее карандаш и смотрел голубыми, как у Ганса-Лоренца Касторпа, глазами в глубину опустевшей комнаты. Пациенты разошлись. Звуки пианино, стоявшего в углу наискосок от обоих, лились теперь тихо и неровно, больной мангеймец наигрывал одной рукой, а подле него сидела учительница и листала какие-то ноты, лежавшие у нее на коленях. Когда

беседа между Гансом Касторпом и Клавдией Шоша оборвалась, пианист совсем снял руку с клавиатуры и опустил ее, а фрейлейн Энгельгарт продолжала смотреть в нотную тетрадь. Четверо оставшихся от общества, которое веселилось здесь в карнавальную ночь, сидели неподвижно. Безмолвие продолжалось несколько минут. Медленно, все ниже и ниже склонялись под его грузом головы той пары у пианино, голова мангеймца – к клавиатуре, а фрейлейн Энгельгарт – к нотной тетради.

Наконец, точно по безмолвному соглашению, мангеймец и учительница тихонько встали и тихонько, втянув голову в плечи и деревянно опустив руки, стараясь не оглядываться на еще не опустевший угол, неслышно вышли вместе в читальню и удалились.

– Tout le monde se retire^[214], – сказала мадам Шоша. – C'etaient les derniers; il se fait tard. Eh bien, la fete de carnaval est finie.^[215] – И она подняла руки, чтобы снять бумажный колпак со своих рыжеватых кос, обвивавших венком ее голову. – Vous connaissez; les consequences, monsieur.^[216]

Но Ганс Касторп помотал головой, не открывая глаз и не меняя своей позы. Он ответил:

– Jamais, Clawdia. Jamais je te dirai «vous», jamais de la vie ni de la mort, если можно так выразиться, а следовало бы. Cette forme de s'adresser a une personne, qui est celle de l'Occident cultive et de la civilisation humanitaire, me semble fort bourgeoise et pedante. Pourquoi, au fond, de la forme? La forme, c'est la pedanterie elle-meme! Tout ce que vous avez fixe a l'egard de la morale, toi et ton compatriote souffrant – tu veux serieusement que ca me surprenne? Pour quel sot me prends-tu? Dis donc, qu'est-ce que tu penses de moi?^[217]

– C'est un sujet qui ne donne pas beaucoup a penser. Tu es un petit bonhomme convenable, de bonne famille, d'une tenue appetissante, disciple docile de ses precepteurs et qui retournera bientot dans les plaines, pour oublier complètement qu'il a jamais parle en reve ici et pour aider a rendre son pays grand et puissant par son travail honnete sur le chantier. Voila ta photographie intime, faite sans appareil. Tu la trouves exacte, j'espere?^[218]

– Il y manque quelques details que Behrens y a trouves.^[219]

– Ah, les medecins en trouvent toujours, ils s'y connaissent...^[220]

– Tu parles comme Monsieur Settembrini. Et ma fievre? D'ou vient-elle?^[221]

– Allons donc, c'est un incident sans consequence qui passera vite.^[222]

– Non, Clawdia, tu sais bien que ce que tu dis la, n'est pas vrai, et tu le dis sans conviction, j'en suis sur. La fievre de mon corps et le battement de mon

coeur harasse et le frissonnement de mes membres, c'est le contraire d'un incident, car ce n'est rien d'autre... – и его бледное лицо с вздрагивающими губами ниже склонилось к ней, – rien d'autre que mon amour pour toi, oui, cet amour qui m'a saisi a l'instant, ou mes yeux t'ont vue, ou, plutot, que j'ai reconnu, quand je t'ai reconnue toi, – et c'etait lui, evidemment, qui m'a mene a cet endroit...^[223]

– Quelle folie!^[224]

– Oh, l'amour n'est rien, s'il n'est pas de la folie, une chose insensee, defendue et une aventure dans le mal. Autrement c'est une banalite agreable, bonne pour en faire de petites chansons paisibles dans les plaines. Mais quant a ce que je t'ai reconnue et que j'ai reconnu mon amour pour toi, – oui, c'est vrai, je t'ai deja connue, anciennement, toi et tes yeux merveilleusement obliques et ta bouche et ta voix, avec laquelle tu parles, – une fois deja, lorsque j'etais collegien, je t'ai demande ton crayon, pour faire enfin ta connaissance mondaine, parce que je t'aimais irraisonnablement, et c'est de la, sans doute c'est de mon ancien amour pour toi que ces marques me restent que Behrens a trouvees dans mon corps, et qui indiquent que jadis aussi j'etais malade...^[225]

Его зубы стучали. Он вытащил одну ногу из-под скрипучего кресла и, продолжая фантазировать, выставил ее вперед, эту ногу, а коленом другой ноги коснулся пола, и вот он уже стоял преклонив колено, опустил голову и дрожа всем телом. – Je t'aime, – лепетал он, – je t'ai aimee de tout temps, car tu es le Toi de ma vie, mon reve, mon sort, mon envie, mon eternel desir...^[226]

– Allons, allons!^[227] – сказала она. – Si tes precepteurs te voyaient...^[228]

Но он с отчаянием покачал головой, склоняясь лицом к ковру, и ответил:

– Je m'en ficherais, je me fiche de tous ces Carducci et de la Republique eloquente et du progres humain dans le temps, car je t'aime!^[229]

Она осторожно погладила его по коротко стриженным волосам на затылке.

– Petit bourgeois! – сказала она. – Joli bourgeois a la petite tache humide. Est-ce vrai que tu m'aimes tant?^[230]

Вдохновленный ее прикосновением, уже встав на оба колена, откинув голову и закрыв глаза, он продолжал:

– Oh, l'amour, tu sais... Le corps, l'amour, la mort, ces trois ne font qu'un. Car le corps, c'est la maladie et la volupte, et c'est lui qui fait la mort, oui, ils sont charnels tous deux, l'amour et la mort, et voila leur terreur et leur grande magie! Mais la mort, tu comprends, c'est d'une part une chose mal famee, impudente qui fait rougir de honte; et d'autre part c'est une puissance tres

solennelle et tres majestueuse, – beaucoup plus haute que la vie riante gagnant de la monnaie et farcissant sa panse, – beaucoup plus venerable que le progres qui bavarde par les temps, – parce qu'elle est l'histoire et la noblesse et la piete et l'eternel et le sacre qui nous fait tirer le chapeau et marcher sur la pointe des pieds... Or, de meme, le corps, lui aussi, et l'amour du corps, sont une affaire indecente et facheuse, et le corps rougit et palit a sa surface par frayeur et honte de lui-meme. Mais aussi il est une grande gloire adorable, image miraculeuse de la vie organique, sainte merveille de la forme et de la beaute, et l'amour pour lui, pour le corps humain, c'est de meme un interet extremement humanitaire et une puissance plus educative que toute la pedagogie du monde!.. Oh, enchantante beaute organique qui ne se compose ni de teinture a l'huile ni de pierre, mais de matiere vivante et corruptible, pleine du secret febrile de la vie et de la pourriture! Regarde la symetrie merveilleuse de l'edifice humain, les epaules et les hanches et les mamelons fleurissants de part et d'autre sur la poitrine, et les cotes arrangees par paires, et le nombril au milieu dans la mollesse du ventre, et le sexe obscur entre les cuisses! Regarde les omoplates se remuer sous la peau soyeuse du dos, et l'echine qui descend vers la luxuriance double et fraiche des fesses, et les grandes branches des vases et des nerfs qui passent du tronc aux rameaux par les aisselles, et comme la structure des bras correspond a celle des jambes. Oh, les douces regions de la jointure interieure du coude et du jarret avec leur abondance de delicatesses organiques sous leurs coussins de chair! Quelle fete immense de les caresser ces endroits delicieux du corps humain! Fete a mourir sans plainte apres! Oui, mon dieu, laisse-moi sentir l'odeur de la peau de ta rotule, sous laquelle l'ingenieuse capsule articulaire secrete son huile glissante! Laisse-moi toucher devotement de ma bouche l'Arteria femoralis qui bat au front de ta cuisse et qui se divise plus bas en les deux arteres du tibia! Laisse-moi ressentir l'exhalation de tes pores et tater ton duvet, image humaine d'eau et d'albumine, destinee pour l'anatomie du tombeau, et laisse-moi perir, mes levres aux tiennes!^[231]

Он открыл глаза, только когда сказал все это; откинув голову, простирая руки, в которых держал серебряный карандаш, он все еще стоял на коленях, трепеща и содрогаясь. Она сказала:

– Tu es en effet un galant qui sait solliciter d'une maniere profonde, a l'allemande.^[232]

И она надела на него бумажный колпак.

– Adieu, mon prince Carnaval! Vous aurez une mauvaise ligne de fièvre ce soir, je vous le predis.^[233]

Она соскользнула с кресла, скользящей походкой направилась по ковру

к двери, на пороге нерешительно остановилась, полуобернувшись к нему, подняв обнаженную руку и держась за косяк. Потом, вполголоса, бросила через плечо:

– N'oubliez pas de me rendre mon crayon. [\[234\]](#)

И вышла из комнаты.

notes

Швабское море – иначе Боденское озеро – большое озеро у северных подножий Альп, на границе Германии и Швейцарии.

«Океанские пароходы» (*англ.*)

Бобслей – специально оборудованные рулевым управлением сани для катания на ледяных горах с крутыми виражами.

4

Пошли (*англ.*)

Иоахим... коснулся предполагаемого углубления русла Эльбы. – В конце XIX – начале XX вв. прусское, саксонское и австрийское правительства при деятельном участии вольного города Гамбурга предпринимали всевозможные меры к углублению судоходного фарватера в нижнем течении Эльбы (проведение новых каналов от Лауэнбурга до реки Траве у Любека, канал к Мюрицкому озеру в Мекленбург – Шверине и других).

Фомулюс – искаженное *фамулу*с, служитель и помощник ученого в средние века.

...дедушка... в разговоре с ним неизменно пользовался нижненемецким наречием. – Нижненемецкий (платтдейч, в старину – саксонский разговорный народный диалект северной Германии, особенно распространенный к северу от Аахена до Франкфурта-на-Одере.

...членом реформатской общины. – Существующая и по сей день реформатская церковь возникла в XVI в. в Швейцарии, на основе учения У.Цвингли и Ж.Кальвина как одна из разновидностей протестантизма.

...Когда ремесленники в упорной борьбе с... патрициатом начали завоевывать себе места и голоса в городской думе. – Борьба между ремесленными цехами и патрициатом (именитым купечеством), захватившим хозяйственную и политическую власть в Гамбурге в XIII—XIV вв. закончилась введением закона 9 января 1669 г., согласно которому горожане получили право участия в управлении и законодательстве.

Благословляющий Спаситель Торвальдсена – широко распространенная копия со статуи Христа работы знаменитого датского скульптора Бертеля Торвальдсена (1768—1844). Оригинал находится в Копенгагенском соборе.

...таблицы Ленца... – схемы водоотливной системы судна.

Нордернеем или Вико́м на Фере в этот раз не поможешь... – Нордерней и Вик на Фере – курорты, расположенные на островах Балтийского моря.

...лицо... напоминало Гансу Касторпу портрет знаменитой трагической актрисы... – Имеется в виду крупнейшая итальянская актриса Элеонора Дузе-Чекки (1859—1924), завоевавшая европейскую известность в годы, предшествовавшие первой мировой войне. Вернувшись на сцену после многолетнего перерыва, особенно предпочитала выступать в ролях скорбящих матерей.

«Оба» (франц.)

...у этого мирмидонца... – Мирмидоняне – ахейское племя в Фессалии, о котором упоминается в «Иллиаде», отличавшееся исключительной воинской доблестью и с Ахиллесом во главе сражавшееся под стенами Трои. Получили свое название от легендарного родоначальника племени Мирмидона, сына Зевса и Эвримедузы.

...зеленеет жизни древо – слова Мефистофеля из трагедии Гете «Фауст» (часть первая, сцена четвертая).

Бесплатно (*лат.*)

Туберкулез легких (*лат.*)

Минос и Радамант – в древнегреческой мифологии судьи в царстве теней. Минос – сын Зевса и Европы, легендарный царь Крита, положивший начало его морскому могуществу. Радамант – брат Миноса, основатель древнейшего критского законодательства.

...подобно Одиссею в царстве теней. – В гомеровском эпосе «Одиссея» рассказывается о том, как Одиссей, странствующий царь Итаки, посетил подземное царство бога смерти Аида («Одиссея», песнь одиннадцатая).

О боже! (*итал.*)

Кардуччи Джозуэ (1835—1907) – итальянский поэт, патриот и гуманист, воспевавший Гарибальди и национально-освободительное движение в Италии, одно время член I Интернационала.

...в Болонье я сидел у его ног. – Джозуэ Кардуччи в течение сорока с лишним лет (1860—1903) занимал кафедру классической литературы в Болонском университете, где им были написаны его основные историко-литературные труды («Очерки развития национальных литератур в Италии», работы о Данте, Боккаччо, Ариосто, Жоффруа Рюделе и других).

«Привет тебе, о Сатана, о Мятежник, о мстительная сила Разума»
(итал.)

Homo humanus (лат.) – «человечный человек» – идеал, провозглашенный в XIV—XVI вв. гуманистами Возрождения, которые утверждали, в противоположность учению римско-католической церкви, принадлежность человека к земному миру.

Слишком роскошный, обильный (*англ.*)

Я птицелов, я птицелов, всегда я весел и здоров – слова из арии Папагено из последней оперы великого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта (1756—1791) «Волшебная флейта».

...о Петрарке, которого называл «отцом нового времени» – Петрарка Франческо (1304—1374) – великий итальянский поэт и гуманист, один из создателей современного итальянского языка и поэзии, в творчестве которого отчетливо раскрылись гуманистические идеи эпохи Возрождения.

Вправо ведет он, туда, где чертог могучего Дита – стихи из поэмы Вергилия «Энеида» (песнь шестая), где рассказывается о посещении легендарным героем Энеем Царства теней. Дит – одно из имен Плутона, бога подземного мира.

Вергилий Публий Марон (70—19 гг. до н.э.) – крупнейший римский поэт августовского века, автор «Сельских идиллий» («Буколики» и «Георгики»), а также «Энеиды» – мифологической поэмы о легендарном родоначальнике и основателе Рима.

Отвлеченно (*лат.*)

Лошадки (*франц.*) – азартная игра.

«Сон в летнюю ночь» – романтико-фантастическая увертюра известного немецкого композитора Феликса Мендельсона-Бартольди (1809—1847), написанная на шекспировский сюжет, обработанный немецкими поэтами-романтиками Шлегелем и Тиком.

Uomo letterato (*итал.* «образованный человек»). – Во времена Возрождения так называли знатоков греческого и латинского языков и античной литературы.

Хапаранда – город в Швеции, близ устья реки Торноо у Ботнического залива.

Литературного итальянского языка (*итал.*), буквально «благородное наречие») – первоначально тосканский диалект; впоследствии этим выражением стали обозначать итальянский литературный язык.

Черт возьми (*франц.*)

Производить опыты приятно (*лат.*)

Леопарди Джакомо (1798—1837) – итальянский поэт, выразивший в своем творчестве гражданскую скорбь, пессимизм и разочарование, которые охватили некоторые круги итальянских патриотов после поражения революции 1820—1821 гг. в Неаполе и Пьемонте.

Глупостью (*англ.*)

Искаженное французское haute volée – высший свет.

Здесь – на тот свет (*лат.*)

Оба, сударь, – проговорила она. – Оба, знаете ли... *(франц.)*

Я знаю, сударыня,

И очень сожалею (*франц.*)

Квие́тизм (от лат. *quies* – покой) – религиозно-этическое католическое учение, возникшее в XVII в. и нашедшее богословское обоснование в трудах испанского проповедника Мигеля де Молиноса и французского писателя Ф.Фенелона, которые выступили против свободомыслия французского философа П.Бейля с проповедью пассивно-созерцательного отношения к жизни и непротивления злу.

...смешанную кровь – германскую и вендо-славянскую... – Венды – немецкое название западных славян, населявших некогда всю Восточную Германию и в XII-XVII вв. истребленных или ассимилированных немцами.

Торопитесь, сударь! (*франц.*)

Лекция господина Кроковского только что началась (*франц.*)

Наконец-то вы даруете бедному Танталу хоть какое-то разнообразие. – Фрау Штер путает царя Тантала, обреченного, согласно греческой легенде, на муки голода и жажды в загробном мире, с коринфским царем, сыном бога ветров – Сизифом, который был осужден поднимать на горную вершину вечно срывавшуюся вниз каменную глыбу.

И прочим (лат.)

Карбонарий – член тайной революционной организации в Италии начала XIX в. Карбонарии принимали активное участие в революции 1820—1821 гг. в Неаполе и Пьемонте, в Июльской революции 1830 г. в Париже, а также в восстаниях 1831 г. в Романье, Модене, Парме. Многие из карбонариев входили в тайное общество «Молодая Италия», основанное Мадзини в 1831 г.

...после крушения попытки к государственному перевороту, предпринятой в Турине... – Имеется в виду восстание в Пьемонте 10 марта 1821 г. с целью свержения австрийского ига и введения новой буржуазно-демократической конституции.

...бороться... в Испании за конституцию и в Греции – за независимость эллинов. – Речь идет об участии во второй Испанской буржуазной революции 1820—1823 гг., а также в восстании греков против турецкого владычества в 1821—1822 гг.

...три летних дня в июле 1830 года... – 27—29 июля в Париже вспыхнула Июльская буржуазная революция, которая ликвидировала во Франции режим Реставрации и завершилась установлением Июльской монархии с Луи-Филиппом Орлеанским во главе.

...трижды проклятому союзу государей и министерских кабинетов...

– Имеется в виду Священный Союз – реакционно-политический союз Австрии, Пруссии и России, к которому присоединилась и Франция, заключенный в Париже 26 сентября 1815 г. с целью подавления революционных и национально-освободительных движений в европейских странах.

...священными песнями Манцони. – Имеются в виду проникнутые христианским смирением и католической мистикой «Священные гимны» итальянского поэта-романтика, драматурга и романиста Алессандро Манцони (1785—1873).

Клянусь Вакхом (*итал.*)

...он прославлял его как гражданина «большого города». – Великий итальянский поэт Данте Алигьери (1265—1321) принимал активное участие в политической жизни своего родного города Флоренции, был членом коллегии приоров. Первоначально он принадлежал к гвельфам, партии торгово-ремесленных городских слоев. Надеясь, что королевская власть сможет объединить Италию, примкнул к гибеллинам – партии, поддерживавшей короля Генриха VII Люксембургского, коронованного в Риме императорской короной. В 1302 г. Данте вынужден был уйти в изгнание, где оставался до самой смерти.

Donna gentile e pietosa (*итал.*) – «благородная и благочестивая донна». Так в своем аллегорическом произведении «Vila Nova» («Новая жизнь») Данте называет героиню небольшого цикла сонетов (1292). По мнению многих комментаторов, эти сонеты посвящены будущей жене поэта, Джемме Донати.

Мистагог – у древних греков и римлян – жрец, совершавший обряды во время религиозных таинств, мистерий. Здесь – ироническое обозначение мистических истолкователей Данте.

Брунетто Латини (около 1212—1294) – итальянский писатель, ученый и государственный деятель, секретарь Флорентинской республики, друг и учитель Данте. Автор энциклопедии на французском языке «Книга о сокровище». Здесь речь идет о его аллегорической поэме, написанной по-итальянски – «Tesoretto» («Малое сокровище»).

«Трубадур» – овеянная духом освободительной борьбы героико-романтическая опера крупнейшего итальянского композитора Джузеппе Верди (1813—1901), написанная по одноименной пьесе испанского драматурга А.Гутьерреса на либретто Каммарано и Бардаре.

...«Фрейшютц» («Вольный стрелок») – гражданско-патриотическая опера выдающегося немецкого композитора, основоположника немецкой романтической оперы, Карла Вебера (1786—1826).

Приняты (франц.)

По причине смерти (лат.)

Поторопитесь немножко, господа! (*итал.*)

Здесь – приблизительно так (*лат.*)

Да почиет в мире... *(лат.)*

В полном составе (*лат.*)

...подобно сынишке портного из сказки про столик-накройся. – Намек на немецкую народную сказку в обработке братьев Гримм «Столик-накройся, золотой осел и дубинка в мешке».

«Orbis pictus» (лат. «Мир в картинах») – название наглядно-педагогического пособия для юношества. Впервые введено в употребление великим чешским просветителем и педагогом Яном Амосом Коменским (1592—1670), озаглавившим свою книгу «Orbis sensualium pictus» («Видимый мир в картинах», Нюрнберг, 1658).

Радамес – один из персонажей оперы Верди «Аида», начальник дворцовой стражи при дворе фараона в Мемфисе.

Кастор и Поллукс. – Игра слов, основанная на созвучности фамилии героя романа с именем Кастора – одного из Диоскуров, братьев-близнецов, сыновей Зевса и Леды, после смерти превращенных богами в созвездие.

«Помни» – начальное слово изречения: «Memento mori» «Помни о смерти» (лат.)

Очень благодарен! (*итал.*)

Яичницу с сюрпризом (*франц.*)

Вакуум, пустота (*лат.*)

«Макс и Мориц» – злые мальчишки, персонажи популярных юмористических стихов немецкого поэта-сатирика второй половины XIX в. Вильгельма Буша.

Не стоит того, сударыня! (*франц.*)

«Carpe diem!» («Лови день!») – слова из «Од» (1, 2, 8) древнеримского поэта Квинта Горация Флакка (65—8 гг. до н.э.), где он воспекает эпикурейское наслаждение жизнью.

Здесь – доверительное сообщение (*лат.*)

Остров Цирцеи – легендарный остров, где, по древнегреческому преданию, волшебница Цирцея, дочь Солнца – Гелиоса, обратила спутников Одиссея в свиней.

Плотин (204 – около 270 гг.) – греческий философ-неоплатоник, соединивший идеалистическую мысль античности с мистическими учениями Востока. Учение Плотина оказало значительное влияние на христианское богословие.

Порфирий Финикийский (232 – около 305 гг.) – греческий философ, ученик и популяризатор Плотина, комментатор Платона и Аристотеля.

...в ту ночь Гете... сказал слуге... – Гете, находясь в Веймаре, почувствовал Мессинское землетрясение 1808 г. в тот самый час, когда оно происходило. Об этом свидетельствует Эккерман в книге «Разговоры с Гете» (запись от 13 ноября 1823 г.).

...древних галлов, которые расстреливали небо из своих луков. – Об этом рассказывает римский полководец Гай Юлий Цезарь в своих «Записках о галльской войне» (52—51 гг. до н.э.).

Гуманитарное (*лат.*)

Десертные сигары (*испанск.*)

Я тоже художник (*итал.*)

Сегантини Джованни (1858—1899) – итальянский художник неоимпрессионист, прославившийся своими альпийскими пейзажами, а также жанровыми сценами из крестьянского и пастушеского быта.

Исподнего (франц.)

Фидий (начало V в. до н.э.) – величайший древнегреческий скульптор классического периода. Статуя Зевса Олимпийского работы Фидия считалась современниками одним из семи чудес света.

Вечно говорят о крови и ее тайнах... – Намек на слова Мефистофеля: «Кровь – сок совсем особенного свойства» («Фауст», часть первая, действие первое, сцена четвертая).

Органическое разрушение (*франц.*)

Ганс Касторп внимал спорам овистов и анималькулистов. – В XVII—XVIII вв. в биологии происходил спор между учеными-преформистами по вопросу о том, в чьих половых клетках предобразован взрослый организм – в мужских или женских. Овисты (от лат. ovum – яйцо) считали, что он заключен в яйце (М.Мальпиги, А.Валлиснери, Сваммердам, Ш.Бонне, А.Галлер), а анималькулисты (от animalculum – маленькое животное) – в сперматозоиде (А.Левенгук, Н.Хартсукер).

Гены, биобласты, биофоры – в западноевропейской генетике начала XX в. простейшие единицы «наследственного вещества», «бессмертной зародышевой плазмы», якобы являющиеся материальными носителями наследственности. Термин «ген» введен в 1909 г. генетиком-вейсманистом Иогансеном. Теория гена создана и разработана американским естествоиспытателем Т.Морганом на основе учений немца А.Вейсмана и австрийца Г.Менделя.

До бесконечности (*лат.*)

Монера – согласно воззрениям немецкого ученого Э.Геккеля, одно из промежуточных звеньев между неорганической и органической материей, простейший безъядерный комочек протоплазмы, из которого в процессе исторического развития организмов образовалась клетка.

Разве некий исследователь... не говорил... о космических чудовищах, чья плоть, кости и мозг состоит из солнечных систем? – Имеется в виду известный французский астроном и популяризатор науки о мироздании Камиль Фламмарион (1842—1925), автор «Популярной Астрономии» и основатель журнала «Астрономия». Мысль эта высказывалась им в его фантастических романах «Люмен» и «Урания».

...Фафнир, охраняющий сокровище. – Великан, в образе дракона охранявший золото Рейна и кольцо Нибелунга и убитый в бою Зигфридом, – один из персонажей тетралогии великого немецкого композитора Вильгельма Рихарда Вагнера (1813—1883) «Кольцо Нибелунга», написанный композитором на основе немецкого эпоса XIII в. «Песнь о Нибелунгах» (второй день представления, «Зигфрид», действие второе).

Да почиет в мире (*лат.*)

Да будет тебе земля легка. Дай ему, господи, вечный покой *(лат.)*

Сир, даруйте же свободу мысли! – слова маркиза Позы из трагедии Ф.Шиллера «Дон-Карлос» (сцена в кабинете короля, действие третье, явление десятое).

«*Тангейзер*» – романтическая опера Вагнера, написана композитором в 1843—1845 гг., поставлена в 1845 г. Сюжет заимствован из средневековых германских легенд о Вартбургском состязании певцов (1206) и о миннезингере Тангейзере, который провел семь лет в плену у Венеры на горе Герцельбург, прозванной в народе «Венериной горой».

«Бенедетто Ченелли в переводе Шиллера». – Фрау Штер, искажая и путая имена, имеет в виду автобиографию Бенвенуто Челлини (1500—1571), знаменитого итальянского скульптора, ювелира и писателя эпохи Возрождения, переведенную на немецкий язык Гете.

Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. – перефразировка евангельского изречения (евангелие от Луки, гл. 9, ст. 60).

Своего единственного и последнего сына, который тоже должен умереть (*франц.*)

Оба, понимаете ли, господа... Сперва один, потом другой (*франц.*)

Как герой, по-испански, подобно брату, подобно его гордому юному брату Фернандо (*франц.*)

Биоскоп – род проекционного аппарата для движущихся картин, бывший в употреблении в начале XX века; биоскопом иногда назывался также кинематограф.

Немецкий кронпринц. – Имеется в виду Вильгельм (род. в 1882 г.), сын императора германского и короля прусского Вильгельма II (1859—1941), низложенного во время германской революции 1918 г.

Новый Мекленбург – прежняя новая Ирландия – остров в западной части Тихого океана, второй по величине в архипелаге Бисмарка.

Хеврон – один из древнейших городов Палестины, привлекавший многочисленных паломников своим «харамом», мечетью, построенной на месте пещеры Махпелы, где, по преданию, были похоронены библейские патриархи.

В миг сладостного торжества (*лат.*)

Здесь – о смертельном исходе (*лат.*)

Вальпургиева ночь – ночь на 1 мая, когда, по немецкому народному поверью, черти и ведьмы слетаются на гору Брокен править шабаш; названа в честь игуменьи Вальпургии, канонизированной в 778 г., чья память чтится в католических странах 30 апреля.

Роскошно (*франц.*)

Великолепно (*франц.*)

Пратер – парк в Вене, излюбленное место народных развлечений. Здесь – намек на сравнение шабаша с гулянием в Пратере, содержащийся в «Фаусте» Гете (слова Мефистофеля из «Вальпургиевой ночи» в I части).

Сумасшедший дом (*франц.*)

Пляски мертвецов (*франц.*)

Прощай (*лат.*)

Пестрят огни, суля забаву... и т.д. – слова Мефистофеля в сцене «Вальпургиева ночь».

Но помните! Гора сегодня чар полна... и т.д. — слова Блуждающего огонька в той же сцене.

Какой цветник! Невесты сплошь... и т.д. – слова Флюгера из сцены «Сон в Вальпургиеву ночь».

Горы Гарца... Близ деревень Ширке и Эленд. – Место действия первой Вальпургиевой ночи в «Фаусте». Ширке и Эленд – деревни по пути на Брокен.

Старуха Баубо – особняком – слова из хора ведьм в сцене «Вальпургиева ночь». Баубо – в античной мифологии кормилица богини плодородия Деметры, пытавшаяся непристойной болтовней развлечь богиню после похищения ее дочери Персефоны. Здесь – символ бесстыдства и похотливости.

«Внимательно гляди... Она – Лилит» – слова Мефистофеля в сцене «Вальпургиева ночь». Согласно кабалистическому преданию, Лилит – первая жена Адама, отвергнутая им за то, что она убивала своих детей; впоследствии сделалась возлюбленной Сатаны и демоном сладострастья.

«Внимательно гляди... Она – Лилит» – слова Мефистофеля в сцене «Вальпургиева ночь». Согласно кабалистическому преданию, Лилит – первая жена Адама, отвергнутая им за то, что она убивала своих детей; впоследствии сделалась возлюбленной Сатаны и демоном сладострастья.

Множественного числа (*лат.*)

Mulus (от *лат.* осел) – шутливое название абитуриента в Германии.

Над нами главный – Уриан – слова из хора ведьм в сцене «Вальпургиева ночь». Уриан – одно из имен черта.

Эй! Инженер! Постойте! Что вы делаете? Инженер! Немножко благоразумия! Он одурел, этот мальчуган! (*итал.*)

На! (*франц.*)

Осторожно, он легко ломается, – сказала она. – Его, знаешь ли, надо вывинчивать. (Здесь и далее иноязычный текст – *французский*.)

Он очень честный молодой человек, очень узкий, очень немец.

Узкий? Честный?

Нас, немцев?

Мы говорим о вашем двоюродном брате. Но это правда, вы немножко буржуазны. Вы любите порядок больше, чем свободу, вся Европа это знает.

Любить... любить... А что это значит? Это слово слишком неопределенное. Один любит, другой владеет, как у нас говорят.

Я скажу тебе по-французски, какие у меня по этому поводу возникли мысли. То, что вся Европа называет свободой, это, может быть, нечто столь же педантичное, столь же буржуазное, если сравнить с нашей потребностью в порядке – вот именно!

Вот как! Занятно! Ты имеешь в виду своего кузена, когда говоришь такие странные вещи?

Нет, он действительно добряк, простая натура, в ней не таится никаких угроз, знаешь ли. Но он не буржуа, он солдат.

Ты хочешь сказать: натура совершенно твердая, уверенная в себе? Но ведь он серьезно болен, твой бедный кузен.

Может быть, когда показывал свои картины.

То есть когда писал твой портрет?

Почему бы и нет. А как, по-твоему, портрет удачен?

Ну да, исключительно. Беренс очень точно воспроизвел твою кожу, в самом деле очень правдиво. Как бы мне хотелось быть портретистом, как он, чтобы тоже иметь основания исследовать твою кожу.

Говорите, пожалуйста, по-немецки!

Это своеобразное исследование, одновременно художественное и медицинское, – одним словом, речь идет, понимаешь ли, о гуманитарных науках.

Потихоньку от врачей. Как только Беренс вернется, все кинутся на стулья. Очень будет глупо.

Поди ты со своим Беренсом!

Да и на ковре...

...как будто я в глубоком сне вижу странные грезы... Ведь надо спать очень глубоко и крепко, чтобы так грезить... Я хочу сказать, мне этот сон хорошо знаком, он снился мне всегда, долгий, вечный... да, сидеть вот так рядом с тобой – это вечность.

Поэт! Буржуа, гуманист и поэт, вот вам немец, весь как полагается.

Боюсь, что мы совсем и ничуть не такие, как полагается, – ответил он. – Ни в каком смысле. Мы, может быть, просто трудные дети нашей жизни, только и всего.

Красиво сказано... Но, послушай... ведь не так уж трудно было увидеть этот сон и раньше. Вы, сударь, поздновато решились обратиться с милостивыми словами к вашей покорной служанке.

К чему слова? – сказал он. – Зачем говорить? Говорить, рассуждать – это, конечно, по-республикански, допускаю. Но сомневаюсь, чтобы это было в такой же мере поэтично. Один из наших пациентов, с которым я, до известной степени, подружился, господин Сеттембрини...

Он только что бросил тебе несколько слов.

Что ж, он, конечно, великий говорун, и даже очень любит декламировать возвышенные стихи, но разве этот человек – поэт?

Искренне сожалею, что не имела удовольствия познакомиться с этим рыцарем.

Охотно допускаю.

А, ты допускаешь!

Что? Да ведь я это просто так сказал. Я, как ты, вероятно, заметила, почти не говорю по-французски. Но с тобою я все-таки предпочитаю этот язык родному, оттого что для меня говорить по-французски значит в каком-то смысле говорить не говоря, — то есть ни за что не отвечая, как мы говорим во сне. Понимаешь?

Более или менее.

Этого достаточно... Говорить, – продолжал Ганс Касторп, – бесполезное занятие! В вечности не разговаривают. В вечности ведут себя так же, как когда рисуют свинку: откидывают голову и закрывают глаза.

Недурно сказано! Ну, конечно, ты в вечности как дома, ты знаешь ее до дна. А ведь ты довольно занятный молодой мечтатель, надо признать.

И потом, – сказал Ганс Касторп, – заговори я с тобою раньше, мне пришлось бы называть тебя на «вы».

А что же, ты намерен всегда называть меня на «ты»?

Ну да. Я всегда говорил тебе «ты» и буду говорить вечно.

Пожалуй, это уже лишнее. Во всяком случае, тебе надолго придется говорить мне «ты». Я уезжаю.

После обеда.

Ты недурно осведомлен. Может быть, и туда – на время.

Ну... это нет.

Вот почему я хочу рискнуть и немного пожить в другом климате.

Что до меня, то, знаешь ли, я прежде всего люблю свободу и, в частности, свободу выбирать себе место, где жить. Тебе, вероятно, трудно понять, что человек одержим чувством независимости? Может быть, это у меня от моего народа.

А твой муж в Дагестане, он тебе разрешает ее, эту свободу?

Мне вернула свободу моя болезнь. Я в «Берггофе» уже в третий раз. На этот раз я провела здесь целый год. Может быть, и вернусь. Но ты тогда уже давно будешь далеко отсюда.

Даже имя! Нет, ты действительно уж слишком серьезно относишься к карнавальным обычаям!

И да и нет... Ну, как тут знают эти вещи. У тебя там внутри есть влажный очажок, и ты слегка температуришь.

Под вечер тридцать семь и восемь или девять...

О, у меня, знаешь ли, дело посложней... Не совсем обычный случай.

В той отрасли гуманитарных наук, которая именуется медициной, – сказал Ганс Касторп, – есть заболевание – так называемая туберкулезная закупорка лимфатических сосудов.

А ты, мой милый, видимо, шпионил.

А ты...

Странный вопрос! Ведь прошло полгода!

Ну конечно, но я узнала совершенно случайно...

Опять Беренс!

О, он так точно изобразил твою кожу. Впрочем, у этого вдовца горят щеки и есть презабавный кофейный сервиз... Думаю, что он знает твое тело не только как врач, но и как адепт другой отрасли гуманитарных наук...

Ты прав, мой друг, ты действительно гредишь...

Допустим... Но не мешай мне грезить опять, ведь ты с такой жестокостью разбудила меня вестью о твоём отъезде, точно зазвонили в набат! Семь месяцев я прожил у тебя на глазах... А теперь, когда мы познакомились в действительности, ты говоришь об отъезде!

Повторяю, мы могли бы беседовать с тобой и раньше.

Я? Не увиливай, мой мальчик. Речь идет о твоих интересах. Ты что, слишком робел, чтобы приблизиться к женщине, с которой теперь разговариваешь как во сне, или тебе кто-нибудь мешал?

Я же объяснил тебе! Я не хотел говорить тебе «вы».

Хитрец! Отвечай мне, этот говорун, этот итальянец, который не пожелал остаться, что он тебе бросил на ходу?

Я не расслышал ни одного слова. Какое мне дело до этого господина, когда мои глаза видят тебя? Но ты забываешь... Познакомиться с тобой, как знакомятся обычно, было бы вовсе не так легко. И потом ведь со мной двоюродный брат, а он не склонен развлекаться: он только и мечтает о возврате на равнину, чтобы стать солдатом.

Бедняга. Он на самом деле болен гораздо серьезнее, чем думает. Состояние твоего итальянского друга тоже неважное.

Он и сам это говорит. Но мой двоюродный брат... Неужели правда? Ты меня пугаешь.

Очень может быть, что он умрет, если попытается стать солдатом на равнине.

Умрет? Смерть – грозное слово, правда? Но странно, теперь оно уже не производит на меня такого впечатления, это слово. Когда я ответил – «ты пугаешь меня», я просто сказал то, что принято говорить в таких случаях. Мысль о смерти не пугает меня. Я отношусь к ней спокойно. И мне не жалко ни моего добряка Иоахима, ни самого себя, когда мне говорят, что он может умереть. Если это так, то его состояние очень похоже на мое, и оно не кажется мне таким ужасным. Он – «морибундус», а я – влюбленный, что ж! Ты ведь говорила с моим кузеном в приемной, перед рентгеновским кабинетом, помнишь?

Что-то вспоминаю.

Значит, Беренс в этот день тоже сделал твой снимок?

Ну разумеется.

Боже мой! Он при тебе?

207

Нет, он у меня в комнате.

А, у тебя в комнате. Что касается моего, то я всегда ношу его в бумажнике – хочешь покажу?

Огромное спасибо. Я не сгораю от любопытства. Вероятно, что-нибудь очень невинное.

Я видел твой внешний портрет. Но я бы предпочел увидеть внутренний, который заперт у тебя в комнате... Разреши мне задать тебе другой вопрос! Иногда у тебя бывает один русский господин, он живет в местечке. Кто это? С какой целью он ходит к тебе, этот человек?

Оказывается – ты мастер по части шпионажа. Ну что ж, я тебе отвечу. Да, это больной соотечественник, мой друг. Я познакомилась с ним на другой климатической станции, уже несколько лет назад. Наши отношения? Вот они: мы пьем вместе чай, выкуриваем две-три папиросы, болтаем, философствуем, говорим о человеке, о боге, о жизни, о морали, да о тысяче вещей. Вот тебе полный отчет. Ты удовлетворен?

И о морали? И что же, например, вы открыли в области морали?

Морали? Тебе интересно? Ну вот, мы считаем, что нравственность не в добродетели, то есть не в благоразумии, дисциплинированности, добрых нравах, честности, но скорее в обратном, я хочу сказать – когда мы грешим, когда отдаемся опасности, тому, что нам вредно, что пожирает нас. Нам кажется, что нравственнее потерять себя и даже погибнуть, чем себя сберечь. Нам кажется, что нравственнее потерять себя и даже погибнуть, чем себя сберечь. – Перефразировка евангельского изречения (евангелие от Марка, гл. 8, ст. 35).

Все разошлись,

Это последние; уже поздно. Что ж, карнавал кончен...

Выводы вам понятны, сударь.

Никогда, Клавдия, никогда я не скажу тебе «вы», ни в жизни, ни в смерти, если можно так выразиться, а следовало бы. Эта форма обращения к человеку, установленная культурным Западом и гуманистической цивилизацией, кажется мне чрезвычайно буржуазной и педантичной. И зачем, в сущности, нужна форма? Ведь форма – это воплощение педантизма! И все, что вы решили относительно нравственности, ты и твой больной соотечественник, – ты серьезно думаешь, что это меня поразило? За какого же дурака ты меня считаешь? А скажи все-таки, какого мнения ты обо мне?

Что ж, ответить нетрудно. Ты приличный мальчик из хорошей семьи, с приятными манерами, послушный ученик своих наставников, ты скоро вернешься на равнину и навсегда забудешь о том, что когда-то здесь говорил во сне, начнешь честно трудиться на верфях ради величия и славы своей страны. Вот твой внутренний снимок, сделанный без рентгена. Надеюсь, ты считаешь его верным?

В нем не хватает некоторых деталей, обнаруженных Беренсом.

Ах, врачи всегда их находят, это они умеют...

Ты рассуждаешь прямо как Сеттембрини. А моя температура? Откуда она?

Брось, пожалуйста, это случайность, все скоро пройдет без последствий.

Нет, Клавдия, ты отлично знаешь, что это неправда, и говоришь ты без всякой убежденности, я уверен. И лихорадка, и мучительное сердцебиение, и озноб во всем теле – это вовсе не случайные явления, а, напротив, не что иное, как... – и его бледное лицо с вздрагивающими губами ниже склонилось к ней, – не что иное, как моя любовь к тебе, да, любовь, овладевшая мной в тот же миг, когда мои глаза тебя увидели, или, вернее, которую я узнал, едва только узнал тебя, и, видно, любовь привела меня сюда.

Какое безумие!

О, любовь – ничто, если в ней нет безумия, безрассудства, если она не запретна, если боится дурного. А иначе – она только сладенькая пошлость, годная служить темой для невинных песенок на равнине. Относительно же того, что я узнал тебя и узнал мою любовь к тебе – да, это правда, я уже знал тебя в былом, тебя и твои удивительные глаза с косым разрезом, и твой рот, и твой голос, – и однажды, когда я еще был школьником, я уже попросил у тебя твой карандаш, чтобы наконец познакомиться с тобой как полагается, оттого что любил тебя безрассудно, и вот с того времени, от той давней любви моей к тебе, видно, и остались у меня те следы, которые обнаружил Беренс и которые показывают, что я и раньше был болен...

Я люблю тебя, – лепетал он, – я всегда любил тебя, ведь ты – это «Ты», которого ищешь всю жизнь, моя мечта, моя судьба, моя смерть, мое вечное желание...

Брось, брось!

Что, если бы тебя видели твои наставники...

Наплевать, наплевать мне на всех этих Кардуччи, и на республику с ее красноречием, и на прогресс с его развитием во времени, оттого что я тебя люблю!

Маленький буржуа! – сказала она. – Хорошенький буржуа с влажным очажком. Это правда, что ты меня так сильно любишь?

– О, любовь, ты знаешь... тело, любовь, смерть – они одно. Ибо тело – это болезнь и сладострастие, и оно приводит к смерти, оба они – чувственны, смерть и любовь, вот в чем их ужас и их великое волшебство! Но смерть, понимаешь ли, это, с одной стороны, что-то позорное, наглое, заставляющее нас краснеть от стыда, а с другой – это сила, очень торжественная и величественная, – гораздо более высокая, чем жизнь, которая хохочет, наживает деньги и набивает брюхо, – гораздо более почтенная, чем прогресс, который болтает о себе во все времена; а смерть – это история, и благородство, и благочестие, и вечность, и то, что для нас священо, в присутствии чего мы снимаем шляпу и ступаем на цыпочках... То же самое относится и к телу: телесная любовь – это что-то неприличное, дурное, и тело своими покровами краснеет и бледнеет от страха и стыда перед самим собой. Но тело излучает также великое и божественное сияние, это чудотворный образ органической жизни, святое и дивное явление формы и красоты, в любви к нему, к человеческому телу, тоже выражается в высшей степени гуманитарный интерес к человечеству, и это – более мощное воспитательное начало, чем вся педагогика мира вместе взятая!.. О, завораживающая красота органической плоти, созданная не с помощью масляной краски и камня, а из живой и тленной материи, насыщенная тайной жизни и распада! Посмотри на восхитительную симметрию, с какой построено здание человеческого тела, на эти плечи, ноги и цветущие соски по обе стороны груди, на ребра, идущие попарно, на пупок посреди мягкой округлости живота и на тайну пола между бедер! Посмотри, как движутся лопатки на спине под шелковистой кожей, как опускается позвоночник к двойным, пышным и свежим ягодцам, на главные пучки сосудов и нервов, которые, идя от торса, разветвляются под мышками, и на то, как строение рук соответствует строению ног. О, нежные области внутренних сочленений локтей и коленей, с изяществом их органических форм, скрытых под мягкими подушками плоти! Какое безмерное блаженство ласкать эти пленительные участки человеческого тела! Блаженство, от которого можно умереть без сожалений! Да, молю тебя, дай мне вдохнуть в себя аромат твоей подколенной чашки, под которой удивительная суставная сумка выделяет скользкую смазку! Дай мне благоговейно коснуться устами твоей *Arteria femoralis*, которая пульсирует в верхней части бедра и, ниже, разделяется на две артерии

tibia! Дай мне вдохнуть испарения твоих пор и коснуться пушка на твоём теле, о человеческий образ, составленный из воды и альбумина и обреченный могильной анатомии, дай мне погибнуть, прижавшись губами к твоим губам!

Ты действительно поклонник, который умеет помогать с какой-то особенной глубиной, как настоящий немец.

Прощайте, принц Карнавал! (Принц Карнавал – намек на сохранившийся в некоторых городах Южной Италии и Сицилии старинный обычай избирать принца карнавальных шествий и маскарадов.) Сегодня у вас резко поднимется температурная кривая, предсказываю вам!

234

Не забудьте вернуть мне карандаш!